

Л 2017

5361 к

A close-up portrait of an older man with grey hair, looking thoughtfully to the side with his hand resting on his chin. He is wearing a dark, high-collared garment. The background is slightly blurred, showing what appears to be a bookshelf.

Герольд
ИЗБРАННОЕ
БЕЛЬГЕР

Герольд БЕЛЬГЕР

ИЗБРАННОЕ

КЕЛЕШЕК
Алматы
2017

УДК 821.0 (574)

ББК 83.3 (5каз)

Б 42

«Выпущено по программе «Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела», подпрограмме «Приобретение, издание и распространение социально-важных видов литературы» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан».

Б42 Бельгер Г. К.
Избранное. – Алматы: “Келешек” 2017 – 570 с.

ISBN 978-601-03-0478-9

Многогранная жизнь казахов и тернистый путь российских немцев – таковы магистральные темы прозаика и переводчика, эссеиста и публициста, лауреата ряда общественных, литературных и журналистских премий Герольда Бельгера.

УДК 821.0 (574)

ББК 83.3 (5каз)

ISBN978-601-03-0478-9

© Бельгер Г. К., 2017

©Келешек, 2017

Избранное

СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ

Вот такая вот, понимаешь, жизнь.
Восемьдесят.
Без двадцати, можно сказать, сто. Весьма.
Что тут еще скажешь. Пожалуй, не грех и обернуться.
Посмотреть – что там да как?

Точно не помню, но лет эдак десять или пятнадцать назад отмечали очередной юбилей Герольда Карловича. Понятное дело, я не мог оставаться в стороне и написал в газету материал под названием «Мамбет». Многие тогда возмутились, но Гера-ага не обиделся. Потому что понимал – это не оскорбление. Это, скорее всего, результат. Смею думать – положительный.

Так уж оно сложилось. Немец, сосланный в чужую страну за чужие грехи как потенциальный преступник, в итоге впитал в себя столько казахского, чего не очень-то и найдешь в самих сегодняшних казахах. И вот уже как бы «осень патриарха» на дворе, и вот прогуливается он, не спеша, у памятника Шокану, наматывает задумчивые круги и совсем по-абайски сетует на нынешнюю жизнь: «Э-э-э, казахи мои, мой бедный народ...»

Странные, знаете, метаморфозы преподносит иногда судьба. Случается, наказание может обернуться наградой.

И все же, как оно так вышло?

Представьте себя маленьким мальчиком. Вам семь лет. Вы живете у берегов могучей Волги, в своем домике, в атмосфере любви и добра, в окружении многочисленной родни. Вас везде ждут дяди, тети, двоюродные братья, сестры, бабушки, дедушки,

всех не перечислить. Мангейм, Зихельберг, Солянка, Гнаденфлюр... (деревушки в бывшей немецкой автономии) это такой большой теплый мир, в котором все тебе рады, чем-то потчуют, пытаются угодить, приласкать, побаловать...

И вдруг все это в одно мгновение рушится. Вы еще ребенок и не понимаете, что произошло со всеми взрослыми: почему молча плачут в сторонке женщины, отчего стали кучковаться и так много курить мужчины. В приглушенных разговорах слышатся диковинные слова: «криг» (война), шпионы, диверсанты, эвакуация, спецпереселенцы... И вот в один из таких зябких расхристанных дней обухом по голове открытие: оказывается, вы – немец. И это, оказывается, плохо. И, самое страшное, это уже невозможно исправить.

И далее как в дурном сне: солдаты, суматошные сборы, офицерские окрики, громяхающий состав, товарный вагон (теплушка), гулкий ветер в щелях. Сквозь решетки в крошечном окне проплывают города и села, станции, разъезды. Потом вдруг проступает долгая голая степь. Ни кустика, ни деревца. Выходить нельзя, не разрешают. По ночам протяжный гудок под бесконечный перестук колес. Впереди – неизвестность. Холодно, мучительно, тоскливо.

На седьмой день поезд остановился. Всех высадили на станции Мамлютка (безобидное какое-то, почти детское название, потому и запомнилось). Дальше уже как придется: кто пешком, кто на подводах. Опять все в спешке, в неразберихе. Распихали кого куда.

Чужая земля. Чужие лица. Разруха. Неустроенность. Нишета. Незнакомые люди.

Казахи.

Дальше – некуда. Теперь здесь жить.

Сейчас уже не секрет, что Казахстан в те годы превратился в одну большую тюрьму. Шла война, всем жилось несладко. И все же спецпереселенцам пришлось куда хуже: давил еще и моральный

пресс – печать неблагонадежных. Особенно обидно было отцу. Карл Бельгер с юности рос идейным большевиком, преданно верил делу партии, добровольцем вступил в ряды Красной Армии. Верой и правдой служил санинструктором 157-го стрелкового полка Приволжского военного округа... А в ответ такая вот благодарность.

Небольшой казахский аул на берегу Ишима – Тас откел (Каменный брод). Обустроились, как сумели, в бывшем медпункте: тесно, неудобно, сиро. Ну а что делать? Она ведь не только из бед и горя состоит, эта жизнь. В ней есть место и маленьким радостям.

Через какое-то время фельдшеру («першыл» на местном наречии) удалось раздобыть корову. А корова по тем временам – это богатство. Пусть она и еле держалась на ногах от слабости. С невероятными трудностями отец перевез ее на плоту через реку и прозвал Мартой. Потому что там, в Мангейме, осталась другая Марта. Правда, та, прежняя Марта, была куда упитанней и доилась несравнимо щедрей.

Постепенно пообвыклись. Отец почти не бывал дома. Высокий, сухопарый, жилистый, он пешком обходил аулы, что располагались в округе – лечил людей. Путь неблизкий: попробуй помотайся по степи в зимнюю стужу или в летний зной.

Мать – Анна Давыдовна – хлопотала по дому: все время что-то латала, варила, шила, стирала, готовила из ничего жидкую еду, кроила, что называется, из голенища сапог. (Светлой памяти своей матери Герольд Карлович посвятил роман «Зов». Не буду пересказывать сюжет, лучше прочтите.)

Возможно, детская психика не столь болезненно воспринимает перемены. Тем более столь оглушительные. Сталинская паранойя, великое переселение народов, депортация. Все эти вещи ребенок не мог понимать. В его понимании просто началась новая жизнь. Появились новые друзья – тамыры. Да и аул уже через какое-то время стал

как бы свой. Как будто так оно и было всегда. Это потом придет осознание великой несправедливости. Необратимого горя. Но это много позже...

В 1944 году Герольд пошел в школу. Естественно – в казахскую. Правда, в ауле имя его никто не мог толком выговорить. Старики прозвали Жел аяк. Потому что Герольд бегал очень прытко, быстрее аульных собак, был тощ и легок. Носился как угорелый. Но однажды летом на всем скаку слетел с коня. Больно ушиб ногу. Затем сильно простыл на рыбалке, схватил коклюш. Долго мучился с кашлем. А потом все это дало осложнение и переросло в туберкулез тазобедренного сустава...

Далее, чтобы яснее почувствовать последовавший за всем этим шок, представьте себя мальчишкой, у которого забрали... движение. Хотя, о чем я говорю?

Как-то на футболе я сильно травмировал ногу и пару недель проковылял в гипсе. Это было настоящей пыткой. На всю жизнь запомнил. А тут такое...

Герольд передвигался на костылях 28 лет. По весне боли обострялись. В непогоду все тело ныло и ломало. А сколько провалялся в больницах... Не передать всего.

В сорок лет окончательно слег. Пришлось делать резекцию сустава. Операция прошла успешно. Боль отпустила. Но сколько сил ушло на восстановление...

Я почему так подробно останавливаюсь на частностях? О Бельгере и без того много сказано. И в газетах, и в журналах, и диссертации отдельные ему посвящали, литературные исследования проводили, по нему нынче сверяют, если это вообще определимо, такое эфемерное в нашей сегодняшней жизни понятие, как гражданская совесть... Много чего. Те, кто хоть малейшим образом погружен в социокультурное пространство страны, конечно же, слышали о нем. И все-таки, мне думается, что мы его не знаем. А если и знаем, то мало. Одно- сторонне.

Был, например, такой период, когда Герольд

Карлович сделался активным общественным и даже государственным деятелем. Заседал в разных комиссиях, советах, правлениях, фондах и прочих комитетах. В какой-то момент он членствовал аж в сорока различных организациях. Состоял депутатом Верховного Совета республики.

Однажды судьба ему улыбнулась своей тонкой и парадоксальной улыбкой: в 1994 году Герольду Карловичу Президент страны вручил орден Парасат! Под номером Один!

(Думал ли горемыка-Карл, спецпереселенец, когда эшелон уносил этапом в неведомую страну всю его многочисленную родню, что сын его станет столь уважаемым человеком на чужбине? Слава богу, все это он успел застать. Карл Фридрихович прожил долгую жизнь. Ушел в 94 года, в Ташкенте, в своей собственной усадьбе.)

И вот тут, казалось бы, надо подбросить дров в топку и не отходить далеко от кассы. Паровоз набрал ход. Далее – уже по накатанной. А Бельгер взял да и ушел отовсюду. Из всех этих комитетов, правлений, ассамблей и худсоветов. Вовремя понял: «Не мое». И то верно. Главное дело – перо и бумага. А если еще проще – говорить и делать то, что думаешь. Это ведь такая непростая и редкая штука – говорить то, что думаешь. В каком-то смысле даже вредная.

Вот и ордена перестали давать. Даже медалей, какие у нас тут раздают кому ни попадя по случаю и без. На госпремию выдвигали несколько раз, да так и прокатали свои же друзья-соратники. А потом и сам отказался подавать документы. Надоело участвовать в этой ярмарке тщеславия. Тем более там давно уже свой междусобойчик. Не пропустят.

И тут Фатерланд вспомнил вдруг блудного сына. На сей раз судьба уже не просто улыбнулась, а рассмеялась нараспев. (Это я к слову о метаморфозах). Посол Германии – господин Райнер Шлагетер – пригласил в свой офис и лично вручил Бельгеру орден «За

заслуги перед отечеством». Что еще раз подтвердило сакраментальную истину: откровенные мысли ценятся обычно на стороне. У себя же лучше следить за языком да помалкивать, а еще лучше – хлопать в ладошки хором. В оркестре затеряться легче, чем исполнять соло в одиночку. (Похоже, нашим излюбленным местом разговоров снова становится кухня. Не выдавливается раб, хоть убей. Видать, глубоко засел, собака.)

Не многие из нас, даже наедине с собой, правдивы до конца. Сидит внутри какой-то цензор. Редактор. Все подправляет как-то, выравнивает, подчищает. Подтирает. Чтобы чище было. Красивше. Комфортнее. Чтобы не дуло. Не сквозило. Чтобы как-то поудобнее что ли. Потеплее...

Дабы научиться говорить то, что думаешь, многое нужно пережить, перестрадать и передумать. Наверное. В конце концов, писательство – это ведь в сути своей исповедальное занятие. Впрочем, кто только сейчас не пишет! Боже мой, какую только чушь не встретишь нынче в книжных магазинах! Писательский зуд не дает покоя армии витийствующих. Что только не служит темой для сочинения поэмы или даже целого романа! При этом речь вовсе не идет о литературной ценности, важен сам факт издания. Что ж, настали благодатные времена – раздолье графomanам. «Писатели» хотят поведать миру о своих небывалых победах и поражениях, о своих подробностях в личной и общественной жизни, о своих страданиях и преодолениях, о своих достижениях в постели и на трибуне. Издать книгу нынче все равно что нашлепать визитки. Одно нередко дополняет другое. Так и идет, в комплекте: это – собственно я, а это я – обо мне. Не случайно английский критик Уоррен Брабрук однажды воскликнул: «Чем больше сегодня читаешь книг, тем сильнее ощущение, что неграмотные ничего не теряют».

В итоге повальное увлечение бумагомарательством в какой-то мере дискредитировало само дело

литератора. Многие не разумеют, что для настоящих творцов писательство не хобби и не блажь, а образ жизни.

Говорят, когда Толстой умирал на богом забытой железнодорожной станции, он в агонии водил рукой, словно по листу, слева направо (об этом Бельгер пишет в одной из своих книг).

Конечно, Бельгер – не Толстой, но он ведет дневники с семи лет. Потому что, опять же, это – его дело. Его образ жизни. А «говорить то, что думаешь» – это его нравственная позиция. Не путать с гражданской. Гражданская позиция, как и все остальное в человеческом облике, проистекает из образа мышления. Из всего образа жизни, если хотите. Невозможно быть немножко честным, слегка патриотичным, наполовину совестливым. Хотя... как показывает сегодняшняя реальность, такое уродство встречается. И даже набирает силу.

Под этой обложкой собраны литературные записи, которые велись без малого семьдесят три года.

Иногда я думаю, что если бы Бельгер не был писателем, он бы стал священником. Не только потому, что много видел, много страдал. Не потому, что умеет выслушать или же убедительно выступить. Дело в том, что Гера-ага живет жизнью праведника. Не ворует, не прячет, не завидует, не шлет наветов, не гневается, не ропщет, не желает зла ближнему своему... Он тихо и скромно делает свое дело и живет по-совести. Это не значит, что он держит Коран или Библию на столе или пустился на старости лет в поиски бога...

Он всю свою жизнь ищет свою правду. И вроде бы даже нашел. Если уж не саму Истину, то, как минимум, дорогу к ней. И теперь, как никто другой, умеет недоговаривать половину фразы – что свидетельствует о его писательской мудрости. Между прочим, это большое умение, поскольку умных у нас много. У нас мудрых не осталось.

И здесь следует отметить собственно сам

писательский стиль Бельгера. Стиль изложения. Его не назовешь высоким. Нет в нем эстетской утонченности. Нет сильных эмоций. И уж не дай бог – криков, воплей, крови и мата. Все очень ясно. Четко. Незатейливо. Незамысловато. Без соплей и слез. Предельно просто. Как и сам автор. Помните выражение: прост как правда? Вот уж действительно, пишет как дышит.

Читая бельгеровские тексты, ловишь себя на мысли, что автор как бы намеренно суховат. Нет никаких излишеств. Никаких искусственных финтифлюшек и узоров. Но надо понимать, что стоит за этой простотой! Именно – простотой, а не простоватостью. Только истинному мастеру под силу выделить какой-либо заурядный случай и в несколько касаний придать ему художественную форму. За этой формой следом проступает правда жизни. У Герольда Карловича это получается без видимых усилий. Это про таких, как Бельгер, в свое время сказал Чехов: «Надо писать просто: о том, как Петр Семенович женился на Марье Ивановне. Вот и все».

И еще одна удивительная деталь творческого метода. Бельгер пишет сразу. Набело. Практически без поправок. Так Моцарт писал свои партитуры. Но Бельгер – не Моцарт. И слава богу. Моцарт прожил-то всего ничего – тридцать пять...

О чем еще сегодня можно говорить в качестве констатации? Наверное, о том, что Бельгер давно и бесспорно стал явлением. Достоянием страны. Если хотите – Нации. И говоря об этом, я имею в виду не только контекст культуры. Я смотрю на ситуацию шире.

Присутствие Бельгера в нашей с вами жизни емко определено известным высказыванием: «Поэт в России – больше, чем поэт». Как-то так сложилось, что значение этого человека постепенно стало неопределимым. Фактом своего существования, неспешным и несуетным комментарием прожитого дня. Говоря

прямо: пока он жив, жива Надежда. Жива Вера в то, что не все еще пропало. Не все еще продано, и не все еще куплено. Не все еще протухло и прогнило. Должно оставаться еще что-то святое в людях. А он – стражник этого слабого огонька. «Шыракшы» по-казахски.

Бельгер как дозиметр. По нему определяется степень загрязненности среды. Можно еще тут жить и дышать или пора уже противогазы надевать? И смысл издания данной книжки не только в том, чтобы противопоставить что-то стоящее всеобщей лжи и пошлости, коими насквозь пропитана наша реальность. Важно, что эта книга – голос свободного человека, сосланного когда-то в ссылку. Со временем этот голос окреп и приобрел индивидуальность. Его отчетливо слышно в общей фальши. И его невозможно ни с кем спутать, поскольку так говорит оригинал. Личность.

И все же, если бы у меня спросили, какие главные качества характеризуют Бельгера-писателя, я бы отметил терпение и труд. Жизнь испытывала его в основном на терпение. Не всякий бы сдюжил. Далеко не всякий. Мне, например, трудно осознать, как человек, прошедший все круги ада депортации, изматывающей болезни, практически лишенный детства, сумел не озлобиться, не закрыться, перенять чужую культуру, более того, абсолютно органично влиться в нее и щедро обогатить своим активным присутствием. Никто из ныне живущих литераторов не сделал столько для казахской литературы, сколько сделал Бельгер. Это мое личное мнение. Конечно, оно субъективно. Но я действительно не могу назвать человека, который бы перевел больше Бельгера. Больше и качественней – что немаловажно. Причем из того, что он перевел на русский и немецкий, есть, конечно, стоящие вещи. Но попадаетея и откровенная галиматья. Однако это уже вопросы не к нему, а к первоисточнику. Что там говорить – в казахской литературе есть блистательные

имена и есть невероятное количество пустословов. Трудно представить, что со всем этим Бельгер возился всю свою творческую жизнь. И это уже не просто адский труд, но в первую очередь терпение.

Конечно, казахи в жизни Герольда Карловича сыграли решающую роль. Он здесь вырос, пустил корни, был принят и обласкан. И все же, я считаю, Бельгер – человек недооцененный. Не потому что он не бежал, когда все рванули, а остался служить казахской культуре. И не потому, что уникален в своем владении тремя языками, на которых одинаково говорит и пишет. И не потому, что он великий труженик: издал более 70 книг, перетолмачил с казахского и немецкого двадцать пять томов, да еще и составил разных книг томов двадцать. Дома еще в портфеле лежат, ждут своей очереди готовые к изданию рукописи семи книг. Недавно вот, тоже повезло: в связи с проведением Года Германии в Казахстане собрал и издал десятитомник своих произведений. Ну а статей различных, рецензий закрытых и открытых «нашкрябал» более двух тысяч...

Все эти достоинства и вся эта непостижимая цифирь, несомненно, украсят любого. Но даже и не об этом я веду речь. Я вот о чем.

Как-то в сердцах я залепил одному печатному изданию наболевшую сентенцию: «Стариков у нас много. Аксакалов не осталось». Так вот, вы знаете, Бельгер – настоящий аксакал. Это ведь очень сложно – уметь красиво стареть. Вы посмотрите: скольких мы потеряли на этом зыбком и коварном переходе! Мало их осталось – настоящих. Тех, кто не продал свою честь за тарелку супа, не променял достоинство за разные блестяшки и побрякушки, не пошел наговор со своей совестью. Понятно, времена такие настали. У дьявола в запасе богатый арсенал. Поразительно, многие из тех, кто смог пережить испытание голодом, сломались при испытании сытостью. Сейчас в тренде холуйская мораль, вывернутые наизнанку понятия,

нравственный конформизм. Все это усугубляется вселенским хаосом, повальным невежеством, падением общечеловеческих устоев. Трудно в такой ситуации сохранять самообладание, чистоту помыслов, не впасть в уныние. В особенности, когда наваливается ощущение безысходности и одиночества. Ушли ведь многие. Ушли близкие и друзья, встречи с которыми согревали душу. Мукагали, Аскар, Калтай, Морис, Оралхан, Кадыр, Туманбай, Жумекен, Саин, Баккожа, Кеншилик, Сакен, Акселеу, Фариза... Много их, много.

Спасает, опять же, дело. Только в нем подлинные художники находят утешение. В такие моменты я хочу думать, что Герольд от слова Герой. Ведь герой – это не обязательно грудью на дзот. Есть место подвигу и в обычной жизни. Это тоже непросто. Иметь свой Голос, к которому прислушиваются думающие и совестливые люди. Не орать, когда все исходят слюной и топают ногами. Не высовываться, когда устраивают праздничную раздачу слоников. Не бить себя в грудь. Не просить. Не давать. Не брать. Вот такое вот неслышное геройство. И не ныть, пусть уже и два инсульта, и пять инфарктов...

Оно – это израненное, истерзанное сердце – многое повидало. Со многим простилось. Много пережило. И перебороло. И теперь оно болит. Оно саднит и ноет, это большое и благородное сердце. Но оно умеет работать на пределе своих сил по-немецки, быть нестигаемым и удалым по-русски. И главное, оно умеет понимать и прощать по-казахски. И быть благодарным.

Вот такая вот, понимаешь, жизнь.

2014 г.



С другом Ринатом (слева). Энгельс. АССРНП. 1938 г.



С родителями. Энгельс. АССРНП. 1938 г.



*С двоюродными сестрами. Мангейм. АССРНП.
1939 г.*



*Замес кизяка на топку. С ведром – мой отец, Мангейм.
АССРНП. 1938 г.*



Похороны бабушки. Мангейм. АССРНП. 1941 г.



*Мама (слева) с моим братом Вольдемаром Бельгером.
Мангейм. АССРНП. 1940 г.*



Мама с младшими моими сестренками Альмой и Розой. Аул. СКО. 1952 г.



С сестрами Эльмой и Альмой. Аул. СКО. 1949 г.



С одноклассниками. Аул. СКО. 1950 г.

АБИЛЬМАЖИН

1

Старик сидел на кошме и ватном одеяле у стенки между двух окон, сумрачно водил глазами по комнате, чесал заросшую сивой щетиной все еще крепкую грудь и думал свои бесконечные и неторопливые, как езда на арбе, думы. На коленях его лежал тяжелый, замусоленный, древний, как он сам, Коран в черной обложке; на низеньком круглом столике перед ним стояла большая деревянная чаша с недопитым кумысом. Старик был не в духе. Шумно, суетливо стало в последнее время в доме, а шум и суету старик не переносил издавна. Раздражало несмолкавшее шушуканье женщин в передней, где уже второй день жарили баурсаки, раздражала бестолковая возня своей же старухи, которая вдруг стала уже совсем не в меру деятельной. Один аллах знает, когда она только спит. Уснешь поздно вечером – сидит у печки и все вяжет, вяжет, только спицы перед глазами мелькают. Утром проснешься чуть свет – в передней шебуршит, казан скребет, или из угла в угол тычется, клюкой постукивает, а теперь и вовсе развернулась старая, будто не Ализу выдает, а сама замуж собирается. И чему радуется, глупая? Уедет Ализа со своим Салимом, и останутся они опять – два высохших дерева пустом доме век доживать. И Ализа, баловница, от радости прямо-таки ног не чувствует. Раньше девушки ревмя ревели, когда их выдавали замуж, а теперь... Старик глотнул из чашки. Все не то теперь. И кумыс пошел нынче не тот. Жидкий, водянистый, словно шалап: ни запаха, ни хмельной бодрости. То ли не те травы в степи растут, то ли не та вода в Ишиме течет...

Из передней донесся голос Ализы. Старик встрепенулся. Ализа – стройная, голубоглазая, с русыми золотистыми косами – подбежала к нему, прижалась щекой к его щеке, затараторила:

– Вы что так печальны, ата? Думаете, не приедет? Приедет, приедет. Вот увидите: обязательно приедет.

Старик погладил ее по голове.

– Айналайын, мед тебе в уста. Только кто знает...

– А я вам, ата, цветы принесла.

Ализа поставила пучок ромашек в стакан с водой, улыбнулась еще раз старику и упорхнула в свою комнатушку. Чудная... Каждый день, возвращаясь с фермы, цветочки носит. А цветы хороши в степи, когда вперемешку с ковылем растут, а на окне, в стакане, – уже не цветы. Обязательно, говорит, приедет... Кто знает. Вот радость. Посидели бы у круглого столика, поговорили бы о разном, о том, о сем, далеком, невозвратном. Еркин пощелкивал бы по струнам домбры, а он бы думал, радуясь встрече с сыном, чувствуя, как хорошо, тепло становится в груди. Старуха возле печки крутила бы свою прялку, Ализа влюбленно глядела бы на брата, а в передней тихо высвистывал бы свою древнюю песенку старый самовар. Хоть бы приехал...

Рядом в комнатушке застрекотала швейная машина, что-то непонятное, развеселое пела Ализа. В передней без умолку судачили старухи, шипело баранье сало в казане, потрескивал в очаге огонь. Да... Приедут завтра сваты, погостят, пошумят, потом увезет Салим Ализу, и опять опустеет, осиротеет дом. Пустынно стало на сердце старика, тоскливо. Оседлать бы сейчас коня, уехать бы в степь или походить по-над Ишимом. Да где уж... Сейчас он и на коня-то не взберется, и в седле, наверное, не усидит. Приехал бы Еркин... Старик сунул Коран под кошму, кряхтя и отдуваясь, поднялся, постоял немного, держась за спинку кровати и, осторожно переставляя негнущиеся ноги, вышел на улицу, в огород. В конце огорода у плетня росли тополя и акации, посаженные Еркином. Там, под тополями, в тени кустов, под сонным жужжанием шмелей старику всегда думалось легко.

...Зимою, после долгих, изнуряющих душу буранов и лютых морозов, от которых с сухим треском лопаются кора на деревьях, наступают вдруг ясные веселые деньки. Солнце еще с утра засветит ярко-ярко, и смотрит как-то веселей, и поднимается все выше и выше, щедро поливая золотом снежное безмолвие. Все вокруг становится сразу нарядным и праздничным. Любое горе тускнеет, бледнеет под добрым сияющим солнцем. Дети высыпают из мрачных, заваленных снегом домишек на улицу, барахтаются, как щенки, в снегу, катаются прямо с крыш на санках, фанерках, картоне, с визгом бухаются в горбатые сугробы. У колодца весь день лязгает цепь, женщины и подростки не торопясь поят скот, делятся аульными новостями. Другие, волоча за собой санки, спешат в лесок, чтобы запастись на недельку-другую дровами. Даже старухи, укутавшись потеплей, подолгу сидят в затишке возле дома или сарая. Перед воротами стрекочут, переругиваются, подпрыгивая, сороки, каркают вечно недовольные вороны, а собаки, греясь на солнце и, блаженно прищутив глаза, добродушно наблюдают за их возней, такой же мелочной и бессмысленной, как сама их жизнь. Такие дни приходят зимой редко, как праздник, как радость, и после них уже не так страшен свирепый злыдень-буран, и стужа, и ветры переносятся уже легче, как и горе после настоящей радости. Ветер утих еще ночью. Буран выдохся как-то сразу, словно выбившийся из сил баксы. Абилямжин почувствовал это ночью и сквозь сон подумал, что завтра непременно будет солнечно и ясно. Утром он накормил гнедуху овсом, подкинул ей свежего сенца с крыши, а беркута, грустившего в углу на приколе, кормить не стал. Перед охотой беркута кормить не положено. Зорче и злей будет.

Напившись чаю, Абилямжин оседлал гнедуху, посадил беркута на тугур и отправился в степь, в сторону Теренсая. Километрах в трех за аулом, там, где множество буераков сливалось в глубокий овраг, заросший по краям непролазным кустарником, камышом и кугой, водилось разное зверье. Прошлой

весной Абилямжин неожиданно наткнулся здесь на волчье логово, из которого почти голыми руками вытащил целый выводок – семерых беспомощных, слепых волчат. Волков в последнее время развелось уйма. Ночами в аулах слышали их тоскливый, голодный вой. Иногда они и днем доходили до самого магазина. Особенно лютовали они осенью. Недалеко от оврага тянулось жнивье, где водились зайцы, а в колках вокруг оврага гнездились куропатки: белые и серые. Их Абилямжин ловил силками и западнями и раздавал добычу аулчанам. Гнедуха лениво потрухивала под ним, и Абилямжин не торопил ее. Кутпан, громадный, брыластый пес, часто и преданно поглядывал на хозяина. Да, думал Абилямжин, много нынче намело снегу, месяца через два придет весна, пойдет греметь по буеракам полая вода, а там и сеять придет пора, а в колхозе почти нет семян, нет машин, нет людей. Война с германом по всему и нынче не кончится. Опять будут пахать, сеять, косить одни бабы, старики да мальчишки-подростки на отощавших за зиму коровах и быках. Вспомнился сын, Кенжебек, от которого уже полгода не было вестей. Старший погиб в первый же год войны под Москвой. Одно только письмо и успел написать домой Амиржан. Держа в руках похоронку, Абилямжин взмолился: «Уа, Алла, сделай так, чтоб хоть младшенький остался. Сбереги, сохрани его...» Все думы отца отныне были только о Кенжебеке. А теперь и от него не было писем...

Абилямжин и не заметил, как подъехал к камням в овраге. Из-под причудливой свалки разномастных валунов вырос и стоял уже много-много лет кряжистый, с толстой заскорузлой корой боярышник. На самом дне оврага из-под земли зимой и летом булькал родничок. Абилямжин слез с коня, посадил беркута на камень, привязал за ногу к дереву. Потом, проваливаясь по колено в рыхлом снегу, пошел к камышовым зарослям ставить силки на зайцев. После этого, волоча по снегу мешок, он поднялся выше по склону оврага к березовому колку, накинул на дерево петлю сети. Шурша, обсыпала его густая снежная навесь. Обмотал сетью несколько

кустов, крепко привязал второй конец к стволу сосны, чтобы не унесло сеть ветром, и насыпал из мешочка немного ячменя под кустом для приманки. Куропатки безнадежно запутывались в сети: в морозы они зябли и становились тяжелыми, неповоротливыми.

Беркут, мрачно нахохлившись, терпеливо ждал на камне. Кутпан рыскал в кустах и вдруг взволнованно тьякнул. В кустах раздался треск, снег шумно посыпался с ветвей, гнедуха запрядала ушами. Абильмажин, усаживаясь в седло, оглянулся и в этот же миг увидел, как над самым оврагом ярко промельтешил на белом снегу огненно-красный хвост лисицы. Он ударил гнедую, мигом выбрался из балки. Кутпан, взвихривая снег, гнал лису к открытой поляне подальше от кустов и оврага. Абильмажин зычно вскрикнул и сорвал с беркута колпак...

Потом он затолкал лису в мешок и направился вдоль оврага к Ишиму. Надо было подыскать местечко для тала: в двух-трех соседних домах топка была на исходе, а заботиться некому. Сухой, с руку толщиной тал и горит ярко, и греет хорошо. Там, в зарослях, можно и зайчишку подцепить. Полянку с крупным талом Абильмажин выбрал быстро. Кутпан между тем шарил в кустах и нетерпеливо повизгивал: все вокруг пахло длинноухими. Вдруг прямо перед его носом прошмыгнуло сразу три косых. Кутпан оторопел, растерянно глянул на хозяина. «Ну как тут быть?» – спрашивали собачьи глаза. Абильмажин усмехнулся. Кутпан, должно быть, принял какое-то решение, ринулся в кусты и вскоре выгнал оттуда крупного пушистого беляка и с радостным лаем погнал его к противоположному голому берегу Ишима.

– Кюйт!.. Кюйт!.. – резко вскрикнул Абильмажин, снимая колпак с беркута. Беркут взвился, взмахнул раза два крыльями и камнем ринулся на зайца. Абильмажин быстро подскочил к беркуту, высвободил из его когтей дрожащую белую тушку. Приторочил зайца, кряхтя, залез на лошадь, позвал птицу. Беркут тяжело взлетел, уселся на толстую рукавицу старика. Абильмажин напялил ему на голову колпак.

...Короткий зимний день был на исходе. Солнце к вечеру потускнело. Недовольное, обиженное, оно висело над лесом, цепляясь за верхушки деревьев. Казалось, чей-то гигантский глаз хмуро смотрит на этот безмолвный, скованный морозами и снегами мир. Пробирали сухой, колючий ветер. Зазмеилась, шурша, поземка. Воздух от мороза стал ломким. «Забуранит, видно», – подумал Абилямжигин и тронул коня. До аула было недалеко. Надо было спуститься к Ишиму, переправиться по льду через речку, а там до дому рукой подать. Конь мотал головой, шел не торопясь. Рядом, не отставая, трусил Кутпан. Абилямжигин устал и немного продрог. Сейчас он придет домой, старуха кинется к самовару, потом стянет с него шубу, тяжелые сапоги, напоит горячим густым чаем. Он согреется, потом освежает зайца, лису, накормит беркута и Кутпана свежинкой и ляжет на подстилку возле печки, укрывшись тулупом, пока старуха будет варить зайчатину. Он будет лежать и думать, думать о своем Кенжебеке. Старуха зажжет коптилку, сядет рядом, будет крутить прялку да вздыхать. За окном начнет беситься пурга, швырять снегом в окно, а в доме будут царить полумрак и тишина.

Солнце цеплялось-цеплялось за деревья, но не удержалось, соскользнуло и скорбно выглядывало теперь из-за редкого колка. Быстро потемнело. Над Ишимом навис мрак.

Уже в надвигавшихся сумерках Абилямжигин увидел что-то черное,двигающееся. «Волк!» – подумал он и пристально посмотрел еще раз. «Нет, это не зверь». Беркут тоже был спокоен. Черное пятно медленно приближалось. Старик поехал навстречу и уже через несколько шагов ударил гнедую камчой. По едва заметной тропинке, по которой в зимнее время ездили редкие путники из Жана-жола в Жана-турмыс, одиноко брел маленький человек, закутанный в большой полосатый платок и в громадных – не по ногам – валенках. Спотыкаясь и скользя, он упрямо шел и шел, не оглядываясь по сторонам. Что-то ужасающе безразличное было во всем его облике. Он даже не

заметил ни всадника, ни собаку, не крикнул, не позвал, а все так же с тупым безразличием брел по тропинке. Абилямжин испугался.

– Эй, чей будешь?

Человек остановился, чуть поднял голову.

– Куда идешь?

Человек не шелохнулся. Кутпан сел перед ним и, склонив голову набок, с любопытством разглядывал странного путника.

– Из какого аула? Говори же!

Человек зашевелился, приподнял руку из-под шали, неопределенно махнул вперед.

– Э, да ты, может, немой? Может, язык примерз? Ой-бой, совсем ооченел. А ну лезь на коня.

Человечек продолжал стоять.

– Ну, садись же! Дай руку.

Человечек с трудом вскарабкался на лошадь. Абилямжин снял длинный кушак, привязал мальчонку к себе, чтобы он не свалился, и заспешил домой.

– Эй, байбише, гостя тебе привез! – крикнул он еще в сенцах. – Готовь скорее свой чай.

Старуха подкинула в самовар уголька из печки, посмотрела на гостя, но из приличия ни о чем не спросила.

Абилямжин посадил беркута в угол, прикрепил кольцо на его ногах к цепочке и стал раздевать гостя. Сбросил шаль, потом стянул не то пальтишко, не то пиджак, грязную, рваную ушанку и обомлел: перед ним в громадных валенках стоял светловолосый, лопоухий, худющий мальчонка лет восьми-девяти с огромными, словно застывшими глазами.

– Эй, ты не казах, что ли?! – вырвалось у старика.

Мальчик не ответил, уставился на огонь. Глядел он отрешенно, безучастно.

– Казах, не казах – не все ли тебе равно?! – накинулась старуха на Абилямжина. – Видишь, совсем замерз мальчишка. Кел, кел, айналайын...

Она подтолкнула мальчика ближе к огню, усадила на козлиную шкурку, накинула на его плечики свою пуховую шаль, потом подала кусок лепешки. Мальчик

взял лепешку, начал безразлично жевать, все так же отрешенно глядя на огонь.

Абильмажин переминался с ноги на ногу, недоуменно кряхтел, смотрел то на гостя, то на хлопотавшую возле него старуху. Мальчик неторопливо съел лепешку, выпил миску айрана и вдруг вздрогнул, словно вспомнил о чем-то. Он тут же вскочил, напялил на себя свое тряпье и кинулся к двери.

– Куда?! – в один голос крикнули старик и старуха. Мальчик не ответил, выскочил на улицу. Абильмажин бросился вдогонку. Мальчик вырывался, что-то часто-часто залопотал, повторяя одно и то же слово: «Эльза, Эльза»...

– Эльза? Какой Эльза?

Мальчик и старик не понимали друг друга. Мальчик заплакал, а Абильмажин, держа его за руку, тщетно старался вспомнить все ему известные русские слова.

– Какой Эльза? Какой аул? Мамка где?

Он повел мальчика к старику Жукену, который не раз гонял скот в город и потому лучше всех в ауле говорил по-русски. С его помощью и выяснили наконец, что у мальчика мамы нет, а дома, в Жана- турмысе, осталась одна его маленькая сестренка. Тогда Абильмажин решительно сказал:

– Твой старуха сиди, а мой поедит и маленькой баранчук-кизимошка суда таскайт.

Уже ночью под вой бурана Абильмажин привез закутанную в шубу маленькую девочку. Проснулась она только утром в незнакомом доме рядом с братом.

Так старик со старухой обрели сразу и сына, и дочку. Эрих – его вскоре в ауле стали звать на казахский лад Ериком или Еркином – рос смышленным, но не по годам серьезным и молчаливым. Он скоро привык к аулу, к своему дому, быстро научился говорить по-казахски, подружился со своими сверстниками, полюбил старика и старуху, которых называл ата и аже. Но порой становился задумчив, нелюдим, уходил в себя. Старик понимал, что мальчик тоскует о чем-то, что ему, старику, было неизвестно, непонятно. Осенью Ерик пошел в школу. Эльзу старуха назвала на другой же день Ализой.

Девочка так привязалась к старухе, что и ночью спала с ней, и днем не отставала ни на шаг, всюду ходила следом за ней, цеплялась за длинный бабушкин подол. Старуха сшила ей маленькую плюшевую безрукавку, пришила несколько серебряных монеточек.

Осенью пришло извещение, в котором сообщалось, что Кенжебек Абильмажинов пропал без вести. Это было непонятно. До сих пор никто в ауле без вести не пропадал. По-разному толковали люди, а Абильмажин решил, что пропал без вести – еще не значит погиб. А раз не погиб, то живой человек не может не вернуться. И верно: через год после войны неожиданно вернулся Кенжебек. Зарезал тогда на радостях Абильмажин корову и закатил той на все окрестные аулы. На Кенжебека было больно глядеть: он был невероятно худ, часто забывался, вздрагивал при каждом шорохе. Ночами натужно кашлял, ворочался, бормотал что-то бессвязное, без конца выходил во двор. Есть Кенжебек почти не мог, и после еды каждый раз из носу шла кровь. Абильмажин со старухой ухаживали за ним, как за ребенком, молились аллаху, надеялись, что в родном ауле сын их постепенно поправится. Иногда по просьбе матери Кенжебек рассказывал про свои мытарства в плену. Это были жуткие рассказы. Старуха слушала и всхлипывала, а Кенжебек, покашливая, рассказывал обо всех ужасах тусклым, обыденным голосом. Но, видно, не дошли до аллаха жаркие молитвы стариков. Весною перед вскрытием Ишима Кенжебек умер. Абильмажин зарезал кобылу – другой скотины не было, – созвал всех стариков и старух из окрестных аулов, справил поминки. Тогда-то и появились первые седины в бороде Абильмажина. Он стал еще более молчаливым, часто уходил на охоту, но возвращался с пустыми руками. Все понимали, что не на охоту ходил старик, а просто в степь, чтобы побыть наедине со своим горем. Потом старик смирился и, качая на коленях Ализу, благодарил аллаха, что тот послал им такую дочку и такого сына, как Еркин.

Учился Еркин хорошо. Старик любил ходить на родительские собрания, чтобы услышать

одни и те же слова: «Сын старика Абильмажина Ерик дисциплинирован и учится отлично». «Сын Абильмажина», – говорили все в ауле. И от этих слов Абильмажин молодец...

...«Хоть бы приехал, – думал старик. – Полегчало бы. А то – чует душа – недолгий уже жилец я на земле. Все чаще к сердцу подкатывает холод, а ноги совсем ослабли, задубенели, не ходят. Верно говорят: в молодости душа человека за спиной, а в старости – впереди. Всего опасаться стал. И то сказать: пора уже, пора. До половины восьмого десятка добрел». – Старик уронил голову на грудь и погрузился в дрему.

5

За Жана-жолом Еркин попросил таксиста остановиться: до аула оставалось километров семь. Он сошел с насыпи, оглянулся вокруг, вздохнул всей грудью и зашагал в сторону Ишима. Был тихий летний день. Солнце стояло высоко. Вокруг без устали звенели кузнечики, порхали по цветам белокрылые бабочки. Внизу, вдоль реки, темнел тугай. Еркин шел легко, не чувствуя тяжести туго набитого всякой всячиной рюкзака и дорожного чемоданчика. Сердце его билось радостно, губы невольно растягивались в улыбке. Он с трудом удерживал себя от сумасбродного желания разуться и побежать по траве. Прошагав километра два, скинул рюкзак, поставил чемоданчик и упал навзничь на траву, запрокинув голову. В оглушительной тишине, непривычной после шумного города, где-то очень высоко заливался жаворонок. На грудь прыгнула зеленая, с толстыми ляжками кобылка, выпучила глаза, подергала хвостиком и сиганула прочь. Над головой кружились, трепеща прозрачными крылышками, стрекозы, по рукам деловито поползли муравьи. Он засмеялся и начал, как безумный, кататься по траве.

У тропинки, тянувшейся по-над обрывистым берегом Ишима, Еркин остановился и долго стоял, понуро опустив голову. Вот здесь в метельную зиму сорок третьего года ему и встретился старик Абиль-

мажин. Это была самая трудная пора в его жизни. Жили они в маленьком, утопавшем зимой в снежных сугробах ауле. Было холодно, голодно и до жути одиноко. Мать – тихая, хрупкая женщина вечно всех и всего боялась и всегда грустила. После смерти отца мать и вовсе осунулась, целыми днями не выходила из дома. Распродала и выменяла на продукты все, что только можно было, и однажды, когда в землянке стало совсем пусто, она вдруг сорвалась в город, в далекий Кзыл-жар. Было это зимой... Всю ночь проплакала, а утром растопила печку, сварила полный чугунок картошки, накормила его и четырехлетнюю Эльзу и сказала, что поедет в город, устроится на работу и денька через три-четыре приедет за ними. Эрих был уже большой, все мог делать сам: и картошку варить, и за сестренкой ухаживать не хуже матери. Ушла мать на грейдер, надеясь на попутной машине добраться до города. И больше не вернулась... До сих пор он ничего не знает о ее судьбе. Поздние розыски тоже ничего не дали. Дней десять томился он с Эльзой в пустой и стылой землянке. Утешал, забавлял, как мог, сестренку, варил картошку, топил печку, пока еще было чем топить. Потом стало страшно. И однажды, когда Эльза, наревевшись, уснула, он закрыл дверь и отправился в Жана-жол, где жили знакомые. Зачем пошел к ним, он и сам толком не знал. Просто больше некуда было идти. Он даже и знал их плохо и не был уверен, живут ли они вообще там. У лесочка перед аулом его остановили собаки. Три громадных, лохматых пса окружили его и не пускали ни на шаг. Пока он стоял, они мирно сидели перед ним, но стоило чуть шевельнуться, они тут же поднимались и скалили зубы. Еркин долго топтался на снегу, плакал, кричал, но вокруг не было ни души, а собаки не собирались уходить. Когда начало смеркаться, он поплелся назад. Собаки еще долго бежали следом. Потом много лет они преследовали его во снах, а тот день в памяти остался на всю жизнь...

Воспоминания расстраивали. Еркин спустился к Ишиму, к Каменному броду, разделся. Летом река на этом месте сильно мелела, и ее можно было переходить,

закатав штанины до колен. Конечно, для этого нужно было знать место брода. Ишим – река не широкая и не глубокая, но капризная и строптивая. Зевак она не любит. Местами течет лениво-величаво, местами – озорно, буянисто. Стоит свернуть на два шага в сторону от брода, можно угодить в ямину, а то и вовсе закрутит, понесет, что опомниться не успеешь. Раздевшись, он уселся на мягкий горячий песок и опять задумался...

Забрал их тогда к себе Абильмажин. Там, в ауле, он стал Еркином, а Эльза – Ализой. Быстро привык он к новой жизни. Но иногда бывало тоскливо. Вспоминалась порой другая жизнь, смутная и далекая, как сон. Вспоминался отец, рослый, светлоглазый, веселый человек, который вдруг неожиданно непостижимо быстро исчез, ушел из жизни, ушел навсегда, оставив его и маленькую Эльзу. Вспоминалась мать. Он был бесконечно благодарен Абильмажину, его жене, всему аулу, всем людям, которые сделали ему много добра и никогда не обижали, и все же чего-то недоставало, не хватало.

Напряженно глядя под ноги, перешел он брод, поднялся на раскаленный каменный выступ. Долго любовался причудливым нагромождением камней у самого берега. Из-за этих валунов-громадин и назвали, может быть, еще тысячу лет назад, этот брод Тас-откель (Каменный брод). Здесь в детстве он пропадал иногда целыми днями с мальчишками. Рыбачил, сидя на камне и свесив ноги в воду, таскал великое множество чебаков, окуней, пескариков. На том берегу, у кустов, под которыми вода казалась черной и густой, что-то гулко ударило, хлопнуло, и по воде разошлись круги. Он вздрогнул, почувствовав знакомое нетерпение рыбака-удильщика. Эх, была бы там жерлица!.. Это наверняка щука гналась за чебаком... Наловив с полведра мелочи, ребята, бывало, варили их в старом, помятом, черном от копоти котелке, и потом подолгу ели часто полусырую рыбу, без хлеба и соли. И не было тогда на свете вкуснее еды.

Много было тогда рыбы в Ишиме, а рыбаков – мало. Это сейчас на каждого пескаря по два рыбака

приходится. А тогда – приволье. Из взрослых один Абильмажин ставил сети и вентерю. Ну и подкармливал пол-аула летом рыбой, зимой – зайчатиной и дичью. А из этих камней Абильмажин делал дивные ручные мельницы. Без ручной мельницы в войну не обходился почти ни один дом. Сначала Абильмажин долго выбирал постав, старательно обтачивал его, обтягивал железным обручем, прикреплял к деревянным плахам, а потом приступал к жернову. Аккуратные, удобные получались мельницы. Но крутить их было ой как нудно! Крутили их в основном дети и старухи. Крутишь, крутишь часами, по горсточке подсыпашь зерно в дырку жернова, и в плечах уже ломит, и в глазах рябит, а из желоба еле- еле сыплется мелкая мягкая мука. Так надоедало крутить, что ребята незаметно подкидывали зерно курам, лишь бы скорее кончить, отвязаться от маторной крутилки. И поныне эти мельницы валяются у каждого где-нибудь в сарае. Кто знает, может быть, уж навсегда отслужили они свой век. Дай-то бог...

Он оделся и пошел тропинкой, извивающейся между тугаями. Здесь было душно, пахло сыростью, гнилью, прелыми листьями. Над шиповником кружились шмели, рубиново поблескивала стеклянными бусинками волчья ягода. Черемуха отцвела, видно, недавно: мелкие-мелкие ягодки висели зелеными гроздьями. В кустах, обвитых цепким зеленым хмелем вперемежку с паутинками, бродили коровы. Благодать здесь летом...

Чего только не делал Абильмажин в те годы! И пахал, и сеял, и горячее на быках возил, и сено для вдов косил, и сапожничал, и посуду лудил. И все это делалось спокойно, безропотно, без суеты. А ведь было тогда ему за шестьдесят...

Дорожка круто пошла вверх и вырвалась из душных объятий тугая. Здесь был широкий и ровный луг, окаймленный густо разросшимся тальником. Трава росла выше колен. Далеко внизу виднелась река. У обрыва вода казалось темной, дальше, к середине, она постепенно светлела, становилась то лиловой, то зеленоватой, то серебристой, а к противоположному берегу снова темнела. У Каменного брода вода ярилась,

с шипением билась о валуны, швыряла на берег клочья пены. На этом лугу Абильмажин каждый год косил сено. Рано утром, еще до восхода, приходили они по росистой траве к дремавшему еще под туманом Ишиму и закидывали приготовленные с вечера удочки. Сначала поплавок долго молчал, мягко покоясь на застывшей воде, потом на мгновение вздрагивал и резко уходил ко дну. И тогда наступали самые счастливые, блаженные минуты. Все на свете забывалось, кроме беспокойного поплавка, туго, до звона натянутой лески и упругих, крутошеих окуней да серебристых, спокойно-женственных красноперок. Клев по утрам всегда отменный. Абильмажин, не торопясь, нанизывал рыбок на кулан и пускал в воду. Потом, когда солнце поднималось на длину аркана и просыхала роса, Абильмажин уходил косить. Сначала он долго точил литовку, и над Ишимом, отдаваясь эхом, звонко щелкали резкие звуки: жжик-жжик-жжик. Абильмажин косил, а Еркин сидел под обрывом и следил за жерлицами, время от времени меняя мальков на крючках. Солнце поднималось все выше, разгоняло туман над рекой, вода посередке, где было мелко, начинала отливать золотом, от песка поднималось удушливое тепло, и клев прекращался. Тогда он, еще раз проверив жерлицы, поднимался на обрыв, шел к Абильмажину, и они завтракали под черемухой. Абильмажин смотрел на луг, подсчитывал в уме, сколько здесь нынче накосят сена, молчал. Молчал и Еркин. Потом старик молился, подстелив под колени ветхий полушубок, а он уходил копать червей и ловить кузнечиков. На них хорошо шли чебаки. Да... Если подумать, здесь, на берегу Ишима, прошли самые счастливые дни его жизни. На всю жизнь остались в сердце эти луга, задышающиеся от разнотравья, тугаи, тишина над древним Ишимом, то тихим и ласковым, то грозным и шумным. Ему часто казалось, что с этой реки и началась его жизнь на земле.

Однажды на этом месте они поймали щуку, о которой в ауле рассказывают до сих пор. Хорошо, что Абильмажин оказался тогда поблизости, иначе утащила бы его щука в Ишим. Уже на самом берегу щука

сорвалась, но Абильмажин, изловчившись, оседлал ее и засунул обе руки под жабы. Щука – большущая, зеленая, скользкая – яростно била хвостом, вспахивала брюхом песок, старалась сбросить Абильмажина и вырваться из его ручищ. И ускользнула бы, если бы он не оглушил ее. Старая была щука. Весом больше пуда оказалась. На щучий бесбармак собрался весь аул. А из ее хребта он сделал для маленькой Ализы ожерелье. И все девчонки и мальчишки долго завидовали ей: таких игрушек в ауле не было ни у кого. Тропинка обогнула старицу, заросшую по краям ряской и кувшинками, и спустилась в долину. Там паслись овцы. Чабан, сидя на низкой, толстобрюхой лошадке, глядел на дорогу. Заметив человека, издали закричал:

– Эй! Есть у тебя закурить?

По голосу Еркин сразу узнал Сакена. Чабан, подгоняя пятками лошадку, подъехал и разулыбался, обнажив желтые прокуренные зубы.

– Эй, эй... Еркин? С неба, что ли, свалился?

И, забыв про курево, повернул лошадку, поскакал к аулу.

– Стой! Куда понешся?

– Старика обрадую. Суюнши попрошу. Он тебя ведь ждет не дождется.

– Не надо, Сакен! Умоляю, не надо! Я сам тебе суюнши дам.

Сакен остановился, повернул назад.

– А что дашь?

Глазки его стали узкими-узкими, а рот растянулся до ушей.

– Что хочешь бери.

– Что у тебя там в торбе?

– Да всякие конфеты, печенье, чай.

– А щай-май, кампит-мампит оставь себе. А вот шляпу дай. Она мне пригодится.

– На, шайтан с тобой! Знаешь, я сам хочу обрадовать ата. Ведь три года не был.

– Да... – задумчиво тянул Сакен, примеривая шляпу.

– Сам-то большой начальник стал?

– Большой. Видишь, шляпу ношу.

Сакен сипло захохотал.

– Эге! Теперь шляпа моя, и начальник – я. Не только бараны и козы – волк их раздери! – слушаться будут, хе-хе-хе...

Вспомнив про коз, он оглянулся и обомлел. Козел, низко склонив голову, ринулся в тугай, а за ним потянулась вся отара.

– О, чтоб вертячка на тебя напала! – завопил, колотя лошадку, Сакен. – Как я потом из тугая вас выгоню, проклятые...

Еркин засмеялся и пошел дальше.

Когда он выбрался из оврага, сердце его заколотилось: прямо перед ним, будто на ладони, простирался родной аул. Белели дома, сверкали под солнцем покрытые шифером крыши. Из аула доносился скрип колодезного журавля. Еркин сразу нашел свой дом. Тополя, посаженные им, так вытянулись, выросли, что казались выше школы и были видны далеко-далеко вокруг. Ниже аула, на пустыре, где он в детстве ставил капканы на сусликов и гонял с ребятами мяч, сейчас появились две новые улицы. Растянулся, разросся аул: теперь тот буерак оказался совсем рядом с аулом. В том буераке под одинокой осиной он готовился с Багирой к выпускным экзаменам. Как он тогда волновался, мучился, не смея сказать ей, этой черноглазой смуглой девчужке, от прикосновения мизинчика которой у него сладко кружилась голова, всего три слова. Только о них, об этих трех таких простых словах и о той, кому они предназначались, он тогда и думал. Но так и не сказал. Потом уехал, Багира вышла замуж, одинокую осину кто-то спилил...

У знакомого плетня, где теперь пышно разрослись акации, Еркин остановился. Под топодем в уютном затишье кустов сидел Абилямжин и глядел куда-то вдаль.

– Ата, – тихо позвал он.

Старик вздрогнул, оглянулся и начал по привычке чесать грудь.

– Ата-а!

Старик выпрямился, нахмурил кустистые брови.

– Кто это? Нашел с кем баловаться...

Тогда Еркин перепрыгнул через плетень и кинулся на шею старика.

– Ата-а-а...

– Эй, эй. Ты, ты... – забормотал старик. – Сынок мой... Еркинжан мой... Как ты, как ты?

– Здравствуй, ата.

– Здравствуй, здравствуй, сынок... – старик хотел привстать, но не смог. – А Ализа, шалунья наша, надумала... это... замуж выйти...

У старика вдруг задрожала борода. Он сильнее прижал голову сына к груди и стал дрожащей рукой гладить его по волосам.

Со стороны дома по огороду, прямо по картошке, неслась как угорелая, раскинув руки, Ализа и кричала на весь аул:

– Е-е...рки...и...и...ин!..

Вечером, когда уже разошлись все гости, они остались одни. Старуха с покрасневшими глазами сидела у печки и крутила свою прялку. Рядом на корточках примостилась Ализа с пышным шотландским шарфом на плечах и, не отрываясь, смотрела на брата. Еркин, улыбаясь ей, поигрывал на домбре. В передней тоненько выводил свою немудреную песенку самовар. Абилямжин молчал, теребил бородку и думал о том, что все-таки он счастлив, что счастье, оно хоть и трудное, а простое, бесхитростное, как сама жизнь.

1973 г.

ИЮЛЬ ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО

В большом, заставленном обшарпанными шкафами, кабинете майора Шевцова было сыро и сумрачно. Плотный яд разросшихся акаций окружил неказистое двухэтажное здание областного управления МВД. Опять заладил дождь. По окну струились грязные потеки. Майор Шевцов походил взад-вперед в глубине кабинета, стараясь не глядеть на тщедушного, бледного юношу у двери. Майор досадливо хмурился, подходил к окну, молчал. Его раздражал этот упрямый юнец-спецпереселенец. Битый час толковал он ему, что не может, ну никак не может дать разрешение на столь длительный выезд, да еще не куда-нибудь поблизости, ну, скажем, в соседний район, а аж в самую Алма-Ату, и все без толку. Долдонит одно и то же: «Я должен учиться. Я обязан учиться. У меня просто нет... поймите же... нет другого выхода». И выговор какой-то странный, нажимает на «о», вытягивая и округляя губы, точно окунь на крючке. Видно, волнуется, голос дрожит, щеки покрываются пятнами. А сам хлипкий, хворый.

Да-а... редкий случай. Нечасто спецпереселенцы обращаются в областную комендатуру с такой просьбой. Многим из них и в голову такое не приходит – учиться в высшем учебном заведении. Да что там... и десятилетку-то немногие из них заканчивают. Все эти годы курс был иной. Кончил пять-шесть классов, малость окреп, ну и хватит, довольно, айда на механизаторские курсы неподалеку от места проживания, в лучшем случае – ФЗО. И никто не возражал, все с этим смирились. Немцы-переселенцы вообще на редкость покладисты и послушны. А этот

окончил школу едва ли не с медалью и возомнил о себе бог весть что. Высшего образования, видишь ли, захотелось. Майор искося бросил на юнца взгляд и поморщился. Надо же... повис на костылях, того и гляди свалится прямо у порога. Нос заострился, уши горят, губы дрожат. Кажется, вот-вот от обиды заплачет. Только он-то, комендант Шевцов, тут при чем? Не он ведь эти порядки установил. Значит, так и надо. Стало быть, заслужили. Не положено – и все тут! Эдак завтра все спецпереселенцы захотят учиться, всем давай разрешение на выезд. А сколько их в области?! Пруд пруди в каждом районе, в каждом селе и ауле. Нет, пусть сидят на своих местах и работают. Так проще, удобней. Всякий на виду.

– Ну, куда ты поедешь, если у тебя даже нет вызова?!
– решил майор Шевцов напоевал сразить упрямец-спецпереселенца.

– Какого вызова?

– Из института!

Юноша переставил, поправил под мышками костыли, побледнел еще сильнее, достал из походной сумки, висевшей на плече, несколько писем, протянул их:

– Вот, вот!

– Что это?

– Прочитайте...

Голос юноши дрогнул. Кадык на тощей шее дернулся вверх-вниз. Майор Шевцов, хмурясь, вынул из конверта бланк с печатью, прочел: «Казахский государственный педагогический институт имени Абая». Извлек письмо из второго конверта: «Институт иностранных языков». Покопался в третьем конверте: «Казахский государственный университет им. С. М. Кирова». Все письма были лаконичные и схожие по содержанию. «На ваш запрос отвечаем, что вы имеете право учиться в любом высшем учебном заведении Советского Союза... при наличии разрешения органов МВД».

– Но это же не вызов! – Майор с раздражением отпихнул от себя официальные извещения.

– Конечно! – Юноша скривился. – Однако

главное сказано ясно: имеете право учиться в любом вузе Советского Союза. Вызов будет при наличии разрешения органов МВД. Вот и дайте разрешение!

– Но я же тебе объяснил по-русски: без вызова из института мы разрешения на выезд давать не можем.

– А институт не может дать вызов без разрешения органов МВД. Как же мне быть?

Шевцов отвернулся к окну, забарабанил пальцами по подоконнику. «Как быть?.. Как быть?» Прав этот упрямец: получается заколдованный круг. Иван кивает на Петра, а Петр на Ивана... Но только не ему, майору, разорвать этот круг. В инструкции все изложено ясно. А он обязан придерживаться инструкции. Пусть спецпереселенец сам что-нибудь придумает, исхитрится достать вызов из института, и тогда он, майор Шевцов, тотчас выпишет ему желанное разрешение, лишь бы по прибытии к месту назначения спецпереселенец встал на учет в местную комендатуру. Но этот упрямец и слышать ничего не желает...

– Трудную ты мне задал задачку, – майор попытался улыбнуться, но вместо улыбки получилась гримаса. – Надо было тебе, видно, с этим вопросом обратиться куда-нибудь повыше.

– Повыше?! – восторженно воскликнул юноша. – Так я написал!

– Кому?

– Министру внутренних дел товарищу Круглову. И еще – товарищу Ворошилову.

– Вон как?!.. И получил ответ?

– Я – нет, а в райУМВД бумага пришла.

– И что там сказано?

– Я не читал. А по словам Волченко якобы сказано: «На общих основаниях».

– Что «на общих основаниях»?

– Учиться, надо полагать...

Майор Шевцов задумался. С этим юнцом следует, пожалуй, ухо держать востро. Он, оказывается, строчит во все инстанции. Интересно, сам строчит или кто-то его направляет? В тех краях, в аулах Приишимья, немало административно высланных. Может, кто-нибудь из них и булгачит юнца, подбивает на дерзость? Скорее всего, так. Иначе откуда бы у выпускника

аульной школы, да еще казахской, столько прыти? Ишь ты, и депутатам пишет, и в правительство пишет, и в институты пишет. И на сталинскую конституцию без конца ссылается. Грамотей!..

– Слушай, а почему ты сразу в три института написал? Что, сразу в трех учиться намерен? Или тебе все равно, где учиться?

– Нет, не все равно. Мечтал учиться в институте международных отношений. Но мне объяснили, что там у меня... – юноша опять усмехнулся, – никаких шансов. Даже высмеяли. И я решил стать языковедом или литератором. Как уж получится.

– Понятно... Пишешь небось?

– Да, так... заметочки, репортажи... В районной, областной газетах иногда даже печатаюсь.

– Вот как?! А я что-то твоей фамилии не встречал.

– Ну, я ведь пишу по-казахски. И под псевдонимом.

– Да-а?! А почему под псевдонимом?

– Ну... – юноша чуть замялся. – Подпишешь: Карлсон – не печатают. Подпишешь: Карлыбаев – все проще.

– Надо же!..

Майор посмотрел на часы. Юноша это заметил, сильнее стиснул костыли, сжал губы. Он уловил в голосе майора нотку сомнения, даже какую-то заинтересованность, и вообще успел приглядеться к нему. Коменданту, должно быть, было под сорок, плотный, кряжистый, с короткой стрижкой. В усталых глазах чудилось сочувствие. Юноше показалось, что здесь его поймут или – по крайней мере – могут понять, а потому надо стараться затянуть беседу, проявить терпение и упорство, и тогда этот майор, в душе которого закрались сомнения, наверняка не устоит, посочувствует, сдастся, сжалится и даст разрешение. А там... Что будет потом, о том сейчас не думалось. Первое и главное препятствие – заручиться разрешением облУМВД на выезд. Клином сошелся белый свет на этом разрешении. Нет, он не выйдет отсюда, пока не добьется своего, пока его не вытолкнут силком из кабинета. Больше ведь некуда обращаться, и никто ему больше не поможет. Правда, учительница

Мария Петровна посоветовала ему на худой конец обратиться еще в обком комсомола. Конечно, это уже больше для утешения, так, соломинка для утопающего, ведь комсомол не занимается спецпереселенцами, но кто знает, вдруг там хотя бы выслушают да походатайствуют. Даже представить себе невозможно, что он будет вообще делать, если вся его надежда потерпит крах.

– А что с ногой?

– Тэбэцэ костей.

– Давно?

– С двенадцати лет.

Шевцов вновь подошел к окну. Да-а... жалко беднягу. «Поймите же... нет у меня другого выхода...» Он, пожалуй, прав. Какой тут, к дьяволу, выход? На комбайн, на трактор с костылями не сядешь. А какая еще в ауле работа? Таких можно б было, пожалуй, и снять с учета. Сделать исключение. Но закон есть закон. Сделаешь раз исключение, дашь одному поблажку, и все – пошло-поехало. Пойдут сплошные исключения. А Указ 48-го года не отменен. И сказано в нем предельно ясно: «высланы навечно». Да, именно так: на-веч-но! За самовольный выезд – двадцать лет каторги. Как его, такого, на каторгу? Околеет на первом же этапе... Ну что же с ним делать?..

Кудлатые тучи клубились над городом. Издалека доносились раскаты грома. Дождь хлестал в окно, стекал с крыши мутными ручьями.

– Вот что... Гарри. – Майор подошел к юноше, пристально уставился на него. Тот замер, вытянулся между костылями. – Разрешения дать тебе не могу. Пойми: не мо-гу. Не имею права.

– Но... я... я... – У юноши опять задрожали губы, щеки запали, в глазах блеснули слезы.

– Подожди. – Майор направился к столу, отвернулся. Наступила тягостная пауза. Понуро опустил голову комендант Шевцов. С усилием сдерживая слезы, обреченно повиснув на костылях, застыл, замер юноша-переселенец.

За окном неистово хлестал ливень. От грома

сотрясилось старое кирпичное здание областного УМВД.

– Давай сделаем так... – глухо донесся сквозь шум дождя голос майора. – На свой страх и риск... ты понимаешь? – я выдам тебе разрешение на три дня. Так сказать, по личным делам. Понятно, что за три дня ты в лучшем случае только доберешься до Алма-Аты. Но больше не могу. Только три дня. Приедешь – сразу встань на учет. Сразу. Иначе и меня подведешь, и тебе будет худо. Адрес комендатуры в Алма-Ате – Пролетарская, 10. Запомни. Встань на учет, объясни все и сдавай свои экзамены. Вдруг повезет...

– Спасибо, спасибо... – залепетал юноша, еще не поняв все толком.

– Ладно... За разрешением зайди завтра, часов в десять. Я все подготовлю. Заявление и разрешение райУМВД оставь мне. Вот так. Все!

– Спасибо, спасибо... До свидания... Завтра в десять?

– В десять...

Гарри вышел из кабинета коменданта Шевцова, постукивая костылями, дочикался до конца узкого, темного и гулкого коридора с шаткими скрипучими половицами и поспешно опустил на скамейку у входа. Его шатало, подташнивало; нога точно одеревенела, руки дрожали. Он боялся, что выронит костыли и грохнется возле здания облУМВД.

Дождь унялся. В лужах вздувались и тотчас лопались пузыри. В просветах туч струились солнечные лучи. Гарри положил рядом костыли, поудобнее пристроил больную ногу, откинулся на спинку скамейки. В голове царил сумбур. Неужели ему повезет? Если завтра он получит разрешение на выезд, то он не станет возвращаться в аул, даст Оле телеграмму и тотчас отправится поездом в Алма-Ату. А там... там все образуется.

Он добрел до городского сада, съел два пирожка с ливером, запил морсом. Все было ему здесь внове – афиши, ларьки, тир, танцплощадка, аллеи, посыпанные красным песком, толпы возле пивнушки, громкий, раскованный разговор. В углу парка, под навесом,

разношерстная компания азартно забивала «козла».

К вечеру, вконец усталый, он постучался в ворота старого Хамзы. Почти все, кто из Кызыл-ту наведывался в город, останавливались в этом доме неподалеку от горсада. И аксакал Хамзеке радушно принимал всех, никому не отказывал в ночлеге. Хозяйка, грузная, молчаливая старуха в темном плюшевом камзоле и высоком белом тюрбане на голове, была родом из Кызыл-ту, но давным-давно, в год повального джута, каким-то образом перебралась в город, далекий Кызылджар, который в представлении простодушных земляков-аульчан казался едва ли не обетованной землей. В родной аул она с тех пор наведывалась редко, однако была в курсе всех событий и любила подолгу, обстоятельно расспрашивать каждого постояльца об аульном житье-бытье. Когда стало известно, что Гарри собирается в областной центр, аульчане в один голос посоветовали непременно остановиться у почтенного Хамзы и Балым-апа. «Ойбай, какой может быть разговор?! Как родного встретят! Ну какой же ты чужой, если из одного аула. Так ты же наш, из рода Атыгай. Так что, зайди и скажи: «Ассалаумагалеюкүм, ата! Я из Кызыл-ту» – и все. Как не знает? Наверняка кто-нибудь сказал, что есть такой Кари в ауле. Непременно зайди. И передай салем от аула».

Так уверяли все. И, действительно, все сомнения Гарри мигом улетучились, едва он, робея, переступил порог деревянного особняка за дощатым забором. Был вечер. Хозяева как раз чаевничали в полной тишине. На террасе тихо попискивал медный самовар. Щуплый старичок с сивой бородкой, скрестив под себя ноги, задумчиво потягивал густой, со сливками чай из пиалы. Старуха громоздилась возле самовара.

– Из Кызыл-ту, говоришь, – переспросил старик, поблескивая мышиными глазками. – Э, проходи, проходи! Должно быть, добрый человек, коли подошел к дастархану. Садись, гостем будешь.

– Зовут меня Гарри. Приехал по делу на день или два, – уточнил Гарри.

– Кари?.. Э, у тебя вполне казахское имя, айналайын.

Не стесняйся, подсаживайся. О деле потом расскажешь.

– И-и-и, Аллах! – вздохнула, покосившись на костыли гостя. – Вижу, устал с дороги. Отдохни, милый.

И пододвинула Гарри тарелочку с маслом и кусок лепешки.

Гость почувствовал себя так, будто к родным попал. А после чая он пересказал старикам все аульные новости.

И сегодня Хамзеке обрадовался приходу гостя.

– Ты где это пропадал, айналайын? Мы со старухой тут уже встревожились: не заблудился ли в городе, не случилось ли что...

– Нет, ата. Ничего не случилось. В саду походил.

– В саду напрасно задержался. Там, рассказывают, шпана шастает. Аульных ротозеев в два счета общипают.

После чая Хамза-ата, по привычке свесив голову на грудь, внимательно выслушал рассказ Гарри про свои злоключения.

– Апырай, а! – недоумевал старик. – Много всякого лиха я на своем веку повидал, а вот это в моей сивой голове не укладывается. Ну, пахис, керман – это понятно. Но ты-то при чем? При чем малые, неразумные дети? Кому плохо оттого, что ты будешь учиться? Кому какой от тебя вред? Какая от тебя опасность? Не понимаю! Ничего не понимаю!..

– И-и-и, алла-а! – вздохнула старуха. – Где нам все понимать?

– Нет, но это же глупость! Глупость! – возмущался Хамзеке. – Сколько в городе жулья, шпаны, их вылавливают и силком заставляют учиться. А Кари хочет учиться, и ему не дают, не доверяют, потому что он, понимаешь ли, немцем родился. Ну и что? Чем он хуже казаха или уруса какого-нибудь?! Не по-мусульмански это. Аллах свидетель, не по-мусульмански!

Ночью Гарри долго не мог уснуть. Непривычный городской гул стоял в ушах. И душа была взбаламучена предстоящими переменами. Завтра он получит

разрешение, а уже через несколько дней окажется в южном яблонево́м городе. Он сразу же разыщет всех своих одноклассников, придет в общежитие КазПИ, постучится в комнату Багиры, войдет и торжественно объявит прямо с порога: «А вот и я!» Багира застынет от удивления, потом в черных ее зрачках вспыхнут радостные искорки, и она побежит к нему, прижмется, а он ладонью погладит ее по смоляным волосам, замирая от блаженства, от счастья. Эта картина рисовалась в его воображении все вновь и вновь. Вот он постучал в дверь, вошел, объявил: «А вот и я!..» Удивленный вскрик Багиры... Счастливый блеск в ее глазах. Вот она прильнула к нему, он ощутил ее горячее дыхание, запах ее волос...

А потом он метался по перрону. Вот-вот должен был отходить поезд, а он никак не мог найти свой вагон. Несколько раз он обошел весь состав – от начала до конца, но вагона, указанного в билете, не находил. Наконец в неясном свете мелькнул нужный номер, он устремился к нему, все сильнее постукивал костылями, пот заливал глаза, сердце подкатывалось к горлу, еще несколько шагов, еще два- три шага, еще шаг до ступеньки... Сейчас, сейчас он уцепится левой рукой за поручни, в правую возьмет оба костыля, упрется здоровой ногой в ступеньку и одним рывком очутится в вагоне... «Разрешение!» – холодным голосом произнесла проводница, голос ее утонул, исчез в густом паровозном гудке. Задыхаясь, он повис на костылях, сунул руку за пазуху, где находилось разрешение областной спецкомендатуры и обомлел. Разрешения не было!

«А-а-а!» – закричал, завопил он в отчаянии, видя, как, громыхнув колесами, медленно отходил перед ним поезд...

– Астафиралла! Что случилось? – сквозь грохот донесся вдруг тихий голос Хамзы-ата. – Блоха, что ли, укусила?

Гарри проснулся. Он не сразу сообразил, что с ним, где он. Сердце колотилось. Во рту было сухо. Неприятное предчувствие тяготило.

Утром с первым же автобусом он приехал в облУМВД. Заспанный милиционер не пустил его за ограду.

Гарри долго слонялся по безлюдной улице, не зная, куда себя девать. Ныла больная нога, подташнивало от слабости. До назначенного Шевцовым часа оставалось еще много времени. Он заглянул в столовую поблизости, долго изучал витрины магазинчиков, потом от нечего делать завернул на центральную почту.

Ему почудилось, что прохожие сегодня особенно хмуры, молчаливы, чем-то озабочены. И в магазине, в столовой все почему-то разговаривали приглушенно, оглядываясь по сторонам, а то и шепотом. Странно! Не всем же нужно разрешение из спецкомендатуры. На почте, в углу, шепталась группа женщин. «Вы слышали?.. Ой, что теперь будет? Ужас! Все, все враги. Шпионы, все книги, все журналы, газеты сожгут. Да, да! Ой, ой!..» Неясная тревога охватила и здание областного управления Министерства внутренних дел. По коридору взад-вперед сновали хмурые люди. В гулкой тишине там и тут хлопали двери кабинетов. Редкие посетители жались к обшарпанным стенам, никто на них не обращал внимания. Никого никуда не вызывали, не приглашали. Произошло что-то непонятное.

В десять утра Шевцова не было. Кабинет его пустовал и в половине одиннадцатого. Дежурный пробубнил, что сегодня его может и не 45 быть. Гарри лишился последнего терпения. Как быть? К кому обратиться? Он осторожно, трясаясь от страха, приоткрыл двери нескольких кабинетов. Они или пустовали, или за столами сидели хмурые, словно ошеломленные, ошарашенные, потерянные люди. Казалось, они оцепенели и ничего сейчас не видели и не слышали.

Наконец показался майор Шевцов. Тоже хмурый, озабоченный, с отсутствующим взглядом. Гарри встал, робко толкнулся к нему.

– Здравствуйте!

В голосе его прозвучали одновременно надежда, мольба и страх. Он сам удивился этой унижительной,

трусливой интонации своего голоса.

– Сейчас, сейчас, – бросил на ходу Шевцов и исчез за дверью.

Минут через двадцать Гарри набрался смелости и осторожно просунул в дверь голову. Майор сосредоточенно копался в ящиках стола, перебирал бумаги. Время от времени к нему заходили из других кабинетов, но тотчас выходили еще более мрачные, насуупленные.

Прошел еще час. Майор, казался, напрочь забыл о Гарри. В полном отчаянии, уже не соображая, что делает, Гарри протиснулся в дверь и замер у порога.

– Вчера... вчера... – он судорожно глотнул, – вы обещали...

– Что-о?! – Майор уставился на него, будто видел впервые. – А-а-а... Да-да...

Он, как и вчера, встал, заходил взад-вперед вокруг стола и повернулся к окну.

Гарри похолодел. Он как-то сразу понял, что мечте его не суждено осуществиться.

– Извините, – глухо сказал Шевцов. – Я вынужден отказаться от своих слов. Разрешения я вам дать не могу.

Что-то оборвалось в груди Гарри.

– Но ведь вы вчера обещали... – обреченно пролепетал он.

– Не мо-гу... Обстоятельства сегодня изменились.

– Какие обстоятельства?

– Вы что? Не слушали радио?

– Не-ет...

– Надо слушать. Арестован Берия...

– Как это?... Лаврентий Павлович?... Верный друг и соратник товарища Сталина?!!

Майор Шевцов круто повернулся и пристально уставился на юношу-спецпереселенца. Что он? Всерьез? Или насмешничает?... Нет, этому сейчас не до насмешек.

– Оказался матерым английским шпионом.

– Шпионом?... Лаврентий Павлович?! Верный друг и соратник товарища Сталина?!

Гарри вдруг в одно мгновение показалось, что все его мытарства, его желание получить разрешение на выезд в южный город – ерунда, мелочь, ничтожный каприз по сравнению с тем, что случилось, что обрушилось на страну, на мир. Какое разрешение, что за никчемные спецпереселенские претензии и просьбы, если сам любимец вождя всех времен и народов оказался всего-навсего презренным агентом английской разведки?!

Напряжение всех этих дней мгновенно спало. Гарри не мог сейчас понять, что с ним происходит, но он чувствовал, явственно почувствовал какое-то облегчение. Отказ коменданта Шевцова после этой ошеломляющей вести совсем уж не показался ему столь тяжким и безвыходным. Ему вдруг захотелось скорее вернуться в аул, поделиться новостью с Марией Петровной и Давидом Павловичем. У них, почему-то казалось Гарри, должны быть какие-то старые счета с этим английским шпионом, и они наверняка все растолкуют, все разложат по полочкам.

– Так вот, Карлсон, – совсем уж официально заговорил майор Шевцов. – При данном стечении обстоятельств я самолично ничего решить не могу. Нужно время. Сколько – не знаю. Возможно, все теперь осложнится. Возвращайтесь домой.

Гарри чувствовал себя совершенно спокойно. Он видел, что майор Шевцов растерян, смущен. Он понимал, что комендант действительно бессилён чем-либо ему, спецпереселенцу, помочь. Ему даже жалко его стало: бедняга благоразумный ответ дать не в состоянии. «Возвращайтесь домой». Стоило так унижаться, кланяться у Волченко разрешения на три дня, обивать пороги районного УМВД. Стоило столько дней околачиваться бесприютно, неприкаянно в пыльном райцентре. Стоило мытариться в дождь, в ненастье на попутных машинах, с ночевкой в кузове под открытым небом двое суток, чтобы добраться до областного центра, разыскивать коменданта Шевцова и услышать от него: «Ничего решить не могу. Возвращайтесь домой».

В груди точно все помертвело. Безразличие словно

разом оглушило его. Губы невольно дергались, кривились в злорадной усмешке над самим собой. Он спокойно, впервые с каким-то чувством превосходства посмотрел на растерянного коменданта. Тот, потупив взгляд, бессмысленно перебирал бумаги на столе, и вид у него был жалкий. Он был охвачен неизвестностью, страхом. А у Гарри все было ясно.

Ему уже не на что было рассчитывать. У него сейчас, в этот момент, на этом этапе не было никаких надежд. А потому не было и страха. Нисколько. Поразительное состояние: ни надежды, ни страха. Ничего. Пусто. Мертво. Он даже испытывал радость, что может в упор, прямо смотреть на коменданта майора. Он ведь уже ничего не просил, ничего не желал. Майор Шевцов сейчас был беднее, беспомощнее, чем даже он, бесправный спецпереселенец Гарри Карлсон.

– Спасибо...

– Что?

– Спасибо. Вы меня очень утешили.

Гарри позволил себе даже хмыкнуть. Ему вдруг захотелось расхохотаться. Громко, в лицо этому майору, перед которым трепетали все спецпереселенцы, и у которого он два дня так унижительно канючил разрешение на выезд. Он встал, крепко подпирая себя костылями, напряжился весь и не чувствовал, что по впалым щекам его текли слезы.

Майор глянул на него и тотчас отвел взгляд.

– Дайте мне разрешение Волченко. И не забудьте сделать пометку о том, что я был у вас. А то еще не поверят.

– Да, да... Сейчас...

На лицевой стороне узенькой бумажки – разрешения райУМВД спецпереселенцу Карлсону на выезд в город Кызылджар сроком на трое суток – областной комендант майор Шевцов сделал соответствующую пометку, приложил штампик, поинтересовался:

– Вы поедете сегодня?

– Постараюсь.

– Если надо... если хотите побыть в городе, я могу разрешить вам на день-два...

– О нет! Благодарю. Спецпереселенцам положено сидеть дома.

Майор не ответил. Протянул бумажку.

– Еще раз спасибо. И – до свидания.

Стуча костылями, Гарри вышел из сумрачного, пропахшего сырью и пылью кабинета.

За высоким забором пустовала скамейка. Он опустился на нее, положил рядом костыли и дал волю слезам. Все беды-напасти, пережитые за свою жизнь, разом вспомнились, обрушились на него. Выселение... неприкаянность... бездомность и голод... гибель отца... несчастье братьев и сестер... болезнь... крушение мечты... Было пустынно вокруг. По небу неприкаянно метались тучи. Пахло дождем. Но Гарри было все равно. Он плакал, никого и ничего не стесняясь. И не хотелось ему сейчас жить. Хотелось раствориться, исчезнуть, растаять, как тучки, растеребленные ветром.

– Сволочи!.. Мерзавцы!..

Рядом на скамейку грузно опустился мужчина. Он был заметно возбужден, бормотал ругательства, то и дело срывал с головы кепку, хлопал ею по колену.

– Шайзкерле! Хундстрек! Доннерветтер!.. Твою мать!.. Мужчина никак не мог успокоиться. Русские и немецкие ругательства извергались из него сплошным потоком. Крепко сбитый, обветренный и загорелый, рябоватый, с твердым, точно каменным подбородком, он всем своим обликом источал непреклонность и волю. Даже плотный русский ежик на голове точно ошетинился, встопорщился от гнева и ярости. Наконец мужчина заметил сжавшегося на краю скамейки юношу с костылями, полыхнул по нему бешеным взглядом.

– Что, тоже отсюда? – он брезгливо кивнул в сторону здания облУМВД.

– Да, – тихо произнес Гарри.

– Немец, что ли? В комендатуру вызвали? Кто? За что?

Он не спрашивал, а допрашивал. Каждый вопрос – как удар плети. Гарри сбивчиво рассказал о своих делах. Мужчина только хмыкал и коротко взмахивал

рукой, будто дубасил кого-то.

– Ну и что сидишь, нюни распустил?! Ты прав? Прав! Вины нет? Нет! Ну и добивайся своего! Не дрейфь! Иди напролом!

– Легко сказать...

– А иначе как?! Иначе ни хрена не добьешься! Пропадешь-сгинешь законопослушным немцем-переселенцем.

– А вы-то кто?..

– Я?.. Э, брат, моя жизнь – роман. Всю жизнь только и делаю, что воюю. Я ведь и из трудармии удрапал, фамилию сменил, с фашистами воевал, награды имею, до Берлина дошел, на свободе жил и только вот недавно, как и ты, мать его за ногу, спецпереселенцем стал.

– Как это – «фамилию сменил»?

– Просто! Был Зельцер, стал Зельцин. Был немец, стал русский. И никаких комендатур. Воевал, работал, куда надо – ездил без всяких там ограничений и разрешений.

– А теперь что?

– Теперь что?! Видишь что! Хреновина получилась. Вот хожу теперь к энкавэдэшникам, к гпэушникам, оправдываюсь, объясняюсь, лаюсь. Был Зельциным, стал Зельцером. Был русским, стал снова немцем. Превратности судьбы!

– Странно...

– Ничего странного! Знаю, Антонина, супружница моя, стерва, дрянь, выдала меня с потрохами. Пошла и доложила, кто я такой на самом деле есть. Бдительность проявила. Правда, выяснилось, что эти, – он опять кивнул в сторону областного управления МВД, – и без нее кое о чем догадывались... Вот и затаскали теперь. Все вынюхивают, все докапываются, что да как, где да почему, с кем и когда, в рот им дышло!

– Весело живете!

– Хм-м... дальше некуда. Комедия с трагедией...

Сам-то с Волги? Или с Крыма?

– С Волги. Родился в Энгельсе, а выслали из Гнаденфлюра.

– Вон как?! Знаю, знаю... Блюменфельд, Нойдорф, Полеводино, Мангейм, Зихельберг, Мариенбург, да?

– Да. Родители из Мангейма.

– Смотри-ка! – Мужчина оживился, потеплел голосом. Казалось, ему было приятно перечислять названия полузабытых немецких сел. – Выходит, земляки-соседи! Надо же! Наш кантон назывался Красный Кут. Там были деревни Шёнфельд, Шёндорф, Шёнталь. Вот я оттуда. А рядом находились русские селения – Ягодное, Митрофановка, Семёновка, Николаевка. Не знаешь?

– Нет.

– Ну, конечно. Мал был...

Долго молчали. Зельцер-Зельцин вдруг как-то сник, глаза потухли. Он нахлобучил кепку, понуро опустил голову, обмяк, сжался. Недавние гнев и ярость сменились усталостью и тоской. Потом он словно очнулся, пробормотал:

– Ия, майн юнге... Вкривь и вкось пошла наша жизнь. Главное – ни за что ни про что...

Гарри ничем не мог возразить. Но ему стало легче. Зельцер ему нравился.

– Ладно, дорогой. Мне пора. – Зельцер встал, посуровел лицом, затвердел подбородком. В глазах с красными прожилками вновь вспыхнули злые искорки. – Не распускайся, юноша! Ожесточись! Вытрави из сердца тоску и уныние. Надо выстоять, все сдюжить! Тебя давят, топчут, а ты не поддавайся назло всей этой дерьмовой политике. Знаешь «Песню болотных солдат»? Перед войной Буш пел. Вот и ты тверди: «Эвиг канн'с нихт винтер зайн!» Да, да... «Зима не может вечно длиться». Только так! Прощай, земляк! Немец-спецпереселенец!..

И он пошел прочь – непреклонный, жесткий, вызывающий.

«Ну, вот и все. Вот и все», – сказал сам себе Гарри. Здесь, в Кызылджаре, больше ему делать было нечего. Солнце приближалось к зениту. Небо опять заволакивали тучи. Снова теперь заладят дожди, и тогда вряд ли за сутки доберешься до Марьинки. Такая

пойдет слякоть – грузовики застрянут по самую ось. А ночевать в безлюдной степи под дождем – мука мученическая. Хорошо, если неподалеку от дороги обнаружится скирда сена: можно хоть на ночь зарыться в нее...

Старый Хамзеке, едва взглянув на своего гостя, сразу догадался о его состоянии. Он сидел на ветхом домотканом паласе, постеленном на террасе, положив поперек колен суковатый темный посох, надвинул на лоб такую и сосредоточенно думал. Приходу Гарри он обрадовался.

– Ой, как ты устал, айналайын! Да ты же совсем высох за эти два дня. На тебе лица нет. Видно, не впрок тебе город... Или нога мучает?

– Не нога, ата, а душа.

– Рано тебе, милый, о душе говорить. Откуда тебе знать, что такое душа? Это у нас, у стариков, она иногда болит. Ибо у нас она уже на кончике носа.

– Возвращаюсь в аул, ата. Не вышло ничего с учебой. Не дали разрешения.

– Что так? Ты же говорил, что этот... как его... гомандан ваш... вроде обещал.

– Обещал, да раздумал. Обстоятельства изменились. Берию, говорят, арестовали.

– Это который? Плешивый, в стекляшках?

– Он самый.

– Ну и что?.. К тебе это разве относится? Он же ведь не твой родственник. Он, кажется, даже не немец...

– Нет, конечно... Боже упаси! Только этого еще не хватало!

– Э-э... Солай де. Так оно, значит. Не могли его арестовать раньше или позже.

– Да, ата. Должно быть, больно везучий. Совпало.

Хамзеке уронил голову на грудь, пробормотал что-то непонятное.

После обеда Гарри собрался в обратный путь. Хамзеке долго уговаривал его остаться еще на одну ночь, а завтра, спозаранок, попытаться найти попутную подводу, но Гарри настоял на своем.

– Нет уж, ата. Пойду к Есилю, к мосту, может,

подвернется машина в нашу сторону. Вам и Балым-аже большое спасибо.

– Упрямый ты... – Старик, провожая Гарри, вышел за ворота. – Аулу привет передай. А сам, когда еще будешь в городе, заходи к нам. Не стесняйся... И еще скажу тебе. Ты не очень переживай, не изводи себя. От ранних дум сердце, говорят, чернеет. Главное: не ожесточайся. А то ожесточишься и будешь затравленным волком смотреть на божий свет. Не отчаивайся. Ничего в этом мире постоянного нет. Сегодня – так, завтра – по-другому. Сказано ведь: жизнь оборачивается к человеку то лицом, то задом. Дурацкие законы не бог дает, а люди придумывают. Из-за дурости, должно быть, а больше из-за страха. Все чего-то боятся... Помни мои слова: все еще изменится. Да, да... меня, видно, только не будет. Ну, а это не беда. Аман бол, балам! Благополучия тебе, сынок.

– Спасибо, ата!.. Свидимся еще...

Ветер дул со стороны Ишима. По небу неведомо куда спешили тучи. Гарри сдвинул полевую сумку на спину наподобие вещмешка, плотнее прижал костыли и, осторожно обходя бесчисленные лужи, направился на окраину города, к крутому красному яру, откуда в разные стороны открывающейся дали пролегали темные полосы в лесостепь – извилистые дороги.

1988 г.

ЗЕМЛЯНИКА СТЕПНАЯ

В середине лета мальчику стало совсем худо. Синий кашель – «көк жөтел» – бил его часами, выворачивал наизнанку, содрогал его щуплое изнуренное тельце. Он ртом хватал воздух, шевеля лиловыми губами, точно чебачок, выброшенный на берег. В запавшей груди свистело, хлюпало, клокотало. Еще весной отец скорбно сказал: двухстороннее воспаление легких. А теперь решил: коклюш. Дружки-казашата называли эту хворь «коксау». Советовали: «Глотай топленое масло», «Смазывай грудь жиром ежа», «Жир сурочий тоже хорош».

Днем ослабевшего мальчика выносили на солнышко, усаживали на плотную, как ворс, травку, подстелив заскорузлую телячью шкурку, укутывали в шаль, на голову нахлобучивали изъеденную молью трухлявую шапку. Мальчик ловил на себе жалостливые взгляды родителей.

Отец, спеша в свой медпункт, обычно задерживался возле сына- подранка, терпеливо ждал, пока тот тщетно пытался откашляться, молча клал перед ним крохотную плитку гематогена в блестящей облатке.

Мать ставила перед ним кружку парного молока и поспешно отворачивалась, скрывая слезы. Мальчик долго смотрел на молоко, но чувствовал, что поднять и поднести кружку к губам он не в силах. К тому же испытывал отвращение к любой еде. А если и отпивал через силу глоток теплого, еще пузырящегося после дойки молока, пахнущего степным разнотравьем, из носу тут же шла кровь.

Силы покидали мальчика с каждым днем.

А лето буйствовало. Солнце подолгу висело в зените. От земли, от густотравья шел дурманящий дух.

По небу плыли, клубились белесые облака-барашки. Вдали, вдоль Есиля-реки, голубел тугай. Пустынный аул, казалось, погрузился в истому. Порхали-метались вокруг разноцветные бабочки, опускались на краешек синей кружки, трепеща прозрачными крылышками. Иногда, волоча хвост в репейниках, подползал соседский пес Майлыаяк, опускался на брюхо, вывалив язык, и подолгу глядел слезящимися, подслеповатыми глазами на мальчика. И в серых зыбких зрачках его тоже плескалась жалость.

«Плохо тебе?» – безмолвно вопрошал пес.

«Сам ведь видишь, – смущался мальчик, – совсем ходить не могу».

«Ай, бишара, бишара...» – сочувственно смаргивал слезы Майлыаяк.

Пес был стар и мудр. И понимал лишь по-казахски.

«Хлебушка у тебя нет? – робко спросил он. – А то так надоед мне айран-шалап».

«Жоқ.. И крошки нет».

Пес смиренно опускал голову, жмурился. Ему было неловко за свой нелепый вопрос.

«А что есть?»

«Гематоген».

«Ол не нәрсе?... Что это еще?» – любопытствовал пес и нетерпеливо облизнулся.

«Кямпит».

«Нет, – вздохнул пес, – старому псу кампит не по зубам. Сам ешь».

Майлыаяк зевнул и опустил большую костлявую голову на передние лапы, покосился на кружку с молоком. Ноздри его затрепетали.

«Нельзя, – сказал мальчик. – Болмайды. Опоганишь».

«Понимаю», – согласился пес и втянул язык в пасть.

К обеду солнце начинало припекать. Над тугаем вдоль Есиля дрожала хмарь. Мальчик до рези в глазах всматривался в причудливую игру миража, сознание туманилось, все вокруг струилось в теплых потоках света. Чудилось мальчику, будто он взлетает на невидимых крыльях, невесомо скользит по густому, настоящему степным разнотравьем, вязкому воздуху,

поднимается все выше, выше, вот он уже барахтается среди пушистых облаков, и ему легко, легко, кашель отпустил, его блаженное тепло разливается по всей груди. Земля осталась далеко внизу, и видится ему с вышины весь аул, голубая лента речки, живописно обрамленной тугаем, и одинокий колодец возле кладбища, и перелески возле стана, и стадо, пасущееся вдоль оврага Терен-сай, и дорога, ведущая в соседний аул Коктерек. А Майлыаяк, ставший вдруг маленьким и потешным, точно мышонок, задрал морду вверх, недоуменно моргает, бессловесно вопрошая:

«Эй! Куда ты? Куда?!»

Жара и хворь сморили мальчика.

Очнулся он ночью. В двухрамное окошко у топчана заглядывала луна. За печкой-голландкой упоенно сипел сверчок. В глухой тишине слышался мальчику всхлип.

– Ist er aber armselig, – шептала мать.

Мальчик прислушался, сразу смекнув, что речь идет о нем.

– Ja, es ist schlimm, – глухо проронил отец.

– Ich habe Angst!.. Я боюсь...

– Что поделаешь?.. Бронштейн из Марьевки обещал достать рыбий жир. Может, это ему поможет. Иначе... иначе...

– Что, майн Гот? ...Либер Хайланд! Неужели?!

– Будем надеяться... но, боюсь, не жилец он на этом свете...

– Was?.. Ist er den Tode verfallen?!

Мальчик затаил дыхание. Он знал: der Tode verfallen – смерть. В груди стало пусто. Будто жизнь вмиг вытекла из нее. Словно он выкашлял последние силы.

Луна нырнула в тучи. Нежилась там, покачивалась, резвилась. Сверчок за печкой умолк. Темень мгновенно сгустилась. И родители у стенки напротив перестали шептаться.

Сон уже не шел. Что? Не жилец? Он умрет? Он обречен? Что это? Почему? Вся надежда... Последняя надежда на какой-то рыбий жир? На это тягучее,

вонючее лекарство, от которого тошнит при одном его упоминании?

Не жилец... Значит, не будет жить? Не будет дышать, видеть, слышать? И ничего не будет? Ни солнца, ни неба, ни дома, ни отца-матери? Как такое может быть? Куда все денется? Или все будет, только его не будет? Мудрено! Да, он знает, слышал: люди умирают. На войне вон сколько погибло. И в ауле дедушка Елемес умер. Но ведь от старости. И Шаймурат умер. Но ведь его легкие, рассказывают, черви источили. И Шолпанка умерла. Так от сыпного тифа. А он, он, он-то почему должен умереть? Ему ведь только двенадцать!

На рассвете, проваливаясь в мучительную дремоту, мальчик решил: нет, нет, он не сдастся злой хвори, не смирится со своей слабостью, он назло всем, всем встанет и пойдет, пойдет... куда? куда? — ...да хоть до пруда за аулом, а может, в степь за логом или даже до Каменного брода... — да, да... — возьмет дрын и наперекор всему и всем доковыляет до околицы, на простор, где парят в вышине вольные ястребки, высматривая мышей и сусликов, где в синеве, за облачком, самозабвенно заливается жаворонок, где сгибают в пучках серебристого ковыля беззаботные зеленые кузнечики. Там, он надеется, ему будет легко, боль в груди отступит, вернутся силы, и проклятый синий кашель перестанет его донимать. И не один он пойдет, не один, а с закадычными друзьями, с Аскером, Кёккёзом, Темешем, Сяльтаем. Ну и с Майлыаяком. Пес, хоть и старый, полуслепой, весь в репейниках, облезлый, в беде его не оставит.

С утра было ясно: день занимается солнечный. За окном ровный ветер клонил-раскачивал ветлу. Отец давно отправился в медпункт. Мать возилась в сенцах, разливала только что надоенное молоко по крынкам, чтобы оно отстоялось, а потом можно было деревянной ложкой собирать густые, с золотистым отливом сливки.

На тумбочке, возле его топчана, дожидался завтрак: синяя кружка с парным молоком, круто сваренное куриное яйцо и темно-коричневый квадратик гематогена. Теплое, пахучее свежей травой и чуть-чуть отдающее

полынью молоко он выпил почти все, медленно сжевал вязкий, липкий гематоген, а яйцо положил в кармашек курточки: угостит потом при случае своих тамыров.

Он осторожно выбрался из дому, шатаясь, добрел до угла хлева, где в наземе и золе копошились куры, ведомые нахальным красноштанном петухом с дерзкими черными глазами-пуговками, сделал свое маленькое дело и, жмурясь на солнце, унимая дрожь в коленках, постоял у калитки, озираясь по сторонам.

Безлюдно, выморочно было в ауле. У колодца за дорогой гремела цепью и бадьей непомерно распухшая бабка Балшекер, а возле соседской шошалы грелся на солцепеке, одним глазом посматривая вокруг, шелудивый Майлыаяк.

«Ия... аманбысың?» – безмолвно спросил пес и чуть-чуть пошевелил хвостом-мочалкой.

«А ты?» – также без слов поинтересовался мальчик.

«Е-е, Құдайға шүкір... Слава всевышнему, – ответил по-стариковски пес. – Что бог дал, то и хорошо».

Мальчик долго стоял у калитки, держась одной рукой за штaketник, другой растирая больную грудь. Он чувствовал, что слаб, руки словно плети, а голова на тонкой шее вся тяжелеет, точно разрастается надувным мячом, уши горят, во рту противная горечь, а по всему телу волнами пробегала знобкая дрожь.

«Не жилец он на этом свете», – слышался ночной вздох отца.

«Ich habe Angst...» – сдавленный всхлип мамы.

Ватага пацанвы на пустыре возле хибары охотника Абильмажина заметила его, помахала руками.

– Кар-ри!

– Кел мунда! Иди к нам!

– Ойнаик. Поиграем.

«Дойду – не дойду», – засомневался мальчик, оторвавшись от штaketника. Голова закружилась сильнее, и в носу защипало: неужто опять пойдет кровь? Не надо было пить молоко. Всегда так...

Аульные огольцы встретили его ликованием:

– Оу, выздоровел?

– Окреп?

- Маладес!
- Нам что-нибудь прихватил? Кампит-мампит есть?
- загалдели вразнобой.

Мальчик достал из кармана крутое яйцо.

Все пришли в радостное оживление. Аскер мигом очистил яйцо, разломал на пять-шесть равных долек.

- Мог бы и больше принести, – пробурчал Кёккёз.

Сялтай, четвертый год просидевший в первом классе, по праву старшего спросил:

- Ну, и дальше что будешь делать?

- Пойдем к пруду, искупаемся.

– Охота в моче бултыхаться! Там одни коровы прохлаждаются.

- Сразу паршой покроешься. Коростой обрастешь.

- Тогда к Тас-откелю.

- Далеко. И течение сильное.

– Айда в балку, – решил рассудительный Аскер. – Там, на склоне, земляника поспела. Наедемся от пуза.

- Ия, ия, – возбудились все. – Жидек жейміз.

«Дойду ли?» – мелькнуло в голове мальчика, и сердце его затрепетало от страха и радости.

Пошли. Кто вприпрыжку, кто трусцой, кто оседлав прутик вместо стригунка. Мальчик плелся позади, любясь озорниками и боясь, что вот-вот рухнет в придорожную траву.

- Эй! Что с тобой!

- Шевелись, Кари!

- Ты что, как пьяный аулнай?

- Уже близко!

- А вон и Майлыаяк спешит к тебе на подмогу.

Действительно, со стороны аула старческой трусцой, понуро свесив большую сухую голову, приближался верный Майлыаяк. Вскоре пес догнал мальчика, бросил на него беглый взгляд, слегка подергал хвостом, но проявил деликатность, ни о чем не спросил.

Добрели до южного склона оврага Терен-сай. Ватага мгновенно рассыпалась вдоль склона, припала к траве, раздвинула шершавые зубчатые листья, под которыми спряталась сочная краснобокая земляника с розовыми нежными усиками.

- Смотри, смотри! Море!
- А красная какая! Будто кровь на белых листочках.
- А сладкая – язык проглотишь.
- Эй, осторожней. Не топчи.
- Видишь, целые земляничные гряды.

Вскоре затихли, засопели, зачмокали, дорвавшись до спелой, ядреной, сплошняком усыпавшей крутой склон степной земляники.

Сладкий земляничный дух дурманил голову.

Мальчик опустился на край полянки, начал выбирать из-под листьев тугую, розовую землянику, пожалев, что не прихватил литровую кружку или помятый солдатский котелок. Вот был бы сюрприз для родителей. Земляника со сливками – такое лакомство! Пальчики оближешь!

Он почувствовал облегчение. Противная дрожь в теле утихла. И голова уже не так сильно кружилась. И хрип в груди улегся. Земля была сухая, теплая. Ветерок трепал серебристый ковыль в плоской степи за оврагом. Вдалеке, в зыбучем мареве, смутно темнел аул. Какой же он был маленький, невзрачный, убогий, точно отставший от отары сирота-ягненок. В носу щекотало от удушливого запаха нагревшихся на солнце пожухлых листьев. Во рту стало вязко.

Майлыаяк устроился рядом, уткнулся мордой в траву, то и дело чихал, фыркал, досадуя на неумную возню муравьев, жучков, паучков в земляничной гряде. Одним глазом он следил за мальчиком, приличия ради раза два слизнул горсть розовых ягод, но вкуса не различил и по обыкновению вывалил язык, тяжело водя тощими боками.

Солнце вскарабкалось к зениту и припекало все заметней. Пацаны наелись земляники всласть.

- Эй, хватит!
- Все не съешь.
- Пузо лопнет.
- Завтра ведь тоже будет день.
- Айда домой!

Ватага мгновенно собралась в круг и направилась к большаку. Надо было пройти длинный лог, выбраться на склон, обогнуть болотистый томар, а там до аула рукой подать. Ну, километра два. Или чуть больше.

«Не дойду...» – понял мальчик, едва встав на ноги. Слабость вновь ударила в коленки. И в животе было нехорошо. Мутило. Кровь тяжело била в уши.

Он весь подобрался, точно ошетинился, сжал кулаки, стиснул зубы, переждал боль в груди и пошел на неверных, непослушных ногах, словно на ходулях. Майлыаяк, волоча хвост, побрел рядом.

Ватага вырвалась вперед, о чем-то шумно, вразнобой заспорила, но мальчик их не слышал, слова долетали будто из-за плотной завесы. Мысли его были заняты одним: лишь бы не упасть, не осрамиться перед тамырами, не стать посмешищем, не прослыть слабаком, доходягой, как-нибудь доковылять до аула, до дома, до топчана, рухнуть на соломенный матрас, да так, чтобы не видели родители, чтобы не расстроились, и отлежаться, забыться... Ни о чем больше он сейчас не думал.

Не мог думать.

Из оврага он благополучно выбрался. И до томара на повороте оставалось совсем немного. Там можно присесть на кочку, прилечь на осоке, передохнуть, унять дыхание, собраться с силами. Да, да лишь бы дотянуть до болота. Оттуда и до аула на худой конец можно докричаться. А, может, на счастье проедет на своей раздрызганной арбе аульный поштабай и позволит пристроиться на задке.

На взгорке страх пронзил его: «Нет, не дойду... Упаду и больше не встану».

Ног он не чувствовал. Грудь окаменела. Сердце подкатывалось к горлу. Пальцы похолодели. Мелкая дрожь колотила все тело. На лбу выступила холодная испарина.

«Не жилец на белом свете...»

«Либер Хайланд... Либер Хайланд» – доносилось привычное причитание мамы.

Больше ничего на ум не приходило. Аскер, друг закадычный, как-то сказал:

«Когда человек умирает, душа его подкатывается к кончику носа».

«Душа – это что?» – спросил он тогда у Аскера.

Аскер погладил бритую голову, поковырял в носу.
«Душа – это божье дыхание. Дыхание обрывается – душа отле- тает».

«Как отлетает?»

«Ну, растворяется в воздухе».

«А как это заметишь?»

«Говорят, кончик носа холодеет. Как у собаки, – объяснил всезнайка Аскер. – Нос похолодел, ты околел. Душа отлетела – ты умер».

«И все?»

«И все», – уверенно подытожил Аскер.

Мальчик хотел пощупать свой нос, но не было сил поднять руку.

Ему почудилось, что он не идет, а как будто скользит в вязких струях воздуха. Все вокруг колыхалось. И звуки все исчезли. Словно окутали его в тяжеленный тулуп, под которым мальчик задыхался.

На краю болота, на повороте к проселочной дороге, он споткнулся и упал. Майлыаяк вздохнул и улегся рядом.

– Эй, эй! – послышалось впереди. – Не болды?

– Вставай! Тур!

– Видишь, уже пришли.

– Вон твой дом!

Тамыры мигом обступили его. Все всполошились.

– Встань, Кари!

Мальчик виновато прошептал:

– Әлім жоқ... сил нет...

Его подхватили под мышки с двух сторон, но ноги подкашивались, а голова клонилась набок, точно шляпа подсолнуха. Сознание мутилось. Он плохо соображал, что хотели от него тамыры.

– Ладно, – решил наконец Темеш. – Полежи. А мы мигом сбегает за твоим коке.

– Не бойся. Тут рядом, – подтвердили остальные.

Страшная догадка пронзила его. Вот и все. Вот и все. Сейчас душа покинет его. Он отчетливо видел себя, бездыханно скрючившегося на обочине дороги. Он дотянулся рукой до кончика носа. Холодными были пальцы, а нос – теплый. «Значит, душа еще в теле, не

подкатилась к кончику носа», – обрадованно подумал он.

Майлыаяк по-прежнему лежал рядом.

Мальчик не помнил, сколько пролежал на краю болота. Услышал вдруг голос отца:

– Harri, Harri ... was ist los?!

И тут же почувствовал, как очутился в родных, надежных объ- тиях.

Такого живописного шествия никто в ауле не видел. По открытой на все стороны проселочной дороге шагисто шел, развевая подолом белого халата, рослый местный фельдшер и нес на руках обмякшего, вконец обессилевшего мальчика. За ним, еле поспевая, возбужденно семенила ватага аульных голоногих сорванцов, одетых в лохмотья, кто во что горазд. А замыкал шествие старый мудрый пес Майлыаяк.

Отец подавленно молчал, хлопал белесыми ресницами, судорожно вел кадыком на жилистой тощей шее.

– Ну, зачем ты пошел не спросясь? – без укора поинтересовался он у сына.

Мальчик всхлипнул, дрожащим голосом пролепетал:

– Ты... ты... сказал... не жилец я, сказал...

– Что-о?! Когда?

Отец заморгал сильнее, губы его задрожали.

– Ночью... Я слышал... я слышал...

– Ах, глупыш мой... – проронил отец и сильнее прижал к груди сына. – Глупыш... Ты ведь у меня единственный...

У калитки застыла ни живая ни мертвая мать. Потом побежала навстречу, бормоча:

– Ach, Harri! Ах, либер Хайланд!

– Ничего, ничего, – успокоил ее отец. – Alles ist vorbei.

Мальчика уложили на топчан, укрыли. Отец дал понюхать нашатырь. От жалости к себе и к растерянным родителям ему хотелось заплакать. Но и слез не было.

– Я... не умру? – прошептал.

– Что-о?... О чем ты говоришь, милый?! – Никогда так ласково отец не говорил. – Будешь... будешь жить

назло всем чертям!

Мать прослезилась.

– Есть хочешь?

– Нет... нет. Спать... спать...

Наутро он очнулся от радостного возгласа отца:

– Смотри, смотри, Гарри!

В низком оконце возле топчана показалась морда Майлыаяка. Пес, упершись передними лапами о раму, немигающе смотрел на своего друга старческими, преданными глазами. На обмякших его ушах, точно серьги, висели две репейные коллочки.

«Ну, как? – спросил Майлыаяк. – Живой? Оклемался?»

«А ты?»

«Е-е, что со мной делается? Шүкір, айналайын».

Мальчик улыбнулся. И дотронулся рукой до кончика своего носа. Ему почудилось, что все плохое миновало, что он преодолел затянувшуюся хворь, все напасти, себя самого. И, видно, ему предопределено жить, коли душа еще не подкатилась к носу...

...Стояло лето второго послевоенного года. А я помню тот день во всех подробностях и поныне. И кажется, именно тот случай, тот поход на земляничную поляну странным образом определил мою судьбу.

28 – 30 мая 2005 г.

И ПРОБИЛ ГОРЬКИЙ ЧАС ПРОЩАНИЯ

I

Втяжкой старческой полудреме он одним лишь глазом подслеповато покосился на багряную луну, одиноко плывущую над Рисовым базаром неподалеку, и почувствовал неодолимое желание завывать. Завывать исступленно, самозабвенно, чтобы хоть ненадолго заглушить нестерпимую, саднящую боль и смертельную тоску, иссушивающую все его существо уже целую вечность – днем и ночью. Но он подавил в себе это острое желание, только поскулил негромко, жалобно, как обиженное дитя, и судорожно зевнул.

Ночь стояла оглушительно тихая. Временами налетал ветерок, шелестел пожухлыми листьями на деревьях, шарил в кустах. Луна равнодушно взирала с вышины, и ей не было дела до собачьего горя. Он кинул быстрый взгляд в сторону входной двери приземистого, под железной крышей, дома, чтобы убедиться, не проснулся ли его новый хозяин, презренный коротышка, а еще хуже – его толстая сварливая баба в вечно засаленном халатике и грязных отопках. Коротышка имел привычку, услышав лай, вой или грохот, выскакивать по ночам во двор, ошалело озираясь по сторонам, высматривая померещившихся грабителей, потом, успокоившись, пятерней скреб впалую волосатую грудь, призывал к себе пса и долго мочился, норовя вонючей струей непременно угодить в него. Почему-то это доставляло ему удовольствие. Вслед за ним, случалось, выбиралась из дома его дородная баба, лохматая, опухшая, грудастая, сонно выглядывала из-за мужа и тут же, прямо возле порога, приседала, оголив на мгновение

необъятный белый зад.

Рекс с омерзением отходил в глубь сада, наливаясь еще большей ненавистью к своим новым хозяевам.

На этот раз обошлось. Видно, его нечаянный скулеж не нарушил сна чуткого коротышки.

Рекс положил морду на лапы и вновь погрузился в дрему.

II

Боль и обида терзала Рекса в последнее время неотступно. С той самой поры, когда его бывшие хозяева, в которых он души не чаял, с тюками, баулами, сумками покинули однажды родную усадьбу.

Сборы были долгими и мучительными. Пес наблюдал за этими хлопотами со стороны, смекнув, что хозяева на распутье, как бы враз остыли к своему так славно обжитому очагу, явно надумали уехать и – судя по всему – далеко и навсегда. Он изо дня в день видел, как хозяин – костлявый долговязый старик – топтался по двору озабоченный и сумрачный, заглядывал во все углы огорода, летней кухни, мастерской, курятника, сараюшек, навеса, рылся в ящиках, перебирал разную слежавшуюся, пропахшую плесенью и пылью рухлядь, подолгу застывал, держа в руке уже ненужные теперь то вилы, то лопаты, то топор, то кетмени и ломы, и вздыхал, потерянно оглядываясь вокруг. Мудрый Рекс чувствовал, как тяжело, должно быть, на душе старика, как больно было ему расставаться со скарбом, нажитым с такой любовью и тщанием за долгую-долгую жизнь, с домом, садом, всем-всем, что окружало его и имело свой смысл и назначение. Он тихо сопереживал хозяину, не зная, как ему угодить, как утешить, как унять, развеять его душевную смуту.

Рекс наблюдал из-за своего закутка, как приходили незнакомые люди, оценивающе присматривались к подворью, заходили в дом, в сад, иногда уходили сразу, досадливо махнув рукой, иногда подолгу спорили с хозяином, случалось, забирали с собой какие-то вещи, грузили на машину и увозили. И пес заметил, как маялся

старик всякий раз, обреченно разводил руками, и тогда, чтобы утешить его, подходил к нему, виновато помахивая хвостом-метелкой, жался к его ногам, тыкался мордой в его костлявые колени. И хозяин благодарно гладил его по голове, похлопывал по хребтине, и пес млел от радости и жалости одновременно.

III

Перемену в настроении жильцов Рекс уловил еще ранней весной. Она, как всегда, обрушилась сразу. После затяжных кислых туманов вдруг весело повалил с утра снежок, припорошил все вокруг, выбелил, но уже к обеду растаял. Потом несколько дней кряду лили дожди, почти без передышки, а далее так чисто заголубело небо, так ярко засверкало солнце, щедро поливая размороженную землю теплыми струями, так ошалело запели-загорланили петухи по всей махалле, что все-все мгновенно пробудилось ото сна, ожило, встрепенулось, взбодрилось. Особенно действовали на собачьи нервы задушившие коты. Они шастали в кустах, упруго взбирались на крыши и так бесстыже мяукали на все лады, так осатанело надрывались, что Рекс возненавидел их, похотливых тварей, до лютости.

Старик целыми днями хлопотал в саду, убирал мусор, копал землю, разбивал грядки, чистил арычки, вбивал колышки, белил стволы яблонь и урючин, и никто ему не помогал – ни дочка, ни внучка-белоручка, ни егозливый внук. Наоборот, дочь иногда бурчала на отца, отчего-то злилась, даже голос повышала, и тогда старик зашвыривал в сторону грабли или кетмень, хватался за голову и удалялся в дом. Внучка, взрослая девица, всегда нарядная, ухоженная, казалось, вообще ни во что не вникала, приходила откуда-то, помахивая импортной сумочкой, пила чай и вновь куда-то уходила, будто на нескончаемый праздник. А внук, приходя из школы, куролесил по двору, приводил ватажку сорванцов, раздаривал им в приступе щедрости налево-направо свои пожитки – велосипед, самокат, приемник, значки, арбалеты, альбомы, книги, разные игры. Дай ему волю,

он бы наверняка всю ограду отдал закадычным друзьям да еще и Рекса в придачу. Рекса он иногда крепко обнимал за голову, стискивал ему челюсти, дышал ему в ноздри и, буравя его шальным взглядом, говорил: «Ну, что, дурачок, остаешься? А? Оставайся, дурачок!.. А мы уедем, уедем... в далекие края». Рекс смотрел на шалуна с недоумением, не понимая, то ли жалеет его, то ли пугает...

IV

Сборы были долгими, а прощание – коротким и неожиданным. Накануне вечером во дворе накрыли стол, пришли соседи и еще какие-то люди. Застолье получилось грустным. Никто не пел, не плясал. И говорили приглушенно, мало, как тогда, в тот черный майский день, когда вынесли со двора хозяйку, лежавшую в длинном черном ящике. Рекс в своем закутке, куда его увели, печально наблюдал за застольем. Дочь хозяина вдруг ни с того ни с сего разревелась, размазывая краску по щекам; сын ее, неугомонный озорник, тоже притих, пригорюнился, прижался к матери; внучка-красавица, нарядная, с распущенными волосами, томно шурилась в пространство и кривила губы, усмехалась. Она, должно быть, уже пребывала в том прекрасном, взлелеянном в мечтах, сказочном мире, куда уже давно тянулась душа, и потому все, что происходило здесь, во всех ближних и дальних махаллях, и тем более в ее родном тупике, она воспринимала отчужденно, с нескрываемым презрением. А старик вдруг вскочил, приложил платок к глазам, гулко высморкался, удалился в сад. Рекс помертвел, зажмурился. По глубоким черным бороздкам на узкой его морде потекли горячие собачьи слезы.

Потом гости разошлись, дочь хозяина с красными и воспаленными от слез глазами мрачно убирала со стола, внучка уселась в кресло под виноградником с транзистором на коленях, слушала нездешние мелодии, ловила кайф, томно улыбалась. Ночью в кухне горел свет, и Рекс видел, как старик сидел за своим столом-

тумбочкой и, низко склонившись, что-то строчил, строчил в толстой тетради.

Утром, чуть свет, старик снова был на ногах, обошел, осмотрел все подворье, постоял в саду, рассеянно погладил пса, ежеминутно сморкался, вынес из дома и выставил на скамейку возле колонки всю поклажу, и Рекс окончательно убедился, что хозяева уезжают. Понял он также, что его оставляют здесь, что его девать просто некуда, и от сознания своей ненужности, от смущения пес старался держаться незаметней, в сторонке, ибо безошибочно чувствовал, что стал отныне обузой.

Потом хозяева ушли. Рекс лежал под столом, наблюдая из-за своего укрытия, надеялся, что его все же заметят, обласкают на прощание, но, видно, в суматохе о нем совсем забыли. Первой вышла за калитку внучка в шикарном брючном костюме, с нарядной сумочкой на плече, с небольшим саквояжем, за ней – дочь хозяина, волоча за собой тележку, груженную баулом и сумками, последним, сильно хлопнув калиткой, заполошенно выскочил внук-сорванец с рюкзачком за спиной. У Рекса зачесался нос, будто пыль набилась в ноздри. Он лапами нервно провел по морде, хотел было вслед рвануться к калитке, но удержался, проявив достоинство и деликатность. И тут калитка вновь оглушительно хлопнула, пулей влетел во двор внук-озорник, закричал:

– Рекс! Рекс!.. Сюда!..

Пес послушно из-под стола, смущенно и счастливо подошел к внуку. Тот порывисто обнял его за шею, прижался щекой к его морде, заглянул в глаза, горячо сказал:

– Прощай, дурачок! У-у-у... все, все! Больше не увидимся. Понял? Понял?.. Ничего ты не понял, дурачок. Прощай, говорю. На!

Внук достал из кармана курточки конфетку, запихнул ее в пасть пса, еще раз больно потрепал его за уши и выбежал со двора.

Рекс приличия ради выдержал еще мгновение, потом подошел к калитке, встал на задние лапы, потянулся к хорошо известной ему щели в дощатом заборе,

выглянул. По узкому, неровно вымощенному ущелью-тупику уходили его хозяева. Дочь и внучка уже дошли до поворота и свернули на улицу. Их, спотыкаясь, догонял внук. Замыкал шествие старик, волоча за собой тележку с поклажей. У поворота старик остановился, оглянулся, и у пса помимо воли радостно заходила-затрепетала метелка хвоста, забило сердце. Ему на миг почудилось, что старик завернет сейчас назад. Но старик не двинулся с места. Выпрямился, снял шляпу и низко поклонился в сторону калитки, и псу показалось, что хозяин ищет его. Он тихо взвизгнул, царапнул когтями калитку, забил хвостом, нетерпеливо перебирал ногами, а старик все стоял как вкопанный и вытирал носовым платком глаза. На миг показалась из-за угла дочь, слышался ее укоризненный голос:

– Ну папа!.. Опоздаем же!..

Тут же нарисовалась в проеме тупика и внучка, вразяжку, гнусаво протянула:

– Хватит, деда, комедию ломать... Пошли!..

Старик еще сильнее сгорбился, послушно поволок тележку за собой, скрылся за поворотом. Рекс постоял еще некоторое время у калитки, все глядел-глядел в щель. Хвост его обвис. Ноги от напряжения дрожали. Боль и тоска стиснули грудь. Он отвернулся, постоял у колонки, понуро свесив отяжелевшую голову, и не знал, как ему теперь жить дальше. Потом побрел в сад, чтобы остаться наедине со своим безмерным горем.

V

А какие беззаботные, шумные и веселые бывали времена! Как славно жилось всем на этой усадьбе и ему, Рексу, – тоже! И было это совсем недавно... Свою жизнь до того, как он появился на этой усадьбе, пес не помнил. Смутно он запомнил лишь тот весенний солнечный день, когда хозяин – рослый, сухощавый старик – притащил его, еще несмышленного щенка, во двор в рюкзаке с базара. Он стоял посреди двора в окружении домочадцев, все с любопытством разглядывали его, что-то друг другу доказывали, поставили перед ним

блюдечко с молоком и хлебным мякишем, а он дрожал, дергал хвостиком, озираясь, ничего не соображая. Потом его попеременно брали в руки, щупали, тискали, прижимали к себе, и щенок тыкался в них влажной мордочкой, благодарно ощущая любовь и ласку.

Он быстро подрос, окреп, превратился в ладную веселую собаку неопределенной породы – скорее всего, помесь среднеазиатской овчарки с дворнягой, с густой рыжей шерстью на подгрудке и ляжках, с гладкой вытянутой мордой, с подпалинами под брюхом, с умными, все замечающими темными глазами подо лбом. Так же быстро он освоился, привязался ко всем домочадцам, вызнал их манеры и повадки, обследовал все уголки, закутки большого подворья, стал понимать, чувствовать, угадывать малейшие желания хозяина и беспрекословно, с радостью прислуживать ему. Его все любили, и он полюбил всех. Большой костлявый старик, играя с ним, превращался в озорного мальчишку, прыгал и бегал вместе с ним, приучал ходить на задних лапах, боксировать, высоко подпрыгивать, ловить на лету мяч, приносить далеко заброшенную палку, разгонять слетавшихся на деревья в саду наглых и обжорливых афганских скворцов, громко лаять, если кто приближался к калитке. Дурашливо резвился с ним и маленький внук хозяина, но иногда ни с того ни с сего дергал его за хвост, трепал за уши, щипал и тискал его больно, и псу это было неприятно, но он терпел глупые выходки малолетнего озорника-тирана.

Пес почувствовал ко всем неумную привязанность. И особенно к хозяину. Ведь он дал ему кров, кормил, ласкал, обихаживал его, и псу казалось, что он жил здесь всегда, с самого появления на белый свет, что другой жизни нет и быть не может, что на земле царят любовь, нежность, радость, и счастью этому не будет конца. Усадьба была ухоженная, просторная, и все, что было в ней, имело свой смысл и значение, все подчинялось некому раз и навсегда заведенному, твердому и надежному, казалось бы, незыблемому распорядку. И дом был веселый. От него веяло уютом, добром, благополучием.

К имени своему – Рекс – он привык сразу, с первого дня.

По душе Рексу пришелся общительный, компанейский нрав домочадцев. Усадьба никогда не пустовала. Разноликий люд стекался сюда зимой и летом. И, чувствовалось, все искренне радовались друг другу. Особенно многолюдно становилось на подворье летом, когда приезжал сын хозяина с женой. О, тогда съезжалось столько людей – дети, внуки, родственники, знакомые хозяина, проводились шумные застолья, громко играла музыка, иные пускались в пляс, горланили песни, и пес видел, как всем хорошо, приятно, как ладно и согласно все живут, как внимательны друг к другу и как счастливы хозяин и хозяйка этим многолюдьем, как рады этому безмятежному гомону.

Приезд сына хозяина превращался для пса в праздник. Еще до рассвета, когда только истаивала предутренняя сутемень, пес терпеливо дожидался его у порога входной двери. Сын хозяина вставал очень рано, пес улавливал скрип зальной дверцы, и хвост его мимовольно начинал радостно колотиться. Сын выходил во двор и неизменно приветствовал пса:

– Здравствуй, дорогой... Мо-ло-дец!.. Умница!

Потом он направлялся в сад, к деревянной постройке в глубине, и пес опрометью несясь впереди, разок обегал сад, отрывисто взлаивал, грозно разгоняя всю нечисть на пути хозяйского сына по узкой асфальтированной дорожке. Вернувшись из сада, сын хозяина с удовольствием возился с псом: заставлял его бегать по кругу, подбадривал, ярил, теребил, разгоняя сонную одурь и горяча кровь; потом запыхавшийся пес понарошку кидался с разбега на него, угрожающе рычал, а сын хозяина отталкивал, отпихивал его от себя, похохатывал, возбуждал: «Давай!.. Давай! Ага! Ага! Вот так! Вот так!» Пес понемногу шалел, приходил в неистовство, набрасывался все круче, все более упруго, начинал забываться, тогда сын хозяина коротко приказывал:

– Стоп!.. Довольно! Все!..

Пес тотчас смирялся, вставал на задние лапы, виляя

задом, кружился вокруг, будто пританцовывал, потом клал передние лапы на грудь сына хозяина, вытягивал морду, ожидая ласку. И сын хозяина гладил его, приговаривая:

– Ай, хороший... Хо-о-ро-о-ший... Умница!

Пес улыбался, щерил пасть, вываливал розовый влажный язык, жмурил глаза, ронял обильную слюну и млел от счастья.

– Все, дорогой... хватит! Делу – время, потехе – час.

И пес деликатно отступал, наблюдал со стороны, как сын хозяина долго мылся под колонкой, брился, потом садился за большой стол под навесом, раскладывал бумагу и долго писал, пока не приглашали его завтракать.

Ах, славное было время! В положенный срок сын хозяина уезжал надолго, иногда на целый год, потом вновь приезжал, и опять во дворе становилось многолюдно и весело, опять играла музыка, опять происходили шумные застолья, все плясали, хохотали, горланили, и все так же любили друг друга и пса тоже.

Так проходил год за годом. Сменялись много-много раз зима и лето, а на усадьбе и в доме в тупике закоулка, казалось, ничего не менялось, все происходило точь-в-точь по однажды твердо заведенному порядку.

Ничего не предвещало беды. Казалось, так будет всегда. И даже чуткое сердце Рекса не ощущало приближения неотвратимых печальных перемен.

VI

Во время томительного ожидания у двери таможни в аэропорту старику стало не по себе. Досмотр никак не начинался. Было душно. Время остановилось. Старик ежеминутно извлекал из кармашка безрукавки тяжелые серебряные часы с гравированной крышкой, подарок бывших сослуживцев к восьмидесятипятилетию, подолгу глядел на циферблат, но даже секундная стрелка двигалась едва заметно, как бы нехотя.

Сердце учащенно колотилось. Тошнотная слабость подкатывала к горлу. Мысли мешались. Ноги стали ватными. Ломило в пояснице.

Ну, куда, куда, куда он летит? Зачем, зачем, зачем? Кто его гонит с насиженного места? Что он там, в далекой и чужой ему Германии, потерял? Кто его там ждет? Племянницы-пенсионерки или их детки- полукровки – седьмая вода на киселе? Какая нужда заставила его на старости лет податься в чужие края, именуемые прародиной?

Ответа не было.

Дверь контрольного пункта все не открывалась.

Старик оглянулся. Вокруг томились еще пятнадцать-двадцать бедолаг с баулами и сумками, чемоданами и узлами в ожидании таможенного осмотра. По облику и постному выражению лица он признал в них соплеменников. В любое другое время и на другом месте он не преминул бы вступить с ними тотчас в разговор, выяснил бы первым делом, кто откуда родом, заговорил бы на муттершпрахе, о себе бы поведал, но сейчас не было никакого желания разводить какие-либо тары-бары. Более того, он отчужденно, даже с неприязнью покосился на потенциальных аусзидлеров (тьфу, словцо-то какое противное!), ухайдаканных бесконечными хлопотами, связанными с отъездами на Фатерланд (какая она, Германия, Фатерланд!) и наглыми поборами жадного до чужого добра, презренного, продажного чиновничьего племени. Видно, и они, завтрашние аусзидлеры, испытывали примерно то же самое, что и он, потому что лица их были бледные, напряженные, глаза пустые, подернутые пеленой отчуждения, говорили они шепотом, исключительно по-русски, смеялись натужно, наигранно.

Зачем он только ввязался в эту дурь? Махнуть бы сейчас на все рукой, встать и выбраться решительно отсюда, сесть на автобус, вернуться домой, в свой двор, отдохнуть часок на старом топчане за домом, стряхнуть с себя все тревожнения, прийти в себя и вновь приняться за привычные хлопоты, и не надо ему ни рая на чужбине, ни хваленного порядка и чистоты, ни соков и бананов, ни немецких сосисок, ни дешевых машин, ничего, ничего из тех расхожих благ, которыми прожужжали ему в последние месяцы уши. Пропади все пропадом! Ничего

этого ему не надо. Он ведь на своем месте, у него свой дом, а когда иссякнет его земной срок, он должен лечь рядом с женой, с которой прожил в любви и согласии целых шесть десятилетий...

Ах, глупец, глупец... старый остолоп, совсем выживший из ума! Зачем только поддался на уговоры дочери и внуков? Зачем послушался криводушных земляков, монотонно долдонивших ему о том, что он, мол, заслужил право хотя бы на склоне лет познать истинный вкус и смысл настоящей немецкой жизни, истинного цивилизованного мира, где царят порядок, чистота, покой и благоденствие? А как искушали его, дескать, ты только приезжай, устройся, оглянись, а коль не понравится, в любое время можешь возвращаться и окунуться в этот азиатский хаос, в эту неразбериху и бестолковщину, раз она так тебе по нраву. Убеждали: в конце концов ты должен пожертвовать собой ради дочери, внуки и любимого внука, позаботиться об их обеспеченном, счастливом будущем, это ведь последнее, что ты в силах для них сделать на этом свете. Ну, и добились своего советчики, искушители, мудрецы, шарлатаны, черт бы их всех побрал! Убедили, уговорили, уломали, сбили с толку. Ай, ай... ду, альтер Окс... что ты наделал?!

Дочь бледная, поникшая, уставилась на дверь таможни. Руки ее дрожали. Внучка, закинув ногу на ногу и картинно отвалившись на 71 спинку кресла, листала иностранный иллюстрированный журнал. Видно, она уже жила в той красивой жизни, к которой вожелела днем и ночью. Дуреха великовозрастная, что она-то там будет делать?.. Ждут ее, конечно, в Германии не дождутся, полуукраинку- полунемку, не способную выговорить половину немецких звуков и живущую, как во сне. «Их хабэ гэхабт», – передразнил в сердцах внучку старик, налегая на «х».

Внук тоже затих, уgomонился, прижался к бабушке, как сиротинушка, позевывал. Что его-то, безотцовщину, ждет в Германии? Когда еще он станет полноценным немцем, ухоженным и благовоспитанным, о чем уж столько лет сладко мечтает его мать-одиночка? Себя же

старик в германском раю никак не представлял. Свое он отработал и отжил. В павлиньи перья рядиться ему не пристало. Кирха его не прельщает. Пива – ни светлого, ни темного – не пьет. Досушие разговоры не занимают. В четырех стенах не усидит. Тамошняя картавая немецкая речь его не трогает, слух не ласкает. Он привык интонировать слова совсем по-другому и не желает подлаживаться под заемные манеры. Остается только слоняться по окрестностям, любоваться незнакомыми видами. Но и это наверняка скоро наскучит...

Наконец распахнулась черная пасть таможни. Все пришли в движение. Старик нащупал в кармашке жилета таблетку, кинул под язык.

Таможенный осмотр тянулся вечность. Старик глядел на то, как таможенники бесцеремонно потрошили так тщательно уложенный им багаж и почувствовал презрение и к тому, что происходило, и к себе самому. Он впервые почувствовал себя не человеком, а как бы преступником, изгоем, несчастным и бесправным аузсидлером-переселенцем.

Паспортный контроль он прошел, как в тумане.

Муть на душе не проходила и в самолете. По длинному проходу шикарного лайнера сновали взад-вперед вышколенные стюарды и стюардессы, поминутно чем-либо угощали и при этом так ослепительно и щедро улыбались, что, казалось, им доставляло неслыханное удовольствие непременно угодить всем пассажирам. Вокруг все только и делали, что ели, пили, смотрели фильмы, слушали музыку по наушникам, забавлялись компьютерными играми, шуршали пакетами, листали цветные буклеты и увесистые журналы, наслаждались непривычным сервисом и предвкушали безмятежную красивую жизнь на свободном сказочном Западе. И хотя до Франкfurта-на-Майне надо было лететь еще несколько часов, из центра в Азии в центр Европы, но вожденный рай – так чудилось многим – начинался уже в «Боинге» «Люфтганзы».

Старика все это не занимало и не волновало.

Время от времени глядя на табло, по которому огибал земной шар серебряный самолетик, указывавший

маршрут полета, он вспоминал всю свою долгую жизнь, подсчитывал-перебирал в уме годы: тридцать два года он прожил на Волге, где некогда обосновались его предки и откуда вождь-усач бесцеремонно изгнал их в лихолетье; потом ровно тридцать лет трудился он в краю казахов, в аулах на берегу Есиля, среди добрых, душевных и благородных людей, память о которых он сохранит до скончания своих дней; после этого четверть века жизни прошла в древнем и красивом, многолюдном и солнечном городе, столице узбеков, в окружении детей, внуков, бесчисленной родни и знакомых, и теперь вот... в восемьдесят семь лет понесло его Бог весть куда... О том, новом периоде жизни, старику думать не хотелось, ибо эту новую жизнь он просто-напросто не представлял. Память вновь и вновь возвращала его к родному очагу в глубине тупика на окраине города и к кладбищу Домбрабат, где покоились рядом его младшая дочь и жена. И когда он живо представил эти два ухоженных холмика с двумя аккуратными надмогильными памятниками из гранита и мрамора, с барельефным портретом усопших, и ту чинару, под которой он присмотрел, облюбовал и себе место, сердце его замерло, и по глубоким складкам на впалых щеках покатились слезы.

– Успокойся, – глухо заметила дочь. – Возьми себя в руки.

Старик послушно кивнул, достал из кармана платок.

– Гляди, деда! Мы, оказывается, летим над Польшей.

– Да, да... скоро Франкфурт...

И старику подумалось: может, так надо? Может, так изначально предназначено, чтобы он еще и это испытал? И, может, все обойдется? Может, его невезучая дочь, красавица-внучка, вечно витающая в облаках, и внук-сорванец, поздняя его радость и утешение, именно на этой, как сказывают, благополучной и благоустроенной земле обретут свое счастье? Может, напрасно он так переживает? Сам ведь всегда и всем твердил: воспринимай жизнь такой, какая она есть. Во всем, что происходит, должен же быть какой-то смысл, который не всегда подвластен воле человека. Значит, нужно

благодарить прошлое, ту землю, где ты прожил столько лет, и сказать ей спасибо, прости и прощай. Да, да... прости и прощай...

Серебряный самолетик на табло приблизился к светящейся точке – «Франкфурт».

«Ну, вот... ну, вот...» – тихо прошептал старик и прижал к себе сидевшего рядом внука.

VII

Колесо времени катилось по известной колее. Все, что происходило вокруг, было старо как мир. Знойное лето переходило в слякотную осень, потом подкрадывалась зима, сырая, промозглая, чахлая, с туманами, изморозью, ночными заморозками, но, к счастью, длилась она здесь, на юге, недолго, уступая вскоре место весне с влажными ветрами, с томными запахами пробуждающейся земли, со сладко- хмельными воздушными струями с гор и полей.

Все эти перемены покинутый хозяевами старый Рекс воспринимал равнодушно, как в дурмане. Он только замечал, что люди куда- то уходят, махалля пустеет, даже обычного детского гвалта в узком проулке не слышно, как прежде. Что-то, видно, случилось, раз люди понемногу покидают насиженные места, а что – это было выше собачьего разума.

VIII

Прошлой ночью Рекс искал слезящимися глазами луну на аспидно-черном небе, но не нашел ее. И тогда ему почудилось, что мрак, настигающий всех в свой роковой час, проглотил и эту вечную спутницу и утешительницу всех одиноких на земле. Немошь и горечь одиночества пес ощущал в последнее время все острее. У него не было только сил, чтобы выразить эту медленно убивающую боль. Он мог ее выразить лишь вытьем – неистовым, безнадежным, но такой возможности он был лишен, он просто не мог себе такое поз- волить.

Пес прижался мягким нежным брюхом к слегка остывшей кутуземле, вытянул передние лапы, уткнулся в них тяжелой мордой и крепко зажмурился. Он утомился от дум и бесконечных изнуряющих воспоминаний. Он слышал, как возле курятника проشمыгнула мышь, как прямо перед носом прошелестела ящерица, как деловито плел паук свою затейливую паутину в кустах малины, но пес лишь досадливо повел одним ухом, ибо не было сил и желания обращать внимания на эту ничтожную возню.

Так он лежал возле малинника, безучастный ко всему, что творилось в ночном саду, в закоулках-закутках подворья и вскоре уснул. И во сне он увидел бывшего своего хозяина, благодетеля и заступника, — долговязого, костлявого старика в тяжелых кирзовых сапогах, в старых рваных штанах, в самодельной войлочной шапчонке с нелепым, коротким, дратвой пришитым пластмассовым козырьком. Пес увидел его так неожиданно и явственно, так живо, что вздрогнул во сне от радости и счастья. Хозяин шел по саду, по обыкновению чуть-чуть сутулясь и хлюпая добела обтерханymi кирзачами, шел медленно и долго, постепенно удаляясь все дальше и дальше, и псу это показалось странным. Странным было то, что хозяин даже не взглянул в его сторону, не поманил пальцем, как бывало прежде, даже каким-либо неувимым движением не подал никакой команды, а все шел и шел, точно слепец, отрешенный от всего, сам по себе, и пес ужаснулся во сне, оскорбился этому равнодушию и завилал хвостом, чихнул, чтобы хозяин хоть на миг заметил его, но долговязый сухошавый старик все удалялся, не оглядываясь и постепенно растворяясь во мраке, пока не исчез совсем. И тут пес проснулся, почувствовал, как все в нем онемело, глянул вверх и увидел Млечный путь — тусклую полоску, пересекавшую вызвездившееся небо. Ему померещилось, что его бывший хозяин, длиннорукий, носатый старик, которого он только что видел, пошел как раз этой дорожкой — без конца и края — в никуда. И пес понял, что хозяин, которому он так был предан, больше не вернется

наверняка никогда, что он ушел нынешней ночью, может, как раз в тот предутренний час, этой молочно-белой небесной дорожкой туда, откуда нет возврата. И вместе с уходом старика ушла и тщетная надежда, смысл жизни самого пса. Он давно смирился со своей ненужностью, с того момента, как хозяева однажды утром покинули усадьбу, но подспудное чаяние, как светлячок в летнем саду, продолжало тлеть в его существе. Он жил на этом свете только для того, чтобы стеречь дом, усадьбу, чтобы верой и правдой служить хозяину, исполнить с благодарностью свой собачий долг, теперь нужда в том отпала, а значит, отпала и сама надобность его собачьего существования.

Отныне ему осталось одно – умереть. Но не суждено ему, как некоторым двуногим, уходить в инобытие небесной бело-молочной дорожкой. Туда псам путь заказан. Так определено великим создателем. Ему, псу, суждено околеть на грешной земле, на которой обитает много разной ничтожной твари, да, околеть, сгинуть, но не так, как крысам, жучкам, паучкам, а более достойно, ибо даже собаке следует уходить из жизни приличным, подобающим ее предназначению образом.

IX

Да, теперь ему осталось одно – умереть. Но он не хотел подыхать здесь, в огороде, на усадьбе, где ему были знакомы, многожды раз обнюханы каждый уголочек, каждый кустик, каждая былинка. Он не хотел, чтобы его новый хозяин – лысый кривоногий коротышка, от которого вечно дурно пахло, – смотрел на его окоченевший труп с гадливостью или с омерзением закопал его в углу сада, у самой ограды, под лопухами, а то – что еще хуже – выволоч и швырнул на свалку, где будет лежать он, безобразный, распухший, с оскалившейся мордой и грязным хвостом-метелкой несколько дней, пока его не вывезет «мусорка». Нет, этого пес не допустит. Он изловчится и заблаговременно – тихо и незаметно – уйдет из этой усадьбы, выберется из лабиринта каменного города куда-нибудь

подальше в поле, найдет укромное местечко в ложине или возле пыльных кустарников, затаится, свернется калачиком и уснет беспробудным сном. Он это знал и чувствовал. Ведь всему на этом свете приходит конец. В этом он убедился несколько лет назад, когда однажды утром не вышла во двор хозяйка – маленькая, смуглая, темноглазая старушка, которая обычно еще спозаранок, стоя посреди двора, подолгу расчесывала гребнем свои седые космы и вприщур оглядывала подворье, как бы прикидывая, что и в какой последовательности предстоит ей переделать за день.

Тот горестный день пес запомнил. Хозяйка так и не вышла из дому, и пес смутно догадывался, что случилась беда. Приходили и уходили люди, и все были сосредоточены, молчаливы. На пса никто не обращал внимания. И даже в закуток его не заперли. Объявился неожиданно и сын хозяйки, строгий, озабоченный. Пес радостно кинулся было к нему, даже привстал на задние лапы, но тотчас понял, что сейчас ему не до него, смущенно отошел в сторонку, поджав хвост. Сын хозяйки приехал, видно, издалека, с женой и с еще какими-то важными незнакомцами. Вокруг него все сразу забегали, засуетились. Пес в недоумении слонялся по двору, ощущая свою ненужность, неприкаянность; он стеснялся этой своей ненужности, удалялся в свой закуток или в глубь сада и оттуда, наострив уши, вслушиваясь в каждый звук, внюхиваясь в незнакомые запахи, наблюдал за всем происходящим. А люди все прибывали, заходили в дом, толпились во дворе, что-то говорили и вновь уходили; калитка хлопала беспрестанно; большинство людей пес видел впервые, но он благоразумно не рычал и не лаял на них. А хозяйка так и не показалась. И в этот день, и на другой тоже. И пес тяготился неведением. И как-то вечером на второй день он тихо подкрался к веранде, заглянул, встав передними ногами на высокий порог, в приоткрытую входную дверь, увидел дочь хозяйки, хлопотавшую в кругу женщин на кухне, долго смотрел на нее, поймал, наконец, ее взгляд, скорбно покосился в сторону зала, немо спросил:

«Она там?»

«Там», – ответила взглядом дочь хозяйки.

«Ей худо?»

«Да»

«Она... ушла?»

«Да... навсегда...»

Пес сокрушенно вздохнул, постоял, медленно обвел взглядом длинную веранду, покосился на стол, заставленный яствами, и хотя его не кормили уже второй день, не о пище сейчас подумал, а, почуяв скорбный дух, струившийся из зала даже из-за плотно закрытых дверей, понял своим пронзительно чутким собачьим умом, что хозяйка действительно ушла, покинула этот мир навсегда. Он зажмурил глаза, представив ее живую – маленькую, сухонькую, неугомонную, не очень ласковую к нему, но добрую и справедливую, и вздохнул еще раз, потом медленно повернулся, побрел в сад, под малинник, чтобы никому не быть помехой. Тогда-то ему и открылась потрясающая истина: всему на этом свете – рано или поздно – приходит конец. Для всех живущих на земле пробьет однажды горький час прощания. И даже всемогущие двуногие братья – повелители и владыки – бессильны против этого извечного порядка бытия.

Х

Хозяйка ушла навсегда, и жизнь в усадьбе в тупике продолговатой узкой улицы заметно оскудела. Старик поднимался задолго до рассвета, потерянно озирался вокруг, словно соображая, где он, во сне или наяву, для чего он отныне на этом подворье, и как ему дальше жить, слонялся взад-вперед, хлюпая кирзачами, потом обессиленно опускался в старое продавленное кресло под навесом, обхватывал обеими руками седую голову и, сгорбившись, сидел так долго и неподвижно. Иногда тряслись его худые плечи. И тогда пес подходил к нему тихо и скорбно, сворачивался у его ног, выражая свою неизменную верность и сочувствие. Случалось, старик зажимал голову пса своими костлявыми коленями и

гладил его по холке и хребтине. Псу бывало неудобно стоять в такой позе, ныла шея и не хватало дыхания, но он терпел, стараясь не шевельнуться, угодить хозяину.

Почти каждый день старик уходил на несколько часов, и псу показалось, что он искал хозяйку, затерявшуюся в гигантском каменном городе, но не находил ее. Возвращался старик усталым, совсем уж притихшим, ложился отдыхать на топчане в тени за домом, потом принимался за дела: поливал сад, подметал двор, что-то мастерил, готовил корм прожорливым уткам и курам.

Казалось, ничего особенного не произошло. Дочь хозяина и внучка, наспех позавтракав, уходили на работу; вслед за ними, закинув на плечи ранец, нехотя плелся в школу внук. Возвращаясь к обеду, он ошалело носился по двору, залезал на крышу, выскакивал в проулок, играл с такими же шалопаями, как он. Крики, ор, грохот, буханье тяжелого мяча по ограде и калитке раздражали пса. Неугомонный внук всюду вносил сумятицу, творил ералаш. Старик укоризненно глядел на внука, разводил руками и говорил: «Фуй-фуй!» Внук тотчас передразнивал деда: «Сам ты фуй-фуй!» – и выкидывал очередное коленце: норовил оседлать пса или больно хватал его за уши, прижимался носом к морде и озорства ради шипел: «У-у... сссобака... Не собака ты, а Хунд, понял? Хунд ты, дурачок!» И пес вырывался, нервно отряхивался, будто окатили его невзначай холодной водой, фукал и уходил восвояси. Он любил внука хозяина, по настроению играл с ним, но не всегда его понимал: то ли внук так своеобразно выражал свою нежность, то ли дразнил его, испытывал его терпение.

Вечером возвращалась с работы дочь хозяина. Раскладывала на столе пакеты с продуктами, приносила в банке еду для пса, начинала греметь посудой у плиты, потом стирала и развешивала белье. Вскоре появлялась и внучка, усаживалась за стол, включала транзистор и подолгу под музыку пила чай. Получалось это у ней уж очень красиво и томно, и пес любил наблюдать, наклонив голову, как она хрумтит печеньем, задумчиво смотрит вдаль и улыбается, неизвестно чему или кому. Пес обожал все красивое.

Так бывало и прежде. Но пес чутко уловил перемены. С уходом хозяйки что-то разладилось в былом размеренном укладе жизни. В усадьбе воцарились уныние и скука. Не звучал смех. Не было прежних многолюдных сборищ и застолий. Гости наведывались все реже. И запахи из кухни струились все менее вкусные и однообразные.

Иногда вечерами старик пиликал на скрипке, и жалобные рваные звуки, извлекаемые из нее дрожащим смычком и огрубевшими непослушными пальцами старика, действовали на нервы пса, как мяуканье бродячих котов. Хотелось скулить, выть, но это – он знал – возбуждалось. А пес отличался природной целомудренностью и деликатностью. Он скрывался в глубине сада, залезал в малинник, клал голову на лапы и терпеливо ждал, когда умолкнет заунывная скрипка в руках старика.

XI

Тоска убивает не только человека. От тоски Рекс отощал, опаршивел, стал слепнуть. Шерсть на нем свалилась колтуном, свисла грязными клочками. Блохи его донимали нещадно. Над ним тучами кружились нахальные слепни, шершни, зеленые мухи, и не было сил отгонять их. Он и ходил по двору тяжело, косолапо, поджав хвост, и боязливо озирался. Новые хозяева его не жаловали, глядели на него недобро, искоса, нередко замахивались на него, запирали в клетушку за домом, где обитали чумазные хрюкающие существа и стояла кислая, тошнотворная вонь. Кормили его из той же замызанной лохани, что и хрюкающих тварей, и пса это особенно унижало. Никто его не ласкал, не говорил нежных слов. Жизнь стала поистине собачьей.

Все, что происходило на подворье после отъезда хозяев, приводило пса в уныние. Кривоногий коротышка и его дородная баба-грязнуля быстро все вокруг захламили. Летнюю кухню и сарай набили какими-то мешками, коробками, ящиками. От веранды шел гадкий запах. Коротышка, кряхтя, вытаскивал

оттуда в помойных помятых ведрах какое-то месиво и относил за дом, в клетушки, к обжорливым хрюкающим тварям, оглашавшим иногда всю махаллю невыносимым визгом. Возле этих клеток даже среди белого дня шастали серые мерзкие существа с длинными хвостами.

Однажды нежданно-негаданно вошел во двор сын бывшего хозяина. Пес сразу узнал его, радостно подбежал, хотел было, как прежде, вскинуться на задние лапы, чтобы упереться передними ногами в его грудь и потянуться к нему мордой, но как-то оробел. Сын хозяина был чисто, справно одет, и пес постеснялся своего убогого, запущенного вида, худобы и блохастости и не осмелился прижаться к дорогому гостю. Но сын хозяина не побрезговал, погладил пса по грязной холке, по хребту, по ушам и, как прежде, ласково, врасстяжку проворковал:

– Рекс... Ре-е-ексс... Ах, ты милый... хороший... умный ты мой! Живой, значит? И меня помнишь?! Ай, умничка... у-у-умничка-а-а...

И столько неподдельной нежности, любви, радости слышалось в его голосе, что пес забил-заколотил хвостом по земле, быстро-быстро перебирал ногами, обмирая от благодарности и признательности.

Сын хозяина, видно, приехал издалека и спешил. Он вошел в сад, походил по двору, зашел ненадолго в дом, потом опустился на скамеечку, помолчал. За калиткой просигналила машина. Гость глянул на часы, встал и опять погладил пса по голове.

– Прощай, Рекс... Ты хооо-рооо-ший... умный... верный... Молодчина!.. Ну, прощай, старина!..

Пес уловил печаль в его голосе, покорно прижался боком к его ногам и закрыл глаза. Так он делал всегда, когда ему бывало больно или очень грустно.

Сын бывшего хозяина ополоснул под колонкой руки, тихо прикрыл за собой калитку, сел в ожидавшую его в проулке машину и уехал.

И пес догадался: навсегда.

XII

Пес твердо решил, что на рассвете, когда ночь, волоча свои уродливые, точно лохмотья, тени, исчезнет, он покинет этот двор, уйдет куда глаза глядят. Добрая собака должна сгинуть с глаз людских незаметно, чтобы даже труп ее не сыскали. В этом издревле заключается одно из собачьих достоинств. Он не помнил, как пришел в этот мир, то оставалось для него тайной. И уход его из жизни должен свершиться втайне. Ничего уже не связывало пса с этим подворьем. Он устал. Устал от всего. От былых радостей и нынешнего горя. От воспоминаний. От жизни. Пора уходить. Туда, откуда нет возврата. Уж коль туда ушел его хозяин, то нечего ему, старому шелудивому псу, четвероногой твари, мыкать горе на этом свете.

Он знал, каким образом выберется отсюда. Знал, что через забор ему не перемахнуть. И нет такой щели, в которую он мог бы пролезть. А если бы и пролез – не выбраться ему из лабиринта: за забором тянулся новый забор, за оградой – ограда. Путь для ухода был один, и он его запомнил еще тогда, когда старик на поводке торжественно отводил его – раз в год – в собачью лечебницу, где всем его четвероногим собратьям разных мастей и пород делали прививку. Только через калитку по длинному и узкому тупику можно добраться до асфальтной дороги, по которой взад-вперед неслись вонючие железные чудовища, а она уж приведет его к какому-нибудь укромному местечку – к последней роковой черте.

На рассвете пес затаился за колонкой, свернулся так, чтобы заспанный коротышка в нелепых трусах и обвисшей застиранной майке не заметил бы его сразу. И в тот момент, когда он, по обыкновению, откинет щеколду и приоткроет калитку, чтобы посмотреть, что творится в тупике, тут пес и проскочит в щель между кривыми волосатыми ногами коротышки и поминай как звали.

Он так и сделал.

Пока коротышка сообразил, что же произошло, и хрипло прокричал ему что-то вслед, пес одолел тупик, вышел на дорогу, свернул налево и потрусил по обочине, ни на что не обращая внимания. Вокруг мчались машины, мелькали прохожие, тянулись глухие заборы, потом началась черная речка, невероятно захламленная по краям, железнодорожное полотно, жуткие пустыри, рвы, заваленные мусором, полуразрушенные постройки, но пес почти ничего этого не видел и не желал видеть, он вывалил из пасти распухший язык, тяжело водил боками, бежал и бежал упрямой, ровной трусцой туда, куда его гнал манящий необозримый зов неизбежности...

6–12 марта 1996 г.

ПЕПЕЛИЩЕ

*Горе тому, кто плачет в дому,
а вдвое тому, кто плачет без дому.*

Русская пословица

Вот уж год прошел с той печальной вести, а я никак не отволнуюсь...

А поведал мне о том невзначай мой земляк, поэт Жарасбай Нуркан в самый канун моего семидесятилетия. «Извини, мне неловко, но и скрывать вроде как нехорошо: аульного дома вашего уже больше нет. Снесли, разобрали», – сообщил он мне по телефону, придав своему голосу подобающую печаль.

Я обмер. В глазах защипало. Выскочил на балкон и подумал: «Хорошо, что о том так и не узнал мой отец, скончавшийся годом раньше до этого скорбного события в Ташкенте на девяносто четвертом году жизни».

От обитателей того просторного, богатого деревянного дома в центре аула на берегу Есиля осталось теперь нас трое: я и две мои сестры. И живем мы ныне в разных странах-государствах – в Казахстане, Узбекистане, Германии.

Так распорядилась судьба.

Для меня незабываемы, священны три родительских дома: бабушкин дом на Волге, в селе Мангейм, от которого нас отлучили в августе 1941 года. Сестры мои его не помнят: родились позже. Я же помню и описал его во всех подробностях – со всеми ухажаями и хозяйскими пристройками – в романе «Дом скитальца». От того дома и даже от самого немецкого села Мангейм ныне на земле и следа не осталось. Сохранились в семейном альбоме две-три

фотографии. Помнят то время, то село лишь несколько древних старух, обитающих теперь в Германии, да я немного: столько, сколько запечатлелось в памяти шестилетнего мальчика. Правда, многое врезалось в цепкую детскую память по рассказам родителей, по фотографиям, по свидетельствам уже отошедших земляков-соплеменников.

Каких только нет названий у человеческого жилища в одном только русском языке! Даль напоминает в своем словаре: дом, изба, хата, хижина, усадьба, дворец, хоромы, лачуга, домина, домишечка, домища. А сколько мудрых пословиц и поговорок создано русскими людьми о доме! Опять-таки заглянем в Даля: «Свой дом не чужой, из него не уйдешь»; «Дома и солома съедома»; «Худу быть, кто не умеет домом жить»; «В гостях хорошо, а дома лучше»; «Ступай домой, и бог с тобой»; «И тесен дом, да просторен он»; «Домом жить, обо всем тужить»; «Полон дом, полон и рот»; «Дом невелик, да лежать не велит». И т. д.

Знаю, и у немцев, и у казахов, и у других народов подобных мудростей уйма.

Все эти пословицы имели прямое отношение к родительскому дому на Волге.

Второй дом, дом-очаг, долгие годы хранивший душевное тепло, заботу, нежность, прилежность и старание моих родителей и их детей, сложился в тихом ауле, в Северном Казахстане, на месте ссылки, которое я, однако, как ссылку никогда не воспринимал, а взлелеял в мальчишеской душе как точку отсчета, как благословенную обитель моего земного бытования. С этим домом связаны самые светлые, добрые, сокровенные мои воспоминания. И этот дом я описал в своих опусах неоднократно.

И третий родительский дом, в Ташкенте, в Байсунском тупике, долгие годы служивший благословенным приютом всех детей (нас было четверо), всех внуков, правнуков, зятьев, снохи, близких и дальних родичей, знакомых, шумная и просторная усадьба, притягивавшая всех своей открытостью, щедродушием, свободой, семейным теплом и уютом; дом, не родителями

построенный, купленный, но ими достроенный, заверченный, облагороженный, ухоженный, обжитый, согретый их душой, любовью и тщанием. Дом дышал аурой генетической памяти.

О да, было и временное жилье – в Солянке и Гнаденфлуре на Волге, при медпункте в ауле, но оно не стало, не могло стать священным очагом, оно не успело одушевиться, обрести облик родимой обители, осталось в сознании как бы случайным пристанищем, просто до поры до времени крышей над головой. По поговорке: «Три кола вбито, бороной накрыто, и то дом».

Бабушкин дом в Мангейме, из которого вышли мой отец, четыре его брата (все погибли в трудармии), две сестры (покоятся в земле Казахстана), многие их дети и племянники, исчез с лица земли. Его добила кончина бабушки в канун войны, тотальная депортация по сталинскому указу от 28 августа 1941 года, изломанная судьба российских немцев, к которым имею честь принадлежать и я.

Гибель этого очага и последовавшая за этим разруха в судьбе его обитателей всегда в неутешной моей памяти.

А родительский дом в ауле строился на моих глазах долго и трудно, радостно и мучительно, по бревнышку, старательно, с сомнениями и тревогами, с напряжением. Перво-наперво на это надо было решиться, смириться с тем, что отныне твоя спецпереселенческая судьба, твоя жизнь, твой жребий на земле связаны прочно и конкретно, неразъемно с этим казахским аулом, что мечта о возвращении на Волгу, где стояла колыбель дедов и прадедов со второй половины XVIII века, несостоятельна, несбыточна, окончательно погасла, умерла, что корни предстоит пустить на этой казахской земле, на берегу степной реки Есиль, что у каждой семьи в конце концов должна быть постоянная обитель (это лишь куст перекачиполя, гонимый беспутным ветром-бродягой, находит временное пристанище в каком-нибудь овраге), и это родовое гнездо необходимо согреть жаром твоего

сердца, облагородить неустанным трудом твоих рук, наполнить звуками родной речи, здесь твои дети должны обрести веру, надежду, любовь, нравственные устои, крепкие крылья, сознание своей необходимости в этом прекрасном и далеко не всегда добром мире, без чего всегда немислимо, невозможно жить полноценной жизнью и чувствовать себя гражданином, а можно лишь кое-как существовать, прозябать без огня в сердце, без надежды и цели в онемевшей душе.

Да, сначала моим родителям надо было утвердиться в этом чувстве, в таком решении и мировидении. А утвердившись в таком сознании, надо было приступить к материализации вожденной идеи. Предстояло доставать все, что необходимо для воздвижения дома в условиях послевоенной поры в захудалом ауле. К тому же не для заурядной хатенки из двух комнатушек, с плоской крышей, с дерном в два ряда. О, нет! Для дома просторного, из трех комнат и большой кухни, на каменном фундаменте, так называемой пятистенки, с двускатной железной или шиферной крышей! Ойдойт! Настоящий дом! Во всей округе не сыскать. Терем! Попробуй достать в те годы добротный строительный лес (а бревна надо сначала тщательно ошкурить, сложить штабелями, год-другой хорошенько, до звона, просушить, что называется завяливать), столько-то кубов досок (двадцатки, тридцатки, сороковки), листовенную матицу, рамы, косяки, двери, шифер, завезти камни-валуны для фундамента, кирпич для печей, возы мха для прокладок, слуги для крыши, гравий, толь, гвозди, скобы, углы... о, что я буду все перечислять... то известно лишь тем, кто возился в этой буче, испытал эту лихорадку, кто ночами не спал, все думал как одержимый, где, что, сколько достать – раздобыть – упросить – выклянчить, как хранить, чем расплачиваться, как бы не прогадать с плотниками, как их прокормить, как свести концы с концами, как бы не надорваться самому на полпути, как бы не свихнуться от постоянных забот и дум о строительстве своего дома. А ресурсы-то, как ни раскинь, ограниченные. Зарплата сельского фельдшера да санитарки медпункта, ну плюс

огород, кое-какая скотина, ну еще добрые советы и посильная помощь аульчан. Воля, дерзновенная мечта, упорство, немецкие аккуратность и дотошность, сила собственных рук, расчет и организаторская сноровка во имя главной цели – вот тот фундамент, на котором за пять лет и был воздвигнут в конце концов возжеланный родительский дом в ауле.

Дом получился на славу: импозантный, сухой, теплый, просторный – зал, спальня, проходная комнатка, кухня, прихожая, позже пристроили еще столовую. Все было предусмотрено: свет, печь-голландка, отопливающая сразу три комнаты, двойные рамы, разные закутки, столь необходимые в хозяйстве, ровный, крашенный пол. Чистота, уют. Всему определено строго свое место.

Отец гордился своим домом. При случае фотографировал его, подписывал фотографии: «Недостроенный дом фельдшера Карла Бельгера». «Недостроенный» говорилось по скромности, ради красного словца. Намакалось как бы: дом, конечно, хорош, видно же, но имейте в виду, он не достроен. А когда он будет завершен, тогда залюбуетесь, глаз не оторвете. Отцу мерещились необычно, «елочкой» обшитый фронтон, «петушок» – флюгер на крыше, живописные ставни, узорами отделанная парадная дверь, металлические поручни вдоль деревянных ступенек, зацементированная площадка перед входом, песком посыпанные дорожки к хлеву, к сараям, к нужнику в конце огорода и прочие детали, финтифлюшки, украшения. Я знал о задумках отца. Знал также, что для осуществления их не хватит одной человеческой жизни.

О своих дальних планах отец говорил всем, рисовал радужные картины, любил фантазировать, но до всего этого руки, кажется, так и не дошли. Пишу «кажется», потому что к этому времени я уже учился в институте, в Алма-Ате, потом учительствовал в Джамбульской области, потом поступил в аспирантуру, и в аул приезжал на каникулы или от случая к случаю, и много в становлении ауры родительского дома мне осталось

неведомым. Но я охотно приезжал в родительский дом, вначале один, потом с семьей, жилав месяцами, работал зимой в зале, придвинув стол к печке-голландке, летом – в шалашике под акациями в уголке огромного огорода, был окутан любовью и заботой и чувствовал себя счастливым оттого, что есть такой родной очаг на земле, где меня любят, ждут и куда неизменно тянулась моя душа. Здесь увидела свет моя дочь, здесь она жила до школы у бабушки и дедушки, не чаявших, понятно, в своей первой внучке души, урывками два-три года в любви, опеке и внимании, пока мы с женой мыкались по постылым углам в Алма-Ате. Сюда приезжали, избавленные от пригляда комендатуры, наши родичи, разбросанные по империи. Здесь, в ауле, в родительском доме, звучала родная речь, правда, с русскими и казахскими вкраплениями, здесь вечерами музицировали во дворе на радость и забаву аульчан, здесь, в дружной семье, учились тому, чему невозможно научиться ни в школе, ни в вузе – порядочности, деликатности, толерантности, нравственной обязанности и ответственности, долгу перед людьми, совести, добру и щедродушию. Здесь благодарные аульчане шумно и искренне, с подлинным казахским размахом, отметили 60-летие отца, поставив во дворе восьмиканатную юрту, в которой в течение недели пировали, пели, шумели, славили юбиляра, его домочадцев, произносили высокие речи с батой-благословением более 500 гостей из соседних аулов и района, посчитавших нужным достойно отметить почтенную дату сельского фельдшера, переделавшего за три десятилетия в казахских аулах столько добрых и памятных дел.

Что там говорить, прекрасное было время!

Вспомнишь – сердце замирает, и на глаза наворачиваются слезы благодарности, гордости и умиления.

Потом... известное дело... покинули в свой срок детки родное гнездовье, разлетелись кто куда, навстречу неведомой и манящей судьбе. У каждого на земле, известно, свой жребий.

Остались в большом деревянном доме родители одни. Слушали, как до-о-олгой зимой неистово завывал в трубах буран, как весной яростно хлестал стены косой дождь; чувствовали, как летний зной накалял шифер, как осенний ветер норовил вырвать из пазов сруба слежавшийся белый мох. В доме по-прежнему было чисто, уютно, но выморочно одиноко. Дети навевались все реже, даже письма и открытки слали нечасто, родичам казахский аул в Северном Казахстане казался далеким и скучным.

А забот меньше не становилось. Скорее, прибавилось с годами. За короткое северное лето надо было успеть обихаживать огород, скотину, накопить сена, впрок заготовить дрова, раздобыть и завезти уголь, сделать кое-какие запасы на зиму, ежедневно натаскивать воду из колодца, доить вовремя корову, пригнать с выпаса овец, уберечь вылупившихся птенцов от стервятников, боже, сколько нескончаемых дел выпадало на долю двух пенсионеров! А ради чего?! Много ли надо двум одиноким людям на седьмом десятке лет...

Сын приглашал в Алма-Ату, можно ведь купить домик в селе поблизости, если так уж хочется жить на земле. Дочери звали в Ташкент, ближе к детям, внукам. Ташкент, сказано же, город хлебный. В ауле привычно, сытно и народ хороший, заботливый, будто родной. Тридцать лет разве малый срок?! Ровно столько, чуть с хвостиком довелось прожить на Волге, которую пришлось покинуть по злой державной воле...

Прощание с аулом, со ставшим родным, так и недостроенным домом было тяжким. «Не уезжай, Карл-агай, – говорили искренне, убежденно казахи – оставайся. Все, что надо, сделаем. Времена ведь пошли добрые».

Надо было распродать, растолкать, распахать, раздарить накопившийся за годы скарб. Все с собой, ясное дело, не увезешь. А многое из старья никому не надо.

Какие покупатели в ауле? Дом уступили задешево давним знакомым Шалбаю и Асиме. Что ж не купить?

Дом крепок, опрятен, сухой, теплый. На видном месте стоит. Родовались родители: не чужим уступили дом, не пришельцам-варягам, не на произвол судьбы бросили. Шалбай и Асима – милые люди, на глазах выросли, аккуратные, радетельные хозяева. Взяли дом частично в долг, оба учителя, на зарплате живут, но деньги вышлют по мере возможности, поэтапно, честь по чести, за год-другой.

Перебрались родители в Ташкент, к дочерям, к внукам, стали приноравливаться к городской жизни, к базару, к иному ритму бытия, а дом в ауле не забывали, вспоминали о нем, тосковали по нему, как по живому существу, во сне видели. Мать, бывало, чем-либо недовольная на новом месте, сгоряча запальчиво говорила, пугая отца: «Все! Хватит! Обрыдла мне городская жизнь. Возвращаюсь в аул. В свой дом!»

Но возврата не было. Домом в ауле теперь любовались только на фотографиях, жалели о том, что не доделали то-то и то-то. Нехорошо получилось. Будто спихнули с рук некачественный товар, точно торговцы-сарты на Алайском или Рисовом базаре.

Дом в ауле продолжал жить в сознании, в душе родителей, моих сестер Эльмы, Альмы, Розы, дочери моей Ирины, жены, племянника, двоюродных сестер, многих-многих, бывавших некогда в нем.

А за несколько дней до моего шестидесятилетия (1994) меня любезно пригласило руководство области и района, земляки закатали грандиозный той, меня повезли в мой аул, неузнаваемый, разросшийся, уплотнившийся, совершенно изменившийся, привели в родительский дом, специально освобожденный для меня, чтобы я в нем при желании заночевал, накрыли в зале торжественный дастархан, за которым начальство и почтенные аульчане, помнившие меня с детства, радостно потчевали меня, упоминая непременно и Карла-ага, и Анну-апа, внимали каждому моему слову, удивляясь тому, как вчерашний малец Гера обернулся солидным седым дядей, водили меня по комнатам, радовались моей радости, восхищались моей памятью, когда я узнавал наш старый продавленный

диван, обитый железом сундук, облупившийся комод, покрашенные, но еще видные зарубки на косяке, отмечавшие наш рост, прогибающуюся в спальне половицу, без конца фотографировали, областное телевидение все снимало на камеру, брало интервью, фиксировало мое волнение, допытывалось, что я испытываю в настоящий момент...

А разве опишешь, что я испытывал в те счастливые мгновения? На глаза мои то и дело наворачивались слезы, я был ошарашен радушием земляков, многих из которых не узнавал, бормотал что-то невпопад, и пожилые женщины вытирали кончиком платков слезы, говорили, что «першыл Белгір» принимал в свое время у них роды, перерезал пуповины их детей, вылечил внуков, снимали с пальцев серебряные самодельные перстни, кольца и совали их мне как благодарную память, старики гладили свои редкие бородки, одобрительно кивали, и я, шестидесятилетний, тогда депутат Верховного Совета Казахской ССР, известный аульчанам по своим писаниям и выступлениям по радио и телевидению, вконец смутился, расчувствовался, ошалел, почувствовал себя помолодевшим, не сразу и сообразив, что я в сущности и не далеко ушел по годам от окружавших меня в тот миг аульных аксакалов.

А праздничное действо, разворачиваясь, происходило при многолюдье, в присутствии кучки моих соклассников и бывшего нашего классного руководителя, учителя математики, а также знакомых и близких, во дворе, усиленная динамиком, звучала трогательная песня: «Родительский дом, начало начал...» и, казалось, даже дом, уже по-стариковски осевший, уже ссутулившийся, заметно ветшающий, ожил, преобразился, помолодел, вострепнулся, взволнованный свиданием со своим стародавним жильцом, сохранившим в своем сердце непреходящую память о нем.

Ах, сладкий миг человеческого счастья!

Потом я отцу все подробно описал, рассказал, показал кинолентку, и он был на седьмом небе, то и дело вытирал слезы, а один раз так расчувствовался,

что вскочил, прикрыл дрожащими руками лицо, вспомнив, должно быть, мою мать, всего полгода не дожившую до этого события.

Отцу тогда шел 86-й год, и он, конечно, сознавал, что дом свой в ауле ему уже никогда не увидеть. Слава создателю, что увидел хоть на экране на изломе жизни.

(В скобке замечу, что аким района – ныне Шалакына – вынашивал идею послать за отцом своего порученца, дабы тот привез его в Сергеевку, потом в аул Ибраева, где прилюдно и должна была состояться встреча отца и сына. Хороша, романтична была идея, но я ее отклонил по разным причинам. Теперь думаю: может, не прав был...)

Сейчас же, когда пишу эти строки, сам себя утешаю, что посетил родительский дом в ауле одиннадцать лет назад, поднялся на крыльцо, прошел через кухню, комнатушку посередке с двумя окнами на запад, посидел в зале, заглянул в спальню-боковушку, как бы прикоснулся к святому духу родного очага, ладонями прижался к косяку, поклонился порогу своей юности.

Ведь, согласитесь, такое счастье не каждому скитальцу на земле перепадает. Так что я должен быть благодарен судьбе.

Но... ничего этого теперь нет. Как мне объяснили очевидцы, Шалбай и Асима, хранители нашего гнездовья, покинули аул, перебрались в город, в Петропавловск, оставив дом одному из сыновей. Тот якобы продал его кому-то. А новый хозяин, недолго думая, разобрал его по бревнышку, очистил место, решив воздвигнуть современный кирпичный или блочный дом. Недавно я узнал, что и Шалбай скончался, и у Асимы, моей соклассницы, серьезные проблемы со здоровьем.

Сменяются поколения – разрушаются родительские дома, немые свидетели минувших эпох.

Когда закладывали фундамент, помню, отец раздобыл железную капсулу с крышкой на резьбе и попросил написать мне записку-послание потомкам. По прикидке отца дом простоит лет сорок-сорок пять и вот тогда, разбирая его, кто-то из неведомых

аульчан может наткнуться на эту капсулу, расколупать ее и прочесть записку. Вот будет сюрприз! Вот будет находка! На плотном листе бумаги я четким почерком, едва ли не печатными буквами черной тушью написал, что дом этот построил в таком-то году житель аула Ленина Октябрьского района, спецпереселенец с Волги Карл Федорович Бельгер, заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, приехавший сюда в сентябре 1941 года с женой Анной Давыдовной, сыном Герольдом, дочерью Эльмой. Потом в этом ауле уже после войны родились еще две дочери – Альма и Роза. Что-то в таком духе, сейчас не помню. Обращался я к потомкам-аульчанам XXI века. Тогда это показалось непостижимо далеко. А теперь, поди ж ты, уже разменяли успешно этот самый XXI век.

Письмо свернули трубочкой, обернули целлофаном, аккуратно втиснули в медный патрон, который загнали в капсулу и замуровали в основание дома.

Интересно, нашли ли эту капсулу при разборе дома или она сгинула в обломках на пепелище? В ауле еще кое-кто помнит моего отца, меня, то время. Неужели о капсуле никто не догадался, не подумал?

Недавно позвонил мне мой ровесник, земляк, родом из соседнего аула, академик Аманжол Кошанов. И высказал на полном серьезе идею: дом Карла Федоровича надо бы сохранить, шепнуть о том местному начальству, сберечь дом как музей – как память о славном медицинском работнике, о радете культуры, об отличнике здравоохранения СССР и отличнике просвещения Казахской ССР, о бессменном депутате местного и районного советов, о семье немцев-спецпереселенцев, а если этого недостаточно, то можно развернуть в этом доме постоянную литературную выставку о писателях – выходцах этого аула – Галыме Малдыбаеве (он был популярен в 30–40-х годах прошлого века), Еркеме Конарбаеве, Жарасбае Нурканове, Герольде Бельгере, к ним можно добавить длинный ряд именитых земляков-азаматов, выпускников знаменитой в свое время Ленинской казахской средней школы. О, это был знаменательный,

достойный очаг культуры в приесильских казахских аулах, источник познания и воспитания, наглядный пример истории и памяти родного края.

– Поздно, – вздохнул я.⁹⁰

– Как поздно? – встрепенулся друг-академик.

– Дома уж нет. Разобрали.

– Как? Что? Почему?!

– Так получилось...

– И никому в голову не взбрело сохранить дом?

Я промолчал. Нет, никому из местных о том и не подумалось. Те, кто размышлял на таком нравственном уровне, ушли в мир иной. А нынешним благодетелям с временщиковской психологией зачем это надо? И без того у каждого забот полон рот. Ушло – прошло. День прожит – и хорошо.

И вот стою я теперь мысленно у пепелища родительского дома в ауле, вспоминаю то время, те бесконечные хлопоты, радости и огорчения по поводу воздвигнутого в ту суровую эпоху дома, долгие годы хранившего тепло сердец и нежность души ныне покойных моих родителей, сестры Розы, похороненных рядом на кладбище Домбрабад в Ташкенте, и живых моих сестер Эльмы и Альмы, проживающих кто где, и, с горечью думая обо всем этом, молча глотаю слезы и чувствую, как от жалости к себе, ко всем скитальцам, к тем, кто покинул этот мир навсегда, каменеет в груди сердце.

Е-е-е... не амал бар? Что поделаешь? Was ist zu tun?..

У жизни свои законы и капризы, и человек – покорный раб всесильных обстоятельств.

Третий родительский дом связан уже с Ташкентом, куда мои родители, дабы быть ближе к дочерям, переехали летом 1971 года, где отец прожил 31 год. Дом обрели по городским ценам задешево. Находился он в частном секторе, в так называемом Шумиловском городке, недалеко от аэропорта, возле заброшенного Шумиловского парка, рядом, можно сказать, с Рисовым базаром, в Байсунском тупике. Дом был невзрачен: три комнатухи, большая веранда, недостроенный зал

(достроили его потом на мои средства, с отдельным входом, там я жил месяцами и славно работал, окруженный заботой и вниманием родителей и сестер). Но в усадьбе была уйма пристроек и закутков: летняя кухня, кладовка с балаханой, мастерская, курятник, крольчатник, большая русская печь, душ, гараж. Колодец. Колонка. Клумбы. Дорожки. Сад с фруктовыми деревьями. Виноградник. Смородина. Крыжовник. Правда, все отец перестроил, переделал (он любил вносить коррективы во все), облагородил, оживил, изменил на свой лад и салтык. Некогда украинская хата (бывший хозяин был раскулаченный и высланный хохол), утопавшая в подсолнухах и неимоверных зарослях под сенью могучего орешника, через год-другой всецело изменила облик, обретая практичные черты немецкого хауса. Подворье стало открытым, многолюдным (когда я приезжал в июле-августе в отпуск с женой и дочерью, иногда с внуком), во дворе с утра до вечера толпились, галдели, шумели, озоровали, пировали, без конца чаевничали по 13–17 человек родных и близких (и я для работы находил себе уединение либо в гараже, либо в бывшем перестроенном курятнике, где стояла железная кровать, столик, самодельный грубый шкаф и колченогий стул и было спасительно прохладно, хотя и пахло наметом, прелыми листьями, мышами, азиатской пылью и нежитью), а в дни семейных торжеств, на именинах родителей, детей, внуков, правнуков, зятьев столы накрывались во дворе, вдоль виноградника и железной сетки на 25–30 человек, и эти праздники с музыкой, танцами, шутками, песнями, вольными разговорами, стенной газетой и плакатами с потешными рисунками и надписями, непременно отцовскими виршами-изделиями с русско-немецким акцентом и подтруниваниями по этому поводу длились до глубокой душевной ташкентской ночи. Мама сияла: отраднo было ей видеть всех отпрысков вместе. Ликовал отец: «Вот это интернациональная советская семья – семь национальностей!»

Нет ничего постоянного на этом свете. И все это знают, но до поры до времени о том не думают и счастливыми мгновениями не до- рожат.

Так уж устроен человек. Его вечно манит сладкая надежда, что впереди будет еще лучше. И в ловушку привередливой судьбы попадают все. Или подавляющее большинство.

Мудрость, видно, в трезвом осознании того, что за счастьем неминуемо обрушивается какая-либо пакость, а за бедой нередко случается везенье. Так уж устроен мир изначально.

Добро и свет царили в ташкентском родительском доме довольно долго. Первая беда – кончина сестры Розы в возрасте 35 лет. Ее смерть потрясла нас всех, а родителей подкосила. Потом ушла мама, немного не дотянув до моего 60-летия. Уехали в Россию зять и двое племянников. Потом вслед за сестрой Альмой укатали в Германию сразу четверо. Будто опустошительная буря прошла по недавно еще прочному семейному клану. Ушли в мир иной сваты-соседи. Обосновались под Алматы дочь, зять, внуки сестры Эльмы. Я из-за тяжелых болезней три года подряд не мог выбраться в Ташкент. В опустевшем, заброшенном подворье на Байсунской, 59 остался отец коротать век с дочерью. Все пришло в запустенье. Все точно потускнело, померкло вокруг. Я общался с отцом по телефону, отвечал регулярно на его письма. А на похороны его поехал с женой. Все остальные – из Москвы, Хакасии, Воронежа, Молдовы, Казахстана, Германии – приехать не смогли. Даже верный, мудрый пес Рекс, вконец одряхлевший, ослабший, тайком однажды покинул двор, воспользовавшись открытой калиткой.

В ташкентском родительском доме чуть-чуть еще тлеет жизнь, пока там обитает в полном одиночестве моя сестра. Жить ей там, конечно, непросто. Скорей всего, невестомка. Понятно, что душой она тянется к дочери и внукам. И тогда и третьему родительскому дому придет конец. Наступит полный крах. Бездна. Крушение.

И что дальше? Зачем я об этом пишу? Для чего? Кому интересна моя печаль, которая ведома едва ли не всем живущим на земле, на любом континенте, среди любого народа?

Для меня культ семьи, культ дома – не пустой звук, не абстрактное понятие. Плутая по дебрям судьбы, я ловлю себя на мысли, что гнездо дедов и прадедов, родимое пепелище, место, где был резан твой пуп, дом, в котором ты обитал вместе с родителями и единоутробными братьями и сестрами, откуда ты пошел и есть, где встал на крыло, – священные обозначения, главный исток и ориентир, твоя честь, достоинство, опора, вечная надежда и память. Проще говоря, твои корни, которые, поелико возможно, не след перерубить, вырвать, вытравить.

Я до сих пор говорил о родительском доме в трех временных пластах, можно сказать, в трех эпохах, в трех географических, исторических плоскостях.

Но речь не обо мне. А о тех, кто испытал или испытывает на склоне лет нечто схожее. Таких, как я замечая, на белом свете не сотни, не тысячи, а, может, и не миллионы. Что-то переменялось в жизни, в судьбах людей. Переменялось повсеместно и круто. Культ дома у кого давно, у кого недавно разрушился. Все меньше родовых усадеб, имений, стабильных, устойчивых родительских домов. Люди живут как придется, бросают родные края, мечутся по всей земле в поисках лучшей доли или, покорные року, обитают, точно на вокзалах, на временных стойбищах, хрущобах, легко, запросто, без души и боли оставляют их, тащат за собой свой жалкий скарб, как тощую торбу, без грусти и сожаления перемещаются в огромных пространствах, ни к чему не прирастая, не привязываясь сердцем. Бивуачное бытие! Какой уж тут родительский дом, праматерь, надежный оплот нескольких поколений, когда все так зыбко, неопределенно, временно. Даже постулат совершенно безнравственный придумали: родина там, где тебе хорошо. Это себе в оправдание придумали те несчастные, у которых за душой ни гроша. И под видом глобализации многим такой

иезуитский принцип бытования по душе. Никаких нравственных обязанностей, никакого долга ни перед собой, ни перед другими: где тебе хорошо, там и живи. Какая еще родина?! Выдумки все, мираж, химера! Как все просто! И живут людишки сегодняшним днем, как придется, как придорожная трава, сбитые с извечного круга, уж как жребий выпадет, как случай обернется, не утруждая своей памяти и совести выдуманными поэтами и писателями абстрактными понятиями и сентиментальными причудами.

Это не просто плохо, скверно, сомнительно, это удручающе тревожно. Но мы о том стараемся не задумываться, отменяя прочь всякие размягчающие душу мысли о родовом пепелище, о родительском доме. Постулат «Где родился, там и пригодился» давно уже изжил себя под натиском реальных, цинично здравых обстоятельств.

Ну, допустим, так сложилось у российских немцев: их насильно, бесцеремонно, жестоко отлучили, отторгли от родных, веками потом и кровью облагороженных мест на Волге, Украине, Кавказе, в Крыму, «немецких слободах» Москвы и Петербурга. В одночасье, одним махом, отрубили корни и выслали, депортировали по чертовым куличкам необъятной империи. Абортировали душу. Убили, вытравили память. Добились того, чтобы бедняга российский немец не только родительский дом забыл, но и свой язык, историю, культуру, даже нередко свои имя и фамилию. Но ведь и другие, нерепрессированные народы оказались обреченными на ту же долю. И им был уготован тот же жребий, та же участь. Кто из сотен народов, населявший бывший Советский Союз, способен с гордостью и достоинством говорить ныне о своем родительском доме, о семейных традициях, о родовом очаге, согретом любовью и деянием предков?!

Вот о чем я веду речь.

Вот о чем мои думы и печали.

Былые нравственные ценности катастрофически быстро исчезают, нивелируются, размываются под жерновами все убыстряющегося динамического

времени. Нет возможности оглянуться назад, сориентироваться в пространстве бытия, вспоминать обстоятельно, с толком, с благодарностью своих предков и то место, тот дом, тот божий приют, в котором они некогда обитали, жили, заботились о насущном, думали о будущем, боролись и любили.

Что же происходит с людьми, с человечеством?

Обстоятельства навязывают свою волю и делают человека пылинкой в мироздании, щепкой в вечном круговороте жизни. Вот в Париже пришли к нам, казахстанцам, местные казахи. Их тянет к этническим сородичам, к казахской речи, к древним дедовским корням. Один из них говорит: «Я – найман»; другой утверждает: «Я – керей»! Их деды-прадеды покинули не по своей воле просторы Казахстана еще в смутные 20-е годы прошлого столетия. Скитались в Китае, Афганистане, Пакистане, Индии, Турции, перебрались в Европу.

Где их родительский дом?

Что они сохранили в тайниках души от генетической памяти, родовой ауры? Какую искру от священного родового очага оставляют своим детям, внукам, правнукам европеизированные ныне казахи, из последних сил цепляющиеся за почти истлевшие национальные корни?

Вот знакомый казах Кабил Сюмер (Verein zur forderung der sozialen Belange und der Kultur der Kasacken e. V.) из Мюнхена, говорящий по-казахски с турецким макомом, привез своих чад в Алматы, дабы они припали к родовому роднику, а милые, по-германски ухоженные детки учатся в немецких гимназиях, вольно шпрехают по-немецки, у них иная ментальность, и чувствуют они себя в южной столице Казахстана чужими, будто с другой планеты. Национальный патриотизм и восторг отца совершенно не воспринимают, не разделяют.

Где их родительский дом? И какую память, какую трепетную любовь оставил он в их неокрепших душах? Дрожат ли сокровенные струны в их сердцах при словах «казах», «ата-коныс», «туган жер»?

Наверняка родительский дом для них временное обиталище, где удобно, уютно, сытно, тепло. И только, и только...

Во Франкфурте-на-Майне и в центре Берлина (Александерплац) я почти не услышал немецкой речи. Здесь смешались все вселенские наречия. Здесь обитают, слоняются, мнутяся, трутся, тусуются, klokkочут, горланят всевозможные европейские, азиатские, африканские, латиноамериканские племена и народности. Сплошное вавилонское столпотворение! Живописное зрелище.

Где их отчий кров? Где их родительский дом? Какая нужда, какая дьявольская сила заставила этих детей разных народов, этой диковинной мешанине рас и племен искать себе место под солнцем на чужбине в иноязычной, инобытийной среде? И они довольны, удачливы, счастливы? Вполне обходятся без национальных корней, без искры священного очага?

Это и есть глобализм? Общепланетарное сознание? В этом и кроется будущее человечества?⁹⁵

Что, собственно, происходит?

В Копенгагене я встречал китайские плавучие рестораны в форме гигантского дракона. Когда я в жуткий ливень, заблудившись, зашел в первое попавшееся кафе, молодая китайка на беглом немецком языке вежливо растолковала мне дорогу в гостиницу. Возле оперного театра сосредоточенно мел тротуар китаец.

На открытой площади возле старинного храма играл живописный южноамериканский оркестрик.

Я подумал: где родительский дом этих пилигримов? Где их пепелище? Думают ли они о своих корнях-истоках?

О том же неотступно думалось мне в Амстердаме, в Будапеште, когда я наблюдал за муравейником разных народов. То же поневоле думается о казахах, валом покидающих родные, захиревшие, безнадежные, обреченные аулы и льнущих к мегаполисам, к городам, где они долго прозябают без постоянной работы, даже без временного жилья, неприкаянные, растерянные,

подавленные, озабоченные, в качестве изгоев, бомжей, пауперов. Боже, сколько казахов на своей земле, в своей независимой стране толкуются по утрам возле мусорных баков! Не кощунственно ли спрашивать у них о священном семейном очаге, о родительском доме? Они ведь в подавляющем большинстве пасынки судьбы.

Печально все это.

Скоротечная человеческая жизнь обретает трагический привкус временности, случайности, незначительности, неверия в будущее.

«Дуние жалган» – издревле говорят казахи. Обманчивый, лживый мир. Мираж. Туман. Суета сует. Человечество сбивается со своего извечного круга. Искривляются пути-дорожки.

Вот и Абай нашептывает:

«Грядущее сокрыто в тумане сплошном.
С надеждою ждущих глаз много кругом.
Пыль дней поднимая, проносятся годы,
Не зная ни рода, ни вида ни в чем.
Дни эти, как те, что прошли навсегда,
Пройдут и уйдут, не оставив следа.
И где-то в чреде их настанет День Судный,
Всевышнему ведомо, где и когда».
(Перевод А. Кодара)

А в общем грустная картина – стоять и размышлять у пепелища родительского дома. Вот какие мысли навеяла мне горестная весть земляка-поэта Жарасбая Нуркана.

С тех пор прошел почти год, а я никак не отволнуюсь...

3–10 мая 2005 г.

РАССКАЗЫ ОБ ОТЦЕ

МАЛЕНЬКИЙ КОРОЛЬ

Майн Гот, как давно это было! О том времени и вспоминать- то уже некому... Мне только недавно исполнилось шесть лет, и я почему-то живу не с родителями, а в большой семье дяди Вильгельма – папиного брата. В этом селе, Мангейме, у папы живут четверо братьев и две сестры, и мамины четыре сестры и двое братьев. И еще две моих бабушки – grosmutтер Элизабет и Олинда. А двоюродных братьев и сестер столько, что я не в силах их ни сосчитать, ни запомнить. И все меня любят, наверное, потому, что я городской мальчишка, ухоженный, чистенький, не по-деревенски одетый, то и дело сбивающийся невольно на потешную для моих сверстников русскую речь, вызываю какое-то любопытство.

Но мне это невдомек. Мне уютно в доме дяди Вильгельма (в селе произносят Виллем), и мои значительно старшие двоюродные братья – Виллем (у немцев на Волге было принято старшего сына называть именем отца), Иоганнес, Фриц – меня всячески опекают.

Вильгельм в то время уже женихался, брал меня на вечерние посиделки. Со своей зазубой они устраивались на завалинке, лузгали поджаренные тыквенные семечки, миловались, несли какой-то вздор, а я терпеливо ждал, когда кончится их свидание, и Вильгельм, – степенный, видный из себя парняга при галстукe (!) – посадив меня, полусонного, на плечи, деловито отправится уже при густых сумерках домой.

Иоганнес, или просто Ганс, тащил меня на колхозную конюшню, на кузню, на мельницу, где все было мне в новинку.

А непоседа-озорник Фриц, рыжий и конопатый, учил меня разным деревенским дразнилкам, частушкам-шнеркелям, среди которых, как я смутно догадывался, попадались и явно непотребные.

В доме моего дяди – кряжистого, усатого, кулившего короткую трубку-пфайфу – вкусно пахло семечками, капустой, самосадом и разной стряпней.

Приближался новый – 1941-й – год. В селе царило радостное оживление. Вечерами со стороны клуба доносились слаженные звуки духового оркестра. В каждом доме стряпали «кухи», выпекали крендели, витиеватых форм «креббели». Забивали гусей, уток. Сытный колбасный дух, с перцем и чесноком, витал над селом.

– На днях приедут Анье и Карлуш, – сказала однажды за завтраком тетушка Амалия, Малье-танте, обращаясь к сыновьям. – Научили бы мальчика какому-нибудь новогоднему стишку.

Я смекнул, что речь идет обо мне, а Анье и Карлуш – мои роди-тели.

В тот же день мне вдолбили коротенький стишок, который я должен был прочесть в Новый год, вначале в доме бабушки Элизабет, потом у дяди Фридриха, потом у бабушки Олинды, у тетушки Гульды, Альмы, Маргариты и Бог знает у кого еще.

Стишок я вызубрил легко, и меня распирало от гордости, когда многочисленная деревенская родня дружно выражала восторг.

И вот в Новый год, едва позавтракав, Ганс и Фриц повели меня к бабушке. Я был в валенках, шубке, повязан шарфом; снег поскрипывал под ногами, изо рта валил пар. По дороге мои наставники потребовали раз десять повторить стишок, чтобы я его отбарабанил потом без сучка-задоринки.

В просторном доме бабушки уже все были на ногах. В сумеречной «майштубе»-гостиной толпились люди. Кто-то уже сипло пел. Дядя Фриц выписывал непослушными ногами замысловатые кренделя, выкрикивал «Хоп-са-са! Юхей, юхай, доннерветтер!» Длинный стол в углу был накрыт яствами. Сама

бабушка, сухопарая, расторопная, длинноносая, с изборожденным аскетическим лицом, в длинной до пят черной юбке и неизменном белом переднике, юрко металась между домом и летним «бакхаузом».

Тут я увидел и своих родителей. Отец был в гимнастерке, галифе, хромовых офицерских сапогах, с диковинными значками на груди, выделялся среди всех ростом и выправкой. Мама, черноглазая, легкая, по городской моде коротко остриженная, увидев меня, заулыбалась, и мне хотелось кинуться к ней, прижаться, только сейчас я почувствовал, как соскучился по отцу-матери, но братья-наставники мои, Ганс и Фриц, держали меня с двух сторон, заявив честной компании, что Гергольд (почему-то так произносили в селе мое непривычное, как бы чужеродное имя) желает прочесть стишок. Все вокруг восторженно всколыхнулись:

- Ах, ду, либер цайт!
- Гук моль доу! Смотрите-ка!
- Где он только научился?!
- Неужели ауф дайтш?!
- Ай-яй!.. Тафай, валяй!

Я вышел в круг, вскинул голову, выпятил грудь, как учил меня Фриц, и, ничуть не запинаясь, на пределе голосовых связок выпалил- выдохнул коротенький стишок.

Все пришли в неопикуемый восторг. Отец схватил меня и, расцеловал, подбросил к потолку; мама, присев на корточки, крепко обняла меня; дядя и тетки радостно заколготали все разом, а бабушка Лизбет, все с тем же суровым видом, поднесла мне в крохотной стопочке парного молочка. В этом заключалось высшее признание: к своим многочисленным внукам бабушка не особенно благоволила, а баловства и вовсе не терпела.

Этот счастливый миг моего далекого детства запомнился на- всегда.

А вскоре вся наша жизнь пошла кувырком.

Мы переехали из Энгельса в кантонный центр Гнаденфлюр. Бабушка умерла. Потом обрушилась война. Автономную республику немцев Поволжья

ликвидировали. Нас выселили кого куда – в Казахстан, в Сибирь. Все мои дядья и многие двоюродные братья и сестры погибли в трудармии. Уцелевшие оказались разбавными по всей стране. Многих так и не довелось больше увидеть. Ну, а от родного, милого села Мангейма и следа на земле не осталось.

Вспоминая тот Новый – 1941-й – год, я десятилетиями мучительно и тщетно силился восстановить в памяти короткий стишок, который ввергнул тогда мою родню в восторг и умиление.

В глубине сознания застряли лишь два слова – *kleiner König*, т. е. маленький король.

С самой при ее жизни я не однажды заводил разговор о том случае. Она хорошо все помнила, перебирала в памяти разные новогодние пожелания-шпрюхе, имевшие хождение среди немцев-колонистов, но в них о маленьком короле не говорилось. И отец не помнил. Совместными усилиями мы вспоминали печальную балладу о королевских детях, которых насильно разлучили и гетевские «*Es war einmal ein König*» и «*Der König von Thule*», но нет... все не то, не то...

Слишком давно все это было. И ныне свидетелями того новогоднего утра в бабушкином доме осталось только двое – отец и я. И стишок тот канул в небытие.

...Пятьдесят шесть лет спустя, очутившись с инфарктом в больнице в реанимации, я ночами с какой-то воспаленной остротой оживил в памяти разные далекие эпизоды моей жизни, и вдруг совершенно неожиданно, молниеносно, как ожог, вспыхнула первая строка: «*Ich bin a kleiner König...*» Потрясенный, взволнованный, я вновь и вновь, чтобы только не забыть, не упустить, повторял и повторял эту строчку, пока не набрел и на вторую – «*gebt mir net zu wenig*». Дальше опять все застопорилось, и я, изможденный, уснул.

А наутро, едва раскрыв глаза – вот причудливое свойство человеческой памяти! – я без всякого усилия вспомнил и последние две строчки:

*Laßt mich net zu lange stehn,
Ich muß noch a Hausche weiter gehn.*

Господи, всего-то... Бесхитростный наивный стишок, родившийся в глубине веков где-то в Баварии, Швабии, Саксонии и завезенный в Руссланд, на Волгу...

Я почувствовал огромное облегчение, радость и одновременно опустошающую грусть, что поделиться тем ярким отблеском далекого зарева, крохотным осколком невозвратного прошлого в сущности уже не с кем.

Бедный, бедный «kleiner Konig»...

15 октября 1996 г.

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА!

Я это сразу почувствовал: папа вернулся из районного центра явно озабоченным и встревоженным. Он был весь в куржаке, и морозная дымка окутала его с головы до ног. Он расстегнул широкий офицерский ремень с медной пряжкой, с тускло отливающей звездой, стянул с себя серую плотную шинель с шерстяной поддевкой, разматал пуховый «бокебай» – подарок счастливой роженицы, повесил на гвоздь ушастую, островерхую буденовку, рассеянно приласкал несмышленную Эльму, приобнял меня, мелкими глотками выпил горячего солодового чая, молча и задумчиво подсел к раскаленной плите.

– У Яковчука был? – спросила мама.

– Ja, ja... был.

Я знал: Яковчук – главный врач в районе. И к нему папа заглядывал всякий раз, когда бывал в Марьевке, узнавал новости. Однако на этот раз о встрече с Яковчуком папа распространяться не стал.

– У Бронштейна был?

– Ja doch... Тебе привет передал.

Бронштейна я тоже знаю: лысый, плотный, говорливый аптекарь. Он однажды к нам приезжал. Его за какие-то грехи сопровождали двое в Петропавловск. Говорил иногда по-немецки, но не так, как мы. Я его не понимал. Но запомнил одну странную фразу в его устах: «Homo homini lupus est». Позже узнал: латинское изречение.

На этот раз и о Бронштейне папа ничего не сказал.

– У комендантѐ был?

Тщедушный кривоногий коротышка из аула Коктерек стал с некоторых пор главным начальником спецпереселенцев района. А таковые имеются во всех

аулах и деревнях – немцы, греки, азербайджанцы, поляки, иранцы и даже русские и евреи. Мама называла коротышку «командантье» – «комендантиска». Для армии он не годился, винтовку не удержит, ему и милицейская фуражка, и полевая сумка были в тягость. Но покуражиться над спецпереселенцами был мастак.

– Ну, как же, – отозвался папа. – Отметился. И за тебя расписался.

И опять никаких подробностей. В глазах папы печаль и забота. Сам не свой. Что-то грызет его. Сбежал в медпункт, потом вернулся, переоделся и отправился к Brill-Hansy – Очкастому Гансу – так мама называла директора школы.

– Ist was passiert? – всполошилась мама. – Что-то случилось?

– Вечером на семейном совете расскажу.

Своими заботами папа всегда делился на семейном совете.

Семейный совет – это папа, мама, я и сестренка Эльма. Семейный совет – серьезный разговор. За столом обстоятельно говорит папа, чаще всего соглашается или возражает мама, что-то, случается, лопочу и я – как-никак осенью собираюсь пойти в школу сразу во второй класс. А вот Эльма молчит по причине малолетства и отсутствия собственного мнения.

– Меня вызвали в райком, – торжественно начал вечером папа и сделал значительную паузу.

Я знаю: райком – это очень важно. Это выше, чем аулсовет или председатель колхоза. Я видел это двухэтажное здание в центре Марьевки. Просто так туда никого не приглашают.

– Na, und? – нетерпеливо спросила мама.

Знаю: мама всегда надеется, что вот-вот папу пригласят в райком и скажут: возвращайтесь домой, на Волгу. Но я помню, как однажды папа сказал: «Аня, выкинь из головы эти мысли. Пока не окончится война, о возвращении и речи быть не может». А война никак не кончается.

– Секретарь дал мне партийное поручение... – Папа захопал белесыми ресницами.

– Какое?

– О, не знаю, что и сказать... Сбор помощи фронту.
– Какой еще сбор?
– Армия нуждается в помощи от населения. Кто что может...

Мама не поняла. И я не понял. Что собирать-то? В аулах голимая нищета.

– А кто что может?

– В том-то и вопрос. Но секретарь сказал: все сгодится – варежки, носки, шкурки, шерсть, кисет, кольца, браслеты... деньги, если есть... хоть по десятке. Все для фронта! Видишь, войне конца не видно.

– И тебе как партийному поручили стать сборщиком?

– Ja. Da ist eben der Hund begraben! Здесь-то и зарыта собака! – Папа разволновался, шея пошла пятнами. – Каково мне, немцу-спецпереселенцу, собирать помощь в Фонд обороны?! Я ведь пришелец. Кто мне поверит? Но секретарь ни в какую: «Партийное поручение. Будешь собирать и все сдавать в район. А народ поверит. Не для себя же собираешь. Надо все правильно разъяснить».

Наступила пауза. За окном завывал буран. Гудела печная труба. Коптила лампа-семилинейка. Керосин, видно, был на исходе.

– Что ж... – выдохнула, вздохнув, мама. – Надо так надо.

– Я решил отдать половину месячной зарплаты, – робко вставил папа.

– А я свяжу шерстяные носки и варежки. Три пары. На большее пряжи не хватит.

– Хорошо... С миру по нитке... Завтра отправлюсь в Коктерек, потом в Жанажол, Жанаталап, потом в Алка-Агаш, Каратал. Уж кто на что горазд.

Мама кивнула. Папа просветлел лицом. Мне он сказал:

– Райком дал мне поручение, а я мобилизую тебя. Все для фронта! Понял?

– Понял... Aber...

– Was «aber»?

– Я могу дать только мешочек асыков.

– Что-о?! Солдаты там, на фронте, в асыки твои играть будут?! – Папа усмехнулся. – Завтра раздобуду тетрадку, будешь записывать все, кто что дал. Строго и

аккуратно. А асыки свои оставь себе.

Заседание семейного совета закрылось.

Неделю папа ходил хмурый. Проводил в аулах медобслуживание и разъяснительную работу по сбору помощи от населения для Фонда обороны. К месту, не к месту папа повторял:

– Все для фронта! Будет праздник и на нашей улице!

Кампания по сбору помощи продлилась всю зиму. И вскоре я исписал почти всю тетрадку в клетку. На серой обложке тетрадки были изображены самолеты, танки, пулеметы, а сверху стояли слова: «Враг будет разбит. Победа будет за нами!»

Чего только не накопилось в нашем доме за короткое время! Мотки пряжи, грубой вязки свитера, плотные, как кольчуга, варежки, носки, шапки-ушанки, малахай, тапкы, бараньи шубы, старый волчий тулуп, вышитые кисеты, кожаные пояса с разными сумочками, войлочные чулки, шарфы, сыромятные шкурки, серебряные монеты двадцатых годов, женские украшения – изделия местных зергеров, табакерки из коровьих рогов, деревянные шкатулки, украшенные серебряными пластинами. И все это папа рассортировал, упаковал в тюки, мешочки, аккуратно сложил и на санях аулсовета самолично доставил в район. Там он серую тетрадь, исписанную мною печатными буквами, заверил райкомовской печатью и двумя подписями: «сдал» – «принял».

Оттуда уже в весеннюю распутицу папа добрался домой радостный, довольный, обнял маму, меня, Эльму, потом долго настраивал скрипку, сыграл свои любимые вальсы, польки, фокстроты и марши и время от времени ликующе вскрикивал:

– Победа будет за нами!

И я, ученик второго класса аульной казахской школы, был уверен, что так оно и будет.

Боже, как давно это было! Прошло 66 лет – уму непостижимо.

МЕТЕЛЬ-КАНИТЕЛЬ

Метет невидимой метлой метелица четвертый день. Совсем взбесилась – бураном обернулась, смешала землю с небом, все вокруг закружила-запуржила в снежную круговорот. Аул затих, замер. Будто в землю врос. Снегом занесло дома, сараюшки, пристройки, шошалы, сплетенные из тальника. В комнате – сутемень, на улице – мрак. Буран ярится баксы-шаманом, воет, стонет, ухает, разбойничьи свищет, скулит на все лады, навевает причудливые сугробы.

В медпункт не проберешься. В школе прекращены занятия. Не слышны ни людские голоса, ни рев коров, ни лай собак. Снег, снег, снег. Шквальный ветер. У-у-у... Ыш-ш-ш... Тр-ррах-х!

Мама возится у печки, растапливает снег – ведь до колодца возле мазанки Бекима не добраться, гремит чугуном и ухватом, ругает буран, сырые поленья, нескончаемые бытовые неурядицы.

Папа при свете чадающей семилинейки приводит в порядок свои медицинские отчеты. Я разучиваю на мандолине и балалайке казахские песни и немецкие вальсы.

– Ach Gott, – вздыхает по привычке мама.

– Zum Teufel alles! – ворчит-бормочет папа.

Время от времени он выходит во двор, отчаянно борется со снегом, прокладывает проход-траншею к хлеву, выбирается на крышу дома, всматривается в мглистую муть. Возвращается озабоченный, хмурый.

– Ничего не видно, – сообщает он нам. – Ветер валит с ног. Кое-как, наощупь добрался до соседа. Ни окон, ни дверей. А там, где труба, зияет щель. Чуть струится

ДЫМОК.

– Ach Gott! Lieber Heiland...

– Sakrament! Такого на Волге не бывало.

– Марта как?

– Что Марта? В тепле. Сено жует. Чисто. Сухо.

Я в закутке возле печки продолжаю тренькать на мандолине вальс «На сопках Маньчжурии». Что-то вроде получается. Мурка жмурится у моих ног, свернувшись в клубочек, тихо мурлычет. Видно, вой бурана, тепло от печки и моя игра навевают блаженную дрему.

Папа щелкает на деревянных счетах, записывает что-то в амбарной книге, макая перо в непроливайку. В доме тепло, но сыро, волгло. Тяжелый снег плотно облепил-обложил наш дом вместе с медпунктом. По звуку я определил, что и мандолина, и балалайка отсырели.

– Ну, хватит! – говорит вдруг папа. – Одевайся. Посмотрим, что натворил буран.

А что он натворил? Засыпал весь аул снегом, намел сугробы выше домов и, довольный, свистит-завывает-куролесит под свинцовыми кудлатыми тучами, до которых, казалось, рукой достать. Интересно, где находится солнце? Может, буран, как сказочный дракон-айдахар, и его за эти дни проглотил?

По узкой траншее, прорытой папой к хлеву, мы навешаем Марту. Она стоит себе на деревянном настиле, пахучим сеном хрумтит, слюни пускает, отдувается, оловянными, навывкате глазами добродушно смотрит на нас. Уже месяц ее не доят. А через две-три недели должна Марта отелиться.

– Скоро отведаем молозива, – говорит папа.

Он гладит Марту по крутым бокам, клочком сена обтирает ее влажную морду, хлопает по лоснящейся шее. Марта благодарно крутит головой. Папа обновляет трухлявыми объедками подстилку, через верхний лаз надергивает крючковатым шестом свежего, плотно слежавшегося сена.

Из теплого хлева выбираемся по выемкам-уступам в сугробах на крышу. Ветер с яростью набрасывается на нас. Мне боязно. Папа широко расставил ноги,

напружинился, и я надежно прильнул к нему.

Померещилось: мы зависли между небом и землей. Сейчас, сейчас сорвет нас в пучину. Я держусь еще и за печную трубу, чуть торчащую из-под снега. Снег лезет в глаза, в рот, в нос. Ветер сбивает дыхание.

– Что-нибудь разглядел? – спрашивает папа.

– Вон дом Абильмажина. Из-под сугроба вьется дымок. Вон дом Кульшары. А там Альмиша дом.

– Молодец! Ориентируешься. А колодец не видишь?

– Нет. Сплошной сугроб. Пар вроде валит.

– Молодец!

Мы гребем снег у входа. Вслушиваемся в вой бурана.

– Вот метель, а? Wirbelsturm! Метель-канитель. Тебе не кажется, что буран слабеет?

– Кажется. Немножко.

– Каково людям в маленьких аулах? – печалится папа. – Четверо суток не выходят из дома. А хворых-то сколько?! Весь мой график коту под хвост.

Что больных много – я знаю. Простуда, пневмония, радикулит, туберкулез, чесотка, кое-где сыпной тиф. А буран и моего папу-фельдшера связал по рукам и ногам.

На следующее утро я проснулся рано от оглушительной тишины. В доме пахло золой, мерзлыми березовыми поленьями.

– Буран кончился, – радостно сообщила мама.

В самом деле, выдохся. Весь вышел. Папа уже откопал одно окно, проложил дорожку к медпункту, напоил Марту талой водицей.

– Одевайся. Сегодня еще в школу не пойдешь.

Я выбрался наружу. В ушах звон. Колкий морозец. Тишь. В хлеве надрывался петух, весело кудахтали куры.

Папа запарился. Гребет снег. Сбросил даже фуфайку.

Подъехал одвуконь пожилой казах в лисьем треухе, овчинной шубе, подпоясанный кушаком, в огромных сапогах, из голенищ высовываются старые войлочные чулки.

– Першыл! – зовет хриплым голосом. – Эй, першыл! Аман?

– Аман, Аман, – отзывается папа. – Кто вы?

- Аманжол из Жана-жола.
- Что случилось?
- Ойбай, баба кырчит. Баранчук таскайт не может.
- Давно?
- Два дня.
- Ясно. Вторая лошадь для меня?
- Ия, ия. Для тебя, першыл, для тебя. Айда скорей!
- Сейчас.

Папа забежал домой. И вскоре вышел. В шинели. В буденовке. С аптечкой. В офицерских сапогах, оставшихся от службы в Рабоче-крестьянской Красной армии.

– Поехали!

Двое всадников, глубоко увязая в снегу, пробиваются в сторону тугая. До Жана-жола недалеко, сразу же через Есиль. Я гляжу им вслед. Небо все еще висит низко над землей. Змеится легкая поземка, оглаживает бока сугробов. Всадники удаляются, все заметнее растворяясь в сизой мгле. Аманжол сидит в седле крепко, как влитый. Не шелохнется. Папа весь подался вперед, привстал на стремянах. Островерхий шлем словно врезается в мглу.

Я знаю, что такое «баба баранчук таскайт». Значит, жена или сноха Аманжола уже двое суток не может разродиться. И папа, фельдшер- акушер, едет-спешит принимать роды. Ему это не впервой...

Эх, метель, метель... Метель-канитель...

«ОТНЫНЕ ВОТ ТВОЕ ЗАНЯТИЕ»

На двенадцатом году жизни я обезножил. До того в ауле слыл «жел-аяк» – ветроногим. Не всякий аульный пес мог угнаться за мною. А тут обрушилась беда. Боль в правом тазовом бедре становилась невыносимой. Однажды после занятий не мог подняться из-за парты, и отец унес меня из школы на руках. Более десяти минут в одном положении я лежать не мог. Я без конца менял позу, то опускал, то приподнимал воспаленную ногу, но боль отпускала лишь на мгновения. Я измучился. Невидимый зверь день и ночь с маниакальной настойчивостью грыз мой сустав, доводя меня до отчаяния. Вместе со мной страдалась мать. Скорбными глазами подолгу глядел на меня отец, бессильный чем-либо мне помочь. Он листал свои медицинские справочники, прихваченные при депортации с Поволжья, и все больше склонялся к мудреному диагнозу – полиомиелит. Как с такой хворью сражаться, он, военный лекарь, не знал. Районный врач долго щупал своими холодными костлявыми пальцами мой побагровевший от воспаления сустав, недоумевал и на всякий случай заковал меня в гипс по самую грудь. Теперь я даже лишился возможности самостоятельно переворачиваться на бок. Лежал на спине, изучая каждую трещинку на низком потолке нашей убогой комнатухи при медпункте и тихо, протяжно поскуливал, утишая, умолая, уговаривая, убаюкивая адскую боль в тазу. Зверь, угнездившийся в суставе, точил-сверлил-буравил меня, не давая передышки ни себе, ни мне.

Не было никаких сил приноровиться к изнуряющей боли.

О школе я забыл. Детские шалости, игры-забавы, беготня по аулу и окрестностям остались в прошлом. Ничего, кроме боли, уже не существовало.

Слякотная осень вскоре сменилась бесконечной стылой зимой. Я лежал пластом на жестком топчане у низкого, закопченного окна, кусал от боли губы, тихо, чтобы не слышала мама, плакал, нудными зимними ночами прислушивался к вою бурана, к шороху снежной круговерти, к лаю аульных шавок, в ясную погоду любовался стылой луной, то и дело нырявшую в свинцовые, кудлатые тучи.

Все надежды и мечты враз меня покинули. Я чувствовал, как таинственный зверь настойчиво вгрызался в головку тазобедренного сустава, который опухал, горел не по дням, как боль пыталась вырваться наружу, но ей это никак не удавалось.

И однажды, месяца через два-три, что-то случилось, кожа под гипсом будто повлажнела, отсырела, боль ослабла, приглушилась, и я мог – о, блаженство! – спать часами. А вскоре из-под гипса явно потянулся дурной, гнилой душок. Отец принялся, разрезал гипс, и тут в двух-трех местах обнаружили свищи, из которых сочился изжелта-бурый гной. Заезжий областной врач решительно поставил диагноз: туберкулез костей. И я услышал, как он тихо сказал отцу: «Процесс в лучшем случае можно только остановить. О полном же излечении речи нет».

Я смутно догадался: выходит, обречен отныне жить с болями, с частыми обострениями, а если и буду ходить, то только на костылях.

Осознать это в двенадцатилетнем возрасте – ужасно. Почти что как выслушать смертный приговор. Я совершенно не представлял, как жить дальше. Будущее было не только в тумане, порой чудилось, что его вообще нет.

Было жаль себя. А еще больше – родителей, которые маялись с сыном-калекой.

Беспомощный, жутко исхудавший, вконец обессиленный, я лежал на топчане, листал старые замусоленные учебники, умножал четырехзначные

цифры на пятизначные, пытался рисовать, подолгу разбирал шахматные партии из растрепанного учебника Ласкера, иногда отец выносил меня на свежий воздух, укладывал на пахучее сено, укрывал тулупом, и у меня от слабости кружилась голова, дрожали руки-ноги, озноб колотил изнутри, мама трижды на дню подносила мне парное молоко в синей эмалированной кружке, я его медленно выпеживал, на время вроде как малость ободрялся, но тут обнаруживалось новая напасть: каждый раз из носа шла кровь.

Слабость изнуряла, угнетала, унижала, убивала меня ежедневно, ежечасно, и я грезил-мечтал о летнем тепле, о щедром солнце, когда могу вольготно расположиться в шалашике под акацией в уголке огорода. Но зима и весна длились нескончаемо. А мне еще предстоял экзамен за четвертый класс.

Все чаще чудилось, что меня запихнули в мешок, в котором я вот- вот задохнусь.

Однажды отец приехал из районного центра Марьевки, достал из сумки сверток, медленно, явно возбуждая мое любопытство, развернул его и протянул мне изрядно потрепанный томик. Я прочитал на обложке: «А. С. Пушкин. Сказки». Дрожащими руками я принял этот дар, неизвестно у кого и как раздобытый отцом, полистал книжицу и наткнулся на строчку: «Сватья баба Бабариха». Что-то вспыхнуло во мне, чем-то поразила, захватила, обострила внимание бббаббба Ббба-ббба-ри-ха. Должно быть, отец заметил мою заинтересованность. И он очень серьезно сказал:

– Отныне книга и станет твоим главным занятием.

Я остро понял-почувствовал: да, да, да, отныне книга, только книга, одна книга – та одна-единственная соломинка, которая удержит меня на плаву жизни. Книга увлечет и отвлечет меня от моей тягостной немощи и кислой доли. Этой истиной вмиг озарилась душа в моем хилом тельце, и я с того дня воспрял духом. Позже, став взрослым, я неустанно повторял: человеком меня сделали родители, аул и книга. Вот три источника и три составные части моего духовного бытия.

ЗАРЯДКА

Отец – человек спортивный. За семь лет службы в рядах Рабоче-крестьянской Красной армии закалился основательно. Никакой вид спорта ему не чужд. Отмахать пешком десять-пятнадцать километров за день, перетаскивать трехпудовые мешки, с ходу перепрыгнуть ручей-канаву, косить и скирдовать сено, вскопать огород, натаскать из колодца пару бочек воды для полива, вплавь перебраться через Ишим ему, как мне казалось, ничего не стоило. Все у него ловко получалось. А я рос болезненным, хилым, и отца это, я чувствовал, угнетало. Он не жаловал слабости в человеке. Примерно с пяти лет он приучил меня с утра, после сна, бегать вокруг дома, и не просто, по-щенячьи, как попало, а по-спортивно, с легким наклоном, с развернутыми плечами, с прижатыми к туловищу локтями, с ритмичным вдохом-выдохом, прыгать через ров, с разгона и с места, скакать попеременно на одной ноге, подтягиваться на турнике, лазать по канату, обливаться водой, ничего не бояться, попусту не хныкать. А тут беда: единственный сын обезножил, подхватил тbc костей, с трудом передвигался на костылях, дохлый, чахлый, как трава на солончаке возле старицы. Мама укутывала меня, жалела, оберегала от всех напастей, а отец заставлял меня подниматься резво в шесть утра, а спал я в стильной комнатушке-пристройке, потом мне предстояло плескаться у ракушечника, где вода покрывалась за ночь ледяной коркой, делать, преодолевая боль и слабость, посильную зарядку, а главное – полчаса до занятий в школе пилить вместе с отцом дрова.

«Ну, не трогай ты его, – заступалась за меня мама. – Видишь: еле- еле душа в теле. Er ist ja ganz krank».

«Ничего! Надо закаляться», – убежденно возражал отец.

«Какая жестокость! – жалел я сам себя. – И это называется отцовская любовь...»

В сарайчике-дровянке, освещенном в ранней сутемени тусклым фонарем, стоял крепко сколоченный, приземистый козел. С рогами- зубьями. На него отец аккуратно укладывал березовые и осиновые бревна-стволы, и мы их распиливали на ровные, совершенно одинаковой длины чурки.

Левой рукой я опирался о бревно, прислонив костыли к стенке, правой из всех силенок тянул зубастую визгливую пилу, тяжесть тела переносил на здоровую ногу, служившую опорой, а правая, больная, в перевязке, уже укоротившаяся, болталась на весу.

Мне бывало неудобно, больно, сердце трепетало, трепыхалось, кровь прилиwała к голове, лицо покрывалось испариной, дыхание прерывалось, неумело разведенная пила с натягом вгрызалась в тугую, сучковатую плоть дерева, ее то и дело заклинивало, руки дрожали, ныло в груди, а жилистый напарник-наставник мой неустанно поучал-подгонял-подстегивал меня:

– Не толкай пилу, а на себя тяни, ровно, мягко. Не напрягайся. Шире плечо! Дыши ровно! Не горбись! Вот так! Сильно не наклоняйся! Ровно держи ручку! Видишь, пила вкривь пошла. Ну вот, так лучше. Хорошо! Так держать! Давай, давай!

Бороздка становилась все уже. Пилу без конца заклинивало, приходилось ее вытаскивать и вновь пускать по прежней бороздке. Желтоватые опилки веером брызгали во все стороны. В глазах рябило, в висках стучало, из-под шапки струился парок. Иногда казалось, вот- вот вырвется ручка, пила, взвизгнув, завияя, выскочит из бороздки, заденет, поранит руку, а я рухну на неразделанные кряжи-чурки.

А отец продолжал поучать:

– Не рви пилу! Ровней! Спокойней! Ты только крепче держи ручку. Пила сама пойдет. Ну, ну, еще немножко. Так, так! Ну, еще одно бревнышко. И на сегодня хватит. Genug!

Я косился на косяк, на сучке которого болтались на цепочке увесистые отцовские карманные часы. Стрелки, казалось, стояли на одном месте. И мне чудилось, что мы пилим эти проклятушие дрова уже вечность. Мочи нет. Язык вот-вот вывалится изо рта, как у нашего Шарика. Уши заложило.

– Все! – как сквозь ваты доносится голос отца. – Хватит! Оттряхнись, позавтракай и в школу. Немного кровь разогнал.

Унимая противную дрожь в теле, наваливаясь на костыли, которые норовят выскочить из-под мышек, я с трудом одолеваю ступеньки крыльца, взбираюсь на кухню, где пахнет березовым дымом, ячменным кофе, уваристой картошкой, уминаю булочку с маслом, запиваю парным молоком и, закинув за плечи холщовую сумку с книжками и тетрадками, потукивая костылями, плетусь-ташусь в школу.

Отец колуном разделяет кряжи, и поленья летят во все стороны. Знаю: сейчас он уберет дрова, уложит поленья аккуратно на просушку, поставит на место козел, подметет тщательно опилки, щепки, потом тоже позавтракает и отправится в медпункт.

Такая вот ежедневная зарядка.

Такова отцовская метода закаливания тела и воспитания харак- тера.

С годами я понял: метода была правильная. Иначе я бы давно сковырнулся, очокурился.

ВЫБОРЫ

О предстоящих выборах в ауле поговаривали везде и всюду месяца три. Шутки ли: первые послевоенные выборы в Верховный Совет Казахской ССР! Даже в дремучем захолустье все были подняты на ноги. В колхозной конторе освободили самую большую комнату, соорудили две кабины для тайного голосования, сколотили ящик-урну, обшив ее красным ситцем, в углу поставили стол со старыми подшивками газет, с журналами, блокнотами агитатора и истрепанным

томом Джамбула, наташили несколько колченогих стульев и расшатанных табуреток, стены обклеили плакатами с портретами и биографиями кандидатов в депутаты, аляповатыми графиками прошлогодних трудовых показателей.

И вот настал тот день. Все жители аула заблаговременно оповещены. Голосование начинается ровно в шесть утра, а в семь пара, запряженная в сани, должна домчать до райцентра протокол и опечатанные бюллетени голосования.

Конечно, предусмотрена и культурная программа. Ею заведует мой общественно активный отец. Уже в четыре утра отец со своей скрипкой, я – с аккордеоном должны быть в конторе и начинать веселить-развлекать медленно собирающихся, заспанных и продрогших аульчан. А через час энтузиаст-мугалим Калау приведет группу изможденных и вечно голодных интернатовцев, которые хрипылыми спросонья, простуженными голосами споют натошак несколько патриотических песен. Ну а вся выборная кампания закончится уже примерно в восемь-девять утра.

Таков план, разработанный аульным избиркомом, аулсоветом и первичной партийной организацией.

– Подъем! – растормошил меня отец, и я стал поспешно одеваться.

За окном стынь и мрак. По-разбойничьи свищет-воет ветер. На столике возле печки коптит-мигает лампа-семилинейка. Отец уже оделся, уложил в футляр скрипку, в карман сунул канифоль, завернул в старое покрывало аккордеон. Ходики над дверью показали без двадцати минут четыре.

Мне зябко. Я не выспался. Больная нога привычно ноет. В животе урчит. Тащиться темной ночью по пустынному, сплошь в сугробах, аулу да еще на костылях – никакое не удовольствие. Но надо, надо. Ordnung muß sein. О порядке, дисциплине в работе и поведении отец твердит-внушает по десять раз на дню.

Выходим. Морозный воздух перехватывает дыхание. Окунаемся в стильную глухую мглу. Снег поскрипывает, повизгивает под ногами. Костыли разъезжаются в стороны. Лишь бы не споткнуться, не упасть. А ветер

так и норовит столкнуть тебя в сугроб.

Отец, держа под мышкой футляр со скрипкой, за плечом – аккордеон в узле, правой рукой освещает карманным фонариком-жужжалкой запорошенную, едва различимую тропинку.

Аул как вымер. Ни одной живой души. Ну вот и добрались до конторы. Из промерзших окон едва брезжит свет. У крыльца кто-то в заскорузлой шубе и треухе-малахае разгребает снег. Рядом зябнет лошадка в сизом куржаке. Уборщица тетя Ира в немыслимом тряпье, в огромных подшитых валенках пытается разжечь печь. Пахнет мерзлыми поленьями, сырой берестой, керосином, пылью, нежитью.

В конторе тихо, убого, холодно. Даже две керосиновые лампы-десятилинейки не в состоянии развеять предутреннюю сутемень. Возле обшарпанной печи дремлет, свесив сивую бороду-лопату на грудь, древний Жайлаубай. Три года назад, помнится, он говаривал, что ему пошел седьмой год седьмого десятка. Ныне он бубнит, что одолел девять перевалов жизни. Через год наверняка заговорит о столетнем рубеже. Как старейшине аула ему поручено голосовать первым. И чтобы не проспать эту высокую миссию, Жайлаубай-ата притаился в контору еще в полночь. В тулупе, непомерных сапогах с войлочными чулками, в лисьем, облысевшем тымаке, в кожаных рукавицах он сидел неподвижно, лишь изредка бухал в бороду:

– Сколько еще осталось?

– Два часа, ата, – отозвался шустрый секретарь аулсовета, видно, главный распорядитель сегодняшнего мероприятия. – Потерпите. Вздормните чуток.

Дед Жайлаубай что-то промышчал, крепче охватил суковатый посох, уперся подбородком на руки.

Рядом с ним прикорнула озябшим воробышком крохотная Арайлым, ученица десятого класса. Ей исполнилось восемнадцать, голо-сует впервые, и ее обязали голосовать второй, сразу же после старейшины аула. Сказали: так надо, в газетах пропечатают. Потом голосуют коммунисты – мой отец, директор и завуч школы, председатель колхоза, заведующая фермой, бригадир, доярка Шаку, бухгалтер Беким, за

ними – рядовые колхозники и все остальные аульчане, имеющие право голоса.

В закутке, возле крыльца, был организован буфет. Отец принес мне оттуда затвердевший, как камень, пряник, горсть слипшихся карамелек и стакан морса. Все эти сласти были для аульчан в диковинку.

– Ну, разогреемся малость, – сказал отец, когда я допил чуть сладковатый розовый морс.

Он достал из футляра скрипку, настроил ее, помял пальцы, наканифолил смычок. Я развернул аккордеон, уселся поудобней, прислонив к стенке костыли, привычно взял несколько аккордов, нащупал соответствующей тональности басы, переключил регистр и заиграл «На сопках Маньчжурии».

Дед Жайлаубай очнулся, почему-то стукнул невпопад посохом. Встрепенулась, зашевелилась и вконец продрогшая миниатюрная Арайлым.

– Уай де! – прокричал дурашливый сморчок-завхоз.

– Давай, давай «Камажай»! – подзадоривал шустрый секретарь аулсовета.

Наконец подключился и отец. Встал во весь рост, выставил левую ногу, взмахнул смычком, заиграл шаловливую польку, потом – марш, потом – подряд несколько вальсов, потом – попурри из немецких народных песен.

Сразу стало веселее. И народ подтянулся, толпился на крыльце, в коридоре, в проходе, в буфете-закутке. Вмиг потеплело. От печки валил пар.

– Эй, бала, скоро? – спросил дед Жайлаубай в пространство.

– Сейчас, ата. Что нужно говорить, не забыли?

– А-а-а... – пробубнил дед Жайлаубай. – Что куда в уста вложит, то и скажу.

– Э, нет, ата! Мало ли что вам в голову взбредет. Сказать надо то, что нужно! А ты, Арайлым, слов своих не забыла?

– Наизусть выучила, – встрепенулась прилежная ученица.

Вскоре нас с отцом сменил хор интернатовцев. Спели о партии, о родине, о счастье. Дружно прогорланили:

«Партия кайда болса,

Партия кайда болса,
Женіс сонда,
Женіс сонда,
Женіс сооон-да-а-а!...»

Я аккомпанировал что есть мочи.

– Громче, громче! – настаивал мугалим Калау.

– Ти-хо-о! – вдруг заорал шустряк-секретарь. –
Начинаются выборы в Верховный Совет советской
социалистической республики Казахстан. Первым
пришел голосовать девяностолетний колхозник, кузнец-
стахановец Жайлаубай Баймурзин.

Дед Жайлаубай скинул тулуп, сбросил молюю
изъеденный тымак, кожаные варежки, стукнул разок
другой посохом и пробубнил в окладистую бороду:

– Жолдастар! Товарищи! Я прожил сто лет, многое в
жизни повидал, но никогда не был... Ия, ия, не был...
э-э... таким счастливым, как сегодня. Я... я... это...
выполняю свой этот... как его... гражданский долг,
голосу за нашу мудрую партию, за правительство, за
этот... этот... как его... ну...

– Блок, – подсказал шустрый секретарь аулсовета.

– Нет, нет, – заупрямился дед Жайлаубай. – Блок
потом. Голосую... голосую... э-э... кхм-кхм...
вспомнил... за сентыральный комитет... да, да... и...
и... и... за блок коммунистов и беспартийных.

– Уай, маладес, старина!

– Шпарит, как по-писаному! – раздались
восторженные голоса.

Дед, довольный, облачился снова в тулуп, нахлобучил
на голову обтрепанный тымак, пятерней поскреб-
расчесал дремучую бо-роду.

– В первый раз пришла голосовать комсомолка-
ударница, ученица десятого класса Арайлым
Ишанкабулова, – объявил шустрый секретарь аулсовета.

Арайлым встрепенулась, вспорхнула перепуганным
воробышком, скинула кроликовую шапку, поправила
толстую косу, взяла бюллетень, встала возле урны.

– Я испытываю огромное волнение и счастье,
впервые голосую за блок коммунистов и беспартийных,
за дальнейшее процветание нашей родины под
руководством славного Центрального Комитета

нашей победоносной партии, – на одном дыхании срывающимся голосом выпалила разволновавшаяся ударница-комсомолка.

– Барекельде!

– Жаса, айналайын!

И Арайлым, вся зардевшись, опустила бюллетень в урну.

Голосование прошло дружно. Возле ящичка, обитого красной материей, столпился нетерпеливый люд. Отец почему-то заиграл торжественный туш, я из последних сил рвал меха аккордеона.

В кабины, занавешенные одеялом, никто и не заглянул. Какие еще могут быть тайны в ауле? Зачем портить казенную бумагу?

Прошло полчаса, а человек двадцать аульчан все еще не проголосовали. Кто-то проспал, кто-то всю зиму не выходил из дому, кто-то спозаранок завозился в хлеву, кто-то еще не сотворил утренний намаз.

– Э, ладно... Народ-то наш. Знаем! – сказал шустряк-секретарь и запихнул стопку бюллетеней в урну. – Все! Болды!

Трое из счетной комиссии, прихватив урну, удалились в соседнюю комнатку.

Мы с отцом сыграли напоследок «Камажай» и «Прощание сла-вянки».

Вскоре вновь появился шустряк-секретарь и громко объявил:

– Поздравляю! Выборы состоялись. Сто процентов!

Отец ударил смычком по струнам, я прошелся по басам. Туш получился на славу.

Народ стал расходиться. Отец уложил скрипку в футляр, упаковал в покрывало аккордеон, и мы с чувством исполненного долга побрели домой.

Близился рассвет. Сумеречные тени таяли, медленно уползали в степь. Из печных труб низко стлался-волочился дым. Снег под ногами резко взвизгивал, отзывался эхом в прибрежном тугае. Где-то неохотно тявкали-бrehали аульные пустолайки.

Мы с отцом молчали. Занимался новый день. А у каждого дня, как известно, свои заботы.

ОТЕЦ КОПНИЛ СЕНО

Июль на исходе. Благодать. Солнце подолгу стоит в зените. Все живое млеет-наслаждается в его щедрых ласковых лучах. Задумчиво, с ленцой порхают бабочки. Зевают от блаженства аульные пустолайки в тени. С верховья тянет настоящий на разнотравье ветерок.

Но настоящая благодать у реки. Ишим-Есиль течет лениво, размеренно, яркими бликами слепя глаза. Густой тугай точно купается, нежится в разогретых потоках воздуха, истекает спелым, пьянящим духом черемухи, боярки, шиповника, смородины, костяники, хмеля- выюна. Густо жужжат сытые шмели. В душных зарослях роются осы, что-то вынюхивают, высматривают. В поллой листве шуршат-шмыгают мыши. Дышит, набухает огромный муравейник под сушняком- тальником.

На открытой поляне между тугаем и рекой отец накануне накопил литовкой сена, сгрэб граблями в валки, оно подсохло, пожухло за эти дни, и теперь пришла пора укладывать его в копенки. По подсчетам отца, нашей кормилице Марте понадобится на долгую зиму девять копен душистого приречного сена, которые отец потом сложит в аккуратную скирду, укрепит жердями-слегами-баструками, чтобы сено не разметалось, отстоялось, отлежалось, обветрилось перед тем, как в канун снегопада перевезти на колхозной бричке домой на сеновал. Любо-дорого смотреть, как отец работает. Все у него получается споро, ловко, без натуги. Видно, он сам получает удовольствие от своей работы. Недаром повторяет часто: «Arbeit macht das Leben süss» – работа услаждает жизнь. Литовка тоненько, звонко поет под его сильными руками – дзинь-дзинь.

Замах у отца широкий, размеренный. Высокая сочная трава, срезанная у самого корня, покорно ложится ряд за рядом, источая сладко-дурманный дух. Отец аккуратно обходит каждую кочку, стараясь не задеть невзначай муравейник или птичье гнездо. Через каждые пятнадцать-двадцать взмахов он делает остановку, достает из кармана шаровар брусочек и уверенно точит-подтачивает косу с обеих сторон и снова приступает к косье – вжик- вжик-вжик. Заглядишься!

Так он косит часа три, любясь, восхищаясь и солнцем, и шаловливым ветерком, и терпким запахом увядающей травы, и тишиной, безлюдьем вокруг, и неустальной силой своего молодого, натренированного, закаленного с детства мужского тела.

Потом через день-другой – сенокос, переворачивание, переворошение валков. И опять отец все это проделывает уверенно, мастеровито, будто всю жизнь только сенокосом и занимался. Дело переделать – это одно, важно, чтобы оно было сделано красиво.

А сегодня пришла пора копнить сено. Копенки у отца получаются ровные, крутобокие, на одинаковом расстоянии, одинакового объема и высоты. Стоят полукругом, кругленькие, пригожие, будто девушки в хороводе. А отец ходит вокруг, любовно оглаживает, выравнивает граблями бока, словно причесывает вилами невопад торчащие клоки, укладывает плотнее, ворох к вороху, все острее закручивая верх и втыкая в завершение длинный кол, чтобы воздух пронизал копну до основания.

Надо уметь копнить сено. А укладывать его в скирду – тут нужно особенное мастерство.

Но это будет потом, чуть позднее, может, через две-три недели.

А пока лишь июль на исходе, и природа пребывает в истоме, в неге, и отец копнит сено, а мне, пацану, поручено сидеть под обрывом, у самой кромки, между двумя раскидистыми тальниками, таскать по мере клева мальков удочкой, кидать их, осторожно сняв с крючка, в ведро с водой, зарытое наполовину в песок, и зорко следить за жерлицами, и время от времени менять живца, ибо на снулого чебака не всякая щука или окунь

позарится. Им нужно, чтобы чебачок играл, манил, дразнил, резвился, метался туда-сюда, иначе какой смак в охоте. Всякий хищник предпочитает, чтобы жертва убегала от него, ярила, распаляла.

Полдень. Жарко. Душно даже у реки. По обоим берегам ни одной живой души. Я один-одинешенек. Клев прекратился. Жерлицы застыли в безмолвии. Может, и рыбки сомлели от жары? Исккупаться бы, окунуться бы разок в прохладу прибрежной глубины. Но отец строго предупредил: нельзя. А если жерлица вдруг размотается – крикни. Не то какая-нибудь шальная щука запросто тебя уволокет-утащит. За этой зубастой тварью не угонишься.

Таков уговор. А наказ отца – закон.

А вообще-то скучно сидеть у реки в одиночестве. Что там происходит по-над обрывом, я не знаю. Слух едва улавливает шорохи. Издали доносится голос отца:

– Эге-ге-гей!..

– Ja, ja! Ich bin da! – отзываюсь. И снова тихо-тихо. Поплавок едва качается-дрожит, незаметно пробиваясь к берегу, на темной под кустом воде. На поплавок присела-припорхнула стрекоза, трепещет крылышками-хвостиком, лупоглазо смотрится в зеркальную гладь, любитесь собой. Накатывается дрема. Все вокруг начинается зыбиться. Над моей головой назойливо кружится-кружится бархатный шмель, угрожающе жужжит-зудит:

– Не сс-пи-ии! Не сссс-спи-и-и!

С обрыва, видно, не рассчитав силы, сиганула зеленая кобылка, с треском шлепнулась на край брезентового плаща подо мной, ошарашенно воззрилась на меня и пружинисто рванула прочь.

Вдруг разом, стремительно – шшшыыrrrr! – размоталась леска жерлицы, и тотчас у берега вода забурунилась, удилище, воткнутое накрепко в супесь и укрепленное у кромки подставкой-развилкой, напряглось, задрожало. Сердце у меня запрыгало-заколотилось, уши заложило, дрожь ударила в поясницу. «Вот она! Вот она!! Вот она!!!» – лихорадочно застучало в голове. Хотел было крикнуть отцу, но от волнения-страха пропал голос.

Под водой кто-то отчаянно рвался на волю, бился могучим хвостом, круто виражировал то влево, то вправо, струной натягивал леску, тут же, на мгновение отступив, заметался со страшной силой. Казалось, это невидимое чудище вот-вот вырвет удилище из суглинка или оборвет леску и умчится восвояси. Я, забыв обо всем на свете, охваченный страхом и азартом, предвкушением удачи, через силу вытащил конец удилища и, упираясь обеими ногами, начал тянуть леску на себя. У самого берега мелькнуло упругое туловище бурой склизкой щуки, показавшейся мне непомерно огромной, и тут только, с ужасом почувствовав, что меня эта зубастая, длинноголовая тварь непременно утянет в воду, я закричал-заорал дурниной что есть мочи:

– Па-ааа-па-ааа!..

Леска напряглась, дрожала, удилище рвалось из рук, но я вцепился в него насмерть и вопил без передышки. С обрыва посыпались камешки, глина, песок, и я услышал, как вприпрыжку, опрометью бросился ко мне на помощь отец. И – вовремя! Через миг я бы удилище не удержал или сам шлепнулся бы с головой в омут.

Отец, всем корпусом откидываясь назад, понемногу натягивал леску, и у взбесившейся щуки пространства для маневра оставалось все меньше и меньше. Я замер, обессилено опустил на песок, ошарашенно наблюдая за безмолвным побоищем.

Отец не торопился. Временами чуть отпускал леску, потом настойчиво натягивал на себя, наматывая на локоть. Щука, видно, устала, задыхалась. У самой кромки воды мелькнула ее зубастая пасть. Но, должно быть, живца она проглотила от жадности глубоко, и железный крючок вцепился в ее нутро насмерть, и леска оказалась крепкой, и удилище – гибкой.

Наконец, отец вытащил щуку на узкую полосу берега, и тут она умудрилась-таки перегрызть толстую капроновую леску, высвободиться и, заколов мощным хвостом, напружинив плавники, заскользила к воде. Но не тут-то было! Отец сел на нее верхом, запустил обе руки под жабры, зажал шенкелями, точно строптивного неукла, и понемногу, пядь за пядью оттащил от кромки воды.

– Камень! Камень! – закричал отец.

Мне попался под руки увесистый окатыш. Отец изловчился, схватил его правой рукой и раза два с силой тукнул им по длинному скользкому черепу. Щука сразу усмирилась, обмякла.

– Вот это да! – восхитился отец, все еще не слезая с щуки и оценивающе оглядывая ее. – Зверь – не щука!

Она действительно была внушительна: длинная, темно-бурая, с зеленцой, пятнистая, с крепкими тугими плавниками. Отец нанизал ее на кукан, подержал на весу.

– Больше метра! Килограммов десять! Твоя удача!

Я чувствовал себя именинником.

Вскоре на жерлицы попались еще два туготелых, грозно ощетилившихся окуня, и мы с отцом, довольные уловом, засобирались домой.

...До аула было километра три. Отец шел впереди, держа щуку на кукане за спиной. Я трусил рядом, неся кукан поменьше, с чебаками, пескариками, двумя окунями. Отец слушал меня, все еще возбужденного побоищем с щукой.

Солнце клонилось к западу, с верховья задуло заметнее. Запахло знакомым кизячным дымом.

Навстречу к нам откуда-то вынырнул, выскочил наш коротконогий, кругленький, пушистый Пупсик, завилял хвостиком, приветствуя нас, и, затаив раз два от избытка радости, засеменял-застрочил к дому, как бы указывая нам дорогу.

У поворота от дома охотника Абильмажина отец забрал у меня кукан и водрузил мне на спину нашу главную добычу. Я вцепился в конец бечевки, продетую через жабры щуки.

Мама ждала нас у калитки, оповещенная услужливым Пупсом.

– Либер Хайланд! Кто поймал?

– Он! Он! – сказал отец. – Его удача!

Я немного смутился и добавил:

– Папа помог.

– Только чуть-чуть! – поправил отец.

Я был горд. Было только немного досадно оттого, что никто из моих аульных тамыров не видел моего трофея.

НОЧЬ В СТЕПИ

Всё! Едем! Комендант районного УМВД смиростивился наконец и дал моему отцу, спецпереселенцу Карлу Бельгеру, разрешение на выезд в Петропавловск. За трое суток мы с отцом должны были каким-то образом добраться до областного центра, показать меня тамошним врачам-светилам и благополучно вернуться в аул.

Трое суток! На большую свободу районный комендант Волченко разрешения давать не может. Ни-ни! Строго...

О поездке в область родители поговаривали давно. Болезнь моя прогрессирует. Боли не отпускают. Особенно худо становится мне в ненастную погоду. Как только кудлатые тучи заволакивают небо, я лежу пластом, точно одеревенелый. Больная нога явно усыхает, укорачивается. Может, областные эскулапы (отец с придыханием называл звучные имена – Бронштейн, Блюменфельд, Мантейфель) знают, как следует меня лечить. Может, придется надолго лечь в тубдиспансер. Мама от такого варианта прослезилась, и я понял, что это плохо. Но если надо...

Словом, едем. Но вот беда: тучи плотно обложили небо, и заладили нудные осенние дожди. Слякоть. Грязь. Стынь. Хотя из дома не выходи. И просвета не видать. А время-то не ждет. Надо во что бы ни стало уложиться в трехсуточный срок. Другого разрешения может и не быть. Комендант Волченко тоже не всемогущ. Зимой же в далекий путь не отправишься. В стужу и метель попробуй преодолеть сугробы на костылях хотя бы до школы.

Секретарь аулсовета, расторопный малый, снизошел до нас, доставил на бричке, запряженной зачуханной конягой, через Ишим на рейдерную дорогу.

Голосовали долго, пока порожняя полупортка не сжалась над нами. Обросший, помятый, расхристаный шофер, от которого за версту разило потом и бензином, прохрипел:

– Залезай на кузов. Под брезент. Довезу.

– А нельзя ли его... – отец показал на меня, – в кабину?

Шофер презрительно покосился на меня, тщедушного, бледного, потом – на мои деревянные костыли и сплюнул:

– Нельзя... Самому тесно...

Отец легко переметнул через борт, принял мои костыли, потом без труда втащил меня в кузов. Устроились рядком на грязных мешках, прислонились к кабинке, укрылись мокрым пологом. Машина затряслась, задержалась, тронулась с места.

Едем.

Дождь моросил, не переставая, мелкой дробью колотил по брезенту. Слева темнел приунывший тугай. Справа тянулась убогая, бурая от дождя, безлюдная степь.

По разбитой грейдерной дороге бежит-тарыхтит наша раздрыганная полупортка, подпрыгивает-подскакивает на ухабах. По обочине гуртятся жирные вороны. В город, на элеватор, возят хлеб: есть чем поживиться.

Едем. Едем. Дороги нет конца. До областного центра без малого двести километров. Отец свесил голову на грудь и погрузился в дрему. У аульного фельдшера хлопот столько, что он вечно недосыпает. И потому наловчился дремать при малейшей возможности. Казахи это называют «күс ұйқы» – птичий сон. Покемарит отец минут десять. И он уже бодр.

Мне не до сна. Я и ночью-то не сплю – маюсь, все ищу удобную позу для больной ноги. И сейчас на душе кошки скребут. Доеду ли до города? А вдруг из носу, как всегда некстати, кровь пойдет? Как спущусь с кузова по надобности? Что скажут в диспансере? Вдруг уложат на год-полтора? Как буду жить вне дома? Как обойдусь без родного аула? Даже думать о том страшно.

Вдали мелькают затерявшиеся в степи крохотные аулы, пасутся там-сям отары овец. Понуро мокнут под дождем березовые колки.

Неприглядная, непроглядная осенняя скука разлилась вокруг. Все же в нашем ауле уютней, теплей, добрей. И зачем меня увозят в неведомую даль? Бог с ней, с моей ногой, с моими болями. Ведь на чужбине, я это чувствую, мне будет еще хуже. Раз отец не в состоянии меня вылечить, то какой прок от Бронштейнов-Блюменфельдов-Мантейфелей?

– Есть хочешь? – вдруг очнувшись, спрашивает отец по-русски

– Найн.

– Захочешь – скажи, – опять по-русски говорит отец.

– Гут.

– И давай договоримся: в городе, на людях будем говорить только по-русски.

– Воцу? Варум?

– Так лучше. В ауле знают, что мы немцы, а в других местах не будем выделяться. Так лучше.

– Ах, зоо?! А что, немцы – это плохо?

– Нет... не плохо, – медленно говорит отец. – Но...

– Васдох?

– Но... лучше по-русски. Удобней.

Я молчу. Соображаю. Странно... Я знаю, что по-русски говорю плохо, гортанно, окающе, с явным казахским акцентом. Ну, может, чуть лучше, чем сверстники-казахи. Мария Петровна, учительница русского языка, не однажды уличала меня в том, что я нарочито искажаю русские слова на казахский лад. Но что делать, если так получается мимо моей воли? Я ведь в ауле русской речи не слышу. Но замечаю, что и родители мои не особенно в ладу с русским языком. Мама вообще говорит неправильно. А у отца неистребимый немецкий акцент. У него вместо «д» выходит «т», вместо «в» – «ф», вместо «ж» – «ш», а перед гласными «с» непременно превращается в «з». Недавно мой дядя Франц прислал фотографию откуда-то с юга, на которой он был изображен с женой и большущей чашей винограда. А на обороте фотографии стояла корявая надпись: «Финокраат ис зобственова зада». Я долго хохотал, а родители недоумевали: что же тут смешного?

Отец говорит: «Тафай!», я говорю: «Дэбай!» Отец

говорит: «Запранья», я говорю: «Собраний», а охотнее: «Жыналыс». И после этого мы будем общаться исключительно по-русски? Что отец – немец, любой догадается с первого слова. И по виду – тем более. А меня за мой казахский выговор могут в лучшем случае принять разве что за татарчонка.

Смешно. Нелепо. Но, должно быть, отцу виднее. Полуторка все чаще буксует. Дорога только называется грейдерной. Местами она – обыкновенная черноземная слегка утрамбованная насыпь. В вязкой кашеце с лужами машины застревают, как жуки в навозе, виляют, норовят юзом скатиться в кювет. И когда наша полуторка начинает буксовать, мотор – надрываться и чихать, а колеса, прокручиваясь, яростно швыряться ошметками грязи, мы в кузове замираем, шофер же возводит свою привычную, грозную «... мать!» в третью степень.

Долго терзал-мучил шофер издерганную полуторку, с трудом, с помощью витиеватого мата выбрался из выбоины, сполз с насыпи, угрожая перевернуться, поехал по травяному настилу, трясясь на рытвинах-колдобинах. Нас в кузове бросало из края в край. Чтобы удержать меня и себя, отец раскинул-расставил свои длинные ноги, упирался в борт, но временами чудилось, что я непременно вылечу из кузова со своими костылями. Раз а два и отец выругался по-немецки: «Хайлих доннер-веттер сакрамент!»

Вечерело. Буксовали мы все чаще. Шофер, откинув дверцу кабины, все яростнее раскачивал машину взад-вперед, увязал в чернозем все глубже, все безнадежнее, крыл многоэтажным матом и дорогу, и степь, и начальство, и небо, и дождь, и незадачливых пассажиров в придачу. Отец то и дело прыгивал в чавкающую хлябь, весь измазюкался, подкладывал под колеса ивняк, клоки сена, придорожный кустарник, откапывал густые шметки грязи, что есть силы толкал машину. Это повторялось все чаще и чаще. Дождь продолжал мелко-мелко моросить. Лохматые тучи волочились едва ли не по земле, и вскоре стало ясно, что сегодня до города нам не добраться. Оставалось еще километров шестьдесят с гаком. Так определил вконец разъяренный шофер.

– Бздец! Хана! – буркнул он, смачно сплюнув. –

Будем ночевать. Я в кабине, вы в кузове под пологом. К утру, может, дождь уляжется, подсохнет.

Отец растерянно посмотрел на меня. Такого мы не предвидели. И как быть? Провести ночь под открытым небом в безлюдной степи на грязных мешках под мокрым пологом? И неизвестно, прекратится ли дождь, подсохнет ли дорога, выкарабкается ли машина из трясины. И помощи ждать неоткуда. Тупик. Ловушка. Хуже не придумаешь.

Шофер плотно закрыл за собой дверцу кабины и устроился на двух сиденьях на ночлег, укрыв голову фуфайкой.

Стремительно темнело. И тут отец высмотрел одинокий стожок сена недалеко от дороги. Отец помог мне спуститься с кузова, подал костыли, и мы, спотыкаясь, увязая в суглинок, потащились по стерне к стожку. Отец быстро вырыл лаз, и мы залезли-вобрались в сухое теплое логово, расстелили мешки и устроились-залегли рядом. Благодать! Я расправил спину, вытянул больную, одеревеневшую ногу, костылями слегка расширил лаз. Ну вот! Теперь и дождь нам нипочем. И ничего нам больше не надо.

Отец покопошился в котомке, достал мне пончик-брецель, почистил круто сваренное яйцо, протянул бутылку с молоком.

Ну-у... рай, счастье, улада, скажу я вам. Вскоре мы оба провалились в сон.

...Проснулись от рева мотора и оглушительного сигнала. Я не сразу сообразил, где мы находимся.

Первым из нашего нагретого логова выскочил отец, отряхнулся, потянулся, за ним, оберегая больную ногу и волоча за собой костыли, выбрался на свет божий я.

Стояла ранняя рань. Дождь прекратился, выдохся, дул зябкий ветер, земля точно коркой подернулась, а с вышины взирала безмятежно на пустынный мир полная луна.

Отец, желая взбодрить меня, запел строчку из «Болотных солдат»:

– Doch für uns gibt es kein Klagen...

– Ты же хотел только по-русски говорить, – напомнил я.

– Ах, да!.. Но это там, в городе, на людях, а в степи можно и по- немецки.

Шофер успел вызволить многострадальную полуторку из трясины и поджидал нас на обочине.

– Скорей, скорей! Может, прорвемся?

Повезло. С горем пополам. С мучениями. Приключениями. К обеду добрались-таки до города, остановились у давнего знакомого, бывшего коктерекца Шалова, почистились, помылись и, наскоро подкрепившись, отправились в гортубдиспансер. Нам несказанно повезло. Сам главный областной фтизиатр, маленький, горбоносый, в очках, человечек с грозной фамилией Мантейфель, внимательно выслушал сбивчивую речь отца, бегло перелистал какие-то бумажки – направление и заключение районных врачей, потом костлявыми холодными пальцами пощупал-потискал мой тазобедренный сустав, слегка раздвинул ранку свищей, помычал, покрякал, нахмурил лоб, проронил несколько не понятных мне медицинских слов:

– Хо-го-шо... Ясно-о... Одевайся...

Я привычно сделал себе перевязку, натянул брючки, пытался вникнуть в суть разговора. Мантейфель показался мне сведущим и сочувствующим человеком. Особенно забавно он картавил и певуче растягивал гласные. Мне послышалось, что и он говорит по-русски несколько скованно, не так, как надо. Отца он называл непривычным словом «коллега».

– Так вот, коллега. Вы ведь и сами все понимаете. Тэбэце. Да, да... Тэбэце костей. Идет воспалительный процесс. И главная проблема – остановить его. Какое тут может быть лечение? Ну, ПАСК... ну, хорошее питание. Стерильные перевязки. Может, толченая яичная скорлупа. Кальций. Свежий воздух. Конечно, мы можем его взять в стационар... в областной диспансер. Ну, и что? Условия, скажу честно, не ахти. Шесть-семь человек в палате. Есть открытые формы тэбэцэ. Питание – так себе, казенное. Воздух городской, затхлый. Карболкой отдает. Да-а... А у вас – аул, тишина, степной воздух, сливки, сметана, масло, куриный бульон, кумыс и прочее. Есть преимущество? Не так ли, коллега? Так что мой совет: возвращайтесь назад, примите все

перечисленные мной меры. Организм молодой. Может, через год-два справится. Никаких других средств пока нет. Пенициллин до нас еще не дошел. На подходе, говорят, стрептомицин. Будем иметь в виду. Так вот... Согласны, коллега?

Отец долго молчал, раздумывал. Доктор Мантейфель пытливо поблескивал из-под очков черными, навывкате глазами. Отец мельком покосился на меня. Ни за какие коврижки не хотелось мне оставаться в неведомом диспансере. Отец, должно быть, уловил это в моих глазах. Видно, и сам в душе склонялся к такому решению.

Пауза затянулась.

Вдруг отец порывисто вскочил, по-медвежьи приобнял маленького Мантейфеля, крепко потряс ему руку.

– Спасибо! Вы правы. Очень разумный совет.

Большой груз разом свалился с наших плеч. До квартиры Шалова мы добрались пешком, и я не чувствовал больной ноги. Мне почудилось: выздоровлю, непременно выкарабкаюсь, только бы добраться до аула. Даже ночевка в степи, в стожке сена, под открытым небом, под морозящим дождем мне уже не страшна.

По пути отец заглянул в магазинчики, закупил какие-то гостинцы.

На следующее утро, спозаранок, даже не позавтракав, мы с отцом направились к обрыву Кызылжар, к развилке дорог в районы, поймали попутную машину и в тот же день благополучно добрались до аула. На этот раз мне досталось место в кабине студебеккера, а отец расположился в кузове, где и отоспался всласть.

Я был счастлив оттого, что вернулся в родной аул. А отец больше всего радовался тому, что уложился в трехсуточный срок, отпущенный ему, спецпереселенцу, добрым районным комендантом.

КОТЛОВАН

В трех километрах от нашего аула, в сторону верховья, возле веселого березового колка находился колхозный стан – две избушки, крытые дерном, одна шошала, сплетенная из тала, обтянутая старой кошмой, небольшой сарайчик-загон для скота и навес для скудной техники – обиталище трактористов, плугарей, сеяльщиков, бороновальщиков, косарей, сезонная стоянка для тружеников полей. Рядом со станом темнел большой пруд, обрамленный камышом, ряской и ивняком. Со стороны крутого бережка вода была глубокая, темная. Здесь черпали воду на хозяйственные нужды. Противоположный, южный берег был пологий, ископченный, глинистый. Там поили лошадей, плескалась малышня. Пруд отец называл котлованом, а аульчане – карасу. Я тогда уже смекнул, что любой водоем у казахов либо карасу, либо аксу. Так назывались даже соседние аулы.

Котлован весной наполнялся талой водой, ручьями стекавшей отовсюду, а потом пополняли его обильные дожди. Потому в самое знойное лето пруд не пересыхал, радовал прохладой и тенистой зарослью. Одно плохо – рыб в пруду не водилось. Никаких. Одни лягушки квакали-надрывались перед закатом на всю степь. Отец часто навещал обитателей стана, оказывал медицинскую помощь, любовался простором и естественным водоемом в открытой степи. Но то, что в этом озерце не было рыбы, отца постоянно удручало.

Он об этом говорил на колхозном собрании, прожужжал уши баскарме и бригадиру: надо, дескать, обрыбливать водоем, это же клад, да, да, благодать. Над затеей отца только посмеивались: е-е... першыл, это

божье дело, рыбы, мол, и в Есиле достаточно, только ловить ее некому, да и некогда, кто будет с удочкой сидеть часами на бережку, ведь идет война, рабочих рук и так кругом не хватает.

Что верно, то верно: и работы в колхозе невпроворот, одни бабы-хатуны да подростки лямки тянут, и война с проклятым керманом длится третий год.

А река Есиль-Ишим в том году разлилась в половодье широко, хлынула из берегов, затопила тугай, луга, прибрежные старицы, ерики, болота. Потом вода отступила, оставив переполненными все впадины в низине. И однажды, уже в июне, я со своими аульными тамырами обнаружил, что мелководье, нагретое солнцем, в бочажном томаре кишмя-кишит рыбьей молодью. Сплошь крохотные, с полпальца, головастики-карасики. Замутив прибрежную воду, мы их черпали кепками, тубетейками, ладошками. Но что делать с этой мелкотой? Ни сварить, ни зажарить, и живьем не проглотить.

О своей находке я рассказал отцу.

Его мгновенно осенило.

На другой день он выпросил у баскармы телегу, запряженную изнуренным колхозным меринком. Поставил на телегу кадку, две фляги, привязал их покрепче, и мы отправились к бочагу. Я, шлепая ногами по мелководью, поднял ил, потревожил стайки мальков, они, задыхаясь, косяками вынырнули на поверхность замутненной жижи, и отец, соорудив из своей майки подобие сачка, зачерпывал их и сноровисто наполнил всю емкость на телеге. Кто знает, сколько тысяч мальков-карасиков мы выловили за какой-нибудь часик!

А еще за час мы, похлестывая заморенного мерина, добрались до котлована и торжественно выпустили всю молодь в озеро возле колхозного стана.

Отец был доволен.

Баскарма посмеивался: ай, першыл, выдумщик.

Я сгорал от любопытства: и что же будет?

Через год мы с отцом, усевшись под ивой, долго вглядывались в темную заводь и убедились: прижились наши карасики, плавают, резвятся в камышиных

зарослях, греются на мелководье, шустро шныряют туда-сюда и выросли с палец. А еще оказались среди них и пескаррики.

«Ну, еще годик-другой, и приедем с удочками», – сказал отец.

Кончилась война.

Отпраздновали победу.

Но в ауле жили бедно. Нехватки сказывались во всем.

Раз в неделю мы с отцом ездили на стан, и я натаскивал удочкой по ведерку пузатеньких, с плотной золотистой чешуей, веселеньких карасиков сплошь одинаковой величины – с ладонь.

Карасей развелось столько, что, казалось, их черпать – не вычерпать.

Озерцо в ауле назвали именем отца. Никто не осмеливался удить здесь рыбу без его разрешения.

Но вскоре объявились откуда-то рыбаки с бреднями. Отца это расстраивало.

Но беда пришла позже – с первоцелинниками в начале пятидесятых. Этот люд не церемонился ни с кем, ни с чем. Рыбу глушили динамитом, на тихом зеленом берегу разводили костры, варили уху, хлестали водку, горланили на всю степь похабные песни и вскоре опоганили всю окрестность.

Почему-то после войны снега выпадало все меньше и меньше. Талые воды уже не заполняли котлован, как прежде. Тальник вырубili, камыш подожгли, веселое степное озерцо обмелело, походило на большую лужу. Один из домиков обвалился, ивовую шошалу пьяный целинник разнес трактором.

Студентом, приезжая в аул, я наведывался к озеру. Все пришло в запустение. Все вокруг было распаханно. Удить снулых мальков уже не хотелось. Да и сидеть у вконец захиревшего котлована было грустно. На стане обитали незнакомые хмурые люди. Березовый колок зачах. Торчали одни пни. Жаворонки уже не заливались звонкой трелью в синеве неба. По обочине истерзанной тракторами дороги гуртилось сытое крикливое воронье...

«ЭЙ, НЕДОБИТЫЙ ФРИЦ, ДАЙ СПИРТ!»

Весной 1954 года в нашем тихом зеленом ауле объявились как снег на голову первоцелинники. Откуда их только набралось! Горластое, нахрапистое, дремучее мужичье наводило ужас на благонамеренных аульчан. В один день первоцелинники опустошили сельмаг, мигом пропустили через луженые глотки многолетние залежи тройного одеколona и пудры. Вели себя как разбойники-шакалы: ко всем приставали, одним только свирепым бандитским видом своим перепугали всех, забубенную уборщицу колхозной конторы изнасиловали средь белого дня прямо на телеге аульного баскармы, воровали кур, динамитом глушили рыбу в Ишиме, горланили похабные песни, оглашали растерявшийся аул отборным русским матом.

Случалось, в тяжком угаре устраивали гонки на тракторах. В поисках горячительного ездили на комбайне в соседние аулы.

Месяца через три-четыре это разбойное племя исчезло. Оказалось: никакие не первоцелинники, а обыкновенные уголовники, шпана, шантрапа, сволота, выпущенные на волю и получившие солидные подъемные.

Один из них мне особенно запомнился. Расхристанный громила, покрытый бурой щетиной, коротко остриженный, немытый, с налитыми кровью глазами, с железными зубами, огромными кулачищами, он делал частые вылазки в аул, слонялся неприкаянным орангутангом по дворам, пугая стар и млад. Сиплым басом рычал:

– Эй, марджа, айран-шалап есть, махан есть? Давай!

Приставал к девушкам, молодкам:

– Эй, кызымка, дамбал шеш, лапак дай. Сделаем мало-мало вася- вася...

И, выразив свое потаенное желание непотребным жестом, довольный собой, утробно хохотал.

Все его боялись, называли «жынды Иван» – «буйный Иван».

Председатель колхоза так и не подыскал ему подобающей работы в хозяйстве. Обитал буйный Иван в пустующем сарае возле кузницы.

Раза два заявился жынды Иван и в медпункт. Бесцеремонно вваливался к отцу, щерился, обнажив кривые, черные железные зубы, люто вращал глазами, водил огромным, с кулак, кадыком, урчал:

– Эй, недобитый фриц, спирт давай! Шнель, шнель! Не то...

Я как раз зашел к отцу сменить перевязку на незаживающих свищах. И, признаться, встревожился. Таких страхолюдин видеть в ауле не доводилось. А этот орангутанг был даже выше ростом моего отца и намного массивнее. К тому же, поговаривали, что в голенище у него финка.

– Не то, что? – спокойно спросил отец, расставляя какие-то склянки на длинном узком столе между двумя окнами.

– Увидишь, фриц!

– Вон отсюда! – тихо сказал отец, все так же стоя к верзиле спиной.

Я омертвел. Почудилось: сейчас схлестнутся. Ведь буйный Иван на все горазд.

– Не понял?! – зловеще пророкотал пришелец.

– Во-он!!! – незнакомым голосом прокричал отец, и шея его вмиг побагровела.

Я обомлел. По низу живота прокатился холодок. Слабость ударила в ноги. Бинт едва не выпал из моих рук. Ужас-то какой! Разве мыслимо этому громиле возражать? Уж лучше дать ему мензурку спирту и отвязаться.

– Ты-и... что-то вякнул, фриц?! – выпрямился верзила, упираясь стриженной башкой-калганом в потолок. – Ну,

ты у меня, фашист недорезанный, поплачешь! Давай, выйди на дорогу, поговорим...

– Иди! Жди! Сейчас приду!

Буйный Иван, топоча сапожищами, вышел, длинно и вычурно выругался:

– Тра-та-та-та-та... четыре с половиной господу душу... мать!

Мне такого еще слышать не приходилось, хотя и учился «на отлично». В ауле матерились значительно лаконичней.

Из окна медпункта я видел: буйный Иван, горбясь, вышел на проселочную дорогу, встряхнулся, изготавясь к схватке, сбросил рваную фуфайку на обочину, повернулся в сторону медпункта и похлопал по причинному месту.

Отец покосился на верзилу из окна, мельком как бы примерился, приладился к нему, решительно скинул белый халат, подтянул офицерский кожаный ремень, засучил рукава и стремительно вышел.

Я прильнул к окну. Сердце заколотилось. Что будет, что будет? А вдруг буйный Иван пырнет отца финкой?

Отец подошел к верзиле вплотную, рослый, подтянутый, сухой, что-то сказал, орангутанг схватил его клешнями за грудки, надвинулся над ним всей тушей. И тут вдруг отец молниеносно рванул его к себе, крутанул за руку, подставил подножку и верзила – о, боже! – тяжело рухнул на пыльную дорогу.

– А-а-а-а... – послышался его рев. – Фашист! Фриц!

Несколько аульных хатунов возле колодца, застыв, наблюдали за этой сценой.

Отец взял верзилу за шкирку, встряхнул его, заставил подняться, и, едва тот встал на ноги и распрямил спину, как коленом резко двинул ему в пах, и страхолудина обмяк, схватился за живот и опять рухнул мешком в пыль.

Я такого не ожидал. Смотрел в окно ни живой ни мертвый.

К хатунам возле колодца присоединились кривоногий сосед Беким и ватага малышни и смотрели на побоище, разинув рты. Теперь месяц в ауле будут шушукать о том,

как на пыльной дороге в смертельной схватке сошлись урус и немые.

Между тем верзила очухался, медленно поднялся с земли и, угрожающе растопырив узловатые пальцы, рыча, надвинулся взбесившимся чудищем на отца. Я слышал, что урки могут запросто выколоть глаза противнику. Отец, по-боксерски прикрыв лицо кулаками, медленно отступал, тело его напряжилось, голова ушла в плечи. Мохнорылый верзила, чуть сутулясь, шаг за шагом надвигался, грозно нависал над ним. Я замер. Чудовищные пальцы-клешни вот-вот замкнутся на тонкой, жилистой шее отца, и тогда ему несдобровать, не вырваться. И тут отец отшатнулся назад, мгновенно оттолкнулся обеими ногами, чуть согнулся и что есть силы головой саданул мохнорылого в грудь. Тот раскинул руки и, как подкошенный, шмякнулся оземь.

Хатуны и кривоногий Беким у колодца ликующе вскинули руки, пацанва победно запрыгала. Сердце мое подскочило к горлу. Во рту пересохло.

Такое разве в ауле увидишь?

Отец некоторое время смотрел на поверженного обидчика, потом нагнулся, посмотрел в заросшее щетиной лицо его, пощупал привычно пульс и пошел восвояси, будто ничего не случилось.

А буйный Иван вскоре встал, отряхнулся, заозирался вокруг, будто припоминая, что, собственно, случилось и где он находится, потом, волоча за собой грязную фуфайку, побрел к колодцу, ополоснул лицо, руки из деревянной колоды и подался в сторону кузни.

– Перевязку сделал? – спросил отец, войдя в медпункт.

– С...сде... сделал, – ответил я деревянными губами. Страх сковал меня.

– Тогда иди. И не бойся. Этот сюда больше не сунется. Получил и за «фрица», и за «спирт». Це-лин-ник!...

Буйный Иван, действительно, из аула убрался. А о его бесславной стычке с аульным «першылом» (фельдшером) еще долго рассказывали по всей округе.

КОЛОДЕЦ

Когда-то, еще до войны, аул на берегу Есиля, куда нас депортировали, назывался Кабай-Туяк. Посередине двух частей аула пролегал овражек с ровной ленточкой осин и берез. Та часть, в которую нас поселили, называлась Кабай. А, может, и Туяк, теперь уже точно не помню. Пацанва из двух частей аула иногда устраивала побоище. Я представлял родовую ветвь Кабай. Выяснив ребячьи отношения, мы дружно носились по аулу, а годы спустя и вовсе забыли, кто Кабай, а кто – Туяк.

Со временем овражек превратился в едва заметную ложину, а стройный ряд осин и берез в годы войны вырубил на дрова.

В ауле было три колодца. Один – между сельмагом и школой, на пограничье Кабай-Туяк, с высоким срубом, с лебедкой. Второй – на отшибе, возле кладбища, со скрипучим журавлем, с приятной мягкой водой. Третий находился через дорогу от нашего дома, с воротом, шатким навесом, с тяжелой ржавой цепью. Вода с нем была солоноватой, жесткой. Но ничего... привыкли, пользовались. Уж больно удобное было место. Здесь же поили скот из большой потресканной деревянной колоды. Одна морока с этим колодцем: аульные хатуны в нем без конца роняли ведра. Бог знает, почему так получалось. Поговаривали даже, что на дне колодца притаилась нечистая сила, некий джин-шайтан, который от скуки творит втихомолку разные козни.

Аульчане приходили к отцу.

– Ойбай, Белгір, беда. Помоги! Уже семь дворов обронили ведра.

– Ну, першыл, придумай что-нибудь.

А что придумывать? Во всем ауле кошка – кованый крюк-трезубец имелся у моего отца. Но и кошкой надо уметь обращаться. Попробуй изловчиться и подцепить ведра, лежащие вповалку на самом дне. Сноровка нужна.

У отца есть все: и кошка, и веревка, и длинный шест с железным крюком, и – главное – умение. Работает отец артистически. Когда он начинает орудовать кошкой, осторожно, на ощупь, водить ею по дну колодца, на зрелище это сбегаются и дети, и хатуны. Отец долго крутит конец веревки, то отпуская, то подтягивая ее, прислушивается к глубинному всплеску, колдует. Публика, затаив дыхание, наблюдает за каждым его движением. Я стою в толпе и испытываю гордость за своего отца.

Наконец, отец медленно наматывает веревку на локоть, подтягивает ведро к краю сруба, стараясь, чтобы не задело выступ и не сорвалось с крючка, подцепляет ведро багром и вытаскивает его на свет божий.

– Мое, мое! – радостно восклицает дородная Балшекер.

– Точно? – строго вопрошает отец.

– Ия, ия... Менікі!

– Бери. И больше не роняй. С тебя магарыч!

– Болады, Белгір, болады!

Отец снова опускает грузную кошку. И через некоторое время извлекает из сумрачной глубины второе ведро.

– О! – бросается к нему молодуха Кульшара.

– Твое?

– Мое, мое! Все знают. И даже не помялось.

– И с тебя магарыч!

Публика приходит в возбуждение. Улов удачен. Детвора ликует.

– Еще! Еще!

Семь ведер достал отец. Публика в восторге. Разве не событие в ауле?!

– Ай. Белгір!

– Көп жаса!

– Пусть твоя жена разродится сыном!

Отец продолжает водить арканом туда-сюда. На дне колодца, в самом углу, наверняка что-то еще есть, но кошка никак не может уцепиться.

– Тихо!

Отец медленно, почти не дыша, подтягивает что-то громоздкое. Слышен плеск воды. Наконец, у самого сруба показалось нечто черное, бесформенное, сплюснутое.

– Кауға, кауға! – вопит малышня.

Отец низко склонился, дотянулся рукой до кауги – кожаного ведра с сыромятной петлей вместо ручки.

– Ойбай, это же кауга Сеит-ходжи!

– Да, да она самая! Он ее еще три года назад уронил.

А к кауге сбоку каким-то чудом прицепилось ушком помятое, закоптелое ведерко-топатай.

– Надо же!

– Вот так находка-олжа!

– Это грязнуля Магриба уронила.

– Все! – объявил отец. – Концерт окончен. Больше не роняйте.

Долго обсуждали на все лады это событие в ауле.

С годами воды в этом колодце становилось все меньше и меньше. Да и та оказалась мутной, с неприятным запахом и не в меру соленой.

– Надо чистить колодец, – озабоченно говорил отец.

Но как? И кто будет чистить? Ответа не было. За дело принялся отец. Сплел веревочную стремянку, вооружился лопатой, мотыгой, ломом, фонариком, обвязался за офицерский пояс ремнями, спустился в темную глубину. Время от времени доносился его гулкий голос:

– Майна!

– Вира!

Четверо жилистых старшекласников-интернатовцев за полдня достали из колодца двести ведер мокрого, вязкого, черного, как вакса, грунта. Отец подкопал-углубил дно более чем на метр, добрался до песчаного слоя, вывернул пару валунов, наткнулся на жилу-родник и, крихтя, выбрался-вылез весь мокрый, измазюканный, осунувшийся, на себя не похожий. Вода хлупала в его

обшарпанных кирзовых сапогах, стекала с брезентового плаща, с шапки, завязанной у подбородка тесемками.

Вокруг загалдели:

– Ой, Алла!

– Астафиралла!

– Апырай, это наш Белгір или водяной?

– Дьявол! Страха не знает!

Колодец ожил. Вновь стал полноводным. Ведра наполнялись мгновенно. Лебедка весело поскрипывала; цепь бойко лязгала. Аульчане повалили к очищенному колодцу. Жаль: вода по-прежнему оказалась жесткой, соленоватой.

– Ну, это уже не в моей воле, – отвечал отец.

Несколько лет колодец в ауле называли именем отца.

...В день шестидесятилетия я посетил родной аул, в котором не был четверть века. В отчем – осевшем, почерневшем, деревянном – доме аульчане устроили для меня юбилейный дастархан. Земляки, помнившие отца, щедро обласкали меня. Я был счастлив, тронут до слез. Но аул свой не узнал и того колодца не увидел. На том месте соорудили сцену, с которой мне как почетному гражданину села было поручено местной властью вручать передовым труженикам осенней страды грамоты и ценные призы.

ОРКЕСТР

Мало было у моего отца, заведующего фельдшерско-акушерским пунктом в радиусе семи аулов, забот и хлопот, надумал он еще создать школьный струнный оркестр. Должно быть, после моего отъезда в институт он разочаровался в домашнем оркестре. С юных лет отец играл на любительском уровне на мандолине, скрипке, гитаре, балалайке, позже настойчиво приучал играть на этих инструментах и своих детей. От меня еще был какой-то толк: я прилично играл на мандолине, аккордеоне, мог аккомпанировать на балалайке. Мама в какой-то мере овладела гитарой, освоила несколько аккордов и напевала под перебор струн старинные немецкие песни. Особенно задушевно получались у нее. «Du hast Diamanten und Perlen» и «Du, du liegst mir im Herzen». Сестер моих и маленькую мою дочь отец тоже упорно учил сызмальства держать такт, играть на балалайке и домре-пикколо. Правда, особого усердия и умения они так и не проявили. Отец солировал на скрипке, отбивал ногой заданный ритм, всем корпусом подсказывал переход тональности при аккомпанементе, но необходимого лада и склада в нашем домашнем оркестре не обнаруживалось.

Отца это удручало. Как же так?! Там, на Волге, в немецких селах, успешно музицировали почти все от мала до велика – непременно играли либо в струнных, либо в духовых оркестрах. Самые бестолковые могли на худой конец четко отбивать такт на деревянных ложках, кастаньетах или барабанах. Ритм чувствовали почти все, а уж пели в три голоса запросто. А тут, в Казахстане, медведь вдруг разом всем на ухо наступил. «Не та среда», – горестно констатировал отец. Кто знает...

Отец не мог с этим смириться. Он был убежден: усердием и прилежанием всего можно добиться. Каждый человек должен на чем-то играть, хотя бы на губной гармошке. Преображался, оттаивал отец душой, когда на огонек заглядывали к нам братья-кузнецы Иоганн и Антон Энгели. Им были подвластны не только кузнечные инструменты, но и музыкальные. Да и репертуар у них был такой же, как у отца – вальсы, польки, марши, немецкие песни.

Впятером мы нередко играли на школьной сцене, и аульчане искренне радовались, поддерживали нас:

– Уай, маладес!

– Дают немцы!

– Эх, если бы еще на домбре играли!

Энгели вскоре перебрались в другое село. Антон стал знатным комбайнером, рационализатором, Героем труда. Я уехал на учебу. Маме стало не до музицирования: подрастали дочери, прибавилось хлопот по дому и медпункту. И отец решил организовать школьный оркестр.

Поразительно: школьное и аульное начальство горячо поддержало намерение отца. Раздобыли даже какие-то деньги, и отец обрел в районе и области несколько мандолин, пару-тройку скрипок, разных размеров балалаек, барабан, бубенцы, кастаньеты, сам смастерил цимбалу. Отобрал по своему выбору двадцать учащихся шестых-седьмых классов и трижды в неделю по два часа проводил репетиции. Поначалу аульные оркестранты играли кто в лес, кто по дрова. Мугаллим Жылгельды усмехался: «Э, Карл-ага, легче обезьян дрессировать в зоопарке». Действительно, каждый норовил солировать. Никто никого не слушал и не слышал. Всего труднее было научить новоиспеченных оркестрантов такту, ритму, слаженности, слуху. Но отец был терпелив, да и ребята старались. Через полгода школьный струнный оркестр прилично исполнял вальсы «Над волнами» и «Дунайские волны», марш «Кузнецы» и польку «Теренсай» отцовского сочинения.

С этим репертуаром отец со своим оркестром выехал в районный центр на смотр художественной самодеятельности и по рассказам-воспоминаниям земляков произвел фурор. Мугаллим-конференсье Жылгельды Муканов, искусный шешен-златоуст, играя голосом, торжественно объявлял:

— Вы-сту-па-ет... струнный оркестр-р-р... Ленинской ка-зах-ской средней школы... под руководством отличника здравоохранения ЭсЭсЭсЭр и... отличника народного просвещения Казахской ЭсЭсЭр... фельдшера-акушера... Карла Фридриховича Бельгера-а!

Зал, рассказывали мне, приходил в волнение, начинал неистово хлопать. Шутка ли?! Струнный оркестр из аульной школы! Где это видано? Ну-у, трио домбристов куда ни шло. А тут оркестр! Интересно. Любопытно.

На сцену, не спеша, вышли гитаристы, балалаечники, скрипачи, мандолинщики, расселись по местам, оглянулись в ожидании чего-то. Сплошь черноволосые, черноглазенькие, трогательно милые. Потом, выдержав паузу, вышла девочка-крохотуля с бубенчиками, колокольчиками, очень серьезная, сосредоточенная, в белых бантиках, в длинном расшитом платье и опустилась на маленькую табуретку впереди всех.

Зал всколыхнулся, загудел, захлопал. Потом аплодисменты смолкли и вышел на сцену широкими шагами долговязый, сухопарый, длинноносый руководитель оркестра. Он напряженно замер перед музыкантами, взмахнул смычком, приладил скрипку к подбородку, произнес негромко: «три-четыре!», и оркестр — о, чудо! — слаженно вступил в «Дунайские волны». Барабанщик в заднем ряду четко, размеренно отбивал ритм, колокольчики заливались к месту, мандолинщики тонко-дробно тремолировали, гитаристы точно и вовремя задергали басовые струны, скрипки выпевали мелодию, балалайки дребезгливо вторили.

Такого в районном центре доселе никто не слыхивал, не видывал.

Оркестранты, довольные, переждали шквал аплодисментов, восторженные выкрики, и тут на сцену

вышел эффектный конферансье и звучным, раскатистым баритоном объявил:

– Полька! «Теренсай»! Музыка Карла Бельгера-а!

Руководитель, топнув ногой, взмахнул смычком, сыграл задорное вступление, и оркестр грянул вовремя, в такт.

– Оп-па! Оп-па! – подзадоривал в сторонке музыкантов темпераментный конферансье Жылгельды.

Оркестр превзошел себя. Кто-то из мандолинщиков, войдя в азарт, сбился было с такта, забежал вперед, но руководитель, заиграв громче и бойчее, грозно сверкнув глазами, осадил торопыгу вовремя. Полька всех возбудила, а барабанщик орудовал колотушками с таким рвением, что, казалось, вот-вот сам пустится в пляс.

– Браво!

– Бис! – взорвался зал.

И раскрасневшийся руководитель вновь взмахнул смычком, крикнул, как на репетиции: «Три-четыре!», и оркестр повторил игривую польку с начала до конца.

...Мудрено ли, что школьный оркестр моего отца занял тогда первое место по району и получил право выступить на областном смотре художественной самодеятельности. Об успехе оркестра писали в районной и областной газетах. Вырезки из них отец прислал мне в Алма-Ату.

Со временем коллектив распался, костяк музыкантов, окончив школу, разъехался, и тот оркестр остался лишь в памяти аульчан и в истории школы.

«ТЫ ВОВУ ПОЗДРАВИЛ?»

Дел неспорно. Голова кругом.
Звонок из Ташкента. Голос отца. Взволнован.
Взбудоражен.

— Т-та-ак. Письмо мое получил?

— Получил. Спасибо.

— Я писал про нашу новость. Почему молчишь?

Лихорадочно соображаю. О какой новости речь?
Родители здоровы. Сестры при деле. Племянники в
здрави. Все вроде тип-топ.

— Ну и? — строго вопрошает отец.

— Что-то не понимаю.

— Не понимаешь? Вовку в пионеры приняли. Ты его
поздравил?

О, господи! А я-то думал, гадал. Действительно, в том
письме отец взволнованно описал, как он был в школе, на
торжественной линейке, как Вовка вступил в пионеры,
как под барабанную дробь его хлипкую шею повязали
красным галстуком, как его дед-коммунист от имени
партийной организации Байсунской махалли выступил
перед юными пионерами, вспоминал свое детство в
селе Мангейм Гнаденфлюрского кантона, какой это
важный, ответственный момент в становлении юного
поколения, какой был Вова нарядный, отутюженный, в
черной тройке и белой рубашке, какой это был праздник,
запоминающийся, конечно же, на всю жизнь. Крупным,
корявым почерком это событие было описано во всех
красках на четырех страницах «амбарной» книги.

Вова Тимченко — мой племянник, сын младшей моей
сестры. И я, его дядя, писатель, в ту пору член КПСС,
по искреннему разумению отца, должен был племянша-
пионера непременно поздравить с этим событием
или письмом, или телеграммой, ибо я в первую

голову ответствен за политическое и гражданское становление своих родных, двоюродных и троюродных племянников. Иначе грош цена всей моей писанине и общественной деятельности. Как так можно – не поздравить племянника со вступлением его в пионеры?! Неужели я забыл:

Как повяжешь галстук,
Береги его.
Он ведь с нашим знаменем
Цвета одного.

Нет, такого отец от меня не ожидал. Вот он и наставляет меня на путь истины.

Я отложил все свои дела, отправился на почту, отбил новоиспеченному пионеру Вове Тимченко поздравительную телеграмму и написал еще письмо с подобающими такому случаю словами. Помню, восклицательных знаков в том письме было много.

В следующем своем письме отец подчеркнул:

– Все получили. Все правильно. Все как положено. Интересно, помнит ли верзилистый лысеющий детина, капитан милиции Владимир Борисович Тимченко, живущий ныне в Воронежской области, о том, как он поступал в пионеры и какие высокие гражданские чувства при этом испытывал его идейный дед?

СКОЛЬКО ЖЕ В ТАШКЕНТЕ БЕЛЬГЕРОВ?

После завтрака мы с отцом заспешили в центр Ташкента.
— Кани, кани, келинг, — по-узбекски поторапливал меня отец.

— Хазир, хазир, ота, Карл-бобо, — в лад ему ответил я.

Есть в Ташкенте такое шумное, бойкое местечко, именуемое Сквером. Там, рядом с парком, находится партком Хамзинского района, в котором отец возглавляет комиссию ветеранов.

Дел, насколько я понимаю, в этой комиссии не так уж и много, но отец относится к своим обязанностям с большой ответственностью. Иногда мне кажется, что вся работа ветеранской комиссии всецело зависит от моего отца. Ну а я уже несколько дней слоняюсь по ташкентским музеям.

Ташкент — уникальный город. Древность и современность в нем причудливо переплелись и притягивают взор. Только ходи и любуйся.

У Сквера мы вышли из раздрызганного скрипучего автобуса-коробочки, простились и разошлись по разным дорогам.

В обед, спасаясь от немилосердной жары и духоты, я походил по прохладному уютному парку. И тут неожиданно столкнулся с отцом. Обтирая рот носовым платком, он выходил из углового крохотного кафе-стекляшки.

Увидев меня, обрадовался.

— В этом кафе подают дивные манты. Да и чай хорош, — сообщил мне отец.

— Хм-м... А дела свои закончил?

— Lieber Gott, разве дела закончишь? Спешу!

– Ладно. Я тогда загляну еще в исторический музей поблизости.

Расстались.

Вечером, на исходе рабочего дня, я подался к стоянке пятого автобуса. Народу – что льдины в половодье. Автобуса все нет и нет. А солнце по-прежнему яростно печет. Но ташкентцы, кажется, его и не замечают. Галдят как на базаре. И на всех наречиях. Русские, узбеки, татары, евреи, уйгуры, дунгане, армяне, китайцы. Боже, кого только нет! В глазах рябит, в ушах звенит.

– Herold! Ich bin da! Герольд, я здесь, – слышу знакомый голос.

Смотрю: легкий, поджарый, порывистый мой отец, Карл-бобо, ловко прибивается ко мне сквозь разноголосую толпу. Мы радостно улыбаемся друг другу, будто давно не виделись. Знаю: теперь отец одним из первых проникнет в автобус, затащит и меня и даже место займет.

На все той же раздрыганной пыльной развалюхе-коробочке в тесноте и давке, потные, помятые, измочаленные, еле-еле добрались до Шумиловского городка. Отсюда до нашей махалли рукой подать.

– Nog mal! Слушай! – говорит по дороге отец. – Должно быть, Бельгеров в Ташкенте немало...

– Как это?

– Видишь ли, в один день я сам встретил аж трех Бельгеров. Одного утром на остановке, другого в обед в парке, а третьего – вечером в нашей махалле. Поразительно!

– Да, да, – поддержал я отца. – И я за один лишь день столкнулся с тремя стариками-немцами. Самое удивительное – все трое Бельгеры.

– Майн Гот! Выходит, за один день мы встретили шестерых Бельгеров?! Сколько же их в этом городе?! Вундербар!

И мы оба от души расхохотались.

ПРАДОМ

Это напасть какая-то, наваждение. Химера. Некая непреходящая тоска. Она меня прямо-таки преследует. С годами все явственней.

Я даже не знаю, как ее назвать. Недавно осенило: тоска по прадому. У каждого живущего на земле, наверное, есть (или должен быть) прадом.

Звонит племянница из Ташкента и сообщает горькую весть: все, решено, нет больше мочи, работы нет, перспективы никакой, жить становится нелегко, продают забесценком дом, усадьбу, бросают родительские могилы, могилы бельгерского клана и уезжают, уезжают, уезжают, едва ли не бегством спасаясь, в Россию.

А дом, усадьба на Байсунской, 59 в Ташкенте, многократно описанные мною, — это последнее пристанище, светлая обитель, душевная опора, для меня неугасимые очаг и память моих родителей.

И я бессилён что-либо предпринять и противостоять неминуемой катастрофе.

И горестные думы накатываются на мое израненное сердце.

Где мой прадом?

Где та святыня, неизбывная отрада, согревавшая мою душу на моем немалом пути, на ухабистой моей дороге?

Alles ist hin. Все пропало, сгинуло, рухнуло, исчезло, растворилось, истаяло во мраке забвения.

Да-а... род приходит, род уходит... Волна покрывает волну. И жизнь, вечно обновляясь, умирает, угасает в водовороте бытия.

Так где же мои истоки? Где мой прадом?

Неведомо мне, как жили, в каких домах избивали свою жизнь мои далекие гессенские предки. Чую, не от хорошей жизни мой пращур Андреас Бельгер

с женой Луизой и двумя детьми подался из германского княжества в дикие, запущенные края Поволжья по зову русской кайзерин Екатерины Великой. Чую, очень несладко жилось его потомкам в суховейных, безжизненных степях необъятной Руссланд. Дико бедствовали на необжитом месте, уповая на немецкие прилежность, трудолюбие и терпение, незадачливые Бельгеры в дорфах-селениях Кинд и Мангейм на Волге. Это я знаю, чувствую, ясно представляю, помню по генетической памяти.

И я живо вспоминаю просторный бабушкин дом и усадьбу в селе Мангейм Гнаденфлюрского кантона на Волге в канун войны с фашистской Германией. Помню и дом, и летнюю пристройку, и пустовавший хлев, и разные хозяйственные строеньица – курятник, овечий загон, крытый погреб и подворье, и палисадник, и сеновал, и скрипучие ворота и калитку, и чахлый пустырь за почерневшим от времени элтернхаус.

Допускаю, что для моего отца, для моих дядьев и двоюродных братьев и сестер, погибших в большинстве в годы лихолетья в трудармии, на лесоповале, в шахтах, на стройках, в ссылке, бабушкин дом и был тем самым прадомом, который я изредка посещаю в своих тревожных снах. Помню, как тяжело умирала сухопарая, строгая, аскетичная бабушка Элизабет в возрасте 70 лет; помню похороны в подворье, где собралась вся деревня; помню холмик в открытой степи, вокруг которого в сырой, стылый день стоял и я, шестилетний, с пригорюнившимися родителями.

А потом... уже через несколько месяцев все пошло прахом. И очутились мы в глухом, кизяком и овчиной пропахшем казахском ауле в Северном Казахстане. И там, уже после войны, когда высочайшим указом было объявлено, что советские немцы высланы навечно и путь на малую родину им заказан навсегда, отец построил – с благословения казахов – новый деревянный дом, прочным и основательным на загляденье.

Вот этот дом снится мне часто. Родители покинули его в 1971 году, перебравшись по обстоятельствам к трем дочерям в Ташкент.

Когда мне исполнилось 60 лет, я посетил родной аул,

и земляки для меня освободили родительский дом, в котором я провел свой юбилей. О, это были счастливые мгновения моей жизни! Душа моя ликovala. Древние старики и старухи, помнившие меня пацаном, изумленно цокали языками: «Апырай, неужто и нашему Гере стукнуло шестьдесят лет!» И дом был рад нашей встрече. Все было знакомо, все памятно, вплоть до зарубок на косяке, которыми отец обозначал годовой рост своих чад.

Увидев свой дом и аульчан, записанных на кассету, отец мой не смог сдержать слезы умиления, радости и печали.

Ныне и этот дом разрушен до основания. Остались лишь разросшиеся деревья, некогда посаженные отцом.

Теперь настал черед тотальной разрухи и последнему родительскому дому в Ташкенте в Байсунском тупике. Этот дом был светлой и счастливой обителью многолюдного клана Бельгеров со всеми его побочными ответвлениями. Здесь более тридцати лет жили, росли, радовались жизни, учились и работали, множились, собирались за сдвинутыми столами во дворе под виноградником и могучей орешинной не один десяток разноплеменного люда, объединенного волей, радушием и теплотой моих родителей – Карла Фридриховича и Анны Давыдовны.

Увы, счастье нигде долго не задерживается. Оно незаметно уходит, оставляя место печали и скорби, разрухе и тлену. Захирел наш счастливый семейный островок. Рано покинула белый свет самая младшая сестра Роза, потом ушла мама... Сестра Альма и кое-кто из племянников подались в вожделенную Германию, еще кое-какая родня предпочла Россию; ушел, так и не дожив до ста лет, как запрограммировал себя, отец, все чаще вздыхая: «Ach, Kinder, Kinder!», вслед в горе и тоске вмиг угасла и сестра Эльма, меня одолели злые хвори, дочку – заботы и нелады в бестолковой Москве, дальняя родня растворилась в благополучном Deutschland, родительский дом и усадьбу охраняла-берегла по мере сил и возможности несколько лет племянница с семьей, теперь вот и она надломилась,

решила испытать счастье в российской глубинке. Байсунский тупик в Ташкенте обернулся тупиком всех надежд и чаяний. Завершился некий таинственный круг бытия. Сказано: все было прахом, будет прахом. Зарос травой забвения родительский очаг, след отца-матери на земле.

«Дервиш, где дом твой?.. – вопрошает мой таджикский собрат Тимур – Иль ты вечный цыган-кочевник?..

А разве не больно бездомному на земле?..

Дервиш улыбнулся:

– А где дом у ветра? У звезды? У облака?»

Красиво. Мудро. Но меня это не утешает. Память тоскует по прадоху, затерявшемуся во Вселенной. Во сне я часто бываю в тех домах, где, видно, мается в одиночестве моя неприкаянная душа.

Разбрелись по белу свету потомки моих родителей, и большинство их, несчастных, ничего уже не помнит. Они, кажется, обременены лишь повседневными житейскими заботами. И то, о чем я здесь пишу, для них, скорее всего, – химера.

А я пишу эти ностальгические строки по обыкновению лежа на диване – надежном пристанище нынешней моей дряхлеющей плоти, а душа и память неприкаянно бродят где-то, как дервиш-скиталец, в поисках иллюзорного прадома. И дьявол-искуситель мерзко похихатывает надо мной: э, бишарасорлыбаюшка, напрасно ищешь сгинувшее в тартарары Времени.

2010 г.

СУХАРИ

Ранняя весна 1942 года. Дни заметно удлинились. Снежные завалы осели. Сугробы по бокам замаслились. Бугорок за аулом, где находилось древнее кладбище, с южного склона обнажился черными проплешинами. Солнце поднялось на длину аркана и настойчиво карабкается все выше.

Убогие аульные домишки почти по крыши еще завалены снегом. Со степей веет колючий, пронизывающий ветер.

Неуютно. Неприкаянно. Одиноко. Голодно.

Далеко-далеко страна воюет с проклятым Китляром. Аул нередко оглашает истошный женский плач. «Поштабай» Нуркан доставляет из райцентра Марьевки «кара қағаз» – черную весть о земляках-азаматах, павших на ратном поле смертью храбрых.

Все больше моих аульных дружков безотцовщиной мыкают горе. И они, замечаю, косо поглядывают на меня, оттого что я, неміс-бала, расту благополучно с отцом-матерью в просторном деревянном доме при медпункте.

Однажды папа вернулся из Марьевки мрачным, подавленным. Щеки запали, нос заострился. Я сразу почувствовал неладное. На следующий день и мама ходила заплаканная, растерянная. Затихла и сестренка, только-только начинавшая лопотать. Мама, тихо плача, весь день усердно крутила ручную мельницу – жернов на камне-подставе. Из ячменя, пшеницы и овса стряпала хлебцы и сушила их на противне в пузатой русской печке, занимавшей полкомнатушки.

Чуяло мое сердце: не к добру.

Папа молчал. Пропадал в медпункте.

Мама не сдержалась, шепнула мне:

– Папу забирают.

- Куда?
- В трудовую.
- На войну? – восторженно я.

Я ведь знал: папа семь лет служил в рабоче-крестьянской армии. Он парашютист. Ворошиловский стрелок. Лейтенант медицинской службы. У него ГТО первой степени. Уж он-то задаст фашистам перцу. Будет мне что сказать моим друзьям-тамырам.

Мама не ответила.

– А мы как?

– Мы, может, переедем к тете Гильде.

Я, глупец, обрадовался. Вот здорово! Гильду-танте я очень люблю. Она всегда шутит, смешит. Еще на Волге, в Зигельберге, я с мангеймовскими духовниками-музыкантами был на ее свадьбе. Теперь она живет в селе Куприяновка, в нашем же районе, в пятидесяти километрах от Марьевки. Ее мужа, моего онкеля Сашу, тоже забрали на лесоповал в Сибирь. У тети Гильды две дочки – Сельма и Альма. Вместе нам будет веселее.

Я живо представил, как сообщу свою новость Аскеру, Салиму, Темешу. «Коке моего забирают на фронт. И я уезжаю». «Куда?!» «Далеко». «Насовсем?» «Да». И все мои дружки пригорюнятся и позавидуют.

– Дурачок! – сказала мама.

Почему? Неужели я что-то не понимаю?

На следующее утро возле медпункта остановился аулсоветский заморенный мерин, запряженный в саникошевку. На передке, согнувшись в три погибели, в облезлой жеребячьей дохе, сидел подслеповатый сторож магазина Тайшик. Вокруг толпилось несколько стариков аульчан и соседка Балкумис. Папа, высокий, поджарый, в буденовке, в шинели, перехваченной в поясе кожаным ремнем с медной, со звездой, бляхой, в ладных командирских сапогах, с тугим рюкзаком за плечами, обняв маму, что-то ей говорил (я только расслышал: «Аня! Аня!»), расцеловал спящую Эльму, потом крепко прижал меня к себе. Было ужасно грустно, и я еле сдерживал слезы. Я впервые прощаюсь с папой и впервые осознал, что нам без него будет худо. Вчерашняя радость по поводу возможного переезда к

тете Гульде в Куприяновку мгновенно улетучилась.

– Ты теперь опора в семье. Слушайся маму, – сказал папа, и я заметил, что голос его дрогнул, кадык на тонкой шее дернулся вверх- вниз и белесые ресницы затрепетали. У меня замерло сердце.

Мы с мамой вышли провожать папу.

– Доброго пути, першыл! – напутствовали его старики.

– Пусть тебя поддержит аллах!

– Скорее вернись.

– Вот укройся моим тулупом, – прогудел в сивую бороду великан Жайлаубай. – Передашь назад с Тайшиком.

Папа порывисто обнял бородача с суковатым посохом, плюхнулся в кошевку.

– Bleib gesund, Anja! – сказал папа. – Береги детей.

Мама будто помертвела, стиснула зубы, побледнела, черные, чуть раскосые глаза заблестели.

– Аман бол, першыл! Марджу твою и детей в беде не оставим. Присмотрим.

Тайшик дернул вожжами. Дремливый мерин нехотя перебирал ногами. Кошевка завернула за угол.

Мы с мамой вернулись в сразу осиротевший, непротопленный дом.

Ни о чем говорить мы не могли. Да и не хотелось.

День тянулся бесконечно. Холодный и ветреный.

Встречаться с друзьями-тамырами тоже расхотелось.

И похвастаться перед ними о предстоящем переезде в Куприяновку не было желания.

Тайшик вернулся через день. Передал Жайлаубаю тулуп, а маме – записку, написанную чернильным карандашом по-немецки.

Мешая русские и казахские слова, Тайшик кое-как объяснил, что першыл (фельдшер) «аман-сау» (жив-здоров), доехал до аулов Кенес и Орнек, а дальше его повезет местный шабарман-возница до Явленки – райцентра Ленинского района. Оттуда его как мобилизованного районным комиссариатом доставят в область – в Кызыл-жар. Э-э... через две-три ночевки окажется на месте.

- Топка есть? – спросил Тайшик.
- Есть. До лета хватит, – ответила мама.
- Нет – так гауари. Достану.

В записке, написанной крупным корявым почерком папы наспех, заключалась и для меня задачка. Папа писал: мама насушила мне в дорогу шестьдесят пять сухарей. В день я сгрызаю пять-шесть. На сколько дней мне их хватит? Посчитай. Вернусь – спрошу.

Задачка оказалась для меня непосильной. Я только недавно научился считать по-русски и по-немецки до ста. По-казахски добрался до сорока, но слова кырық – как ни старался – выговорить не мог. Почему-то получалось «хырх» или «хирх». Тамыры мои умирали со смеху. Шестьдесят пять сухарей мне показалось очень много. Ну, и на сколько дней их хватит? Делить и умножать я не умел. Я только прибавлял и вычитал. Задачка не давала мне покоя. И я находился в постоянном удрученном состоянии. Вот придет папа и спросит: «Ну, на сколько дней хватило мне маминых сухарей?» А у меня нет ответа. Какой ужас! Какой срам! Лучше провалиться сквозь землю, чем не выполнить поручение папы.

Дни тянулись мучительно. Мама меня на улицу почти не пускала, а дома я не находил себе места. Нянчил сестренку, крутил постылый мельничный жернов, рисовал единственным красным карандашом, следил за огнем в печке, слонялся по углам, смотрел в окна.

Потом записки от папы пришли из Явленки, из Петропавловска, папа утешал, слал приветы, одобрял-подбадривал, а у меня из головы не выходила задачка про сухари. Сухари снились мне длинными ночами.

Я принялся считать так: шестьдесят пять минус пять – один день; шестьдесят минус шесть – два дня; пятьдесят четыре минус пять – три дня; сорок девять минус шесть – четыре дня.

Но так до конца и не сосчитал. Запутался.

Обратился к маме.

– Ой, не спрашивай! Лучше, если бы рюкзак был полон сухарями. Да яйцами. Да шматком сала. Да где возьмешь?

Кое-как растолковал свою незадачу своим тамырам-корешам.

– Сухари не нэрсе? – спросили они.

Объяснить вразумительно я не смог.

– Нан, – осенило меня.

– Какой нан? – спросили мои тамыры. – Русская бөлке (булка)? Или баурсак? Или тоқаш? Или таба-нан?

– Кишкентай нан, – пояснил я и на всякий случай добавил, – лепешка.

– Э?! – воскликнули дружки. – Шестьдесят пять лепешек? Ничего себе!

Тогда курсак твоего коке не пропадет. Мне апа за день дает отсилу пол-лепешки и миску айрана. А тут пять-шесть! Ойдойт! Ешь – не хочу!

Восторг моих дружков я разделить не мог. Видно, сухари – не совсем лепешка. Да и не совсем нан.

А мама права: еду брать неоткуда. Дочери Касыма, Кульшара и Кульбара, приносили нам ежедневно по котелку цельного молока. Бригадир давал банку обраты. Баскарма выписал полпуда ячменя. Братья Сейтходжа и Кали как-то передали кус вяленой говядины. Мама обменяла кофточку и юбку из Энгельса на какие-то аульные харчи.

– Если папа через месяц-другой не вернется, пойду работать в колхоз, – сказала мне мама. – Ты уже большой, за домом и Эльмой присмотришь.

Я и сам чувствовал, что уже большой. Осенью собирался в школу. Пусть в казахскую. Что делать, если ближайшая русская школа находится в двадцати пяти километрах?

Еще одно письмо от папы вскоре пришло из Петропавловска. Он писал, что жив, здоров, работает пока чернорабочим на военном заводе, но обещали назначить помощником врача. Трудармейцев-немцев свезли со всей области несколько сот человек. Среди них есть и знакомые волжане. Многие очень плохо говорят по-русски, а руководство запрещает обращаться по-немецки. Трудармейцев бригадами-колоннами отправляют поездом в Красноярск, Краснотурьинск, Челябинск, Нижний Тагил. Но он,

папа, еще не окончательно прошел комиссию. И, главное, за него активно ходатайствуют якобы райздравотдел и особенно – главврач района Яковчук, хирург Лебедева и аптекарь Бронштейн.

О сухарях папа больше не упоминал, и я с облегчением догадался, что он давно их все съел, а коли так, надо полагать, мне уже не стоит ломать голову о том, насколько хватит того, чего уже и в помине нет.

Жутко исхудавший и оттого даже немного на себя не похожий папа вернулся через месяц. Медкомиссия обнаружила какие-то нелады со здоровьем, а райздрав и райком все-таки настояли на своем: медработников в аулах катастрофически не хватало.

Первые дни после возвращения папы я еще робел. Вдруг он вспомнит о задачке про сухари, а мне и сказать нечего.

Обошлось.

О сухарях папа, видно, напрочь забыл. Слишком много других забот и хлопот обрушилось на его голову.

А до окончания войны папе еще шесть раз присылали повестку в трудармию, но каждый раз добрые люди в аулах и районном центре добивались ему отсрочки.

Несказанно повезло мне. Как бы сложилась у меня судьба без папы – и представить себе не могу.

Ныне прошло ровно семьдесят лет с того весеннего слякотного дня в приунывшем нашем ауле перед бурным половодьем Есиля, а папины сухари той поры и поныне в моей памяти.

15 августа 2012 г.

«В ПУТЬ ЖУРАВЛЕЙ ПРОВОЖАЮ ОДИН Я...»

Рассказ-быль

Слух о том, что в нашем доме при медпункте остановилась откуда ни возьмись труппа гастролеров, мигом облетела наш захудалый аул на берегу Есиля. Стояло голодное лето сорок шестого или сорок седьмого года прошлого, понятно, века.

На всех углах-закоулках гу-гу, шу-шу. В забытых богом и людьми аулах тех лет редко что случалось. И вдруг такое событие!

– Эй, слышали? Артисты приехали!

– Откуда?

– Құдай біледі. Аулнай направил их к першылу.

– Да. Я видел. Крохотные такие, потешные.

– Говорят, ергежейлі.

– Что за ергежейлі?

– Лилипуты вроде, что ли...

– Национальность такая?

– Нет, племя.

– Апырай, а?!

Я тогда учился в пятом или шестом классе. Лилипутов никогда не видел и даже слова такого не знал.

– И что они потеряли в нашем ауле?

– Ойын будут показывать.

– Где?

– В школе. Где еще?

Действительно, все большие мероприятия, общие собрания, концерты и кино неизменно проходили в просторном школьном холле. Больше негде. Клуб в нашем ауле появился многие годы спустя.

Ну, а наше жилище при медпункте считалось в ауле

самым приглядным: дом не саманный – деревянный, с крыльцом, и пол деревянный, крыша покатая, дерном выложенная. Чисто, более-менее уютно. Куда еще оттправишь заезжих гостей? Да и першыл-фельдшер человек обходительный, понятливый. Немало разных странников-скитальцев перебывало в нашем доме.

Дом состоял из четырех комнат: в двух располагался фельдшерско-акушерский пункт, которым заведовал отец. Две комнатухи отводились под жилище: условно – спальня-гостевая и кухня-прихожая с громоздкой русской печью. Здесь был предназначен уголок для меня.

Когда я вошел к себе – обомлел. За шаткой, грубо сколоченной столешницей, плотно сдвинувшись, сидела и обедала ватага незнакомых, странного обличья людей: все коротконогие, короткопалые, неестественно миниатюрные, точно кукольные, с большими головами. Они ели молча, сосредоточенно. Видно, устали и проголодались с дороги. Мама выставила на стол чугунок с картошкой, два пучка зеленого лука, десяток круто сваренных яиц, каравай ржаного хлеба и чайник с солодковым чаем. Лучшего пиршества в те годы было не сыскать. Во главе стола восседал крутолобый, курчавый крепыш- коротыш в ярко-красном жилете поверх белой сорочки и с пестрой бабочкой на жилистой шее. Вот эта бабочка и заворожила меня с ходу. И еще удивило то, что коротыш обладал густым, утробным басом.

– Mein Sohn... Сын, – сказала мама. – Herold.

– О-о-о! – зарокотал коротыш. – У вас, фрау Анна, такой взрослый сын?!

Гости все разом уставились на меня и принялись шумно выражать свой восторг, роняя русские фразы с непонятным мне акцентом – не казахский и не немецкий. И между собой они щебетали на инородном языке. «Выходит, тоже пришельцы, перекаати-поле, гонимое ветром, – подумалось мне. – Может, тоже спецпереселенцы?»

Я, тщедушный, болезненный, бледнолицый подросток, сидел среди них, как замороженный гусак среди цыплят. Коротыш взял меня под обстрел: как

учусь, в каком классе, почему в казахской школе, чем увлекаюсь, почему на костылях. Я, смущаясь, отвечал, как перед строгим наставником. Держался коротыш надменно, важно, говорил раскатистым басом, пучил глаза, забавно перебирал короткими розовыми пальчиками с твердыми отполированными ноготками. Три девицы-куколки, неопределенного возраста, то и дело восклицали: «О-ля-ля!», «Как интересно!», «Прелестно!», жеманничали и уминали картошку, хрумтели лучком, мелкими глотками пили чай. Двое напарников коротыша-старшего тоже что-то мычали: «Ах, так!», «Вот как!», «Любопытно!» Кто-то из гостей пошутил: «Маугли», – и все рассмеялись. Я понял: это сказано в мой адрес, а как это следует воспринять, не уразумел.

– На аккордеоне ты играешь? – допытывался коротыш, кивнув в уголок за кроватью.

– Немного.

– А на скрипке?

– Папа.

– О-ля-ля! – заверещали девицы-куколки.

– Вот как! – одобрили напарники.

– Сыграй-ка нам! – приказал коротыш.

Видно, он был главарем-вожаком труппы, вел себя уверенно, решительно, басил отрывисто.

Я послушно уселся на табурет, развернул аккордеон, привычно пробежал пальцами по басам, взял несколько аккордов в ми- норе.

– Ах, прелесть! – дружно отозвались девицы-куколки и задрывали ножками. Одна кокетливо закатила глазки.

– Какую-нибудь немецкую песню, – подсказал коротыш.

Я сыграл «Du, du liegst mir im Herzen».

– Гут, – пробасил коротыш, пальчиками отбивая такт о край стола. – Еще!

Я сыграл «Дунайские волны».

– Молодец! – похвалил коротыш. – Еще!

Польщенный похвалой, я дерзнул, как мог, сыграть «Прощание славянки». Кажется, более-менее получилось.

– Одобряю, – пробасил коротыш. – Все эти три

вещи во время нашего представления и сыграешь. Договорились? Abgemacht?

– Ладно...

Зашел из медпункта папа. Высоченный, стройный, поджарый, он смотрелся среди гостей исполином.

– О, Карл Фридрихович! – возопила вся ватага.

По всему, папа мой им понравился еще при первом знакомстве в аулсовете.

– Ваш сын, – торжественно заявил коротыш, – нас выручил. Согласился нам подыгрывать. Наш музыкант находится на гастролях в другом месте.

– Хорошо, – дернул плечом папа. – Если его репертуар вас устроит.

– Устроит. Еще как устроит, – произнес коротыш-старшой. – Я уже примерно прикинул программу.

– Еще просьбы будут? – строго спросил папа.

Видно, аулнай – председатель аулсовета – поручил ему принять гастролеров как положено, а папа привык безропотно исполнять приказания властей.

Спецпереселенцу что остается? Не приведи бог иметь дело с комендантом из районного управления МВД.

– Что вы, что вы, любезный Карл Фридрихович! – замахал ручонками коротыш. – Какие просьбы? Большое спасибо за все!

– Спасибо, спасибо, – вразнобой подхватила ватага.

А писклявая кокетка с насурмленными бровками, с намалеванными губками добавила:

– Данке шён!

– Карл Фридрихович, – вкрадчиво пробасил коротыш, – в заключение нашего концерта мы поем одну трогательную, печальную песню-балладу, и было бы кстати, чтобы отдаленно тихо звучал – как фон, понимаете? – грустный скрипичный мотив, а? Может, согласитесь?

Папа вскинул редкие белесые брови, пошевелил длинными крупными пальцами.

– Просим, просим, – враз загалдела ватага.

А писклявая женщина вновь вставила:

– Bitte, bitte!

Скудная снедь на столе была съедена, желтоватый солодковый чай выпит.

Папа, не торопясь, достал из футляра скрипку, долго настраивал ее, наканифолил смычок, проиграл для пробы несколько пассажей.

– О-ля-ля! – завизжали девицы и захлопали в ладошки.

Папа, очень стараясь, сыграл старинный немецкий вальс, потом – игривую полечку собственного сочинения, потом – марш, потом – принялся за «Интернационал».

– Не то, – насупился коротыш. – Нам бы нужно что-то печальное, трогательное, задушевное. Для фона. Понимаете?

Папа, подумав, сыграл тягучий похоронный мотив. Мама говорила, что этот мотив исполнял деревенский духовой оркестр в день похорон Ленина.

– О, нет, нет! – замахал ручонками большеголовый коротыш. – До этого пока не дошло.

– Ну, и ладно, – жестко ответил папа и стал укладывать скрипку в футляр.

Возникла тягостная пауза. Лилипуты обескураженно переглянулись, потупили взоры.

– Все. Извините. Обеденный перерыв кончился. Меня пациенты ждут в медпункте.

Папа стремительно вышел. Я понял его так. Во-первых, он, такой рослый, с выправкой офицера рабоче-крестьянской красной армии (чем, знаю, очень гордился), плохо представил себя со скрипкой среди заезжих лилипутов. Это, действительно, смотрелось бы забавно. Во-вторых, тягучих, слезливых, заунывных, душещипательных мелодий он не жаловал. Ему были больше по душе светлые вальсы и бравурные марши, поднимающие дух угнетенных и рабов. А в-третьих, само представление этих потешных коротышек он воспринял явно настороженно. Возможно, его раздражал и излишне самоуверенный тон спесивого, басовитого старшего.

Демонстративный уход папы, видно, все же озадачил труппу. Лилипуты были растеряны. Все вдруг быстро-быстро залопотали на своем диковинном наречии.

Потом мужичок-с-ноготок гневным басом оборвал возбужденный ор.

Я подумал: откуда эти странные люди? На каком языке изъясняются? Каким ветром занесло их в наши края? О чем они думают? Какие заботы их гложат? Кто кому кем приходится? Неужели эта писклявая кокетка – супруга коротыша? А остальные кто? Чувствовалось, что они ущербные люди, что они тоже странники на этой земле, невольные скитальцы, и жить им, должно быть, очень несладко. У этих маленьких людей большое горе. Попробуй сладить с ним и выстоять в этом суровом неуютном мире. В их натужном смехе, трескучей речи, жестах, печальных взорах мерещилась мне неизбывная скорбь. Но расспрашивать их не решался. Я вообще не знал, как подобает себя с ними вести. Казалось совершенно невозможным вмешиваться в их таинственный мир.

– До представления еще четыре часа, – прогудел старшой. – Будем отдыхать. И ты, Herold, отдохни. Я потом скажу, что и в какой последовательности подыграешь нам. Договорились?

Я кивнул и удалился на родительскую половину. В назначенный час мы всей ватагой потянулись в школу. Впереди озабоченно семенил коротыш с малюсеньким чемоданчиком с нехитрым реквизитом и с папочкой под мышкой. Вид у него был строгий и важный. Чуть позади держалась, шла вперевалочку, его писклявая мадам. За ней все остальные. Завершал шествие я с аккордеоном за спиной, тяжело опираясь на костыли. Тут же пристроились к нам несколько аульных шкетов-шалопаяв, похихикивая, кривляясь и подражая развинченной походке лилипутов.

Просторный школьный холл был до самого крыльца битком набит. На представление собрался почти весь аул: школьники, учителя, интернатовцы, малышня, колхозники, старичье. Ну, как же! Ойын ведь. А на зрелище исстари стекаются и стар и млад. Так уж заведено. Ойын, как и той, для казаха – первое дело. Особенно когда во всей округе ничего не происходит. Попробуй усиди тут дома. За импровизированной

сценой находились распахнутые двери трех вместительных классов. Боковой класс отвели артистам. В двух других классах впритык к сцене расположилась вездесущая аульная малышня.

Я с трудом протиснулся к сцене, уселся на стульчик в уголке, прислонил костыли к стенке, закинул ремни-лямки аккордеона на плечи. Из углового класса вынырнул коротыш, тщательно расчесанный, напомаженный, в трико, весь какой-то плотный, как тугой войлочный мяч, шепнул мне:

– Начнем с «Прощания славянки». Играй торжественно, в маршевом темпе. Понял? Играй до тех пор, пока я не подам знак. Начали!

Я проиграл на басах зачин и бравурно прошелся по клавишам. Зрители затихли. Через несколько тактов на середину сцены выкатился, как колобок, коротыш-конферансье и, напрягая голос, ни дать ни взять Левитан, оглушил школьный холл раскатистым басом:

– На-чи-на-ем... кон-церт... артистов областной филармонии...

Аульчане яростно захлопали. Послышались-посыпались реплики на казахском:

– Вот луженая глотка! Ему бы коров пасти.

– Росточком с самовар, а орет на всю степь!

– Филармония – што такой? Артист, что ли?

– Интересно, он тоже на баб зарится?

– А как ты думаешь? Небось, как клещ вцепится. Не оторвешь!

– Ой, алла-ай... чего только не увидишь?!

Сделав паузу, властным жестом призвав всех к тишине, коротыш еще понизил голос, торжественно продекламировал какой-то патриотический стих и закончил свой спич на важной ноте:

– Да здравствует... наш великий вождь... генералиссимус... товарищ Сталин! Жасасын!

Опять со всех сторон посыпались реплики-комментарии простодушных аульчан.

– Ойпырмай, ты посмотри на него!

– Как бы не лопнул от усердия.

– Еще и по-казахски говорит.

– Кто-то научил, видать.

Зрители ладоней не жалели. Дубасили, будто из кошомных подстилок пыль выбивали. Коротыш эффектно поклонился, раскинул ручки и засеменил в боковой класс.

Оттуда подал мне знак:

– Давай! В темпе!

Я мощно нажал на басы. Что же дальше будет? Под звуки «Прощания славянки» вышла на сцену вся живописная труппа крохотных артистов. Вышли, поклонились, перегруппировались – по двое, по трое, в одиночку, гуськом – и в такт марша зашагали торжественно то вперед, то назад, то в одну сторону, то в другую, то расходясь, то сходясь, да так слаженно, энергично, зрелищно, что аульчане зацокали-защелкали в знак одобрения языками. Так в аулах никто никогда не ходил. Маленькие люди минут пять протопали по сцене мелкими, но пружинистыми шажками, двигаясь так самозабвенно, что зрители пришли в восторг.

– Ну, потеха! Міне қызық!

– Как на параде.

– И сколько они будут так вышагивать?

– Пока твоя башка не закружится.

– А Гера-то наш наяривает, будто камчой их подгоняет.

– Может, и нам пристроиться, а?

– Куда тебе, косолапому?!

– Стоп! – приказал мне коротыш, проходя мимо меня, и я перевел дыхание.

Возникла небольшая пауза. Артисты за это время успели переодеться и принялись показывать пирамиды.

Я медленно, тягуче наигрывал «Дунайские волны». Артисты демонстрировали акробатические трюки. Делали разные стойки, «мосты», поддержки, взбирались друг на дружку, вставали на руки, диковинно сплетались. Мускулистый крепыш-коротыш держал на плечах миниатюрных девиц. Одна даже встала на его массивную голову, балансируя, удерживала равновесие, опираясь одной рукой.

Вскоре акробаты покрылись потом, порозовели

лицами, задышали тяжело. Трюков было много. Дунайские волны под моими руками слабели, выдыхались. Публика была поражена. Акробатов во всех окрестных аулах не водилось.

– Эй! А этот коротыш – силач.

– Ни дать ни взять как жеребчик в косяке.

– Ты видел, как у него мужское достоинство бугрится под шта- нами?

– Бигайша небось давно это заметила.

Аульная жалмерка Бигайша зарделась, стрельнула глазами в охальника:

– Уй, бесстыжий!

– Не слабак, видишь, по части баб, – проронил, погладив усы, бригадир, угодник аульных вдов.

– Да у него только бугрится, как паховая грыжа у Сеитходжи.

– Тьфу, трепло!

Подкатил ко мне весь багровый коротыш, просипел:

– Сыграй что-нибудь громкое, бравурное. Чтобы заглушить мое дыхание. Понял?

В мою голову ничего не приходило. И я мощно заиграл «Мы – кузнецы».

Папа в конце холла победно вскинул руку. «Молодец, мол, одобряю».

«Мы – кузнецы. И дух наш молод,

Куем мы счастья ключи.

Вздымайся выше, наш тяжкий молот,

В стальную грудь сильней стучи, стучи, стучи!» –

негромко подпевал я себе, чтобы невзначай не сбиться с четкого ритма.

А трюк был действительно сложный. Коротыш напряг грудь, набычился, подбоченился, расставил ножки, сказал: «Опп!», и двое напарников мигом вскочили ему на плечи, держась за руки и отставив ножку в сторону. Коротыш еще раз прохрипел: «Опп!», и на третью ступень ловко взобрались две девицы. Аульчане замерли. Никто не шелохнулся. И вдруг, сделав сальто, по-обезьяньи вспорхнула самая

крохотная изящная лилипутка, оперлась на своих товарок ручонками и задрала ножки ввысь. Крохотная юбочка спала вниз на ее едва заметные грудки, и между белых тугих бедер блеснули розовые, узкие, как лента, трусики. Тут из холла опять посыпались вольные реплики:

– Ойбай, ана кара! Қатын ба, қыз ба? Баба или дева?

– Э, как узнаешь, не пощупав?

– Смотри! Томпайып тұр!

– Ой, ғажап! Подложить бы ее под бригадира Кабидену.

– Что ты! Он же ее раздавит!

– Так как же к ней пристроиться?

– Нешауа! Это лошадь не всякого выдержит, а баба – сдюжит.

Коротыш-старшой дышал, как загнанный мерин. Жилы на висках напряглись так, что, казалось, вот-вот лопнут. Ножки подрагивали. Грудь ходила ходуном. Я из последних сил нажимал на басы.

– Оп! – еле выдохнул коротыш.

Иакробаты, как мячик, прыгнули с него, рассыпались по сторонам, улыбаясь, сгибаясь в поклонах и разводя руками.

Номер этот, видно, восхитил моих аульчан.

– Браво! – задубасил в ладони и мой папа в конце холла.

Разгоряченные артисты шмыгнули в боковой класс. Холл продолжал комментировать зрелище на все лады.

– Славно!

– Молодцы!

– Кто бы подумал? Эй, Кали, ты смог бы так взобраться на Сеита?

– Куда ему? Он с трудом взбирается на свою Айганшу.

– Ха-ха-а-а! Ие-хе-хе! Скажешь тоже.

– А Кабиден-верзила мог бы эту крохотку-кызымку только на ладонь усадить.

– Да он ее, как пылинку, сдует.

– Или проглотит невзначай.

Зрители совсем уж развеселились-расшалились.

Все еще со свистом дыша, коротыш-конферансье объявил:

– Попурри из казахских народных песен. Исполняет Herold.

– Эй! Это еще кто такой? – слышалось из холла.

– Да Гера наш! Сын першыла.

– Ой, айналайын, давай!

Я доковылял до середины сцены, уселся на стульчик, выдержал паузу и заиграл знакомые мне мелодии – «Қамажай», «Балқадиша», «Сырымбет». Аульчанам это понравилось.

– Пәлі!

– Жаса!

– Маладес, Сары-бала!

Папа хлопал громче всех. А из бокового класса донесся гуд коротыша:

– Какую-нибудь полечку. Озорную.

Я начал зажигательную «Бабочку». Из класса выпорхнули три девицы, схватились за ручки и озорно сплясали, дрыгая голыми ножками, тряся грудками, виляя задами. Музыка их подбодрила, они с удовольствием закружились в вихре, запорхали, будто невесомые ярkokрылые существа.

– Ой, айналайындар!

– Это же гурии небесные!

– Ими бы любоваться за чашей кумыса.

– Они мертвого поднимут.

– До греха доведут. Душу щекочут.

Потом две пары, картинно откинув головы, закружились в вальсе – под старинную немецкую песню, которую часто пела мама, аккомпанируя себе на гитаре.

Du, du liegst mir im Herzen,

Du, du liegst mir im Sinn...

Концерт продолжался. Прозвучало несколько инородных песен на незнакомом языке – соло и дуэтом, в два голоса, стихи, басни и шутки на русском языке, в которых, как мне показалось, никто ничего не понял. Не вникал в суть и я – устал, был взбудоражен, ныла нога и кружилась голова.

В заключение концерта вся труппа выдала, судя по всему, свой коронный номер – в три голоса пронзительно и печально затянула надрывную, скорбную песню-балладу. Я смекнул: именно для этой песни понадобился лирический скрипичный фон. Прямо-таки напрашивались печально-заунывные вкрапления, искусные повторы, музыкальные узоры, длинные, быстрые пассажи в паузах мелодии. Ах, хотя бы бемольные тремолы на мандолине. Да и гитарные переборы были бы уместны. Вклиниться со своим аккордеоном в эту душевную песню я не решился. Чувствовал: и это можно было созвучно оформить, но моего умения явно не хватило.

Пели лилипуты самозабвенно, с душой, с дрожью в голосе. У девиц – я видел сбоку – заблестели слезы. Коротыш отдаленно гудел, будто вышивал-выделывал, плел из звуков орнаменты. Из-за трехголосья я слов не разобрал. Пели лилипуты о чем-то очень близком, сокровенном, о безвозвратно-печальном, о потере любви, счастья, об одиночестве, о некоем безмерном горе. Я так почувствовал. Это была песня-судьба, песня-боль, песня – неизбывная тоска. Запомнился мне только рефрен песни:

– В путь журавлей провожаю-ю-ю...

И как выдох, отчаяние, вопль души:

– Один я...

Это «один я...» всколыхнуло и мою душу, потрясло меня, довело до спазмов сердца. Я уронил голову на аккордеон и с трудом сдерживал слезы. Жалость пронзила все мое существо. Мне стало жалко моих родителей, очутившихся на чужбине, оторванных от всего родного, вынужденных тихо и покорно пережидать черную полосу жизни в надежде, что когда-нибудь – особенно теперь после войны – им разрешат вернуться на родину, на Волгу. Жалко стало себя, лишенного детства, больного, обреченного передвигаться на костылях. Жалко всех обездоленных и бесправных, высланных по чьей-то злой воле в захудалые казахские аулы неизвестно за какие прегрешения. Жалко аульчан, которых долгая война и неурожайные послевоенные

годы превратили в бишаринские тени, лишенные всякой радости и удовольствий. Жалко этих крохотных людей – лилипутов, прибывших к нам неведомо из каких краев и подобным образом добывающих хлеб насущный. Улетает, улетает вольный косяк журавлей, покидает родину, ищет свое счастье, свою долю, и провожают его обреченные на вечное одиночество:

– В путь журавлей провожа-а-ю-ю...

Один я.

Пронзительно-печальная песня и скорбное, как молитва, искусное, душевное пение тронули, видно, и моих аульчан. Все затихли. Завздыхали. Некоторые смахивали слезы.

– Апырай, душу переворошили.

– Все наши беды-горести напомнили.

– Это неутешный зар, вопль души. Плач.

– Ай, бедные, бедные... Ай, бишара!

...Из школы мы вернулись взволнованные, понурые.

Ни о чем говорить не хотелось. И артисты, должно быть, вымотались. Молча поели то, что мама собрала на стол: картофельное пюре, простоквашу, ржаной хлеб – и улеглись спать.

«Как же гости расположатся на ночлег в тесной комнатухе?» – подумал я. Три девицы с невероятной ловкостью залезли на русскую печь, постелив под себя рогожку и укрывшись старым, еще с Волги, облезлым пледом. Двое бесцеремонно взобрались на мой лежак и устроились валетом. А коротыш-старшой улегся на обшарпанном сундуке, завернувшись в полушубок папы.

Мама улыбнулась и сказала мне:

– Тебе я постелила на топчане в медпункте.

Ночь я провел беспокойно. Поскрипывал под мой шаткий и жесткий амбулаторный топчан, пахло лекарствами, рукомойник в углу время от времени ронял увесистые капли в ведро, за окном тяжело вздыхали коровы, перхали овцы, брехали пустолайки, некстати дурниной заорал неокрепший петушок. А перед глазами мельтешили сказочные гномики, строили рожи, бегали вперегонки, кувыркались. В ушах, как наваждение,

звучала скорбная, заунывная песня: в путь журавлей провожаю один я.

Ближе к рассвету я все же провалился в сон. И вскоре скрипнула дверь и послышался голос папы:

– Подъем, mein Sohn!

Я с трудом встал. Нестерпимо ныла больная нога. Я ополоснул лицо под рукомойником и, постукивая костылями, отправился на кухню. Артисты чинно сидели за столом и завтракали чем Бог послал: попеременно макали ржаной хлеб в сметану в миске и запивали ячменным кофе.

– О, Herold, как спалось?

– Ты вчера нас здорово выручил.

– Молодец! Очень кстати пришлось.

– Данке, фрау Анна.

– А куда с утра делся Карл Фридрихович?

Вскоре подъехал скрипучий тарантас аульного бастыка с замороженным, полуслепым аулсоветским мерином в упряжке. Артистов надо было доставить в соседние аулы.

– В путь! В путь! – пробасил коротыш. – Будь здоров, Herold!

Он наморщил лоб, сдвинул брови, достал из внутреннего кармашка жилета пухленький бумажник, порылся-покопался в нем короткими пальчиками с твердыми, тщательно отполированными ноготками, извлек среди бумажек красную тридцатку и торжественно протянул мне.

– За твои старания. Спасибо!

От неожиданности я отшатнулся было, но коротыш ловко засунул красную купюру в карман моих брюк.

Гости шустро взобрались на тарантас, и конюх Сальтай дернул вожжами.

Мы с мамой долго смотрели им вслед. В ушах звенело:

– В путь журавлей провожаю... один я.

У меня опять сердце сжалось и подкатило к горлу. Красную тридцатку я передал маме.

– Хорошо, – сказала она. – А то никак не могу

рассчитаться с налогом. По яйцам, по маслу сдала. А по шерсти сдам теперь, купив у соседей.

В те годы государственные налоги ложились на всех аульчан тяжким бременем. Лишь сдав налог, можно было малость вздохнуть. А о возвращении на родину комендант и не заикался.

30 июня – 5 июля 2012 г.

МОЙ ЗЕМЛЯК ИЗ КАРАКАСА

Пухлый, пестрый, испещренный диковинными марками и наклейками иностранный конверт долго вертел в руках. Незнакомый почерк. Незнакомый адрес. Незнакомая фамилия. Венесуэла. Каракас. Унгефуг. Кто это может быть?

У меня есть знакомые в кое-каких европейских странах, с которыми изредка переписываюсь. Но у кого из Латинской Америки до меня может быть дело?

Алессандро Унгефуг? Имя звучит по-испански. Фамилия немецкая. Вроде даже как знакомая.

Письмо написано на литературном немецком языке. Но в текст там-сям вплетены близкие мне словечки и выражения поволжских немцев. Выяснилось, что в руки автора письма из неведомого Каракаса, столицы да-а-ле-е-ко-ой Венесуэлы, каким-то образом попала издающаяся в нашем Алматы на немецком языке газета «Дойче Альгемайне Цайтунг». Рассеянно просматривая ее, взгляд его споткнулся вдруг на стоящей под статьей фамилии Бельгер. Интересно: что за Бельгер? Откуда?

Вспомнилось: еще в довоенное время в Автономной республике немцев Поволжья, в Гнаденфлюрском кантоне, в селении Мангейм проживали какие-то Бельгеры. Может, этот, в газете, их потомок?

Оказывается, писатель, да еще депутат. Любопытно... Вздволенный пенсионер из Каракаса Алессандро Унгефуг немедленно пишет в Алматы в немецкую газету письмо-запрос. Так-то и так, уважаемый герр Бельгер, если вы являетесь выходцем

из поволжского села Мангейм, то очень прошу, дайте о себе знать.

Я тотчас ответил. Да, сам-то я родился в городе Энгельсе Саратовской области, но мои родители уроженцы села Мангейм. До войны я там бывал не однажды. Я сын знакомых вам Карла Бельгера и Анны Гертер.

Боже, как обрадовался моему письму Унгефуг из Каракаса! Выяснилось, что он знает многих из моих родственников. Его призвали на службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию еще в 1940 году. Служил он на Украине, где и застала его война с фашистской Германией. Вскоре очутился в плену. Фашисты не стали разбираться, кто он – русский или фольксдойче. Отправили в концлагерь. Потом он батрачил у одного немца-богача, который называл его не иначе как «русишес швайн». Каких только унижений и оскорблений он не вынес! Никаких вестей от родных и близких, понятно, не имел. Более того, о том, что Автономную республику немцев Поволжья распустили, а немцев депортировали в Сибирь и Казахстан, что родной дом разрушен дотла, Унгефуг узнал впервые несколько лет спустя уже после войны. Неведомо было, остался ли кто в живых из многочисленной семьи Унгефугов.

Так и мыкался на чужбине хуже собаки, пока не освободили из плена американцы. Советских военнопленных тут же отправили на родину, а там они как изменники оказывались в сталинском концлагере.

– Ты кто? – спросил его американский следователь.

– Унгефуг.

– Немец, что ли?

– Да, – ответил Унгефуг, не уточняя, что он немец поволжский.

– А где родился?

– В Мангейме.

Чистая правда: в Мангейме. Но в каком? В одном только Советском Союзе Мангеймов было четыре: на Волге, под Одессой, на Кавказе и на Украине, но откуда о том было знать американскому следователю? Он знал лишь о городе Мангейме в Германии.

– А -а... Выходит, ты местный немец?

Унгефуг непроизвольно мотнул головой. Это был судьбоносный миг.

– О'кей! – сказал американец. – Иди! Ты свободен!

Таким образом, волжанин Унгефуг избежал советский концлагерь и остался в разрушенной Германии. Да и где теперь его родная сторонushка? Казахстан и Сибирь он знал лишь понаслышке, даже представить их себе не мог. А вот что депортированным соплеменникам в Советском Союзе живется не совсем сладко, представлял себе ясно. О родных он по-прежнему не имел никаких вестей.

Чем только не занимался бедный Унгефуг ради выживания!

Работал садовником, сторожем, строителем, пекарем, стрелочником, грузчиком, продавцом, официантом. Каких только мытарств не испытал! Все горести бездомного бродяги, лишённого всего на свете, сполна изведal. Наяву перебивался с хлеба на воду, надрывал тело и душу, а во сне, случалось, видел родной Мангейм, Волгу, братьев и сестер, пребывая в неизбывной тоске и унынии.

С отчаяния подался в соседнюю Голландию – не прижился. Мотался по Канаде – и там не встретил счастья-удачи. Жизнь тех лет – отравленные горем и беспросветной нуждой страницы. Без слез и вспоминать невозможно. Что долго рассказывать? По прихоти судьбы очутился однажды в Венесуэле. И там мытарился изрядно. Наконец, на какой-то фабрике подыскал себе работу. Женился на местной. И изъяснялись-то поначалу с трудом: она тараторила по-испански, он бормотал по-немецки. Пошли дети. Со временем свыкся со скудной, но шумной жизнью Каракаса.

Но тихое, милое сердцу немецкое село Мангейм на Волге не выходило из памяти. Ему было невдомек, что оно уже давно превратилось в русское село Советское. Не ведал он и о том, что его исконные жители развеяны по всем закоулкам необъятной российской империи и смешались с русскими, узбеками, казахами,

башкирами, чалдонами. Ни о каких национальных катаклизмах на территории Советского союза гражданин Венесуэлы Унгефуг и представления не имел. И вдруг – надо же! – полвека спустя всплыла перед его глазами столь знакомая фамилия Бельгер.

Унгефуг лишился днем покоя, ночью – сна. В письме ко мне он просил меня разыскать родных: вдруг хоть кто-то уцелел в лихолетье и обитает теперь в Казахстане. Я полистал старый отцовский альбом и – о, диво! – нашел поблекшую фотографию матери Унгефуга. Получив ее, венесуэльский пенсионер, разменявший восьмой десяток, разрыдался как ребенок. Потом по моей просьбе мой отец написал бывшему односельчанину обстоятельное письмо обо всем, что знал о многочисленной родне Унгефугов. Пользуясь своими депутатскими полномочиями, я довольно быстро обнаружил в нашем Павлодаре родную сестру Унгефуга. Выяснилось, что все остальные его братья и сестры погибли в годы войны: кто в ссылках, кто в Сибири, кто в Казахстане, кто в Каракалпакии, кто в трудармии. У уцелевших брата и сестры была одна мечта – встретиться-свидется. Но как? Старая, измученная болезнями Мария из Павлодара не в состоянии была добраться до брата Саши в Каракасе на краю земли. На скудной своей пенсии еле-еле сводила концы с концами с мужем-инвалидом. И престарелый, слепнувший брат не осмелился отправиться в вояж в неведомый Казахстан.

Что делать? Как быть?

Я встретился с тогдашним германским послом в Казахстане господином Бракло, поведал ему все, и он высказал мнение, что встречу брата и сестры можно, пожалуй, организовать на территории Германии. Так будет удобно обоим. Унгефуги воспряли духом. Началась активная переписка и между ними, и с разными общественными организациями. На это ушло немало времени. Между тем Мария Унгефуг похоронила мужа и перебралась с детьми и внуками в этнический «Фатерланд». А господин Бракло – надо же было так случиться! – был переведен послом

Германии в Венесуэлу. Теперь появилась возможность организовать деловую встречу Унгефуга с послом, который был в курсе всех событий.

Алессандро Унгефуг продолжал писать мне письма, называя меня «дорогим братом», «земляком», «уважаемым господином», «благодетелем». Раз или два я получал от него небольшие, аккуратно упакованные посылки-пакеты, с карандашами, ручками, стиральными резинками, линейками, кассетами, блокнотиками, расческами, баночками кофе и плитками шоколада. О Казахстане он по-прежнему ничего не знал. Полагал, что он находится где-то возле Афганистана и Пакистана, а по Алматы бродят верблюды и ишаки. Он искренне считал, что в Казахстане голод и мор, бесконечные стычки и разборки, женщины ходят в парандже, а мужчины отпускают дремучие бороды до пупа. Что тут скажешь? Такое вот представление.

И вдруг наша переписка оборвалась.

А спустя получил весточку от его сына Робертино. Письмо было написано на плохом немецком. Сын сообщал, что состояние отца ухудшилось, что хворает, совсем ослеп и беспомощен. Ни о каком дальнем пути и речи нет. К тому же жуткая инфляция «съела» все его накопления. Пенсии едва хватает на жите-бытье. Все грустит-печалится, вспоминает родное село Мангейм на Волге. И вас, господин Бельгер, часто вспоминает. Убивается: остались ли на белом свете мангеймовцы, кроме нас двоих?

Бедный, бедный земляк мой Унгефуг!

Действительно, редко кто в этом мире вспоминает ныне исчезнувшее с лица земли поволжское село Мангейм. Да, совсем-совсем немногие. Да и из них трое-четверо проживают теперь в Германии, один-двое в Канаде, мой отец в Ташкенте, да я в Алматы.

И, пожалуй, все.

Все ушло, растаяло в дымке прошлого, кануло бесследно в Лету – и далекие безмятежные дни, и тяжкие будни, и призрачные надежды, и многолюдное

немецкое село на Волге Мангейм, и даже память о нем.

Видно, не зря говорят казахи: голова человека – мяч Аллаха. Судьба играет человеком. И в сущности каждая человеческая жизнь на земле – трагедия. Назови ее как хочешь – роком, судьбой, фатумом, лживым, обманчивым миром, жребием-таланом – все равно.

Мало ли на свете одиноких, неприкаянных горемык, лишившихся по злой воле родины и в горестях и муках коротающих свой куцый век?

2000 г.

РЫЖИЙ РЫСБЕК ИЗ АУЛА КАСТЕК

Рассказ-быль

I

Большое казахское село раздольно раскинулось у подножия увалов. С одной стороны, врезаясь снежными пиками в синь неба, высилась неприступная гряда гор, с другой – простиралась, исчезая за горизонтом, однотонная по осени, выжженная степь.

Плоскокрышие убогие мазанки с крохотными оконцами во двор навевали тоску. По кривым улочкам цокали копытцами понурые ишаки, запряженные в двухколесные, высокие кокандские арбы. В глазах ишаков застыли вековечные скорбь и смирение. На пыльных проплешинах-такырах резвилась загорелая до черноты голоногая малышня в немыслимых отрепьях, гортанно галдела на всю округу. Высоко-высоко над вымершим селом задумчиво чертил круги одинокий коршун.

Вокруг ни деревца, ни кустика. Все покрыто серо-желтым пухляком. Солнце зависло в зените и палило нещадно. От обвальнoй тишины звенело в ушах.

– Майн Гот! – вздохнула Марта. – Либер Хайланд!

И крепче прижала к себе бледного и тощего мальчонку с перепуганными глазами.

Из конторы аулсовета вышел неказистый, кривобокий мужичонка в обшарпанных воловьих сапогах, в выцветших галифе, кургузом пиджачишке неопределенного цвета, почесал пятерней бритую голову, глазками-щелками нацелился на незнакомку и

белобрысого мальчика, примостившихся на двух баулах. Помолчал, смачно сплюнул.

– Тыбая памилия? – спросил сипло.

– Что, простите? – встрепенулась молодка и легко поднялась, поправила платье, нервно вскинула голову.

– Мой спрашивает: звать как?

– Диллер... Марта Диллер...

– Е-е. А балашка?

И ткнул пальцем в сторону вихрастого мальчика.

– Руди... Рудольф...

– Е-е... бишара... бишара.

Мужичонка растерянно уставился на тупоносые свои сапоги, поскреб небритый подбородок, опять цвиркнул меж зубов.

– А кожаин где?

– Кто, простите?

– Муж?

– На фронте.

– На пронте?! – недоверчиво переспросил мужчина.

– Да, на фронте.

– Е-е... бишара... бишара.

Мимо конторы, согнувшись под вязанкой колючего кустарника, семенила казашка в длинном цветастом платье и черной шали на голове.

– Шайзада! – окликнул ее мужичонка.

Казашка остановилась, сбросила вязанку к ногам, послушно застыла. Мужичонка что-то сказал ей. Та безропотно кивнула.

– Псе! – отрезал мужичонка, обращаясь к Марте. – Будешь жить у Шайзады. А завтра пойдешь с ней на ферму. Псе!

Две женщины – одна с вязанкой хвороста, другая с двумя баулами и послушно трусившим мальчонкой – исчезли за переулком.

II

Едва протиснувшись в проем двери, Марта опустила баулы, оглянулась. Сумрачная хибара. Земляной пол. Одно-единственное окошко занавешано ветошью.

В углу на самотканом паласе трое мал-мала меньше малышей попеременно макали огрызки лепешек в деревянную миску с простоквашей и сосредоточенно ели, усердно шмыгая носами. При виде незнакомцев изумленно разинули рты.

– Мои. Айман, Шолпан, Арман... – сообщила Шайзада и умиленно протянула: – Ай-на-ла-а-айын...

Руди прижался к бедру матери, но не мог оторваться от лепешки в руках малышей и миски с простоквашей.

Шайзада ласково взяла его за ручку, подвела к детям, усадила рядом, сунула кусок лепешки побольше, подвинула миску.

– Куши... куши...

Руди все понял. Из глаз Марты брызнули слезы.

III

...И снится Марте один и тот же сон. Без начала и конца. Почему- то она одна-одинешенька на всем белом свете. Как так получилось – не объяснишь. Одна, одна... Везут ее куда-то день, второй, третий... Огромные колеса кокандской арбы поскрипывают, глубоко увязли в пухлой пыли. Марта не знает, куда ее везут. Не помнит, как и откуда попала в это гибельное место.

Катится-катится кокандская арба по пыльной убитой дороге. А за ней бежит-бежит-бежит, спотыкается, падает, что-то безголосо кричит рыженькая, голенастая девочка в коротком платьице, плачет, зовет, ручонками размахивает...

У Марты замирает сердце, руки-ноги сковывает жуткая тяжесть. Она порывается подняться, бежать навстречу девочке, но не может. Она – о, ужас! – не помнит, как зовут девочку, не помнит и себя, куда, откуда и зачем ее везут. Силится вспомнить, но напрасно, тщетно.

Там, в долине, взвихриваются, закручиваются, мчатся наперегонки крутые смерчи.

И нет этой дороге конца.

И нет этому наваждению конца.

И нет этой муке конца.

«Ши-ик, ши-ик», – поскрипывают, тяжело вращаясь, колеса кокандской арбы.

«Цок, цок, цок» – щелкает-трещит копытцами длинноухий отрешенный ишачок.

IV

– Что плачешь? – растормошила ее Шайзада посреди ночи. Марта зарылась лицом в подушку, даваясь слезами.

– Не болды? Кой! Что случилось?

Шайзада обняла товарку за плечи, погладила сухой ладошкой по голове.

– Дочку вспомнила.

– У тебя еще кызымка есть?

Ущербный азийский месяц глядел в оконце. В правом углу мазанки на кошме, под шубой безмятежно спали дети – трое малышей Шайзады и Руди среди них. А женщины устроились слева на корпешке, под стегаными одеяльцами. Работа в колхозе так изматывала их, что, придя с работы домой в сумерках, кое-как, чем Бог послал накормив детей, падали в постель как подкошенные.

– Е-е-есть...

– Где? На Волге?

– На Украине.

– У кого?

– У сестры моей. Забрала к себе сразу после школы. Бедная моя Эльвирочка... Жива ли еще?

– А что? Разве у тетки ей плохо?

– Так... там же война! И где моя сестра – ничего не знаю.

– Но... немцы немцев трогать не будут.

– Те не немцы. Не наши.

– Ка-ак?!

Шайзада обняла свою жилищку крепче.

– Тише... Детей разбудишь. Не кличь лиха в темную ночь. Война кончится – все уляжется.

Так, в обнимку, женщины уснули. Месяц скатился вбок. Призрачные тени на стене исчезли. В сумрачной мазанке пахло пылью, молоком и одиночеством.

V

Весной Марте стало совсем худо. Ночи напролет она надрывно кашляла. По утрам горлом шла кровь. От слабости постоянно кружилась голова. Силы таяли на глазах.

– Знаешь, Шайзада... нет больше горя, чем умирать на чужбине...

– Брось. За лето оклемаешься. Поверь.

– Нет... Песенка моя спета. Увидеть бы хоть разок Волгу и Эльвирочку мою.

Слез не было. И утешения – тоже.

Руди целыми днями носился с малышкой по аулу и ловко болтал по-казахски. Казалось, он не чувствовал себя пришельцем из чужого рода-племени.

Вскоре склоны гор запылали маками. Солнце ходило все выше, выше, любуясь ослепительными снежными вершинами. Степь закурчавела. Аромат разнотравья сладко дурманил голову.

Вокруг хибарок резвились потешные ягнята раннего расплода. Вечерами налетал тугими порывами ветер, бодря тело и душу приунывших за зиму аульчан. Перед рассветом безумно щебетали птицы, томно ворковали голуби. Ранним летом 1942 года Марта тихо угасла.

VI

Горстка аульных старейшин чинно сидела за колченогим столом аулсовета.

– Ну, почтенные, что будем делать с сыном немки?

Аульный глава был в неизменном галифе, кургузом пиджачке, обшарпанных громоздких сапогах. По обыкновению поскреб пятерней побритый до синевы череп.

– Ия, ия... Кто о сироте позаботится? Как-никак дитя человеческое, – изрек местный мулла и огладил белую бороду.

– Сироту обижать – грех, – поддержал его безбородый сосед.

– Надо отвезти в Узун-Агач в детдом, – предложил счетовод.

– Нехорошо это... Мальчик привык к аулу. Смышленный, – прошамкал беззубым ртом плешивый аксакал. – Детская обида зарубкой останется на сердце. И нам стыдно будет.

– Может, у Шайзады оставить? Где трое – прокормится и четвертый.

– Нельзя! – отрезал аульный глава. – От зари до зари пропадает на ферме. Куда ей?

Встрепнулся молчавший до сих пор чабан Хасен.

– Братья, может, мальчика я возьму к себе?

– Как?

– Ну, усыновлю. Вернется мой Каратай – братишка ему будет.

– И что получится? – спросил аульный. – С немцем воюет, и немец братишкой станет?

– Е-е... Какой он немец? Молдеке ведь сказал: дитя челове- ческое...

– Ия, ия... Дитя безгрешное. Ему-то и невдомек, что немец. Ду- мает, казах.

– Если вы, братья, согласитесь, я с радостью стану ему отцом.

Помолчали. Бороды пощипали. Головами покачали.

– А с мальчиком поговорю сам, – заявил Хасен. – Он ведь все понимает.

VII

Подсадив Руди на одра, чабан Хасен привез его в степь к отаре. Долгая дорога по увалам-перевалам утомила мальчика. Да и тряска в жестком седле укачала его. В прохладной, продымленной чабанской юрте на кошке возле кованого сундука-кебеже он сразу уснул.

Когда проснулся, чабан со своей женой пили чай за низеньким, складным столиком.

– Кел, кел, балам! Иди, иди, сынок мой! – проворковала жена чабана, привычно поправив белый плат на голове.

– Айда, Рудижан, подсаживайся. Шай ишеик, – пригласил и Хасен- ата.

Мальчик молча уминал испеченную в золе лепешку, ел ложечкой густой катык, грыз курт, иримчик, отхлебывал из кесушки чай со сливками и с любопытством озирался вокруг. Все в юрте было ему внове.

– Нравится? – спросил чабан.

Руди кивнул.

– Айналайын, – умилялась, глядя на него, апа.

– Айналайын, – вторил ей ата. – Слушай, как тебя правильно звать?

– Рудольф... Рудольф.

– Ыру-долбы! А? Не по-казахски звучит. Может, я буду называть тебя Рысбеком? Согласен?

– Рысбек?... Болсын. Согласен.

– Ну и хорошо! Будешь для нас Рысбек. Рыжий Рысбек из аула Кастек.

Мальчик ощерился. Получилось забавно и складно.

– А фамилия как?

– Диллер.

– Дил-ляр... Хм-м... Согласен быть моим сыном?

Мальчик кивнул.

– Да?! – Чабан заерзал, вытер полотенцем испарину на лбу. – А если, айналайын Рысбек, твоя фамилия будет отныне Абильтаев, как у меня? Согласен?

– Абильтаев?... Болсын. Согласен.

– Апырай! Вот умница! Маладес! Тогда, может быть, зараз и мусульманином тебя сделаем?

Мальчик не понял. Сдвинул брови, задумался. Он смутно чувствовал, что это как-то связано с муллой, а муллу мальчишки в ауле побаивались.

– Ну, если он – Рысбек Абильтаев, значит, мусульманин. А то как же иначе? – встряла в мужской разговор апа.

– Ия... солай, солай, байбише, – согласился чабан.

Стал Руди жить в юрте чабана. Превратился Рудольф Диллер в Рысбека Абильтаева.

А вскоре мулла омусульманил его, как положено, по обряду сундет.

Одним казахом под семиреченским небом стало больше.

VIII

Изнуряющую сухмень сменили затяжные дожди. Короткая, слякотная в этом краю зима, казалось, сразу переходила в долгое-долгое лето.

Мелькали дни. На круговорот бытия молча и равнодушно взирали снежные вершины. Солнце ходило по извечному кругу.

Где-то все еще гроыхала война. Эхо ее докатилось и до тихого аула Кастек, приютившегося у подножия гор.

Чабану Абильтаеву вручили похоронку на сына Каратая, погибшего смертью храбрых за Родину.

На поминках чабана утешали:

– Е-е, Хасен, крепись, мужайся. Не тебя одного постигло горе. Не тебя одного подбил сум-пашис. На все воля Аллаха. Благодарю судьбу, что у тебя есть Рысбек. Он не даст иссохнуть твоему дереву.

Рысбек подрост, окреп. Ловко скакал на лошади, пас овец, объезжал стригунков, собирал кизяк. Был помощником Хасеке во всем.

За год до победы ладного, стройного подлетка чабан отвез в интернат при местной школе.

– Четыре класса окончит – женю, – сообщил всем чабан. – Нешауа! Сказано предками: «В тринадцать лет – хозяин юрты». Пусть внуками утешит мою старость. А работа в ауле найдется. Надо будет – передам ему свой чабанский посох.

IX

Прискакал как-то в аул заполошенный комендант из района.

– Где спецпереселенка Марта Диллер? Почему не отмечается в комендатуре? С сентября 41-го ни разу не показалась.

– И не покажется.

– Это еще почему?

– Потому что умерла. А на том свете комендатуры нет.

– Как умерла? – опешил комендант.

– Как все. Давно, вон... за тем бугром ее могила. Комендант долго глядел в амбарную книгу, что-то записывал, слюнявя огрызок чернильного карандаша.

– А сын ее... Рудольф Диллер, 1934 года рождения?

– Рудольф?.. А-а... Он давно Рысбек Абильтаев.

– Ка-ак?

– Чабан Хасен усыновил его. Теперь он – казах.

– Не дейды?! Рыжий, светлоглазый немец – казах?

– А что? У казахов рыжих нет? Светлоглазых нет? Так что, дорогой, не ищи Рудольфа Диллера. А казахи под твоей комендатурой, слава Создателю, пока не ходят.

Комендант подумал-подумал, сунул изрядно потрепанную книгу со списком неблагонадежного контингента в кожаную сумку и ускакал восвояси.

Х

Жизнь в ауле течет размеренно. Да и куда спешить? Спешка – происки шайтана. Кто не спешит – на арбе зайца догонит.

Предки казахов никогда не спешили и потомкам заповедали зря не суетиться. Как написано в Книге Судеб, так и будет. А от судьбы своей никто еще не уходил.

Окончив четыре класса местной школы, Рысбек подался в Узун-Агач на механизаторские курсы. Здесь он проявил необыкновенную расторопность и сметливость. И наставник-мастер Антон Энгель в шутку говорил о Рысбеке: «Этот казах разбирается в технике, как немец».

После механизаторских курсов Рысбек оседлал трактор, а в страдную пору становился комбайнером. В работе он был одержим и безотказен. И в ауле поговаривали: «Апырай, и как только наш колхоз обходился до сих пор без Рысбека?!»

Рысбека женили, когда его сверстники все еще протирали штаны за школьной партой. Собрались, как водится, старики, посоветовались и решили высватать младшую дочь Шайзады – Шолпан. Шай-

зада всплакнула, но против воли аульных аксакалов не пошла. Да и что раздумывать? Шолпан хоть и маленькая с виду, а плотненькая, ладненькая, гладколицая, с озорным блеском в глазах-смородинках, улыбчивая. Восемь классов одолела. Вся как спелое, румяное яблочко. А Рысбек – вон как вымахал, ручища, что лопата, парняга что надо, надежный, работающий, уважительный, всеобщий любимчик. Ну, и что из того, что чужого рода-племени... пожалуй, ближе и роднее иного своего шалопая.

Через год у чабана Хасена появился внук Ахат. Потом – Мухат. И третий – Талгат – не заставил себя долго ждать. Все крепенькие, скуластые, длинноносые, в меру рыжеватые, в меру смуглые. Потом Шолпан умудрилась произвести на свет двух близняшек-девочек – Гульшару и Гульбару. В ауле радовались: «Неспроста назвали нашего зятя Рысбеком. Видно, сам Всевышний вложил в уста Хасена это имя. Рысбек, действительно «Ырыс» – благо, счастье, удача. Все у него по уму получается. Да и Шолпан – молодчина. Действительно, утренняя звезда в семье».

Облепленный детьми, счастливый, Рысбек восседал за дастарханом, скрестив под себя на казахский лад длинные ноги, благодарил Создателя за все ниспосланные ему благодеяния, удовлетворенно басил: «Верно говорят: дом с детьми – базар, дом без детей – мазар».

Потом один за другим появились в семье горластые Сабит и Габит, которых и отличить друг от друга оказалось мудрено.

Аульные умники, глядя на ватагу Абильтаевых, глубокомысленно рассуждали: «Что ни говори, а казахская кровь берет верх. Посмотрите на отпрысков Рысбека. Что в них немецкого? Ну, может, лицом чуть светлее... носы чуть длиннее... глаза малость шире, а так разве от казаха отличишь?!»

И надо же такому случиться: годы спустя у Абильтаевых родилась еще одна девочка. Вся беленькая, пушистоголовая, кареглазая. Даже статью-осанкой отличалась от своих кровных братьев и сестер. Ну, ни

дать, ни взять балапаненок, только что вылупившийся из яйца. Родители удивились своему творению. «Оу, как назовем это чудо-юдо?!» Всем аулом придумывали имя белокурому созданию. Казахские имена вроде как не подходили.

«Это наша копей, – сказал Рысбек, – поскребыш. И быть ей Эльвирой».

«Эй, это же не по-казахски! Или в тебе немецкая кровь проснулась?»

«Эльвира, и баста!»

«Брось! Как будто чужая...»

«Эльвира!»

Обратились к Шайзаде, к почтенной аже.

– Дурит что-то твой зять.

Шайзада помолчала, подумала, что-то вспомнила.

– Рысбекжан знает, что говорит. Быть моей внучке Эльвирой!

XI

Капитан райУМВД повел разговор издалека. Обстоятельно, как принято у казахов, расспросил про жите-быте, про здоровье родителей, детей, аульчан, поинтересовался работой, и Рысбек спокойно и степенно ответил ему, однако про себя соображал, к чему приезжий клонит и что ему от него надо.

Было также непонятно, почему капитан не зашел к нему домой, как гость, а пригласил в контору и затеял беседу наедине.

Ритуальные вопросы вежливости понемногу иссякали, все чаще наступала пауза, а капитан о главной своей цели все помалкивал.

Наконец, неожиданно спросил:

– Родственники в Германии есть?

– Где-е? – вырвалось у Рысбека.

– В Германии.

– С какой стати?!

– Ну... – капитан чуть засмеялся, – хоть вы и Абильтаев, но по происхождению ведь...

– Спасибо, что напомнили, – нахмурился Рысбек. – Мои родственники все в этом ауле.

Капитан сощурился.

– Ну, а сестра?

– Сестра? – Рысбек широкой ладонью хлопнул себя по колену. – Да-а.. была. Эльвира. Года на три старше меня.

– Помните?

– Чуть-чуть. Ее забрала к себе, на Украину, тетя Эрна, мамина сестра. Перед самым выселением.

– И больше не видели?

– Нет. Помню белые-белые пушистые волосы. И огромный голубой бант. И все. Сохранилась фотография... мама и мы с сестрой с двух сторон. Мне тогда было годика четыре.

Капитан задумался, забарабанил пальцами по столу.

– И вы ее не искали?

Рысбек пожал плечами, опустил голову.

– Где? Как?.. Война... Сорок лет прошло. Даже не знаю, жива ли?

Капитан опять выдержал паузу.

– Жива. И разыскивает вас. Давно. Через Красный Крест. И проживает... проживает... – Капитан заглянул в бумагу. – В Зиндельфингене.

Рысбек не знал, что и сказать. Еще больше согнулся, потер вспотевшие ладони. Он помнил, что власть не жалуется тех, у кого родственники за кордоном. Недолгоблудит и тех немцев, кто норовит выехать на родину предков или получает оттуда посылки. Конечно, с него, с Рысбека Абильтева, взятки гладки. Уезжать он и не помышляет, посылок никто ему не шлет. Не отнимут же у него трактор из-за того, что в неведомой Германии обнаружилась его родная сестра. И все же, все же...

– Ну и что дальше?

– Ваше дело, – откликнулся сразу капитан. – Предоставьте нам копию фотографии, о которой говорите. Наше дело – все выяснить и восстановить родственные связи.

Чувство радости, перемешанное с тревогой, несколько дней не отпускало Рысбека.

ХП

Плотный пестрый конверт с разными наклейками и штампиками Рысбек долго вертел в руках, всматривался в незнакомый почерк. Странно было читать свою фамилию, начертанную латиницей.

Конверт вскрыли не сразу. Рассматривали так и сяк всей семьей. Попеременно взвешивали на ладонях, точно определяя его ценность.

– Пухлый!

– Что-то там есть.

– Может, марки?

– Не-ет, фотографии, должно быть. Или открытки.

Наконец перочинным ножиком аккуратно вскрыли конверт, извлекли пять-шесть глянцевых фотографий.

Крупная, коротко остриженная, ухоженная и, по всему, очень благополучная женщина хлопочет у ослепительной газовой плиты на просторной, сплошь увешанной шкафчиками кухне. Она же, фрау, белозубо улыбаясь, стоит возле шикарной, вылизанной машины рядом с бородатым пузаном. Супруги в аляповатых спортивных костюмах на зеленой лужайке держат на поводке огромного, брыластого, спесивого пса. И еще раз они на фоне затейливого особняка с покатою черепичной крышей и множеством чисто промытых окон.

– Смотри-ка!

– Буржуи!

– А машина-то – «Мерседес».

– И дом не нашему саманному дворцу чета.

Рысбек молчал, все рассматривал дебелиую, улыбчивую женщину на фотографиях, силясь найти в ней сходство с той белокурой девочкой с огромным голубым бантом, смутно запомнившейся в далеком детстве.

– Ну, узнал сестру? – спросила Шолпан.

– Как узнаешь? – вздохнул Рысбек.

– А ты прочти, что пишет.

Рысбек повертел в руках плотный лист бумаги с причудливым вензелем в углу, силясь разобрать хоть одно слово.

- Эй... письмо-то на немецком!
- А ты полагал, что сестра тебе из Германии по-казахски напишет?
- Ну, – сконфузился Рысбек. – Не по-казахски, так по-русски. Я ведь по-немецки ни бум-бум.
- А ей откуда знать, что ты казах?
- Да-а... придется сходить к Олжабаю. Он переведет.

ХІІІ

Учитель немецкого языка аульной школы Олжабай Жармакин долго вглядывался в крупный разгонистый почерк, досадливо поморщился.

– Е-е... видать, ваша сестра, Рысбек-ага, не сильна по части грамоты. Пишет бог весть на каком диалекте. Не все и поймешь.

– Видно, как и я, не больно усердствовала в учебе, – усмехнулся Рысбек. – Но смысл-то понятен?

– Смысл такой, – сказал Олжабай, в третий раз скользя взглядом по корявым строчкам письма. – Фрау Эльвира Керн ужасно рада, что наконец-то в глуши Казахстана удалось разыскать единокровного брата. Это было сложнее, чем она предполагала. И теперь, когда ей передали фотографию, на которой запечатлены незабвенная мама с ее детьми, она, фрау Эльвира, на седьмом небе от счастья. Уже несколько дней не может сдержать слезы. Многое ей сразу вспомнилось... Та-ак... дальше она подробно описывает свою жизнь. Отступая, немцы, мол, забрали с собой всех фольксдойче. Это был путь на Голгофу... долгий и трудный. Некоторое время жили на территории Польши, потом добрались до небольшого городка вблизи Штутгарта. Здесь проживают и поныне. Поначалу было тяжело. Все пришлось пережить. Работала где и как придется. После кончины тети Эрны... альзо зи ист гешторбен... умерла, значит. А ко мне, то есть к вашей сестре дас шикзал... судьба, значит, оказалась милостивей. Удачно вышла замуж за местного предпринимателя... зовут его Роберт. Детьми не обзавелись. Все откладывали, когда встанут на ноги, а потом оказалось поздно. Так... так...

опять пошли, простите, бабьи воспоминания... ага, вот главное... мечтаем тебя увидеть... приглашаем с милой женой... к себе в гости... просит прислать данные, чтобы могла выслать вызов...

– Какой вызов?

– Ну в гости... в этот... Зиндельфинген.

– А как я туда выберусь?! – испугался Рысбек. – Я сроду дальше Талдыкоргана не выезжал... Да и денег, наверное, понадобится куча.

– Так сестра пишет: все расходы по поездке туда и обратно возьму на себя.

– О! Богачка, значит! Апырай. Вот еще заботы-хлопоты на мою голову... А съездить хотелось бы. Хоть посмотреть, как люди в той Германии живут.

XIV

Весь год в Кастеке только и судачили на каждом углу о предстоящей поездке Рысбека Абильтаева в Германию.

– Ойбай, сестра нашего Реке, говорят, сказочно богата.

– Во дворце ханском живет... Три машины имеет.

– Одну, конечно, запросто брату отдаст.

– Не отдаст: немцы – жадные.

– Жадные-то жадные, а всему миру помогают.

– Как бы наш Рысбек там не остался...

– Со своей казахской артелью?

– А что, вон узбек Абдурахман заделался Шнайдером и укатил со своей Амалией.

– И Германия всех принимает?!

– Да там, сказывают, уже и немцев мало осталось. Одни турки, цыгане, эфиопы, евреи, курды.

– Повезло Рысбеку! И почему я только немцем не родился?

Слухом полнится земля. А перед каждым событием скачет резвый «узун-кулак».

XV

После дальней дороги человека следует поздравлять с благополучным возвращением, приглашать в гости

и выслушивать его обстоятельный рассказ. Рысбека, вернувшегося из Германии, наперебой приглашали все знакомые и за дастарханом уговаривали его рассказывать о житье-бытье на хваленой немецкой земле. И хотя в ауле от мала до велика знали про то, как Рысбек готовил бесбармак в особняке сестры, однако просили о том случае поведать во всех подробностях вновь и вновь. И Рысбек поначалу отнекивался, отмахивался, но потом с увлечением начинал рассказывать на потеху аульчан.

– Е-е... – раздумчиво начинал он свой рассказ. – Неміс дегенінбішара халықекен. Бестолковые они, немцы, ей-богу. Живут скованно, скучно, по раз и навсегда заведенным порядкам. Нет такой вольности и щедродушия, как у айналайын наших казахов. Да ну их! И досыта не едят. Все какие-то порции, порции. Калории считают. Все какое-то жеваное-пережеванное, искусственное,дохлое. Ни вкуса, ни силы. Пузо набьешь, а через час опять голодный. Все кофе-мофе, йогурт-могурт, банан-манан. Тьфу! В колбасе ихней и мяса-то нет. То ли крахмал, то ли бумага, соя, краска, шорт-морт-мазара. Все туда пихают. Одно название – колбаса.

– А что? – любопытствовали за дастарханом. – Казыкарта, жал- жая не едят?

– Какой там?! Они и слов таких не знают. Понятия не имеют.

– Ой, бишара, бишара! Несчастные! Что же они едят?

– Обожают крохотные поджаренные сосиски. На один зуб. Вроде как ничего. Но – свинина. Меня стошнило, а у Ахата и Мухата моих даже волдыри на губах выскочили.

– Поганое, значит.

– Побрезговали.

– Ну, их, этих немцев! И хлеб у них безвкусный. Даже запаха нет. Булочки – что вата. Лепешки вообще не видел. Чай – пойло. Заваривать не умеют. Пиво, правда, хорошее. Но хуже кумыса. Да и какое пиво, если в брюхе пусто! Первые дни, считай, голодные ходили.

– И тогда, Рысбек-ага, вы решили сготовить бесбармак?

– Да, да... И смех и грех. Смотрю: Ахат с Мухатом осунулись, по- скучнели, как воробышки в осеннее ненастье.

– Конечно, осунешься тут без привычной еды.

– Одним кофе да бутербродом сыт не будешь.

– Ну, я и предложил сестре: «Давай бесбармак сготовим». Глаза закатила: «Пез-пар-магг... вас ист дас?» Ну, как я ей объясню? Она по-русски ни-ни, я по-немецки ни бельмеса. Мясо, мясо, говорю ей, флайш, флайш... «Сколько?» – спрашивает. – Ну... килограммов пять конины, три – баранины». «Гот, майн Гот!» – удивляется и зашпыхала быстро-быстро со своим Робертом. Тот тоже сделал круглые глаза, как у окуня на крючке. Уточняет: «Наверное, пятьсот граммов?» – «Пятьсот граммов – это разве что кошке», – говорю. Опять что-то долго лопотали зять с сестрой. Потом спрашивают: «А свинина не пойдет?!» «Да вы что! – возмущаюсь. – Бесбармак из свинины?! Мы же мусульмане!»

Смотрю: приунул мой зять-добряк. Пиво дуть – это он мастак, утроба большая. Но про бесбармак из конины и баранины и слыхом не слышал.

– Действительно, дикий народ! Как же они без бесбармака обходятся?!

– Вот незадача! И что же дальше?

– Ну, поехали искать конину. Объехали восточные базарчики, рестораны. Боже, каких только нет! Что-то раздобыли. Конина, правда, постная, замороженная, залежалая, а баранина – ничего. Немцы почему-то ее не жалуют. Запах, говорят. Будто у свинины запаха нет. А вообще-то у них все полуфабрикаты. Натурального ничего нет.

– О, Кудай! Как они живут?

– А с виду вроде как справные. Мордастые, долговязые.

– Е-е... все это бананы да химия. Добавки.

– Ну, привезли мясо, а варить в чем?

– Что, и казана обыкновенного нет?

– Какой казан?! Одни кастрюльки-сковородки, горшочки, сковородочки, противни. Сестра недоумевает: в какой посуде можно сразу сварить восемь килограммов мяса? Ужас! Кошмар! И зять что-то болбочет, но во весь рот улыбается, фарфоровыми зубами поблескивает: «Неужели можно съесть восемь килограммов мяса?! Это же убийственно для здоровья!» «Но нас же трое, – говорю. – Да вы двое. Аллес эссен, аллес! Ня-ням...» Роберт лысой головой качает, плечами пожимает: «Ах, ду! Ах, ду!»

Взяли в кафе большую кастрюлю, заложили все мясо, варим. Мясной дух струится по всему особняку. Эльвира с Робертом принимают, морщатся.

– Бедняги, они такого сроду не видали.

– И не слышали!

– Но... надо ведь и сочни делать. А муки-то у сестры и нет. Опять куда-то съездили, привезли пакет муки. Мука никудышная, не нашей чета. Месишь, месишь, а тесто все расплывается. «Швах! – говорю. – Давай два-три яйца». Мясо варится, тесто готово, а раскатывать чем? Скалки-то нет. Кухонный комбайн есть, кофеварка есть, миксер-фиксер есть, разные агрегаты, печки есть, а скалки – жок!

– Ойпырмай, до чего же бестолковые!

– Пришлось длинной бутылкой из-под испанского вина раскатывать сочни. Умаялся! «Что еще надо? – спрашивает Роберт. – Биир?» – «Какой еще биир?! – говорю. – Водка нужна, водка! А не пиво!» – «Ах, водка! – говорит зять. – Водка о'кей! Зер гут!»

Мигом принес графинчик. А там граммов сто пятьдесят. «Оу, ты что?! – говорю. – Швах! Нихт зер гут. Мало!» Зять глазами хлопает: «А сколько надо?» – «Ну... хотя бы два пузыря». – «Майн Гот!» – вновь заохал зять, однако куда-то съездил, приволок – представьте! – две бутылки «Столичной». Нашей, родимой. Достал в магазинчике у русских немцев.

– Ну, теперь порядок!

– Теперь по-нашему, по-аульному!

– Можно начинать.

– Словом, к вечеру бесбармак сварганили. Конечно,

казы нет, куйрык-баур нет, жал-жая нет, жамбас, ребрышек нет, но все же... какой- никакой, а бесбармак.

Нарезал-накрошил целую горку мяса. Смотрю: и Ахат, и Мухат ожили, рукава засучили, нетерпеливо ерзают, глазами поблескивают, слюни сглатывают. Осточертели им за эти дни кофе и пирожные.

– Апырай, а!

– Уай де!

– Лопаем. Аж скулы трещат. Время от времени по стопочке опрокидываем. За встречу. За здоровье Эльвиры. За удачу Роберта. За дружбу. За знакомство. За что-то еще...

– Ойдойт! Той получился.

– Не говори! И Роберт раззадорился. На мясо нажимает, посапывает. От усердия аж бордовый стал. Сестрица все больше сочни уминает, покраснелась вся. От души полакомились. Все до последнего кусочка съели. Сорпой запили. И две «Столичных» прикончили.

«Неужели плохо не будет?!» – озабоченно спрашивает Роберт. «Нешауа! Вот теперь можно и поспать», – говорю. «Ка-ак спать?! – «А свернуться, как змея, клубком и поспать, пока пища не переварится». «Вундербар!» – щелкает язычком изумленный Роберт.

Поднялись мы наверх в отведенную нам комнату и проспали, как младенцы, часов десять кряду. Потом узнали, что хозяйева, оказывается, всю ночь не спали, душ принимали, отдувались, беспокоились, что нам станет худо, поднимались наверх, прислушивались. Даже врача хотели вызвать.

– Бедные, бедные! Привыкли, видно, впроголодь жить.

– Утром Эльвира спрашивает: «Вы у себя там, в Казахстане, часто едите бесбармак?» – «Ну, – говорю, – если не каждый день, то через день-другой непременно». А Роберт дружески подмигивает: «Биир?» – «Давай!» – «Доппельт?» – «Почему доппельт? Кружок по пять-шесть на брата. Мои джигиты охочи до пива». С того дня шибко зауважал меня зять Роберт. По утрам вместо «Гутен таг!» стал говорить «Бесбармак!» А я в ответ:

«Биир!» У него рот до ушей: «Водка!» Получается мужской разговор. И сестрица до-вольна.

– Ха-ха-ха!

– Е-хей! Знай наших!

– Ну, а принимали и провожали нас хорошо. Ничего не скажешь. Одели, обули нас, подарков надавали – несколько чемоданов и сумок. Что и говорить, в Германии чистота, порядок. На орднунге своем они прямо помешаны. Убирает в доме сестры одна костанайская немка. Вот с ней-то мы и общались по душам. Лет шесть живет в Германии, а тоскует по своей деревне. Дороги в Германии – обалдеть! Как гладильная доска. Все ухожено, зелено, вылизано. Сплюнуть некуда. Все добротно. Ляп-тяп, как у нас, ничего не делается. И все же, все же... Я бы там жить не мог. Скучно! Слишком все правильно. У нас лучше, проще, человечней. Оллахи-беллахи!

Рассказ Рысбека о поездке в Германию к родной сестре разрастался и расцветивался диковинными подробностями, разнесся по всему аулу и окрестностям. О том говорили несколько лет за каждым дастарханом.

Эльвира не забывала брата, часто писала письма, которые старательно переводил мугалим Олжабай. Каждое ее письмо заканчивалось неизменной припиской Роберта из трех слов: «Бесбармак. Биир. Водка». Этим он выражал свои лучшие чувства к казахстанскому шу-рину. И звучали эти три слова, как пароль дружбы, как «Свобода, Равенство и Братство».

XVI

Шли годы. Все дети Рысбека обзавелись семьями. Одних внуков у четы Абильтаевых насчитывалось три десятка. Глубокие корни пустил рыжий Рысбек из аула Кастек на благодатной казахской земле. Стал он медлителен, степенен, как истинный аксакал, и любил произносить длинные поучения.

– Шукур, шукур... Благодарение Всевышнему, – все чаще говорил он в кругу близких. – Жаловаться грешно. Все птенцы мои свили себе уютные гнездышки. И

птенцы птенцов уже весело щебечут, крылышки расправляют. От кочевья времени никто не отстал. О чем еще мне с байбише мечтать? Не могу сетовать на судьбу. Не стану гневить Творца.

Любил Рысбек пространно рассуждать о жизни.

– Е-е... где мы только не бывали.... И Германию на краю земли увидел собственными глазами. Одно я понял: надо радоваться тому, что есть. От чего все беды-напасти? От неумемного желания. От ненасытности, от вожделения. От алчности. Да, да... Смотрю я вокруг, жить стали люди хуже. Все им мало. Кедей-бедняк хочет стать богачом- баем, а бай норовит стать богом-кудаем. Но разве так можно? О добре, стыде, совести-имане, о милосердии забыли. Все только хотят хапать, воровать, подличать, козни строить, обогатиться любой ценой. А к добру это не приведет.

Видят мои глаза: помельчал народ, испоганился, душой очерствел, сердцем ожесточился. В суете людей ни лада, ни склада. А ведь у каждого, кто пришел однажды в этот мир, свой удел, своя доля, свое назначение. Вот и радуйся, веди себя достойно, не разевай рот на чужое. А? Солай емес пе? Не так ли?

Так подолгу рассуждал на склоне лет Рысбек-ата, медленно роняя слова и поглаживая рыже-сивую бородавку, которую, преодолев возраст Пророка, отпустил к неудовольствию Шолпан.

– Е-е... байбише... куда денешься... стариком стал, а старика красит борода.

Одно удручало Рысбека: дети его потянулись в город, аульная жизнь почему-то их не устраивала. И внуки к его, дедушки, пространным назиданиям оставались глухи. Они слушали его только из вежливости, из любви, а думали совсем по-другому. Внук Азат, отличник-шустряк, однажды после очередных нравоучений деда взял да и брякнул:

– Эх, аташка, и зачем только ты в Германию не переехал!

– Таит, негодник! – обрушился на строптивца-внука Рысбек. – Тебе что, плохо здесь? Чем тебе не угодила родная земля?! Тесно стало? У, негодник!

Хворости одолели Рысбека-ата. Силы таяли.

Однажды он доверительно сказал Шолпан:

– Хоть и рукой подать до моего семидесятилетия, а боюсь, не доживу. Ночью во сне упал с вороного коня. Плохой знак.

Шолпан встревожилась, но виду не подавала.

– Брось, отагасы. Не пугай ни меня, ни детей. Не буди лиха. Разве смертному дано знать, что ждет его впереди?

XVII

Отошел Рысбек тихо, безропотно на рассвете нового дня, на семидесятом году жизни. Хоронили его всем аулом по мусульманскому обряду. Могилу выкопали глубокую, с боковой нишей. Обмыли тело, обернули в белый саван. Бережно предали земле без гроба. Мулла прогнусавил арабскую молитву. Потом провели поминки, седмицу, сороковину, все честь по чести.

Да будет земля пухом Рысбеку-аксакалу, сыну Хасена, смиренному рабу Аллаха...

Внук усопшего, Азат, снял скорбный ритуал на кинокамеру, подаренную ему германской ажешкой Эльвирой, и отправил кассету в Зиндельфинген.

Фрау Керн сердечно поблагодарила всех сельчан, достойно проводивших ее бедного брата в последний путь, выразила соболезнование его вдове, детям и внукам и осторожно просила учителя Олжабая, нельзя ли на надгробном камне высечь подлинное имя усопшего – Рудольф Диллер. Мугапим Олжабай ответил, это решат дети Рысбека-ага, для них отец ведь не был Рудольфом Диллером, а всегда и только Рысбеком Хасенулы Абильтаевым.

Так впоследствии и написали на могильной плите.

...На склоне крутого увала под бездонным азийским небом его могила.

Как-то на скамейку возле памятника Чокану подсел ко мне пожилой казах по имени Амирхан и поведал мне эту историю. Теперь я изложил ее по-своему на бумаге.

Знаю: подобных историй на казахской земле не счесть.

Июнь 2003 г.

ПО КРАЮ ОБРЫВА

...Боль. Боль. БОЛЬ...
Она подкралась незаметно, исподтишка, стянулась, сжалась в комок – тупая, ноющая, неослабная. Вцепилась намертво. Медленно, но неуклонно разрасталась, разливалась по всей груди, подбиралась, подкатывалась к горлу, перехватывала дыхание, простирала свои жадные щупальца к плечу, к животу.

Никакие нитраты не в силах ее обуздать, купировать. «Четвертый» – мелькнуло холодком.

Вот напасть! С какой стати? Ведь еще от третьего не успел за зиму оклематься.

– Скорая?

– Что случилось? Адрес? Телефон?

– Подъезд?

– Ждите!

Он всей пятерней сгреб тугую боль, стиснул ее ладонью и рухнул на диван, скорчился, с усилием задавливая стон.

«Скорая» подкатила довольно быстро, а почудилось – вечность.

Та-ак... Давление. Кардиограмма. Укол. Еще укол. В вену. В мышцы. В живот. Изокет. Аспирин. Кардикет. Конкор. Еще. Еще. Не легче? Не отпускает? Давление не снижается. Аритмия.

Забираем.

В реанимацию.

Через полчаса, после очередной кардиограммы, растелешенный, он очутился в просторном реанимационном зале в окружении врачей и сестер.

– Что зачастили? Понравилось у нас? – пошутил кто-то.

– М-мм...

... боль. Боль. Боль.

Она неукротима, как взбесившийся зверь.

Нет с ней сладу.

Хмурая, чем-то возбужденная, взбудораженная сестра склонилась над ним, ширнула иглой в запястье, досадливо передернулась.

– Фу, блин!

– Что? Вена плохая?

– Лопнула!

Пощупала чуть ниже, резко, с нажимом протерла смоченной спиртом ваткой, примерилась, ширнула еще разок, поморщилась.

– Фу, блин!

– Неудача?

– Опять лопнула! Дайте другую руку.

Сестра явно не в духе. Видно, конец рабочего дня. Домой пора.

А тут возись с ним!

Ширк-пырк. Трах-бабах. Кое-как внедрила в вену катетер, обклеила тяп-ляп, укрепила пластырем крест-накрест.

– Не «блин» надо было говорить, а «бисмилля».

– Что-о? – сестра ошпарила его черным взглядом – Что еще за «бисмилля»? Казах, что ли?

– Не совсем, но близок.

Один доктор. Второй доктор. Третий. Капельница. КМА. Изокет. Таблетки. Уколы.

– Сейчас полегчает.

«Сейчас» наступило часа через два. Боль начала нехотя отступать. Дыхание налаживалось. Еще через час боль смирилась, улеглась, утишилась. Точно змея уползла в нору. И под мерным кап-кап-кап он провалился в спасательную дрему.

Ночью он малость оклемался, прислушался. Оказался в знакомом реанимационном зале, в котором он уже однажды бывал, за ширмой тихо постанывала женщина, временами взывая к Аллаху. За ней стояла еще ширма, крихтит мужик, без конца требуя к себе внимания, далее расположилась еще некая пожилая дама, хриплым

прокуренным голосом монотонно напоминающая, что ее пора перевести в свою палату в отделение; далее – ближе к краю зала – разместились еще двое бедолаг, к которым хлопотуньи-сестры то и дело спешили гурьбой по первому зову. Боль тупо отзывалась в сознании. Бог весть, чем меня напичкали, накачали, одурманили. Загрузили онемевшую плоть всласть, по завязку. Восприятия затормозились, мозги затуманились, все вокруг покрылось, затянулось пеленой, все зыбится в нелепой мешанине реального и ирреального. Стараюсь стряхнуть этот тяжелый обморок – не получается. Будто на мгновение вырываюсь из топкого омута, в который снова окунаюсь с головой.

Мерещатся вороха рукописей, давних, уже пожелтевших, закручивавшихся по краям и еще недавно начатых, исписанных то внятным крупным почерком, то мелкой-мелкой неразборчивой вязью; и я их разглядываю через лупу, и эта таинственная вязь уводит меня, затягивает в сутемную пучину. И я с усилием вновь выплываю, стряхиваю блажь и оказываюсь замурованным грудями неподъемных фолиантов; потом вдруг попадаю в старый отчий дом на берегу Есиля, сталкиваюсь то с отцом, то с матерью, то с сестрами, переселившимися ныне на ташкентский погост. То вдруг вижу себя в киргизском аиле, и Чингиз Турекулович показывает мне какую-то свою рукопись на киргизском языке. И я ее читаю вслух и все понимаю. Потом, неведомо каким образом я сижу в своем колченогом продавленном кресле за своим старым письменным столом, в крохотном кабинетике и выписываю на бумажке предстоящие неотложные дела: составление книжки для детей, книгу воспоминаний, рецензии и отзывы на несколько книг, продолжение «Плетенья чепухи», предисловие к «Четвертому Риму» Мориса Симашко, материалы для «Литературной Алма-Аты», для «Простора», «Парасата», «Керуена», тщетно вспоминаю, кому что обещал, и мне все тревожней на душе, ибо с отчаянием вспоминаю, что не успеваю, не успеваю, не успеваю, если проваландаюсь в реанимации.

Тяжко мне, тяжело.

Особенно от сознания, что от моей воли и характера ничего уже, кажется, не зависит.

Я все же перебарываю себя и с трудом выбиваюсь из толщи воды и улавливаю больничные звуки, скрипы, лязги, шорохи, стоны, перекличку разных аппаратов, щелчки, шлепки, посвисты, стук и бряк, приглушенный шепот, суету и беготню сестер и санитарок.

— Гульнара, ты где?

— Сымбат, срочно в третью палату!

— Багдагуль, давление какое? А сахар?

— Ида! Жанна! Татьяна! Булбул! Айнур! Ельнур!

— Эй! Ай! Уй! Ух! Бух!

Суматоха, как на кырмане-току в страдную пору. Я вновь впадаю в тяжелую дрему-дурман. Опять караваном проплывает жуткая мешанина из диковинных картин, химеры наслаиваются, исчезают, испаряются, сменяются, как в калейдоскопе, и я оказываюсь в разных слоях времени и пространства и никак не различу границы сна и яви.

Все смешалось, перемешалось, сплелось.

Все плывет, зыбится, вспыхивает и потухает, гаснет, истаивает, клубится. Вслед за Морисом выплывают из мрака знакомые лица моих коллег, приятелей, друзей, их много-много, они давно уплыли во всесокрушающем потоке, обитают в иных пределах, далеко за горизонтом, за горами, за долинами, за облаками, в царстве звезд, и их больше, больше, больше тех, кто еще до поры до времени гостит на этой не очень милосердной земле.

И вот из забвения предстал перед моим воспаленным взором диковинный мангышлакский каньон, заросший по краям колючками, кустарниками, кривыми чахлыми деревцами, с жуткими каменистыми выступами, похожими на фантастических чудовищ, изъеденных ветрами, дождями, солнцем, с испещренными звериными и людскими тропами, с песчаным валунистым ложем, с крутым обрывом, по отполированной стенке которого льется-плещется-булькает-грохочет-искрится вода, непрекращающийся веками водопад, прозрачный и знобяще холодный даже в нестерпимый мангышлакский зной.

О, да... это было, было, было... Помню, славный сын того края Абиш, возглавивший наш поход в этот каньон, уверенно спускался по крутой узкой тропе, и мы – писатели, ученые, журналисты, участники культурно-просветительской программы, – цепляясь друг за дружку, упорно спускались по обрыву в каньон, доносивший прохладу из утробы Земли.

И я вижу, узнаю всех своих друзей – Зейнуллу Сериккалиева, Зейнуллу Кабдулова, Балгабека Кыдырбекулы, Кадыра Мырзалиева, слышу их голоса, шутки, остроты рифмованные экспромты. Все они за последние годы покинули нас, опечалили, осиротили наши души, а вот теперь, когда меня милые эскулапы старательно реанимируют, ушел и выдающийся композитор, деятель-азамат, яркая, колоритная личность Еркегали Рахмадиев, который также был среди паломников мангышлакских достопримечательностей.

...Да-а... Все мы бредем по краю обрыва, и нас, современников-замандасов, остается все меньше, меньше.

Что ж... ропщи – не ропщи, такова доля всех, кто однажды посетил земную юдоль.

И что? Можно обо всем этом не думать? Если Творец озарил, одарил тебя сознанием и зрячей душой?

Нет, не думать не могу, хотя и бодрюсь из последних сил.

Доносится сквозь пелену голос любезной Шынар, дочери моего давнего знакомца-коллеги Сарбаса.

– Не храбритесь, не бодритесь, не активничайте: у вас все-таки инфаркт.

«Четвертый», – подсказывает в уголке сознания злорадный Азазель, а Шынар, свидетельница и диагностка всех моих сердечных дел, добавляет:

– И ни о чем не думайте.

– Как это?

– А так. Что случилось, то случилось. Относитесь философски.

Легко сказать! Кем же надо быть, чтобы ни о чем не думать. Разве что толстокожим носорогом?..

Группа белохалатников обступила мое ложе, что-то советует, каждый на свой лад подбадривает.

Опытный кадр, поджарый Аха, курировавший знатных персон, изрекает:

– Главное: не унывайте. Если седок не уверен, и конь под ним не скачет.

«Мудрая сентенция, – отмечаю про себя, – можно будет использовать в какой-нибудь статье».

Вижу: дамы в белых халатах ухмыляются. И седок, и конь, видно, померещились им совсем в ином смысле.

Я посетовал на то, что на восстановление уйдет много бесценного времени.

– А у меня уже своего времени не осталось...

Еще один белый халат тотчас отзывается:

– Всегда надо чем-то жертвовать, чтобы чего-то достичь. После четвертого инфаркта вам надо себя сильно побережь. Вы, слава богу, и так немало сделали. Рейтинг у вас вы-сокий.

Слышу давнее признание Абдижамила: «Ой, как я сильно хворал! Думал: откину копыта. Подумаешь: всем положено уходить. Да надо бы что-то совершить». Увы, редко кому это суждено. Разве что олимпийцу Иоганну Вольфгангу Гете...

– Я вас не агитирую, не уговариваю, не навязываю ничего, – заговорил у моего изголовья моложавый джигит в ослепительно белом, тщательно отглаженном халате. Человек опрятный, располагающий, с твердым, умным взглядом.

Догадался: один из ведущих хирургов, о котором врачи прожужжали все мои уши: «Золотые руки. Кудесник».

– Вы должны знать: каждый инфаркт – это отмирание миокарды. А клетки, к сожалению, не восстанавливаются. Четвертый инфаркт – это очень серьезно. Дальше будет еще хуже. Какой-то может быть роковой. Опять-таки возрастной фактор. Риск большой. Поймите: без аортокоронарного шунтирования не обойтись. Вам нужно не только шунты ставить, но и клапаны заменить. У вас, если откровенно, работает только половина сердца.

Вспомнил: мой друг Абиш признался в беседе с Кулбеком, что у него ныне функционирует лишь

половина мозгов. У меня же, выходит, лишь половина сердца. Невесело. Тащимся, бредем, получается, по краю мангышлакского каньона.

– Спасибо, Серик, за откровенный разговор. Я вам верю. Дело в том, что я мысык-табандап приближаюсь к 80-летию. И мне надо бы издать еще пять-шесть книг. Может, дотяну? Потом мои друзья, Шота и Аманжол, прошли в моем возрасте операцию АКШ, но они также не вылазят из больницы и санатория. Так какой смысл?

– Смысл в продлении качества жизни. Вы говорите о 80-лети, а после шунтирования проживете еще пять-десять.

– А зачем, милый доктор? Ну, издам все рукописи, перестану марать бумагу, совсем одряхлею, буду не жить, а прозябать, после всех мук и рисков. Ради чего?

Серик немного смешался.

– Ради жизни.

– После восьмидесяти лет?! Когда ты превращен в развалину?!

– Жить интересно и после девяноста.

– Не уверен...

За операцию агитируют меня все, в один голос, как сговорились, и в искренности моих эскулапов-азаматов я ничуть не сомневаюсь. Все они желают мне добра и благополучия.

И во время утреннего обхода, немного церемонного и пышного, с сохранением неведомой мне субординации, глава консилиума, весьма серьезная дама, строго изрекла, как окончательный вердикт:

– Готовьтесь!

– К чему?

Совет прозвучал несколько двусмысленно, и строгая дама поспешно поправилась:

– К операции!

Совет, наверное, разумный. Но у меня нет ни уверенности, ни убежденности. Я ведь человек интуиции, доверяю некому внутреннему зову.

– Видите ли, почтенные. Я вообще-то атеист. Но не воинствующий. И с некоторых пор прислушиваюсь к Голосу, который диктует свою волю. И безропотно ему

подчиняюсь. Я верю в Абсолют, в высший Разум, в некую Силу. А Голоса свыше нет. Знака нет. Понимаете? И я жду.

Члены консилиума переглянулись, сдержанно усмехнулись. Видно, от меня такого признания не ожидали.

— А потом, я вырос в казахском ауле, в казахской среде. И казахи мудро утверждают: сколько предначертано тебе лет, столько и проживешь. Мне это по душе.

— Да-а... Но на Бога надейся, а сам не плошай.

— Бог-то бог, да сам будь не плох.

— А медицина тогда зачем?

— Ладно. Будем ждать голос.

— Что должно быть, того не миновать.

— Что должно быть, то и будет. А что будет — то уже было.

На четвертые сутки перевели из реанимации в палату. И все здесь знакомо. Бывал не раз. И лечащий врач — давняя знакомая, милая Сауле, заботливо подбирающая арсенал лечения. Е-е... ничего нового под луной.

Новое — только соседи по палате. Человеки всегда интересны и неповторимы. Мне большей частью везет. Повезло и на этот раз.

...Серику Б. 75 лет. Физически, крепкий, закаленный в жизненных бурях, мобильный казах. Прошел, как говорится, Крым и рым. Обладатель многих профессий. Авиатор. Летал. Лет семь представлял в Китае. Учился в Москве в престижном вузе. Работал в ЦК Казахстана. Объездил Европу, Америку, Северную Африку, Южно-Восточную Азию. Очень современный, деятельный. Спортсмен. Огромные связи. Контактный. Открытый. Здравомыслящий. Все понимающий и все умеющий. Всем интересующийся. Жена — кандидат наук. Двое взрослых, одаренных детей. Оба бизнесмены. Один внук учится в США, другой в Швейцарии. И еще двое-трое подрастают, тоже проявляют способности.

Я им любуюсь: колоритный казах. Видный. Крепких корней. Матушке 99 лет, а еще мобильна.

Правда, сердце у Серика немного шалит, хотя аортокоронарное шунтирование провел в Германии.

Обнаружилась легкая одышка. Читает. Забавляется компьютером. Большинство власть предержащих его знакомцы. Со многими из них сотрудничал.

Мы сразу же нашли общий язык. И мне было с ним приятно общаться. Единственный недостаток, который я в нем обнаружил, – несколько скованная казахская речь. Он всю жизнь больше вращается в русской среде. И ему легче общаться по-русски. Рассуждает он, конечно, иначе, чем доморощенные нацпаты. Его угнетает наша экономическая отсталость, потеря былых критериев и ценностей, разруха в системе подготовки кадров, образования, медицины, культуры труда и управления, бессистемность, хвостовство, политический треп, неумная болтовня, отсутствие научно выверенных критериев, неясность цели, зыбкость перспективы, духовный и нравственный разброд и шатание. Тотальное рвачество погубит наше общество. Сколько можно продержаться на советских ценностях? За годы независимости потерь значительно больше, чем обретений. Истинную перестройку Серик увидел только в Китае. Ему и принадлежит XXI век. То, что происходит у нас сейчас во всех сферах, обернется большой бедой, карой, расплатой. Бессистемность, нечеткость управления процессом – наша погибель. И несложно провидеть наше грядущее.

Коррупция – наша национальная трагедия. Борьба с нею – фарс, химера, обман. Отсутствует мотивация честного созидательного труда.

Простая истина: карман к гробу не пришьешь – нам недоступна.

Ход мыслей бывалого и трезвого Серика Б. мне симпатичен и созвучен. И мне было жаль с ним расставаться.

Я обитаю среди казахов с 1941 года, знаю этот народ прилично, прирос к нему сердцем, душой, языком, и все же, видно, знаю недостаточно, образовались новые пласты, сложилось незнакомое племя, которое еще нужно понять, осмыслить, ощутить во всех параметрах.

Все на свете кардинально меняется. В том числе и вековые традиции, нравы, ценности, ориентиры.

Что прошло – прошло. Настраиваться надо на грядущее. Иначе будешь обречен плестись в хвосте кочевья. Свято место пусто не бывает. Не успел удалиться Серик, на его место в палате первой кардиологии заступил Амантай М.

Но сначала сестра занесла его пузатый щегольский портфель, а через некоторое время объявился и сам клиент: невысокого роста, в очках, со строгим выражением лица, с достоинством и уверенностью во всем облике.

«Преподаватель вуза», – решил я. Оказался финансист. Кандидат экономических наук. Был замом какого-то министра. Лет на десять моложе меня, а по части болезней и разных испытаний куда опытней. «Недипломированный профессор-кардиолог», – пошутил он. Два инфаркта «отхватил» раньше меня; шунтирование сделали в Турции; за последние годы поставили пять стентов. И опять обнаружили нелады. Опять предстоит коронаграфия. Родом из Кокпекты. Служил в армии. Белый свет изрядно познал, пока «двигал» легкую промышленность в республике. Лицом больше похож на корейца, бурята или монгола. Все происходящее воспринимает с казахской колокольни. Увлеченно – от корочки до корочки – читает «Дат», «Адам», «Трибуну», регулярно смотрит новостные программы. Но обожает и детективные фильмы. Обо всем имеет свое суждение. Едко отзывается о беспотолковостях в стране. Учился по-русски, но в ладу с казахским речестроем.

Пространство наше ограничено палатой. Тары-бары-растабары обо всем на свете. Говорим о чем угодно, а неизменно сворачиваем на тематику текущего момента.

– Похоже, крысы удирают с корабля. Похоже, все учуяли неизбежные перемены. Все разворовали, растащили и теперь делают длинные ноги, кто во что горазд. А грызутся пауки в банке – жутко читать. Где честь, где достоинство, где совесть?! Все обменяли на акшу, акшу, акшу. И так наловчились – хватают-хапают средь белого дня, никого не боясь, никого не стыдясь, раз-два – и в дамки. Ищи ветра в поле. За кордоном

целые казахские колонии образовались. Народ свой ободрали в липку, а дурачат, как последнее быдло! Тьфу! Такая страна, такое богатство – и за двадцать лет все коту под хвост.

– Боюсь, что – поддерживаю я, – все обернется большой заварухой. Предстоит грандиозный былыкбай. Элита, действительно, сбилась с панталыку. Меня одно поражает: славные национальные азаматы, сплошные ыгаи и сыгаи, сливки нации в большинстве своем имеют аульные корни. Их сызмальства учили казахским ценностям, настраивали на здоровые народные нравственные ориентиры. И с чего это вдруг они так грабят-насилуют страну, обворовывают свой же народ? Они же, как волки, терзают свою добычу – Казахстан! Как такое может быть? Чем и как это объяснить? Вот я, к примеру, иноземец, чужого рода-племени, пришелец, спецпереселенец, но во мне сидят Есиль-река, аул, березовые колки, старицы-бочаги, овраги, тропинки, степи, люди Казахстана. Я не мог бы все это предать, продать ни за какие корджуны золота, не мог бы жить ни в России, ни в Германии, ни в каком-нибудь Лондоне, Абу-Даби, Анкаре. А иной казах, нахватав миллиончик-другой, запросто сигает за кордон. Поминай как звали. И о независимости или о патриотизме, об атамекене и не помышляет. Что это за феномен? Где остались национальная литература, искусство, менталитет, идеалы, песни, батырские сказы, наконец?!

– Намыс жок! – резко выпаливает мой собеседник-сопалатник. – Честь потеряли! Совесть, разум утратили... Вот я живу на Держинского. На каждом углу тусуются мои кандасы-соплеменники из аулов. В китайском тряпье, в вонючей китайской обуви, шумные, крикливые, с дешевыми мобильниками. Готовые на любую работу. Зайдешь в магазин – они же грузчики, неси-подай, тяни-толкай. На базаре опять-таки они тележки толкают. Орут: «Ноги, ноги!» Бишара! И жалко их. И стыдно за них. Живут за городом как попало. В саманных пристройках, на заброшенных дачах, в лачугах. Ужасно! Зарабатывает этот бедолага-сорлыбай за день кое-как на чай-пай, на нан-май, на чекушку и

доволен. Е-е, кудай, бергені не шукірі! Слава Аллаху! Бисмилля- ирахманрахим! А что дальше? Что завтра? Что будет с детьми? Что вообще их ждет? Ай беда! И он не думает. И те, что наверху, о том голову не ломают. А зачем? Баба его во дворце в Швейцарии сидит. Сам он миллионами ворочает, разными красотками забавляется. Чихать он на все хотел! По «Хабару» трендит: двадцать тридцать, двадцать пятьдесят! Мы самые-самые! Весь мир смотрит на нас. Поражается нашими темпами. Атаңныңбасы!!!

...Слушаю горестный монолог соседа по палате, предаюсь своим думам, лежу под капельницей. Кап-кап-кап по жилам-сосудам изокет с аспаркамом. Приходят на ум саркастические строки незабвенного Калтая: «Ак сиса, кызыл сиса, сиса, сиса. Мен алып жатырмын капельниса...» Мир казахов сложен, неоднозначен. Те казахи, которых я знаю и с которыми большей частью общаюсь, – выходит, лишь часть казахов. Фактически существует огромный пласт нации, который к исконно казахской культуре, истории, литературе, ментальности, языку ровным счетом никакого отношения не имеет. Они, как выражается поэт Шаханов, только «по мордиям» казахи, то есть, по внешнему облику, а по сути некий иной этнический продукт, отражающий своеобразие времени и обстоятельств. Но как бы там ни было, все равно казахи. Ни к какому другому этносу их не пристегнешь. Сабит Муканов, помнится, говаривал: «Старый урус мусульманином не станет».

То же самое и с казахом: трижды прокрути его через мясорубку – не станет он ни урусом, ни шуршутом. Впрочем, это можно сказать и о других. Например, о российских немцах. Получается, казах, но не совсем. Немец, но с примесью. Не сразу определишь: подпорченный или обогащенный. Тысячи и тысячи казахов учились в русских школах, окончили российские вузы, поневоле внедрили в русскую культуру, объездили белый свет, работали или работают за рубежом, шпрехают или спикают на иных наречиях. Они дипломированные специалисты, занимают в обществе и государстве высокие

должности, мыслят масштабно, и их не волнуют те, казалось бы, острейшие проблемы, о которых так рьяно, зачастую исступленно пишет казахская пресса. Я с такими казахами, заметно оторвавшимися от всего сугубо национального, но так или иначе работающими на имидж государства, встречаюсь нередко. Мне они кажутся интересными, хотя нацпаты склонны их казахами не считать. Но это совсем не значит, что нацпаты по достоинству и качеству выше их. Наоборот, они, новые казахи, живут в своем универсальном мире, являются очень современными людьми и совсем не страдают от того, что не соответствует каким-то критериям, представлениям так называемых таза (чистых, подлинных) казахов. В обществе у них своя ниша, которая, похоже, разрастается, расширяется с каждым годом. Более того, им совсем не хочется быть «таза» казахами, их вполне устраивает, что они «шала» или даже «ада». Комплекс неполноценности им абсолютно не свойствен. Зато они овладели такими профессиями, заворачивают такими делами, познали столько всякого разного, чего «таза» казахам и не снилось. Сталкиваясь с таким национальным пластом, я порой начинаю сомневаться в своих представлениях и предрассудках. Надо полагать, я не всегда прав в своих казахских мотивациях.

...Вырвался-таки на балкон. Ах, благодать! Ясное небо. Птички ликуют, на все лады чирикают. Пахнет солнцем и распустившимися почками. Горы окутаны хмарью. Как хочется малость окрепнуть, восстановиться и вернуться домой! Домой, Домой! Дома и стены, и родная жена помогают. Зашел в палату многоопытный Ахат Аминович, начал учить меня разным манипуляциям, якобы укрепляющим сердце. Старательно внимаю ему. А вдруг есть какой-то толк? Хотя бы для утешения. Утопающий хватается за соломинку. Впорхнули две милые казашки-санитарки.

— Агай, что вы все пишете? Вы акын? У подружки завтра день рождения. Может, сочините поздравительный стишок?

Вошел главный врач – молодой, миловидный, ухоженный.

– Как себя чувствуете?

Голос приятный, баритональный, очень знакомый.

Выяснилось: сын моего давнего коллеги.

– Ну, что? – спрашивает с улыбкой. – Голоса слыше еще не было?

Ясно: намекает на операцию.

Ратует за кардинальное лечение.

Ничего другого, мол, не остается.

– Ребята у нас – во! Сделают, как надо.

– Верю, верю. Да вот беда – нет знака. Голоса нет.

– Да будет вам Голос, ага! Нечего тянуть-откладывать.

– Жду.

Ясный день. Весна. Солнце. Я в раздумье. И жизнь прекрасна. А мы бредем по краю обрыва. Уже сорвались с него Сериккалиев, Кабдолов, Кыдырбекулы, Рахмадиев, Мырзалиев... На том свете друзей-приятелей уже больше, чем на этом. А человек – пенде. Цепляется за хрупкую нить, за соломинку до последнего. Кап-кап-кап по жилам-сосудам живительный изокет.

И что впереди?

Бредем, бредем-тащимся по краю обрыва...

*Апрель 2013 г.
Больница. Палата № 3.*

ДОМ-ПРИЗРАК

...Этот дом – громоздкий, нелепый, сорокаэтажный – я навещаю часто. Он призрачен, окутан зыбким маревом, бесконечно тянется вширь и ввысь, на окраине города, на отшибе, к нему ведут дороги-тропинки с разных сторон, и все дороги вязкие, в ухабах-колдобинах, в рытвинах-ямах, в лужах, болотных бочагах, и потому добираться до этого мрачного дома трудно и неудобно. Вокруг до самого горизонта простирается пустырь, заросший серым кустарником, колючкой, сорной травой. Холодный ветер гонит по кругу сухие шары устели-поля.

Я выхожу из тряского, раздрызганного трамвая на последней остановке, долго хожу, спотыкаясь, по бездорожью, захожу в захламленный, обшарпанный, пропахший гнилью и мышами подъезд и терпеливо жду лифт, тоже старый, скрипучий, лязгающий проржавленными сочленениями, стальными тросами, со стертыми цифрами на потемневшей от времени медной панельке. Цифры расположены в странной последовательности, к чему я никак не могу приспособиться: после восьмерки идет двадцатка, после двадцатки – вдруг тринадцать, и лифт дергается то вверх, то вниз, то ползком, то опрометью, как ему вздумается.

В этом доме с некоторых пор обитают мои родители и сестры Роза и Эльма. Почему-то на разных этажах, в крохотных комнатushках, похожих на кельи.

Сам дом смахивает на многопалубный гигантский одинокий корабль, затерявшийся между небом и землей. Сплошная гиль, нежить, зыбь, сутемень. Дом густо заселен, набит молчаливыми, как тени, людьми.

И нет у него адреса. А, возможно, я просто его не знаю. Или никак не могу запомнить. О нем говорят: Дом на окраине города.

Но бываю здесь часто. Особенно в последнее время, когда мои родные и близкие переселились сюда.

Отец проживает на самой верхотуре. Выше, кажется, только два этажа. Лифт ходит нерегулярно и почему-то вначале делает далекие круги вокруг дома, по земле, точно сбившийся с пути троллейбус, потом с надрывом, напрягом, начинает набирать высоту, спрутом втягиваясь в смрадную трубу, подолгу останавливаясь на этажах.

Кто-то входит, кто-то выходит. И все молчат. Нажимают на стертые кнопки, путая этажи. Многие обитатели мне вроде знакомы. Когда-то, должно быть, их знавал. Да, да... Этого видел в Коктереке, этого в Каратале. Тех в Таразе, Байкадаме, а большинство в Алматы и Ташкенте. Я что-то им говорю, о чем-то спрашиваю, а они все молчат, как глухонемые. И никто меня не приветствует, будто знать не знают, или я прибыл с другой планеты.

Со скрипом-скрежетом лифт добирается только до 30-го этажа. Дальше нужно добираться пешком. И начинаются умопомрачительные лабиринты, переходы, повороты, линии, узкие коридоры, сумрачные ярусы и бесконечные ряды одинаковых дверей с таинственными знаками на углах.

Тесень жуткая.

Сколько раз бываю здесь, а запомнить, на каком этаже в какой каморке-келье обитает мама, папа, сестры, не могу. Будто память напрочь отбило. Каждый раз думаю записать, и все время что-то мешает. Беда! Брожу по лабиринту в полной безнадеге.

Страх, тотальный пропад.

Вот и сегодня, выйдя из лифта, застыл в липкой растерянности. Наобум поднялся на два этажа, с сердцебиением одолел подъемы и пролеты, спуски, переходы, тускло, еле-еле освещенные, и начал открывать первые попавшиеся двери.

За одной из них смутно, словно через толщу воды, вижу знакомого. В бороде, в усах, клочковатых бакенбардах, в нечесаной, ниже спины, шевелюре, похожей на конскую гриву, скрестив голые черные ступни, задрав крючковатый нос, в экстазе, иступленно наяривал на домбре и самозабвенно, но беззвучно пел. На темени его возвышалась лихо накрученная чалма с семигранной алой звездой.

Я застыл на пороге, присмотрелся: ба! Так это же Аскар... да, да... Аскар из Созака.

– Асеке, ты?! – спрашиваю радостно.

Он бегло косится на меня, продолжая неистово, всей пятерней хлестать струны домбры.

– Курмангазы – степной Бетховен, – говорит.

– Что-о?!

– А Таттимбет – печальник. Он тихо, отрешенно скорбит.

Аскар кивком бороды показывает наверх и внятно, со смаком произносит:

– Катарсис!

– Что-о?!

– Трансцендентальная, – бубнит, – апперцепция.

Я испуганно захлопываю дверь, иду дальше. Ноги подкашиваются. Сердце мелко-мелко частит.

Через несколько поворотов приоткрываю еще одну дверь. Растелешенный Мусрепов, сидя на продавленном диване, сам с собой азартно играет в преферанс.

– Габе! – говорю учтиво. – Ассалаумагалейкум!

Он медленно, нехотя отрывается от карт, цедит в растяжку:

– А-а... Бэл-гэр... Прибыл, значит?... Ну, добро пожаловать!

– Да нет... я... я... это так... невзначай...

Габит Махмудович небрежно махнул рукой. Иди, дескать, не мешай...

Немного озадаченный и раздосадованный безразличием классика казахской литературы к моей персоне (неужто забыл, что я его немного переводил на русский язык?), я пошел восвояси, поднялся еще на один ярус, чувствуя, что задыхаюсь от спертых воздуха

и вес сильнее припадаю на больную ногу, и только тут заметил, что не опираюсь на привычную суковатую трость, которую, видимо, оставил в лифте.

О, господи, как же я пойду дальше? И, вообще, куда я иду? И как же мне выбраться отсюда? Неужели никто из обитателей этого немого дома ничего не знает о моем отце? Неужто и здесь никто никому не нужен?

На всякий случай толкаюсь еще в одну дверь. Лежит на диване маленький, сухой, как пацаненок, поэт Кадыр и сосредоточенно строчит огрызком карандаша по бумаге. Вокруг, как опавшие листья, ворохом валяются пожелтевшие клочки, исписанные непонятной вязью. На шатком облезлом столе стоит старая пишущая машинка «Колибри», рядом висится аккуратная стопка писчей бумаги. Выходит, Кадыр стихотворит и здесь? Я смотрю на него, а он меня в упор не видит. У крохотного, как амбразура, окошка в колченогом шатком кресле сидит его закадычный друг-коллега Туманбай, выкатив из помятых бесформенных шальвар огромное, как кебеже, заросшее рыжей щетиной брюхо. Голова его то раздувается, как шар, то сужается до размера войлочного мячика, которым мы играли в детстве, из беззубого рта со свистом вырывается умильный лепет: «Ай, Тумаш... Эх, Тумаш- жан... Уй, Туманбай... Ой-хой, Туман-ага...»

Боже! Что стало с моими друзьями? Как они изменились за то время, как я потерял их из виду!..

В зыбкой темени, по развалившимся ступеням, пошатываясь, я поднялся еще на один этаж. Кажется, я выбрался-таки на знакомый ярус. Где-то совсем рядом должен быть мой отец. Поворот, еще поворот, закоулочек, третья-пятая дверь за углом. Нет! Видно, я все же не там свернул...

Ташусь через силу.

И тут, как во сне, сталкиваюсь с лицом к лицу с сухопарой, темнолицой, седой старушкой и застываю от неожиданности. Либер Хайланд! Неужели?! Это же моя бабушка Мария – Элизабет Зельцер, умершая еще на Волге в канун войны и депортации. О-о-о!.. Мне было тогда шесть с хвостиком, и я ее хорошо

помню, мою ому, носатую, косматую, с запавшими страдальческими глазами, всю в глубоких морщинах, строгую, не улыбочивую...

– Ома! Ома! – невольно вырвалось у меня.

Старушка скорбно пронзила меня черными глазами, поморщилась и утробным басом, как из бочки, промолвила:

– Какая я тебе ома?! Ому нашел! Я – Эльма!

И я узнаю в ней мою сестру... бедную, бедную Эльму, незадачливую, невезучую, горемычную.

Я остолбенел.

– Что? Не узнал? Не пугайся... Болезни никого не красят.

– Так... ты тоже... – почему-то шепотом говорю... – здесь... живешь?

Она осклабилась.

– Здесь, здесь... Куда денешься?... А ты к папе?

– Ну... Опять вот забыл точный адрес.

– Запомни! – Эльма поднимает костлявый палец. – 38-й этаж, третья линия, пятый ярус, шестой поворот, против террасы 201113-щ келья.

– «Щ»? – спрашиваю удрученно.

– Да, «Ша» с хвостиком... Щорс... щавель... щи...

– А телефон?

– Что-о?!

– Номер телефона помнишь?

– Хм-м... Здесь нет ни телефонов, ни домофонов, ни диктофонов, ни патефонов... Пошли!

Я покорно бреду за Эльмой. Чувствую: вот-вот рухну. Ноги ватные. Сердце трепещет у горла. С перебоями. Со свистом. С надрывом. Хлопая клапанами.

Бредем-тащимся целую вечность, будто из палаты в палату, из вагона в вагон, из закутка в закуток. И все запружено, забито человеческими тенями – бледными, зыбкими, невесомыми.

Наконец вроде дошли. Эльма толкнула дверь, и я увидел отца. В мятой рубашке, в залатанных штанах, в вязаном, обвисшем джемпере, в изношенных отопках, в соломенной шляпе с продавленной тульей. Длиннолицый, длиннорукий, высохший, тонкошей,

со слезящимися светлыми глазами. Точь-в-точь такой, каким я его видел в свой последний приезд в Ташкент на Байсунскую, 59 к его 90-летию. За столом сидели, нахохлившись, как вороны в ненастную погоду, две рыхлые бесформенные бабки неведомой национальности, а отец суетливо и неумело заправлял постель.

Моему появлению он обрадовался и одновременно смутился.

– О, mein Gott! Тебе сейчас уже сколько?

– Да вот... тебя догоняю.

Отец удивленно покачал головой.

– Вот видишь? Подселили меня. Тесно. Везде тесно. Просторно было только в Казахстане.

– О да... В Казахстане вольготно. Ширь без конца и краю. А мама разве не с тобой?

– Не-ет... – И отец заплакал. – Она... она в другой зоне. Туда не пройдешь. Я ее только один раз видел. По-прежнему легкая, стройная. Да-а... шестьдесят один год были вместе, а здесь очутились в разных зонах. И жаловаться некому. Райкомов, обкомов здесь и в помине нет.

Острая жалость к отцу пронзила меня. В нем появилась несвойственная ему смиренность и благость, кротость и виноватость.

Мы подавленно молчим. Бабки куда-то исчезли, испарились, улетучились. Будто растворилась и Эльма.

Мне грустно. Там, на земле, отец с мамой прожили в ладу и согласии более шести десятков лет – на Волге, в Казахстане, в Узбекистане. А здесь, в доме-призраке, их разлучили, поместили по разным зонам-этажам, хотя на ташкентском кладбище, Домбрабаде, они лежат рядом по желанию и воле отца.

Стало быть, в этом заоблачном призрачном доме нет справедливости.

Как и на земле.

– Счастлив ли Дух твой? – спрашиваю некстати.

– Ничего о Духе сказать не могу. Я ведь никогда не задумывался о том, что такое Дух. Полагал: химера. Выдумка. А тело, плоть охвачены нежитью.

– А как проводишь время?
– Здесь нет времени.
– Как это?
– Вот так – нет, и все. Остановилось. Здесь вообще ничего нет.

– Забавно...
– И пищи нет. И забот никаких. И желаний... Нет даже, – отец перешел на шепот, сконфузился, – туалета.
– Ужас!

– Никакого ужаса. Просто в нем, в сортире, нет надобности.

Непо себе мне стало. Я как раз в этот миг почувствовал эту самую надобность. Выходит, надо скорее удалиться, а то еще осрамишься невзначай.

Жалко отца. Он всю жизнь – с раннего детства – вкалывал-пахал, как батрак, никогда не сидел сложа руки, ни себе, ни другим не давал покоя, и вдруг отпала надобность во всем – в трудах, деяниях, хлопотах, порывах, намерениях – не осталось смысла.

Свихнуться в пору.

– Слушай, а ты где живешь? В Казахстане или Узбекистане?

– В Казахстане.

– Давно?

– 72 года.

– Год – что такое?

– Большой отрезок времени.

– Здесь годов нет. А Узбекистаном все еще Каримов правит?

– Он!

– А Казахстаном?

– Назарбаев.

– Давно?

– Порядочно. Обоим ныне за семьдесят.

– Ай, пацаны еще! – заключил отец. – Пусть сидят.

Я не возражаю. Для отца они, наверное, в самом деле пацаны. Сколько же моему отцу? Знаю, что за сто, а подсчитать никак не могу. Кажется, я сам приближаюсь к восьмидесяти. И для отца наверняка я тоже пацан.

Ведь ему и невдомек, сколько он обитает в этом доме-призраке.

День – или ночь? – на исходе. Тишь. Пасмурь. За узкими окнами-бойницами густеют тени. Далеко мерещатся очертания гор. Им тоже неведомо время. Над их пиками, между кудлатыми облаками вроде как луна проплывает.

Отец плачет. Рукавом вытирает слезы.

Я обнимаю его и тоже плачу.

Сердце мое окаменело. Дыхание обрывается.

Откуда-то льется-просачивается голос:

«Пора мой друг, пора...»

И я опять бреду по коридорам, ярусам, галереям, этажам, за поворотом – поворот, за кельей – келья... лабиринт – муравейник... господи, доберусь ли я до лифта, выберусь ли из этого сумрачного обиталища теней?..

Тяжко мне, тяжело. От боли, от одиночества, от беспросветья, от отчаяния, от губительной смуты на душе.

Нет сил. Нет желания. Нет воли вырваться из плена, из тлена.

И тут я просыпаюсь.

И не сразу соображу, где нахожусь, когда и как я выбрался из громадины между небом и землей.

Занимается новый день. Из-за стекла книжного шкафа взирают на меня молча и сочувственно Гегель, Гете, Шиллер, Гейне.

Господи, я жив?!

Ощущение жизни медленно возвращается ко мне. Сердце с надрывом хлюпает в горле.

Тук-тук... хррр... провал; тук-тук-тук... сссс... провал.

Еще не пропад?

Рука тянется к перу и к бумаге. Попытаюсь, если получится, описать мое наваждение, мое приключение, мое свидание с отцом...

2013 г.

ЛУКУЛЛОВ ПИР

(из цикла «О, казахи мои!..»)

Давно это было. Вспоминаю, вспоминаю этот случай с радостью, как светлый сон на заре. Так поступает только казах, истинный казах, щедродушный степняк.

Ныне и такие встречаются все реже. Реальность вносит свои коррективы.

За давностью лет я имени его уже не помню.

А его самого помню, приземистого, плотного, с тубетейкой на бритой голове, в рубаше со стоячим воротником, владной безрукавке с рядом перламутровых пуговиц, с шелковой прокладкой, с кармашками на груди и по бокам. Смуглолицый, с редкой бороденкой, открытый, приветливый и красноречивый. Ладно, красно плел словеса на казахский манер.

И байбише его помню, в белом кимешеке, плюшевом камзоле, длинном до пят цветастом платье с оборками. Туготелая, широколицая, гладкая, с подчеркнутым достоинством. Чувствовалось: хозяйка что надо, и цену себе знает. Она умело хлопотала у пузатого и изрядно помятого самовара, раскатывала тесто на эластичной, выбеленной от мездры козьей шкурке. Она прислушивалась ко всему, что происходило вокруг, но в разговор мужа и его юных гостей не вмешивалась.

А вокруг по двору сновал табунок чумазных, чернявых, голопузых ребятишек мал-мала меньше и резвился с щенятами, с ягнятами.

Спросишь у казаха: «Сколько у тебя детей?», ответит уклончиво: «Е-е, бегают тут четверо-пятеро».

А произошло все вот как.

Нагрынули мы с моим однокашником по институту

Казбеком в какой-то аул неподалеку от тогдашнего районного центра Байкадам. Казбек был родом из Актобе, я же уроженец Энгельса на Волге, а вырос в ауле в Северном Казахстане.

Ментальность северных, аргинских, казахов мне знакома с детства. А перед южными я тогда робел. Они отличались и манерами, и повадками, и нравами, и даже речью.

Мы с Казбеком только что обзавелись дипломами и по распределению Министерства просвещения прибыли в отдаленный район Джамбульской области учить местную поросль русскому языку и литературе.

Мы еще толком не устроились и были по-студенчески постоянно голодные.

«В том ауле, – поведал мне Казбек, – живет один сородич. Я его сроду не видел. Но мать пишет: непременно проведай его, передай салем».

Поехали, благо недалеко – 10–12 километров по-казахски рукой подать.

Хозяин располагался в саманном доме-корджуне с большим двором и огородом-бахчой за дувалом.

Казбек представился, назвал предков до седьмого колена, передал почтительный салем и указал на меня.

– Гера. Немыс. По-казахски кого угодно за пояс заткнет. Мугаллим.

Хозяин принял радушно, сказал: «Бәрекелді! Проходите!»

Мы скинули у входа обувь, прошли на тор прохладной и затемненной комнаты, подмяли под бок подушки, поблагодарили хозяина- отағасы.

Беседа с некоторым скрипом налаживалась. Хозяин пристально вглядывался в нас, как бы примеривался. в какой тональности вести разговор.

Казбек быстро иссяк. Красноречием он никогда не отличался. От волнения его толстый ноздреватый нос обильно вспотел. Хозяин переключил свое внимание на меня.

– Какого рода-племени будешь?

– Атығай, – ответил я без запинки.

– Может, Керей, раз зовут тебя Гера?

- Нет, Атығай.
- Не дейды?! Какой Атығай?
- Есть на севере такой род – Атығай-Қарауыл.
- Интересно! Впервые встречаю немца-атығайца. А мы – тама!

Мне это ни о чем не говорило, в казахских родословных-шежире я, можно сказать, совсем не разбираюсь. Моя немецкая голова разумеет это не в состоянии.

Угостили кумысом с душком прокопченного кожаного бурдюка. Большую расписную чашу с пузырящимся прохладительным напитком мы осушили в три приема и почувствовали, как бодрящая влага точно прокатилась-просочилась по всему телу. Потом долго пили чай с каймаком, с рафинадом, баурсаками, иримчиком, изюмом-курагой, конфетами-мәмпаси, тандырными лепешками.

Обильный дастархан поднял дух. У Казбека вспотел не только нос, но и скулы, шея, затылок, уши. Глаза замаслились, ушли в щелку. Байбише кинула ему на колени полотенце. Я почувствовал, что у меня горит лицо, запунцовели щеки и дыхание участилось.

Хозяин сыпал поговорками, шутками, цитировал стихи, строки казахских жырау. Он явно был искусный говорун, за словом в карман не лез. И я напрягся, стараясь не ударить лицом в грязь.

– А этот Құрышев в самом деле силен? Или просто тепло?

Я догадался, о каком Құрышеве речь, ответил уклончиво.

– Должно быть, силен, коли страной руководит.

– Ай, не знаю! До Ыстыкена какое ему дело? На хвост, что ли, ему наступил?

Я промолчал: говорить о Хрущеве и Сталине я был не уполномочен. Да, признаться, я устал от них.

Байбише, временами по-бабьи цокая-пощелкивая язычком, подбадривая мою казахскую речь, когда я вставлял-вкрапливал редкие модные словечки, только успевала разливать чай. Так щедро меня никто еще не угощал, ни казахи, ни немцы, не говоря уже об урусах.

Наелись до отвалу. Я посмотрел на Казбека. Пора, пожалуй, и честь знать.

– Брось, Геражан, на часы не смотри, – предупредил хозяин, привычно пощипывая куцую бороденку. – Скоро мясо сварится, баранью голову преподнесу.

Вот-те раз! Зачем я налегал на баурсаки с каймаком и столько чаю выхлебнул? Неужели хозяин в нашу честь ярку порешил?

Действительно, вскоре занесли большой подностабак с горкой дымящегося мяса с матово отливавшимися сочными по краям, с лучком, с крутым бульоном. Мне на плоскую тарелку положили опаленную баранью голову с большим острым ножом. Я смутился: такой почести я за всю жизнь удостаивался впервые. И как я справлюсь с ритуальными обязанностями почетного гостя? Но тут меня осенило: вспомнил древнее казахское поверье.

– Аға-еке! Я польщен и благодарен. Но у меня, слава Аллаху, жив- здоров отец. И баранья голова по традиции предков мне вроде не полагается.

– Вон как! Жөн, жөн, Геражан. Пусть тогда голову разделывает айналайын Казбек. У него-то отец давно погиб.

Казбек полотенцем осушил потный нос, принялся орудовать ножом, будто всю жизнь только этим и занимался, отрезал от бараньей головы хрящеватые уши у самого основания, губы, язык, раздал кому что положено, обработал щеки, затылочную часть, вырезал глаза, управился ладно-складно, как повар с картошкой.

Хозяин остался доволен. То и дело приговаривал:

– Э, бәрекелді! Джигит!

Ели бесбармак руками, ловко загребая пальцами куски мяса с сочными; тонко нарезанный курдюк проглатывали не жуя. Хозяин всячески подбадривал нас, явно довольный нашим аппетитом.

Ели долго, не торопясь, с трудом подавляя отрыжку. Такой вкуснятины за студенческие годы отведать не приходилось. Между тем через открытую дверь было заметно, что солнце подкралось к горизонту. Я покосился на часы.

– Ай, Гера, – опять перехватил мой взгляд хозяин.

– Куда торопишься? Спешка – шайтаново дело. Сейчас нам поднесут сорпу с куртом. Потом малость проветримся, походим по двору. А там почаяевничаем, хозяйкиной выпечкой побалуемся. Чак-чак отведаем. Как же иначе?

Я всерьез встревожился. Последний раздрызганный автобус-коробочка в Байкадам пройдет здесь часов в семь вечера. Успеем ли?

– Не дергайся, Геражан, – ухмыльнулся хозяин. – Всему свое время. Вы – редкие гости. Заночуете.

Я заметил, что мой кореш Казбек уже настроился на такой вариант.

Чай пили с топлеными сливками, с мятой. На большой тарелке золотился чак-чак с кунжутом, густо облитый янтарным медом.

– Ай, аға-еке, такой пир закатали! У немцев это целая свадьба! Лукуллов пир!

– Скажешь тоже, Геражан! Какой пир? Какая еще свадьба? Обычное казахское угощение.

Бату-благословение по ритуалу произнес сам хозяин. Пробормотал несколько молитвенных арабских слов, потом перешел на казахский:

– Да будет усеян ваш путь цветами! Да сопутствует вам всюду удача! Да улыбается счастье на вашем поприще! Да украсит вашу жизнь спутница-келин! Да возрадуют вас потомки! Да будет открытым ваше небо и высоким ваш шанырак! Да будет незыблем ваш остов! Да не покинет вас благословенный дух предков!

После каждого благожелания хозяин делал паузу, и байбише одобрительно восклицала:

– Әумин!

Потом и Казбек подтверждал:

– Әумин!

И я солидно заключал:

– Әумин! Да будет так!

Свернули и убрали дастархан. И от обилия трапезы нас с Казбеком стало клонить ко сну. Мы казались себе обжорливым удавом, только что заглотившим кролика.

– Теперь, вот что, джигиты, – сказал хозяин. – Пройдемся немного перед сном, заглянем в бахчу. Каждый должен выбрать дыньку или арбуз.

– Астафиралла! – вырвалось у меня. – Помилуйте, аға-еке! Лопнем!

– Не лопнете. В желудке для каждой божьей пищи уготовано свое местечко.

На юге – я заметил – темнеет быстро, я звезды зажигаются рано. Они стоят ниже, чем на севере, и кажутся крупнее. Пахло сеном, кизяком, дымом. Из бахчи веяло свежестью. За аулом надрывались лягушки. Где-то нехотя брехали дворняги.

Хозяин через калитку провел нас на бахчу.

– Поглядите. Выберите по вкусу парочку-другую.

Мы с Казбеком облюбовали две кругленькие дыньки, а хозяин присмотрел себе длинную, гладкую полосатую покрупнее.

Уже при свете керосиновой лампы мы опять уселись за кругленький, низенький столик и вскрыли-взрезали пахучие дыни. Сладкий тягучий сок тек по губам, по подбородку. Казбек все чаще вытирал свой распухший нос и незаметно распустил поясной ремень. Господи, сколько же влезает в человеческий желудок!

Хозяин продемонстрировал нам, как положено есть дыню. Длинные полоски он подрезал до корки на ровные дольки и всасывал мякоть одним махом от края до края. До чего же ловко у него это получалось! Глазки его сузились в щелку, уши подрагивали, по колючей редкой бороденке струился медовый сок.

– О каком пире, Геражан, ты говорил давеча?

– Лукуллов пир.

– А этот Лукулл – казах?

– Нет, римлянин. Консул. Богач и хлебосол. Еще до новой эры жил. До рождения пророка Исы.

– Ай, наверное, все же был казах. Сколько у него было овец, не знаешь?

– Не знаю...

– Должно быть, все же казах был. Табунами наверняка владел.

Постелили нам в правой боковушке на кошме и корпеше. Хозяева с детишками-карапузами перебрались в левую.

– Будем спать, не шелохнувшись. Как удав. Или крокодил, – сказал, мучительно рыгая, Казбек. – Наше дело спать, а желудок пусть варит.

– Да, – вспомнил я казахскую поговорку, – атынды сат, катынынды сат, жатарында тойып жат. Коня продай, жену продай, а ложись, брюхо набив.

Проснулись поздно. У изголовья стояли две чаши с кумысом. Мы осушили их залпом, потом прошвырнулись по аулу и снова уселись чаевничать.

– Бәрекелді, джигиты! Обрадовали, – заметил хозяин.

Байбише вручила Казбеку вместительную холщовую сумку с разной снедью.

– Гостинцы на дорогу...

Хозяин крепко обнял нас на прощание.

– Аман болыңыздар, джигиты. При случае заезжайте еще. Айналайын Казбек, маме передай сәлем. А ты, немыс-атығай, не унывай.

На подвернувшейся подводе мы, удовлетворенные, добрались да райцентра. Почудилось, что нам повезет на новом месте.

Много лет спустя я поведал об этом случае знакомым немцам из Германии. Расчетливые и экономные, даже прижимистые, они, кажется, не поверили.

А я ничего не выдумал, описал, как было.

2013 г.

АХ, БОШАЯН, БОШАЯН!..

I

Три месяца надсадно бухал в бочку, дышал, как загнанная лошадь, со свистом и всхлипом, все утешал, преодолевал себя: «А-а... пройдет...» Напрасно, не прошло, рентген установил – пневмония. Разумеется, и другие мои застарелые «иты», уютно угнездившиеся в моей хилой плоти, вмиг оживились, ошетинились, напомнили о себе. Так, бывало, разом начинали брехать аульные шавки, возбуждая друг друга. Ничего не поделаешь, надо укладываться на больничную койку, «проколоться», как выразилась молодая смазливая врач. Но в терапии местечка для меня так и не нашлось, все палаты оккупировали ныне платные, и обустроили меня – и то с трудом – в кардиологию. Утешили: ничего, одновременно подлечите и прогрессирующую стенокардию.

В трехместной, не очень-то удобной палате («временно, временно», – уверяли меня сестры и санитарки) я оказался один, тут же зашел врач, потом второй, допросили меня так и эдак, при мне листая мою пухлую, изрядно потрепанную медицинскую карту, прослушали, давление измерили, вслед за ними забегали смугленькие прехорошенькие сестрички с пилюлями, капельницей, инъекциями, вмиг искололи меня, и я, смиренный, послушный, приуныл, предался тягостным размышлениям.

По опыту я знал: строптивиться и докучать вопросами смысла нет, неделю с хвостиком будут усердно лечить, анализы брать, по процедурам гонять, по невесть какой методике всякую всячину всаживать в мое покорное тело, что после больницы я месяц должен приходить

в себя, как-то очухаться, преодолевать жуткую ломку, известную наркоманам.

Знакомый старый литератор, пребывающий больше в больницах, нежели дома, постоянно внушает мне: «Если есть возможность, надо почаще ложиться в стационар». Я же придерживаюсь противоположного принципа: «Покуда возможно, избегай больницы».

Вспомнился покойный друг Морис, писатель Симашко. Тот всякие больницы панически обходил за три версты, а если, помимо воли, попадал туда, в первый же день умолял врача: «Дорогой доктор, отпустите меня домой. Я абсолютно здоров». Все военные мытарства он стойко вынес, а на больничной койке более трех дней не выдерживал.

Кто спорит: современная медицина творит чудеса. Но... не утратили ли нынешние эскулапы в какой-то степени былые тайны, чутье, дар врачевателя, инстинкт, талант, не знаю, как точнее выразиться, не слишком ли уповают на диковинную аппаратуру, на дотошные анализы, на показания хитроумных методик, не увлекаются ли фармакологическими излишествами? Охотно допускаю, что мой дилетантский взгляд напрочь лишен каких-либо оснований, но сомнения остаются.

Вот, к примеру, дважды в год меня настойчиво вызывают на так называемый профосмотр, и я с «бегунком» шарахаюсь по кабинетам. Конечно, не я один – все, кто прикреплен к данной поликлинике. Таков десятилетиями сложившийся ритуал. Кабинетов, кажется, не менее десяти. Врачи по разным отраслям о чем-то расспрашивают и озабоченно что-то строчат в истории болезни.

– Что принимаете?

Перечисляю названия лекарств.

– Что вы?! – возмущается врач. – Это устарело! Не годится. Есть более эффективные средства.

И тотчас выписывает три-четыре новых лекарства. Выходит, то, что я пил до сих пор, – мур. По три-четыре новых лекарства мне каждый раз выписывает терапевт, потом – кардиолог, потом – уролог, невропатолог, лор, глазник, а хирург с ходу предлагает две-три операции.

– Оу, айналайын-ау, – говорю милой смуглянке в белом халате. – Если я буду принимать тридцать-сорок лекарств, что от меня останется? У меня же кишки сгниют!

И так каждый раз. Из года в год. И каждый раз мои прежние лекарства безнадежно устаревают.

Лежу, смотрю в потолок. Монотонно капает капельница. Кап... кап. Так уже несколько лет капает с потолка у меня в квартире. Надо мной еще восемь этажей. У кого-то продырявилась, прогнила труба, а у кого – расторопные сантехники определить не в состоянии. Кап... кап... Тык... тык. Посчитал: около семидесяти капель в минуту. Прикинул: одну бутылочку вольют в меня минут за сорок, а на штативе висит еще одна бутылочка, чуть поменьше, с мутным раствором.

А в промежутках делают еще какие-то внутривенные инъекции и ЭКГ снимают. Понятно: исходя из анализов и замеров, соответственно разработанной методике врачи делают назначения. И я опять ошестиниваюсь: не все ли слишком унифицированно, ведь надо же, наверное, считаться с индивидуальностью, каждый организм – мир, и не всякий двуногий похож на лягушку, не все деревья в лесу одинаковы, разве это не должно учитываться? Не знаю, не знаю...

Мой отец был всего лишь военным фельдшером, учился в 30-х годах прошлого века в Ленинграде, более тридцати лет заведовал фельдшерско-акушерским пунктом. Разумеется, ни ЭКГ, ни УЗИ, ни рентгеном он не располагал. А в человеческих недугах как-то разбирался и скудными средствами добивался многого. Это не я, его сын, говорю, а жители семи аулов, находившихся в радиусе его обслуживания. Я видел, как он внимательно, с таинственной сосредоточенностью вслушивался в пульс больного. Определял: жесткий, сухой, горячий, влажный, учащенный, резкий, вялый, аритмичный; подолгу выстукивал грудь больного, прикладывался ухом, прибегал к стетоскопу, осматривал язык, всматривался в глаза, заставлял стариков мочиться на снег, разглядывал цвет мочи, о чем-то расспрашивал, проводил какие-то манипуляции своими

чуткими пальцами музыканта-любителя на топчане за ширмой и визнавал хворости. Говорил: сердце, печень, почки, желчь, кишечный тракт, желудок, рекомендовал какие-то лекарства, микстуры, настойки, травы, диету.

По-моему, эти вековые премудрости диагностики нынешние врачи утратили. И в самом деле, зачем им пульс щупать, когда есть лаборатория, аппаратура, оборудование, анализы, химические штучки-дрючки, огромный медицинский арсенал?

В больницу я забрал с собой «Кабуснаме». Решил перечитать мудрые восточные советы. И сразу же наткнулся на главу «О распорядке науки врачевания». Сколько в этом сочинении XI века благоразумных назиданий на все случаи жизни, в том числе и по врачеванию! Поразительно! Речь идет о формальных трех видах – энергия, действие, дух. О животной энергии и о природной. О следствии разных факторов, о причинах перехода из одного состояния в другое, о болезнях органов взаимоподобных и не взаимоподобных, о разных симптомах, которые поделены дотошно на виды, подвиды, о теоретической части науки врачевания и о практической – перечисляются диковинные названия медицинских трактатов – о гигиене, о законах лечения, о приметах добрых и дурных, о знаках болезни внутри тела, про науку о кризисе, о горячках со ссылками на Гиппократ, Галена и о многом-многом другом.

Читается эта медицинская глава в «Кабуснаме» как вдохновенная поэма. «Потом пощупай пульс больного. Если он бьется и подымается под пальцем, знай, что кровь в излишке. Если он бьется под пальцем звонко и быстро, знай, что преобладает жизнь. Если он бьется под пальцем тихо и тонко, и слабо, и редко – преобладает меланхолия, а если бьется под пальцем редко и сильно, и медленно – преобладает влажность. Если он меняется, вынеси решение по тому, к чему он больше клонится».

Все предусмотрено в «Распорядке науки врачевания», и все дотошно описано.

«Если моча светлая и непрозрачная, он болен от печали, если светлая и прозрачная, болезнь его от скученности и сырости и плохого воздуха. Если она

прозрачна, как вода, он болен от неприятности. Если она цвета апельсина... Если она, как масло... Если она шафранного цвета... Если она отливает в желтизну или в зелень... Если она черная и на ней налет вроде крови... Если она желтая и кажется такой, как сияющее солнце... Если она темно-зеленая...» И так далее. А потом следует вывод: «Когда ты посмотришь пульс и мочу, ищи вид болезни, ибо болезни бывают не одного вида».

Любопытно: пользуются ли в нынешних медицинских институтах этими премудростями? Или слепо доверяют современным лабораторным анализам? Я-то, признаться, не особенно-то им доверяю. Ибо хорошо знаю, что у меня в зависимости от многих причин в течение часа меняются и давление, и сахар, и пульс, и кровь, и желчь, и состояние внутренних органов. И то снадобье, которое полезно мне в данный момент, через час-другой может обернуться ядом. Испытываю я доверие к тому доктору, который относится ко мне не как к унифицированному *antropos*'у, не как к лягушке, не как к дереву в лесу, а определит во мне индивидуальность с какими-то отличиями, отклонениями, причудами и капризами.

Врачевание, полагаю, сродни искусству, а искусству стандарт противопоказан.

Пока я, раздумывая о человеческих хворостях и об искусстве врачевания, лежал под капельницей, за окном помрачнело, тяжелые предгрозовые тучи заколобродили по небу, проворчал далеко в горах апрельский гром, из коридора доносились суетливые шаги, телефонная трель, вольная казахская речь, скрип каталки, звяк и бряк из столовой. На тумбочке у изголовья остывал мой ужин. Я покосился на серый творожник, облитый с краешка жидкой сметанкой, на кусочек костистой рыбы с гороховым пюре, на два ломтика черного хлеба и чашку блеклого чая. «Е-е... ладно. Обойдусь», — подумал я вяло, чувствуя, как димедроловая сонная одурь разливается по жилам.

II

Он, длинный, сухопарый, сутуловатый, вошел в палату на следующий день, сопровождаемый энергичной, напористой, смуглой женщиной, которая вмиг распихала пакеты с вещами в тумбочку и гардероб, усадила его на койку напротив меня, бросив на ходу:

– Все, папа. Я пошла. Зайду еще к врачу. Никуда не ходите. А то потеряетесь.

Последняя ее фраза меня насторожила.

Он нахохлился, надвинул старую кепку на лоб, побряхтел, помычал, долго всматривался, притенив ладонью глаза, в меня, и я заметил во всем его долговязом облике неуверенность, растерянность.

– Что, соседа не узнаете?

Видно, сомнения только теперь развеялись, узнал, расцвел лицом, всплеснул руками, спросил певучим мягким голосом с легким армянским акцентом.

– Что вы здесь делаете?! Я Бошаян.

– Дурака валяю, Саркис Рубенович.

– Ка-ак? Вы меня знаете?

Тут я опять насторожился. Что за вопрос? Наши дома стоят по соседству, несколько лет мы гуляем по одной аллее, иногда, сидя на скамейках, беседуем, и он ладно, правда, в который раз, рассказывал мне, что он родом из Тифлиса (он произносил: Тифлиз), что участник войны, помнит ухоженные, опрятные, богатые немецкие колонии в Грузии и Азербайджане, что отец его в первую империалистическую попал к немцам в плен, выучился сапожному делу и немецкому языку и про многое другое. Никаких странностей за ним не замечал: вежливый, деликатный, обаятельный. Еще я знал, что он многие годы работал худруком и режиссером единственного в мире уйгурского музыкально-драматического театра.

– Ну а как же? Знаю!

– А-а... Меня вот привезли... Не знаю, куда и зачем.

– Я и не знал, что у вас такая дочка.

– Это сноха. Младшая. А зачем привезла – не пойму. Это Тифлис?

Я обомлел. Он спрашивал серьезно, с болью и недоумением в глазах.

– Причем Тифлис? Это Алматы.

– Алма-Ата? Мы что, в Казахстане? Так долго ехали на трамвае.

«Е-е, – подумал я. – У мужика, видно, заскоки, что-то с памятью, шарики сместились».

Вскоре убедился: дело серьезное. Вспомнились строки: «Что-то с памятью моей стало. То, что не было со мной, – помню». Мой сопалатник разумно отвечал на вопросы врача, был галантен, деликатен с сестрами, покорно лежал под капельницей, послушно подставлял ягодички для уколов, вспоминал давнишнее, называл по имени-отчеству руководителей партии и правительства тридцати-, сорокалетней давности, толково рассуждал о театральном искусстве, ругал современные фильмы, шуршал газетами, а прочитав, тут же заворачивал в них свои ботинки. И вдруг ни с того ни с сего, без видимой причины на него находило. Черная муть обволакивала сознание.

– До Алма-Аты далеко?

– Мы в Алматы.

– Да?! А я думал: Тифлис. И зачем нас сюда привезли?

– Лечить.

– Мы разве больны?

– К сожалению.

– А номер оплачен? Кто заказал?

– Нас лечат бесплатно.

– С какой стати?

– За заслуги.

– У нас есть заслуги?

– Видно, есть.

– Нэ понимаю! Коллектива нет, зарплаты нет, кто нас кормит? Сколько мы будем здесь? Это Алма-Ата? Вы живете в Алма-Ате?

– И я, и вы.

– Странно. А я думал – Тифлис.

И подобные диалоги между нами происходили по десять раз на дню. И я заметил такую закономерность: о давнем, о детстве, родителях, войне, учебе в Ереване

и Москве, о работе в уйгурском театре он рассказывал живо, связно, красочно, со всякими подробностями, хотя и часто повторялся, а о том, что прошло вчера или час назад, он чаще всего не помнил. Такая вот злая причуда памяти. И еще я обратил внимание, что память его особенно подводит перед закатом солнца. Тогда мой сопалатник становится беспокойным, начинает подолгу рыться в карманах, в пакетах, перебирать вещи и бумажки, чему-то удивляться, недоумевать и роптать.

– Кто меня отсюда заберет?

– Лариса.

– Какая Лариса?

– Ваша сноха.

– Откуда она знает, что я здесь?

– Она вас сюда привела. И вчера была.

– Что вы говорите?! Когда? Одна?

– После обеда. С вашим сыном.

– Каким?

– Младшим.

– Он был здесь?

– Был. И младший, и старший. И снохи. И внук.

– А как они меня нашли?

– Просто.

– Но они ведь в Алма-Ате.

– И мы там же.

– Да-а? А я думал: в Тифлисе. Знаете, я ведь и номер телефона своего не помню.

– Врач знает. И я знаю. И в кармане у вас бумажка со всеми телефонами. И адрес.

– Кто записал?

– Жена.

Он долго перебирает бумажки в карманах брюк, пиджака, куртки. И наконец находит измятый листочек с телефонами дома, сыновей, внука.

– Правда. Все записано. А я и не знал.

Навещали его почти каждый день сыновья – рослые дюжие мужики, расторопные снохи, двухметровый внук, жена, преподавательница английского языка. Беседовали по-родственному мило, заботливо, любезно, ласково. Саркис Рубенович оживлялся, светлел лицом, все удивлялся.

– Как вы меня нашли? На поезде приехали или самолетом?

– Что ты, папа? На машине. Раз – и тут.

– Так мы в Алма-Ате?

– Ну, конечно, папа. Сколько можно говорить?

– А я думал – в Тифлисе.

– Тифлис, папа, был до войны.

Сыновья уезжали, нежно обняв и расцеловав отца, а Саркис Рубенович тотчас обо всем забывал.

– Как я домой пойду? Кто за мной придет?

– Лариса.

– Какая Лариса?

– Ваша сноха.

– А она знает, что я здесь?

– Знает.

– Откуда?

– Только что была.

– И вы ее видели?

– Я видел, а вы с ней беседовали.

– Нэ понимаю! Нэ понимаю! Коллектива нет, зарплаты нет, врачей нет, лечения нет. Это что, санаторий?

– Больница.

– Чья?

– Совмина.

– А зачем мы здесь? Кто заплатил за номер? Нэт! Завтра пойду в Министерство культуры. Все выясню. Вы мне только дайте адрес.

– Ладно, дам.

– Я вас очень прошу.

III

Под капельницу нас кладут одновременно. Сестрицы – сплошь миловидные, улыбчивые общительные юницы – работают старательно, отзываются на шутку, прилично говорят по-казахски, очень дорожат своим местом. Нагрузка на них падает немалая. Весь день на ногах. Только мельтешат по палатам. Ставят системы, делают уколы, разносят лекарства, еду, сопровождают больных по процедурным кабинетам. Нелегкий хлеб свой зарабатывают честно. Бошаяна называют дедушкой, меня – «ага», а иногда «ата». С дедушки не

спускают глаз. Видно, предупредили о его странностях. И все равно теряют его из виду, находят то в столовой, то в холле, то на скамейках во дворе. Иногда запирают нашу палату на ключ. Он все норовит улизнуть домой. И дом его находится в пятнадцати минутах ходьбы. Но где – не сообразит. Жалуетя:

– Знаю: где-то недалеко, но где это недалеко – никак не пойму.

И, выражая предел досады, размашисто хлопает в ладоши.

Под капельницей Бошаян лежит смиренно. Я отрешенно смотрю в потолок, поглядываю на часы, прислушиваюсь к своему истерзанному, изношенному организму. Бошаян, видя, что я не читаю и не пишу, предается далеким воспоминаниям:

– Вообще-то мы Арутюняны. А Бошаян – кличка. У отца было шестеро братьев. Все рослые, крупные. А ели – страшно говорить. Отец, бывало, покупает барашка, а братья разделяются с ним в один присест. Мама за голову хваталась: господи, как я прокормлю этих обжор?!

О братьях-великанах армяне говорили по-русски: болшай, болшай. Вот этот «болшай» и стал нашей фамилией – Бошаян. Жили мы в Тифлисе. Армян было много. Часть Тифлиса вообще была армянской. Тифлис строили армяне. Крепко, богато жили. Буржуазия была в силе. Я учился в армянской школе. Очень любил кино. Всех популярных артистов знал. Собирал открытки. У меня был проектор, набор фильмов, много немых. Я грезил стать кинорежиссером. Но как – не знал. Хорошо жили, интересно.

Друзей много – армяне, грузины, немцы, евреи. Дружно жили. Недалеко от Тифлиса было большое немецкое село. «Роза Люксембург» называлось. Мы туда ездили за фруктами. Как богато, образцово жили! Загляденье! Дома опрятные, веселые, чистота идеальная. Ни пылинки, ни соринки. Сады. Виноградники. В парке играл духовой оркестр. Вечерами танцы. И одевались нарядно. Я любил приезжать в это село. Красиво жили, все по уму. Потом началась война, и всех выслали. Да-а... У меня еще капает?

– Капает. Не беспокойтесь. Я слежу. Кончится – дерну за шнур.

– Ладно... А то мне не видно... Ну вот значит. Вызвали в военкомат, отправили на военную подготовку. Командиры сплошь из России, из Украины, Белоруссии. Все хмурые, злые. Мат-перемат. Орали до хрипоты. Очень тяжело мне было. Непривычно. А через три месяца отправили на фронт. Мне восемнадцать было. И сразу под Сталинград. Вот где был ад. Не думал, что выживу. Война и сейчас мне снится. Шестдесят с гаком лет прошло. А во сне слышу грохот, взрывы, крики, стон. И вдруг почему-то оказываюсь в Тифлисе, ищу свой дом, а найти не могу. Неожиданно появляется мать. «Где ты пропадаешь?» – спрашивает. А я и не знаю, где я был. Вспоминаю, вспоминаю – тщетно. Памяти нет. Как отшибло. Ужасные сны. У-жас-но! Просыпаюсь в страхе. Будто контуженный. Долго соображаю: я ли это? Иногда всю ночь еду на трамвае. Один! Ищу свой дом, свою остановку. Ни-че-го! И ни-ко-го! Один, дрожу. Один! Не знаю, зачем и куда. У-жас-но!

Бошаян задумывается и удрученно молчит. Я уже знаю, что сейчас его сознание переключится на больничную реальность и последуют привычные расспросы.

– Вы сколько пробудете здесь?

– Врач знает.

– А я сколько?

– Дней семь.

– А кто меня заберет?

– Сыновья. Лариса. Внук.

– А они знают, где я?

– Знают.

– Откуда?

– Каждый день здесь бывают.

– И вы их видели?

– Видел. Беседовал.

– А как они меня нашли?

– Просто. Приехали и все.

– Так мы в Алма-Ате?

– В Алматы.

- Это Казахстан?
- Казахстан.
- Хм-м... А я думал: Тифлис.

IV

Давний знакомый литератор из Берлина прислал мне книгу Иосеба Гришашвили: перевод на немецкий язык описания быта и нравов старого Тбилиси с дивными иллюстрациями грузинского немца Оскара Шмерлинга. Книга издавалась впервые в 1926 году, написана живо, озорно, лукаво, со стихотворными вкраплениями, притчами, колоритными юмористическими сценками из кавказской жизни с ее уникальными типами и пестротой бытия. Немцы издали ее с тщанием и любовью. С комментариями. С обстоятельными послесловиями и предисловиями. И составитель этой книги – Леонард Кошут, и переводчица – Кристиане Лихтенфельд – мои симпатичные знакомцы, с которыми встречаюсь, переписываюсь не один год. Название немецкой книги – строка из грузинской песни – «*Niemals hat der Dichter eine schonere erblickt*». Книгу оживляют, украшают тридцать три характерные, яркие, полные доброго лукавства картинки Оскара Шмерлинга – набор почтовых открыток 1910 года, изображающих веселые сценки и типы из старой тифлисской жизни.

Бошаян, загоревшись глазами, впился в эти рисунки.

– О! У меня эти открытки есть. У-ди-ви-тель-но! Вот это Тифлис. Все мне знакомо: и шашлычник, и бродобрей, и тифлисские тетки-сплетницы, и уличный торговец, и старики-политики, и персы-ковровщики, и танцы «Картули», «Кинтаури», и игроки в нарды, и буржуа из Сололаки, и грузинское застолье, и Шайтан-базар – все, все. Ах, какая прелесть! Какие краски! Буйная, бурная, пестрая жизнь Кавказа. Прекрасный город, прекрасные люди. Вы не были в Тифлисе?

– В Армении был, в Грузии нет.

– О чудо! Нигде я не видел таких интересных людей, как в Тиф- лисе.

– Откуда это название?

– Это русское искаженное название. Из Тбилиси сделали Тифлис. И до 1936 года город так и назывался. А потом стал снова Тбилиси. Это означает «горячие источники». Знаете, сколько там источников? И все целебные. Однажды в школе, где я учился, прямо в классе из-под пола забил фонтан. Вот переполоху было! Вы живете в Алма-Ате?

– Да. Уже 53 года.

– Вам Алма-Ата нравится?

– Нравится. А вам?

– Хороший город. Но раньше был лучше. А Тифлис все равно красивой.

Бошаян листает немецкое издание о старом Тбилиси, рассматривает знакомые иллюстрации, млеет, восхищается. Кто знает, какие картины далекого детства и юности вспыхивают в его разрушающейся памяти.

– Мы сегодня пообедали?

– Нет еще.

– А где будем обедать?

– В столовой.

– Это далеко?

– Напротив нашей палаты.

– А-а ... Это хорошо.

V

После окончания театрального института в Ереване и режиссерских курсов в Москве ветерана Великой Отечественной войны Саркиса Бошаяна направили в Алма-Ату возглавить уйгурский драматический театр. Он тогда и не помышлял, что есть такой народ – уйгуры. Но Алма-Ата манила. Впервые увиденный в 1939 году фильм «Амангельды» ему понравился. Понравились и казахи, воевавшие в одном полку. Милые, душевные были парни. Никогда не унывали, а между боями, случалось, играли на домбре и слаженно пели протяжные песни. Они усердно приглашали долговязого армянина приехать после войны в Казахстан.

И теперь выпало такое распределение.

Приехал Бошаян в Алма-Ату, устроился в гостиницу,

пошел искать уйгурский театр. Никто ничего не знал. А в управлении Министерства культуры сказали:

– Саркис Рубенович? Мы вас ждем. Но уйгурский театр не в Алма-Ате, а в Чилике.

– Как так? Говорили: в Алма-Ате.

– Был когда-то. В годы войны отвели под госпиталь. Теперь в Чилике.

– И где этот Чилик?

– В ста двадцати километрах отсюда.

Вот-те раз! И что же теперь делать? Не возвращаться же в Москву, где никто его не ждет.

Отправился новоиспеченный режиссер в Чилик. Захолустье. Хилый дом культуры. Основной контингент – спецпереселенцы: армяне из Тбилиси, турки, кавказские немцы. Конечно, уйгуры. Актеры в большинстве пожилые. В годы войны холодали-голодали, разъезжали с концертами по аулам-кишлакам, пели, танцевали, разные сценки разыгрывали в духе времени. И все это больше смахивало на заурядную самодеятельность. Режиссер из Москвы, ученик Охлопкова, в отчаянии хватался за голову. Но все же за дело принялся круто. Начал изучать историю, культуру, язык уйгуров. Постепенно втянулся в бесконечные заботы.

И вскоре осознал: единственный в мире национальный уйгурский театр в захолустном поселке – нонсенс. Надо уйгурским артистам показать столичные театры, надо посылать их в большие города, а национальный театр переводить в Алма-Ату. Начал режиссер по всем инстанциям строчить жалобы-прошения, обивать высокие пороги.

Добрался до Первого секретаря ЦК КПК Шаяхметова. Тот выслушал режиссера, грустно улыбнулся, погладил-потер лысую, как шар, голову.

– Где ютится русский драматический театр, знаете?

– Знаю.

– Положение казахского драматического театра вам известно?

– Известно.

– Ну и что предлагаете? Выселить русских и казахов и поселить уйгуров?

– Но...

– Что «но»?

– Здесь, рядом, в колхозе, я видел хороший Дом культуры. Может, туда?

– Дом культуры колхозный. Там живут русские, казахи, немцы, корейцы, дунгане, чеченцы, украинцы, поляки. Что делать? Отобрать у них и отдать уйгурам?

Возникла пауза.

Бошаян понял, что уйгурам пока ничего не светит.

– Вот построим русский драмтеатр, освободим старое здание на Дзержинского, тогда и поговорим.

Вернулся Бошаян в Чилик. Но Алма-Ату навещал часто. Был у Пономаренко, у Брежнева, у Кунаева. Писал, говорил, убеждал, просил. «А-а... – говорили с усмешкой. – Уйгурский ходатай...»

Все ему сочувствовали. Успокаивали. Обещали. Советовали. Чаще всего разводили руками или отмалчивались.

Через восемь лет Уйгурский драматический театр, наконец, был переведен в Алма-Ату.

Одна из главных задач Бошаяна разрешилась.

VI

В «тихий час» после обеда Бошаян откровенно мается: не спит, не отдыхает, без конца выскакивает на балкон, совершает бесконечные рейды в туалет, с шумом пускает воду в душе, роется в своих пакетах, ищет неизвестно что, дергает дверь, которую бдительные сестры запирают снаружи, чтобы беспокойный пациент не улизнул куда-нибудь, не ушел, не потерялся.

Сосед, конечно, видит, что я лежу с закрытыми глазами, но ему явно скучно, и он начинает рассказывать, будто в пространство, вспоминает вслух.

– Я очень скоро смекнул, что моему коллективу спектакли ставить неинтересно. Классический репертуар в переводах актерам и вовсе был чужд. Они предпочитали концерты: пели, если хором, то в унисон, гортанно и протяжно, плясали, водя руками и крутя головой, разыгрывали шуточные скетчи и сами

смеялись. А я ведь и худрук, и главный режиссер. Репетировать тоже не любили. Талант есть, радения нет. Приходили в театр с большими китайскими термосами и подолгу всем коллективом пили чай. И утром чай, и в обед чай, и вечером чай. После концерта опять застолье. «Слушайте! – говорил я в сердцах. – Это не чайхана – театр. Репетировать, работать надо». Отвечали: «Да, да, Саркис-ака. Правильно! Чай попьем – работать будем. Чай не пьешь – откуда силы возьмешь? Ха-ха...» И на гастролях – застолья, возлияния, вольница, ай-люли малина. И актерам это нравилось, и зрителям. Недоволен был один я. Приглашают пить чай – отказываюсь. На гастролях зовут к обильному дастархану – отказываюсь. Пить спиртное запретил. Двух-трех поклонников Бахуса уволил. Приходили ко мне группами, урезонивали: «Так нельзя, Саркис Рубенович. Нехорошо нарушать народные традиции. И отказываться от угощения – грех. Некрасиво. Не поймут. Осудят. Скажут: чужой, народ не уважает, национальные обычаи не блюдет. Хотя вы и наш начальник, а отрываться от коллектива нельзя. Ой, плохо, плохо!» У них годами сложившийся репертуар, ничего нового не приемлют, мои режиссерские замыслы не увлекают, все делают на свой лад. Зритель доволен, хлопат, вместе поет, смеется, радуется. Ну и что надо? Успех налицо! А я вижу: сильно все смахивает на самодеятельность. Для чего я учился? Какой я худрук? Какой режиссер? И министерство довольно. Кассовый сбор есть. План выполняется. Гастроли проходят на ура. Приезжаем в богатый узбекский колхоз. Мои артисты поют узбекские песни, шумят, балагурят, шуткуют. Зрители в восторге. Спектакли им не очень, а концерты – только давай. Праздник! Подходит ко мне председатель колхоза. Важный, пузатый, на груди – «Золотая Звезда».

- Ты начальник?
- Режиссер. Худрук.
- Сколько стоит одно твоё представление?
- Три тысячи рублей.
- Дам тридцать тысяч. Неделю пойте узбекские песни. Гостями будете.

Артисты ликут. Зачем репетиции? К чему мудрствования об актерском мастерстве, о сценической речи? К чему все эти цитаты? Мало ли какой великий что сказал! Уйгуры еще две тысячи лет тому назад все сказали. Зачем спектакли? Пой – и все. Легко и приятно. И каждый вечер – щедрое застолье. За дастарханом веселились еще часа три. Потом до обеда следующего дня отсыпайся и пей кок-чай с лепешками, мантами, всякими ватрушками, пампушками, шелпеками, изюмом, курагой, орешками. Ай, благодать! Красивая жизнь!

Приезжаем в другой колхоз. Казахский. Публика – полный интернационал. Все довольны. Все рады. Как же? Уйгурский театр приехал. Подходит парторг.

– Ты главный?

– Я.

– Сколько стоит одно твоё представление?

– Ну... примерно три тысячи рублей.

– Дадим пятнадцать. Будете у нас гастролировать три дня.

– Но...

– Никаких «но». Народ желает послушать ваши песни. А с народом надо считаться.

Скажу я вам: в 60-х годах жили уже вполне благополучно. Премии давали. Артисты ликуют, а у меня на душе нехорошо. Ну, не искусство это. Или, точнее, не совсем то. Разве меня прислали сюда уйгурские концерты ставить? И кто из нас худрук: я или мои певцы-артисты? Потом, когда с помощью Пантелеймона Кондратьевича... может, помните, был такой первый секретарь ЦК Казахстана, деловой мужик... удалось шестнадцать человек отправить в Ленинград, в Москву, у них изменилось представление о театральном искусстве. И я вскоре написал книжку об истории уйгурского театра. Сразу же разошлась. Приходили домой. Ну, найди, мол, хоть десять экземпляров. На гастролях втридорога продавали. Требовали переиздания, дополнения. Но не получилось. Вы слушаете?

– Слушаю, Саркис Рубенович.

– Вот так все и было. И я все помню. Все, все!.. А чем

кормили сегодня на обед – забыл. Что-то невкусное, постное. Или мы не обедали?

– Обедали.

– Сколько нам еще жить здесь? Кто заплатил за гостиницу? Это Алма-Ата?

– Алматы.

– Хм-м... Нэ па-ни-ма-ю! Я думал – Тифлис. Трамвай здесь ходит?

– Ходит. По Шевченко.

– И сколько ехать до дому?

– Две остановки.

– Хм-м... А я из Еревана до Тифлиса добирался два часа.

VII

Единственное мое утешение в больнице – «Кабуснаме». В предыдущую свою лежку я, главным образом, беседовал с Конфуцием и его учениками. И древнекитайских мудрецов, и советы «Кабуснаме» можно читать-перечитывать без конца. Над каждой их фразой подолгу задумываешься. Человек, выходит, за столетия нравственно ничуть не усовершенствовался. Цивилизации сменяют друг друга, суть человека остается неизменной. Так, по крайней мере, кажется.

«И не вопрос: что ты? Ответ таков, что ты скажешь: я знаю о том-то, что это такое или кто это такой. Это и есть знание, и звери это знание с людьми разделяют, ибо они признают свою пищу и своих детенышей, и человек точно так же, но так как у человека прибавилась еще и мудрость, то он может знать и что, и как, и сколько, и почему. Разве ты не видишь, что если поджечь пастбище зверей, то, пока они головы в огонь не сунут и не почувствуют боли от огня, они не удалятся, ибо они расценивают огонь через что, а не через как, а человек познает и что, и как. Так стало очевидно, что мудрость выше знания.

Поэтому-то я и сказал, что у кого есть совершенство мудрости, тот – пророк, ибо пророки настолько выше нас, насколько мы выше зверей. У животных есть

знание: что, и только; а у человека: и сколько, и как; а у пророков, которые наиболее совершенны среди людей: и как, и сколько, и почему, и до конца. Звери знают только, что огонь жжет, человек знает, как он жжет, а совершеннейший знает, что жжет, и как жжет, и почему жжет, и по какой причине он жгуч.

Совершеннейший из людей – тот, у кого полнота благородства, а полнота благородства – в том, что у него полнота зрения, а это только у пророков. Пророки полностью духовны, ибо у людей нет степени выше пророческой степени. И, следовательно, людьми, которым от фигуры человечности достались тело, и жизнь, и чувство, и свойство, могут быть только пророки...»

Я прочел эту тираду вслух, Бошаян молча слушал, слушал, видно, пытаясь осмыслить только что услышанное, и произнес:

– Нэ па-ни-ма-ю! Сложно это: пророческая степень, полнота благородства, полностью духовны... Наверное, все это верно, но как воплотить эту сентенцию на сцене? На сцене уйгурского театра, например. Нэ па-ни-ма-ю!

VIII

Каждый день мой сопалатник десятки раз норовит сбежать из больницы, в которую, по его убеждению, его запихнули без каких-либо оснований, рассовывает свои вещички по пакетам, порассеянности заворачивает в мои непросмотренные газеты свои ботинки, прихватывает невзначай и мои тапки, почему-то начинает шарить в моей тумбочке.

– Все, все! Домой, домой! Кто уплатил за номер – не знаю, в какой гостинице нахожусь – не знаю, никто меня не навещает. Коллектива нет, зарплаты нет, лечения нет, врачей нет. Ну зачем мы здесь? Домой, домой!

Возражать ему, убеждать в обратном у меня нет ни сил, ни желания. Санитарки и сестрицы, вижу, тоже устали следить за ним. Только куда он пойдет, если дома своего не знает, хотя он и находится в двух шагах, и телефона домашнего не помнит? Ну, покружится,

походит вокруг больницы, а потом кто-нибудь приведет его обратно по указанному адресу, записанному на бумажке: первая кардиология, палата третья.

– Я пока побуду на балконе, а вы посмотрите телевизор, – го- ворю.

Он начинает щелкать пультом. На экране возникают дурацкие видения: погоня, драка, поножовщина, пожары, взрывы, насилие вперемежку с нескончаемыми, обрыдлыми рекламными роликами.

Бошаян смотрит, смотрит, но вскоре начинает возмущаться:

– У-жас-но! О-мер-зи-тель-но! Нечего смотреть. Одни голые задницы и прокладки с крылышками. Мир с ума сошел. Кретины! Отвратительная режиссура. Нелепые сцены. Беспомощная игра. Никакой актерской культуры. Убожество! Банальность! Дурновкусие! Нет, нет, нет! Смотреть это не могу-у...

– Потому-то я и не смотрю.

– Правильно делаете. Ужас, ужас! Кто это все делает? Зачем оболванивать людей?!

Он перескакивает с программы на программу. По одному каналу распаренные девки-боксерши друг дружку неистово колошматят, норовя соперницу больнее ударить по голове, по лицу; по другому – перезрелые бабы демонстрируют крутые ягодицы, на которые с усилием натягивают прозрачные кружева; по третьему – огромный крокодил судорожно заглатывает зазевавшуюся у водопоя миниатюрную антилопу; еще по одному – растелешенные девахи, тряся сиськами, дурниной орут в микрофон. Бошаян, морщась, продолжает щелкать пультом: взрывы в Ираке... митинги в Иране... искореженные машины... оскаленные лица... кровь... вселенский пожар...

Бошаян с досадой выключает телевизор.

– Тридцать программ, а смотреть нечего. Разве что мультики. Что творится, что происходит – нэ панимаю, нэ па-ни-ма-ю!

– Ладно, Саркис Рубенович, не расстраивайтесь. Постоим на балконе, помолчим, на небо полюбуемся.

– А мы ужинали?

– Два часа назад.

– Вот как?!

С третьего этажа хорошо просматривается внутренний двор больницы. Удивительно красиво все обустроено. Скамейки, беседки, фонтанчики, фонари, дорожки, радующая глаз настенная роспись, резные фигуры, деревянные статуи, клумбы, зелень, тополя, ели – любо-дорого смотреть. У больницы современное громкое и длинное название, которое за многие годы так и не сподобился затвердить, хотя и прикреплен к ней, а в народе ее по-прежнему называют «совминовской». Мне нравится эта больница – и медперсонал, и порядки, и оборудование, и контингент, и вся ее аура. Поговаривают о нынешней ее дороговизне, но что тут поделаешь в рыночную эпоху, на меня лично эти тяготы не распространяются: государство проявляет милосердие ко мне. Может, потому, что и я всю жизнь к нему милосерден.

Вторая половина апреля. Солнце встает рано, заходит поздно. Небо вызвездилось. Пахнет молодой травкой, юными побегам, благоухают цветы. Недавно пробежал-пронесся резвый дождик, и теперь по иссиня-темному небу задумчиво проплывают клочки туч. Приглушенно доносятся снизу голоса. Больничная суэта затихает. Пригоженькие смуглянки-санитарки приступили к вечерней уборке.

– Хорошо! – говорит Бошаян. – Как санаторий. Скажите, мы хорошо живем?

– Кто «мы»? Мы с вами?

– Нет... Народ, казахстанцы.

– По-разному. Бедные бедствуют, богатые – жируют. Ну а по сравнению с Узбекистаном, Таджикистаном, Туркменией, Киргизией однозначно лучше.

– А я и не знаю... хорошо или плохо. Давно на пенсии. Что происходит, не понимаю. И даже не знаю, зачем я живу. Мне кажется, когда-то, давным-давно, я жил. А теперь не знаю, живу ли. Как во сне. Ничего не помню. Памяти не стало. Склероз. Я это давно заметил. Отправил лучших актеров из уйгурского театра в Ташкент, в театральный институт. Сказал: выучитесь

– будете руководить своим театром. Вот выучились, вернулись. А я не сразу, конечно, постепенно обеспечил всех квартирами в Алма-Ате. Это было непросто. Потом ушел. Стал преподавать сценическое мастерство. И вдруг понял: забываю, что говорить. Чувствую, говорю иногда не то, что надо. Ушел. И меня все забыли. И я ничего не помню. Наверное, это война. Я так думаю. Стресс. Бо-оль-шой стресс! Нет, зря я живу. Я 24-го года рождения. Сколько мне? Восемьдесят пять?

– Восемьдесят три... Жаловаться, однако, грех. У вас богатая жизнь, хорошие сыновья, внуки, жена, дом. Вам только радоваться и жить.

– Как жить, когда я не знаю, где живу и зачем! Все говорят, живу где-то совсем рядом, а где это рядом?! Как доберусь до дома? Кто меня заберет?

– Лариса.

– Какая Лариса?

– Ваша сноха.

– Но она же в Алма-Ате.

– И мы в Алматы.

– Как? Это Казахстан?

– Казахстан.

– Нэ па-ни-ма-ю! Я думал – Тифлис.

Я молчу. Все вопросы Бошаяна пропускаю мимо ушей. И он проявляет такт, деликатность, оставляет меня на балконе одного, начинает шарахаться по палате, просматривать газеты, которые за эти дни натаскали, наподарили навещавшие меня друзья и знакомые.

IX

На шестой день пребывания в больнице Бошаян взбунтовался. Вконец вышел из терпения. Добродушный и деликатный, сдержанный и вежливый, он вдруг застроптивился, закапризничал и стал непреклонно агрессивным.

– Все! Что-то неспокойно на душе. Тревожно. Чувствую, я должен уходить, – заявил он мне, и я заметил в его глазах боль и тоску.

– Напрасно, Саркис Рубенович, – урезонил я его.

– Через день и так вас выпишут. Некрасиво, неловко получится перед врачом, сестрицами, сыновьями, женой.

– Почему? Зачем я здесь? Не уговаривайте!

– Не уговариваю. Просто говорю: глупо.

Вечерело. Солнце клонилось к закату. Из-за разросшихся, еще не подстриженных кустов и деревьев напознала сутемень. Вершины гор нежились в предзакатных лучах.

Я понял: мои усилия удержать Бошаяна на этот раз напрасны.

Он быстро собрался, нахлобучил затрапезную кепку, набросил на плечи пиджак, решительно двинулся к выходу.

– Саркис Рубенович! Вас задержат в проходной. Давайте позвоним жене.

– Нет, нет! Я решил – все. Никто и ничто меня не удержит.

– Успокойтесь. Сядьте. И выслушайте меня.

– Нет, нет! Я пошел. Я должен вернуться домой.

Видно, что-то почуяли и вездесущие санитарки, и сестры. Мигом сбежались в нашу палату.

– Дедушка, куда вы? Нельзя!

– Что вы все всполошились? Вы что?! Я вполне сознательно принял решение. Ухожу! Что это в самом деле? Коллектива нет, зарплаты нет, лечения нет, врачей нет. Кто уплатил за номер?

Рослого, сухопарого Бошаяна плотной стайкой окружили, обступили миниатюрные девчонки-сестры и санитарки. Они были явно растеряны и не знали, как урезонить долговязого деда. На шум притащились и любопытные бабуси из соседних палат.

Стремительно вошла в палату озабоченная врач. Кто-то, должно быть, успел ее предупредить об авральной обстановке.

Бошаян был неумолим. Таким возбужденным, упрямым я его никогда не видел.

– Ну ладно, Саркис Рубенович. С вами, видно, сегодня сладу нет. Присядьте. Я должна оформить ваши бумаги. Сейчас вызову машину и доставим вас домой.

Врач, как могла, успокаивала своего пациента.

– Какую машину? Зачем машину? Рядом ведь. Пешком дойду.

Врач куда-то позвонила по мобильнику.

– Машина будет через пятнадцать минут. Посидите. Я займусь вашими бумагами.

– Какая машина? Какие бумаги? Ничего мне не надо. Я от вас ничего не прошу. Мне надо домой. Домой, понимаете? Я чувствую. И никто меня не удержит. Я пошел, пошел, пошел...

Врач принялась лихорадочно строчить-заполнять карту больного. Одна из санитарок быстро убрала постель Бошаяна. Сестрица на миг отлучилась и тотчас вернулась. Все были возбуждены. У Бошаяна крупно дрожали руки. Он говорил без умолку, как заведенный. Никакие уговоры на него не действовали.

– Что это такое? Я маленький, что ли? Я принял вполне осознанное решение. Чего вы все всполошились? Думаете меня удержать? Бесполезно! Не получится! И никакой машины. Домой, домой! Тут рядом. Сказал: домой – и все. Оставьте все разговоры. Оставьте! Оставьте!

Все уже молчали. Бошаян шумел один.

И вдруг резко распахнулась дверь, и в палату влетел младший сын Бошаяна.

– Что такое, папа? Ты всю больницу переполошил!

Саркис Рубенович просветлел лицом, вскочил, радостно сообщил:

– Это мой сын, мой сын! Вот! Он нашел меня, нашел, нашел!

– Что значит «нашел»? Я же каждый день бываю у тебя. Ладно, собирайся. Поехали.

– Мой сын! Мой сын!

Врач объясняла младшему Бошаяну, что следует делать дальше, какие принимать лекарства, когда посещать поликлинику.

Оставив часть вещей, смущенные отец и сын Бошаяны тотчас удалились, и во всем отделении наступила обвальная тишина.

И я остался один-одинешенек в палате, как на необитаемом острове. Еще недавно я мечтал о таком

одинокости, а теперь стало как-то неуютно тоскливо. Где гарантия, что завтра с любым из нас не может такого случиться? Память – мадам капризная. Ее причуды непредсказуемы. Неслучайно говорят: «Находясь в твердой памяти...»

Я долго не мог прийти в себя. Все вокруг меня показалось зыбким, неустойчивым. Как наваждение, преследовали меня бошаяновские вопросы: «Где я? Что я? Коллектива нет, зарплаты нет, лечения нет, врачей нет. Почему мы здесь? И кто оплатил номер?»

Перед глазами то и дело возникал Бошаян – высокий, длиннорукий, костлявый, смотрел на меня пристальным мутным взором и все допытывался: «Это Казахстан? Алма-Ата? А я думал: Тифлис»...

X

Перед сном, чтобы утишить взбаламученную душу, я раскрыл «Кабуснаме» на последней странице. И стал медленно-медленно читать, вникая в каждое слово.

«...Теперь, о сын, знай, что все, что мне было в привычку, я объединил в книгу, и о всякой науке, и искусстве, и всяком ремесле, которое знал, поместил я в сорока четырех главах этой книги. И знай, о сын, что с детства и до старости был у меня такой обычай, и таков я был, и шестьдесят три года моей жизни я провел таким образом и при таком поведении. И книгу эту я начал в четырехста семьдесят пятом году. И после этого, если подаст господь жизнь, буду я таким же, пока буду жив, и то, что я считал хорошим для себя, считаю хорошим и для тебя. Если ты найдешь обычаи и свойства, лучшие этого, будь таким, как тебе лучше, если же нет, то внимай этим моим советам и увещаниям ухом сердца и повинуйся им. Если не послушаешь и не примешь, нет на тебя насилия, тот, кого Бог сотворил счастливым, прочтет и поймет, ибо все это признаки счастливых в обоих мирах».

Как величаво и достойно, как мудро и благородно, как торжественно и проникновенно! Успокоительная вязь древних восточных речений.

Не знаю, сотворил ли меня Всевышний счастливым (я не ропщу на свою судьбу), но я все эти советы и увещания прочитал, понял и принял с благоговением.

Через день-другой и меня выпишут из больницы, изрядно исколотого, потрепанного и помятого, напичканного, загруженного, как выражаются эскулапы, по самую завязку всякой всячиной, и я отправлюсь на аллею Чокана к ее завсегдатаям, моим компаньонам, и встретится мне долговязый Бошаян, приветливо вскинет руку, пойдет со мной рядом, чуть сутулясь, втянув голову в плечи, и наверняка спросит о чем-нибудь, может, о погоде или о здоровье. Но наше совместное пребывание в больнице, в одной палате, он вряд ли вспомнит, ибо для него, для его неверной памяти, это был слишком незначительный эпизод. Да так оно, наверное, и есть. Эпизод... Пыль бытия.

Ах, Бошаян, Бошаян!..

1–7 мая 2007 г.

ОРАЗА АЙТ

Позвонил мне спозаранок давний приятель-коллега Тынымбай.
— Оу, Гера-аға! Айт қабыл болсын!

И говорит мне, будто единоверцу, добрые слова благожелания.

О да, я не мусульманин, но вырос в мусульманской среде и с почтением отношусь и к оразе, и к священной ночи предопределения, и к оразе-айту, и к курбан-айту. Я вырос в суровое атеистическое время, с детства нас настраивали на борьбу с разными религиозными отправлениями и предрассудками — лютеранскими, православными, мусульманскими. В ауле даже избегали древнее арабское приветствие «Ассалаумагалекум!» и вежливый ответ «Уагалекумассалам!» Говорили: «Мал-жан аман ба?» (В здравии ли скот и душа?) или просто неопределенно шипели: «С...с...сәлеметсіз...з...» (Будьте в здравии.) Иногда роняли: «Амансыз ба?» (В здравии-порядке ли пребываете?).

Борцом с религией я был никаким. Скорее, наоборот: тайно симпатизировал всему запретному. Я был тихий, но ощетинивался против всякого насилия и несправедливости.

Пост-оразу в ауле держали немногие: главным образом те, кому было за пятьдесят-шестьдесят (почтенные лета по меркам тех лет), и не занимал ответственных постов. Относились, однако, к ним уважительно: «Такой-то блюдет пост!», «Такой-то замкнул уста!» У них, случалось, собирались на «ауыз ашар» — на разговленье после захода солнца. К ним и отец мой, заведующий медпунктом, проявлял особое внимание. Навещал, спрашивал: «Как желудок?.. Как кишечник?..

Не кружится ли голова?.. Как сберечь силы в знойный месяц шильде?»

Сторонником поста отец не был. Любого. Считал оразу слишком жестоким испытанием для изнуренного организма. Как же это можно не есть, не пить целый месяц, да еще и лекарства не принимать?! Сущее безумие!

Была еще одна проблема: как определить время в пасмурные, дождливые дни? На исходе сороковых – начале пятидесятих годов прошлого века, точно помню, в ауле время определяли исключительно по солнцу. Так и говорили: «На рассвете», «Когда первый лучик брызнет из-за горизонта», «Когда солнце поднимается на длину аркана», «Когда солнце зависнет над косогором за древним погостом», «В зените солнца», «После обеда, когда тень твоя с вершок», «Когда горизонт окрасится багрянцем».

Для размеренной аульной жизни этого было вполне достаточно. Обходились без часов и минут.

Кто пользовался часами? Ссылный немец, аульный фельдшер – он прихватил с Волги два будильника, которые хорошо будили, но показывали разное время, тикали вразнобой, имея привычку останавливаться на отдых, когда им вздумается. Пока их хозяин верно и преданно служил в Рабоче-крестьянской Красной армии, они работали исправно, а в Казахстане, в ссылке, окончательно обленились, то и дело задремывали, и оглушительно тренькали невпопад в любое время суток.

Большие карманные часы были у директора школы. Он их изредка доставал из кармана застиранного и выгоревшего френча, прикладывал к ушам, потом, надавив на боковую крохотную кнопку, открывал крышку, долго всматривался в циферблат с готическими финтифлюшками и важно изрекал:

– Восемнадцать часов двадцать семь минут.

– Утра? – уточнял наиболее продвинутый аульчанин.

– Восемнадцать часов с утра не бывает, – снисходительно отвечал директор.

Аульчане благоговейно молчали. Но находились и особенно прыткие, дотошные.

– Шаке, а у вас время кызылжарское, московское или берлин-ское?

Директор выставял свои совиные очи на грамотея, выпячивал птичью грудь с двумя орденами и тремя медалями, язвительно хмыкал, с сухим щелчком захлопывал крышку трофейных часов, надежно опускал в грудной карман френча и врасстяжку отвечал:

– Я, да-ра-гой, если хочешь знать, руководствуюсь только мос-ков-ским временем.

И, подав вопрошавшему изуродованную на войне кисть без двух пальцев, гордо удалялся восвояси.

Шустрый, шепутной Сергали-ата где-то раздобыл настенные часы с гириями на цепочке. Забавная была вещичка! Каждый час с хлопком-треском растворялась дверца над циферблатом, заполошенно высовывала головку кукушка и резко выкрикивала: «Ку-ку! Ку-ку!» И тотчас испуганно скрывалась, расколов на мгновение убогую тишину в хибаре чудаковатого ата.

Потом в часах что-то сломалось, кукушка по-прежнему выстреливала из гнезда, но онемела, часы тикали с перебоем, отпала часовая стрелка, а минутная нехотя ползала по засиженному мухами циферблату.

Ну, и как быть держащим оразу? На какое время ориентироваться? Солнца нет, дожди идут неделями – и обвально-грозовые, и шквальные, и занудные-нищенские, и ниточные, к директору школы лишний раз не обратишься, да и время у него московское, не сразу сообразишь, пора ужинать, или все еще рот полагается держать на замке. На настенные ходики Сергали-ата надежды никакой. Фельдшера на месте не застанешь: обслуживает семь или восемь аулов. Остается уповать на его сына-подлетка: у того и отрывной календарь с указанием восхода и заката каждого дня, и два будильника, которые он, аккуратист, не забывает завести вовремя.

С правого крыла аула чикиляет хромой Ишанкабыл.

– Эй, Кира, солнце еще не зашло? Посмотри, айналайын! В глазах темно с голоду.

Я смотрю в листок отрывного календаря, хотя еще с утра вызнал, когда садится солнце, потом бросаю

взгляд на один будильник, на второй, делаю вид, что соображаю, думаю. Не могу же аульчан ввести в грех.

– Нет, ата, еще не зашло.

– Сколько еще ждать? – гундосит плосконосый Ишанкабыл.

Аульные зубоскалы над ним посмеиваются. На войне искорежили ему не только ногу, но и оттяпали часть мужского достоинства. Жена покинула его. И Ишанкабыл вскоре привез из соседнего аула молодуху. А она через два месяца родила смуглого бутуза. Роды принимал мой отец, и я слышал, как он за завтраком сказал маме: «Крепкий, ладный малыш. Видно, горячей любовью зачат».

В ауле секретов не бывает. Шутили: «Наш Ишанкабыл единственный мужчина в мире, который клепает детишек за два месяца». Ишанкабыл, однако, смирился со своей участью. Даже вместе со всеми похохатывал. А молодуха его, казалось, была счастлива со своим мальцом. В ауле недоумевали: апырай, неужели Ишеке ублажает молодую хатун своим пораненным отростком?..

– Пока доберетесь до дому, пока с выпаса вернется корова, пока женеше ее подоит и вскипятит молоко – солнце и зайдет.

– И-и... понял, Кира. Спасибо! Вырасти большим жигитом на радость своих земляков.

Вслед за ним мелко семенил по колдобинам-буеракам Сергали- ата.

– Геражан, – издали кричит фальцетом, – этому божьему дождю конца-краю не видать. Не мудрено и согрешить перед Аллахом. Скажи, разговляться еще рано? Что говорят твои календарь и часы?

– Еще немного потерпите, ата. Там, за Есиль-рекой, солнце как раз садится в гнездо. Из-за туч не видно.

– И долго оно будет садиться?

– Присядьте, ата. Почитайте стихи Шала-акына и свои. Я послушаю. Туда-сюда, и настанет ауыз ашар.

– Е, барекельды! Тогда слушай, Геражан. Вот-вот...

И он достает пожелтевшие, засаленные листки из обтерханного, пузатого бумажника.

Желанный-долгожданный праздник после Оразы – Ораза айт. Как он проходил в строго регламентированную пору послевоенного времени в нашем ауле на правобережье Есиля?

– Айт! Айт! – шептали хатуны во всех шошалах, наскребывая по сусекам остатки муки, сахара и масла для праздничной стряпни – баурсаков, пухлых лепешек, поминальных шелпек, хвороста, сёка из очищенного проса-тары.

– Айт! Айт! – ликовали аульные сорванцы, загадочно намекая на запасенные впрок обновы – носочки, тюбетейки, кепку, а то и сорочку-рубашу.

– Айт! Айт! – оглаживало довольно бороды-усы аульное старичье, очищая и латая чапаны, кушаки, пояса.

Даже пустолайки-дворняги шныряли-шастали по аулу, задирая хвосты крючком.

Айт! Айт! Той! Той!

В закутках, хлевах-кора обреченно бляели жертвенные барашки, готовые к закланию по случаю оразы-айта.

Ох, бедное послевоенное время! Бедный, истощенный аул! Ну, а айт – божье благословение, и жизнь – праздник.

...Вот и день айта пожаловал. Надо же: сумрачные тучи развеялись, умытое дождями небо сияло, солнце сверкало, степь засеребрилась ковылем, полынок одурманил всю округу, березовые колки принарядились. Малышня, вскочив раньше обычного, с котомками за плечами рассыпалась по аулу, оглашенно вопя:

– Айт! Айт! Айт құтты болсын!

И я – в белой рубашонке, в белых носочках, в сандаликах – туда же, в этой голопузой, босоногой ораве. Ору на казахский лад:

– Айт құт-береке әкелсін! Да вознаградит айт своим благом!

Аульных хатунов не узнать. Откуда только что взялось? В белых кимешеках, в чистеньких жакетах, в широких платьях до пят, в кольцах, ожерельях, браслетах неведомых времен. А кызымки-девки,

соплюхи еще, волосы костяным гребешком расчесали, репейным маслом помазали, чтобы блестели и пахли, брови насурмили, в косы чолпы вплели, на плюшевые камзолчики повесили-понашили монеты, значки, медальки, ленты. Хихикают, оглядывая друг друга.

Старухи, молодайки и нас, аульных шалопаев, щедро одарили – баурсаками, куртом, иримчиком, сдобными лепешками, «мямпаси» – конфетами-липучками и «подушечками».

Ах, славно! Утро только разгорается, а еще сколько домов надо obeжать, сколько земляков поздравить со священным праздником – Ораза айт.

А потом еще надо пристроиться к шествию почтенных стариков. От них ведь наверняка что-то обломится, перепадет. Да, да, непременно, как пить дать. Иначе как же?! Айт сегодня. Айт!

Солнце зависло над южным косогором. Мужчины управились с делами: «окровавили нож», разделали по всем правилам тушку ярки, прикинули, что идет на бесбармак, что на куырдак, что – женам- детишкам, что собакам. Женщины растуганили земляные печурки – жер-ошаки, поскребли-помыли котлы-казаны, налаживают самовары, медные, латунные, изрядно помятые за долгие годы. Запах свежей баранины струится по аулу. Ближе к обеду почтенные аксакалы и карасакалы начинают торжественное шествие по домам – ритуальный обход. Самое меньшее – положено быть в трех домах, а лучше – в семи.

О! Вон они уже идут. Впереди в длинном, до пят, чапане, подпоясанном широким кожаным ремнем с серебристыми пластинами, в шапке-борике, в мягких ичигах важно ступает верзилистый Жайлаубай, оглаживает левой рукой окладистую, лопатой, сивую бороду, утробно что-то бубнит, твердо ставит посох – аса-таяк, сплошь в сучках и заклепках. Вообще, говорят, Жайлаубай – беглый урус, которого некогда степняки нашли израненного, исколотого вилами, истекающего кровью, без сознания на летовке, отвезли в чью-то юрту, обмыли, прижгли раны паленой кошмой, отпоили кумысом, укрыли от лихих людей. Он так и

остался среди кочевников, нарекли его Жайлаубаем, раз нашли его на жайлау, омусульманили, то есть совершили обряд обрезания, оженили на бедной безродной вдове.

Урус оказался понятливым, мастеровитым мужиком: кузнечил, лудил, латал, столярничал, выучился языку, косил сено, пас табун, объезжал неукон, возил дрова, с удовольствием цедил кумыс, приправлял его целебной травой, играючи разделявал баранов, по всякому поводу благоговейно произносил: «Бисмилля». А со временем и подобающие молитвы стал читать, исполнил пятикратный намаз и держал оразу. Полюбили его казахи. И ни одно аульное мероприятие без него не обходилось. Советовались с ним по всякому поводу.

Излюбленным словечком Жайлаубая было загадочное «бил-лят». Этим словом он пользовался налево-направо, кстати-некстати. Сердится – бил-лят, радуется – бил-лят, восторгается – бил-лят. Скажем, подьелозится собака, не хочет встать под хомут гнедуха, горн не раздувает уголья, сорванцы лезут на крышу за куртом на циновке, нерасторопная Балшекер невзначай прольет молоко – все «бил-лят». Впрочем, для Балшекер «бил-лят» в устах мужа звучало как «айналайын».

Справа Жайлаубая, на полшага позади, семеня местный акын Сергали-ата. И он вырядился в изрядно потрепанный чапан, в подростковые брючки; тощую шею обмотал бабым платком. Босые ноги сунул в азиатские калоши-кебисы. Бородка его сваялась, как клок бараньей шерсти. На впалой груди топорщился пухлый бумажник, в котором ата хранил разные бумажки – квитанции, облигации, справки, рецепты, стишки собственного изделия, косо-криво нанизанные арабской вязью.

Слева тащился, пошатываясь, Альмиш. У него вечно болит голова. Поговаривают, оттого, что у Альмиша две жены. А у кого две жены под одной крышей, в одной, пусть и просторной, комнате, конечно, постоянно болит голова. Куда бы Альмиш ни пришел, перед главным блюдом – бесбармаком – должен непременно выпить кумган плиточного чаю, настоящего на мяте. Он в засаленном кургузом пиджаке с обвислыми

карманами, с одной медной пуговицей с солдатской шинели. Голова обмотана, словно чалмой, застиранным вафельным полотенцем. У Альмиша чапана нет, на нем, как на вешалке, болтается мешковатый синий халат, одолженный по случаю у школьного учителя труда.

Бочком-бочком двигался в толпе почтенных кривоногий Кази. Он недолгое время был председателем аулсовета, и, понятно, в таком статусе «айтовать» ему было не положено. Едва он успел отрастить брюхо (без брюха какой же начальник?!), как его передвинули начальником почты. А недавно его и вовсе понизили – назначили учетчиком. Пришлось водку оставить, довольствоваться кумысом и для отпущения грехов соблюсти оразу. Он был в привычной гимнастерке, в галифе и при широком, явно заморском полосатом галстуке.

Далее шли, спотыкаясь о кочки и застывшие коровьи лепешки, братья Сейтходжа и Кали. В бесцветных рубахах навывпуск и домашних стеганых штанах аульного покроя.

Завершал шествие подслеповатый магазинный сторож Тайшик. От его громоздких сапог с раструбами и войлочными чулками разило потом, ваксой, нутряным бараньим жиром за полверсты.

– И-и, алла, будь благословенен сей день! – бормотал Сергали-ата. – Кто-то дожил, кто-то и не дожил.

– Эй, биллят, с чьего дома начнем?! – вопрошал в бочку Жайлаубай.

– С крайнего, Жаке. Там кумыс хорош. И ярку справную порешили.

– Ух, биллят! Жаксы. Аллах милостив!

Как только ходоки свернули к сосновому дому на краю аула, мы, косяк сорванцов, мигом сиганули туда. Здесь, на отшибе, обитала местная знаменитость, поэт и журналист, Галым Малдыбаев. Он упоминался в школьных учебниках и хрестоматиях. У него была молоденькая, деятельная жена-певунья, приличное подворье – десяток овец, дойная кобылица, корова, телка, гуси, индюки, куры.

Почтенных ждал обильный дастархан. Поэт уважал старинные обряды.

Ритуал проходил так. Старики усаживались на почетное место на корпеше в два-три слоя, подмяв под бочок подушки. В середине, как водится, Жайлаубай, остальные – по чину-возрасту – справа и слева. Степенно обменялись с хозяевами словами вежливости и благожеланиями. Молоденькая и белоликая хозяйка чинно разливала по деревянным чашам духмяный кумыс. От удовольствия кто рыгал, кто бороду оглаживал, кто слюни глотал, кто языком цокал, кто бритую голову чесал, кто тарачил глаза на фотографии в рамках, где были запечатлены знаменитые казахские писатели от Джамбула да Ауэзова-Муканова.

Мы, огольцы, толпились в сенцах. Никто нас не прогонял. Кумысом, понятно, нас потчевать не будут, а до бесбармака придется еще подождать.

Вот, наконец, пронесли мимо нас два деревянных подноса-табака с дымящейся ароматной горкой мяса: все уложено по всем правилам, как надо – отливающиеся желтым жиром тонко раскатанные сочни, по краям – рассыпчатая крупная картошка, ребрышки, берцовая кость, лопатка, жамбас, грудинка, немного копченки-конины, поверху репчатый лучок, настоящий на жирном бульоне-тузлуке с комками соленого курта. На отдельном подносе – опаленная, очищенная, щекастая, ушастая, лобастая баранья голова, рядом – большой нож для разделывания.

Жайлаубай, понизив голос, придав ему подобающую торжественность, произнес арабскую молитву, роняя непонятные слова: «бисмилля ррахман ир-рахим», «субыхан алла, альхим диль алла, шайтани, ил-ла-ла-ха...»

Жайлаубай наконец сказал: «Ауминь!» – и все огладили лица.

С бараньей головой Жайлаубай обошелся как повар с картошкой. Разделал ее вмиг, раздал всем положенные части – уши, язык, щеки, глаза, губы, затылок, ловко раскрыв череп, выковырял в чашу мозги, сам

попробовал, остаток передал хозяйюшке и, вытерев газеткой руки, первым принялся за трапезу.

Ел Жайлаубай артистически: пальцами умело набрал в ладонь горсть сочен, сверху положил несколько кусочков нежного мяса, потом погреб еще курдючный ломтик и всю эту пригоршню бесбармака привычно запихнул в волосатый зев. Жир потек по его бороде. Остальные, сопя, кряхтя, почавкивая, последовали его примеру.

Вот тут-то самое время и нам, аульным балашкам, пристроиться в ряд за спинами едоков.

Мы с ужасом наблюдали, как гора мяса – целый баран! – истаяла на глазах. Старики жирные куски глотали, не прожевывая. Сочни всей пятерней запихивали в беззубые рты. О степенности забыли. Спешили, будто обгладывали последнего барана в жизни.

Наконец червячок был заморен, и старики вспомнили о нас, бишаринцах.

– Эй, чей бала за мной стоит? – прогудел Жайлаубай.

– Аскер. Жуматая сын.

– Е-е... знаю, знаю. Мә!

И Жайлаубай передал из табака моему корешу бараний ребрышек со слоем мяса.

– Эй! А этот рыжий малец чей будет? – тут же подал голос Сергали-ата.

– Я Гера, першыла сын, – поспешно отозвался я, косясь на катастрофически пустеющий табак посреди дастархана.

– Е-е, нашего лёктра, что ли?

– Ия, ия...

Першыл – это фельдшер, лёктр – это доктор. Так кличут в ауле моего отца.

И Сергали-ата протянул мне самый крупный мосол с ошметками мяса по концам.

Получив вожаделенную долю из рук почтенных стариков, мы опрометью выбегаем из дому.

О, до вечера еще сколько кусков нам отваяют щедродушные наши земляки! От пуза наедемся. На неделю хватит.

А старики, добрыми словами отблагодарив хозяев и выслушав благословение-бату старейшины Жайлаубая, уже в том же порядке, гурьбой шествуют в следующий дом.

Вечером, тяжело отдуваясь, то и дело распуская завязку штанов, благодущный Сеитходжа спросил меня:

– Эй, Сары бала, грамотей-домулла, сколько, ты думаешь, я съел баранов за день?

– Ну, больше одного барана, ата, наверное, не получится. Вы же не Хаджимукан и даже не Балуан Шолак.

– А? Сказал! Тоже мне знаток-білгір! А девять не хочешь?!

– Как это девять?! Это под силу только тажалу из сказки!

– А вот представь,– длинно рыгнул Сеитходжа, оглаживая вздувшееся брюхо. – Мы посетили за день девять домов. Девять! И в каждом доме слопали за милую душу по барану. Вот и считай: девять голов сгрызли.

И Сеитходжа, кряхтя, вперевалочку, как селезень, побрел домой, в свою хибару возле верхнего колодца.

– Завтра приходи с ребятками. Самый большой мосол передам тебе. Коровий или лошадиный.

О-о! И завтра айт. И послезавтра. Ах, житуха!..

Сколько воды утекло в Есиле за эти годы! Я стою сейчас на балконе и вспоминаю рассказ, поведенный мне утром Тыным- баем...

...В день айта нас, детей, будили чуть свет. По обычаю, мы всей семьей должны были участвовать в жертвоприношении барана. День только занимался, и нам хотелось спать, а мы обязаны были усесться вокруг связанного барана, держать его за шерсть, пока отец перерезал ему горло. И я, сонный, думал при этом: ну, зачем нас поднимают в такую рань? Барана можно было порешить и позже, когда выс- пимся...

Но таков был обряд, заповеданный предками. В священном жертвоприношении обязаны были участвовать все члены семьи, дабы почувствовать

единство веры-имана, единство духа, сплоченность клана. В ритуале айта все имело затаенный смысл...

Да, это так. Взрослея, я это понимал все глубже.

Увы, многие достойные обычаи и обряды-поверья казахи потеряли безвозвратно.

Исчез тот дух единства. Сгинули торжество и радость, объединявшие людей, придававшие чаяния и смысл бытия.

И это произошло в течение одной моей жизни.

...Сегодня 28 июля 2014 года – первый день очередного Ораза айта. Стою с утра на балконе, обзреваю наш двор, который обступают пять многоквартирных домов, основными жителями их являются вполне обеспеченные городские казахи. Не вижу, чтобы кто-то тащил с базара тушу или полтуши барана. Не вижу весело галдящих детей с возгласом: «Айт! Айт!», «Айт құтты болсын».

Не вижу взрослых – нарядных, торжественных – чинно посещающих друг друга. Не вижу апашек, которые одаривают друг друга традиционной выпечкой-стряпней. Не вижу объятий грудь в грудь.

Пусто. Мертво. Будто и не было оразы.

О, нет... Вон плетется согбенный, высохший старичок, знакомый профессор, с пакетом в руке в ближайший магазин. Он еще накануне говорил мне, что байбише не в состоянии замесить тесто, испечь хотя бы баурсаков, а потому он с утра отправится в магазин и купит к празднику пухлые казахские лепешки, хворост, чак-чак, пироги из слоеного теста с творожной начинкой, пончиков, вот и устроят праздничное чаепитие. А если кто зайдет с поздравлениями, бутылку коньяка на стол выставит. Вместо кумыса.

Чем не той! Чем не айт! А окровавить нож нынче накладно. На тощего барашка пенсии не хватает. Что, петуха зарезать прикажете? Так он поганный, дерьмо клюет...

Через час – смотрю – пожилой профессор назад плетется с пустым пакетом.

– Не болды, Кареке? Что случилось?

– Ай! – машет он досадливо рукой. – Круглые

лепешки, вижу, не пропеченные, по краям обгорелые. Тесто тля-ляп на воде замешанное. На каком масле пожарили – Бог весть. Баурсаки жесткие, внутри полые. Чак-чак серый, не янтарный. Вся выпечка казенная, чужие руки сварганили, без любви и тщания. Разве можно такое на стол ставить?!

В соседнем доме живут три апашки в почтенных летах. Я с ними в контакте десятки лет. Вижу: ближе к вечеру к ним потянулась стайка деток и внуков. В руках коробки с магазинными тортами, пакет сливок, бутылка полусухого вина. В кульке, видно, конфеты, печенье, чай.

Угощения в дни айта непременно связаны с добрым поминанием аруахов – духов усопших. Они, аруахи, незримо присутствуют у дастархана, радуются его обилию, вдыхают знакомые запахи земной пищи, внимают речам, обращенным к ним. В дни айта первое благодарение – аруахам. В этом священный смысл традиционного ритуала.

Помню притчу, поведенную в далеком детстве. Оказывается, аруахи невесомой, неслышной тенью бредут в свои былые земные дома с четверга на пятницу – в благостный мусульманский день. И вот встречаются два аруаха на окраине погоста. Один голову повесил, уныл, тащится через силу. Другой сияет, голову задрал, щерится, мурлычет. Спрашивает у первого: «Что, брат, стряслось?» «Ай, – отвечает понурый. – Подошел к былому дому. Не учуял приятного запаха. Не жарят, не парят. И очаг потух. Даже поминальных шелпеков не испекли. Помоями пахнет, нежитью. И доброго слова не услышал. Забыли нас... Не помнят...»

«Да, худо, худо... – взгрустнул второй аруах. – А я за версту учуял запах жаркого, и приятный чад донесся до тонких ноздрей, и дети галдят-пошумливают, и взрослые нас поминают, благодарные слова говорят. Как мило!...»

В этой притче, собственно, все и сказано. Угощения в дни айта не только улада для взрослых, отрада для малых, это еще первым делом память о предках, об

усопших, о тех, кто переселился в иной мир, обитает в иных пределах.

Боюсь, что современные казахи о том все чаще забывают. Безразличное, равнодушное отношение к былым народным традициям оборачивается потерей всего истинного, первозданного.

Правда, касается это не только казахов. Тяп-ляп – опасная болезнь, которой ныне подвержены многие – и русские, и немцы, и зенги, и шуршуты.

Грешат при этом на неизбежную глобальность, унифицированность. А виноваты, скорее, сами люди, их нерадивость, их желание прожить жизнь попроще, без напряжения, ходить – как говорят – по верху трудного, по низу легкого.

Может, действительно, на дурнях легче прожить?..

Стою в день айта на балконе, вспоминаю далекое, невозвратное, печалюсь о тех утратах, из-за которых нравственно скудеет народ.

Апырай, что происходит?

Кто-то звонит, полушутя-полусерьезно поздравляет, подчеркивая, что я ведь по своей судьбе близок к мусульманам.

– Ой, Гер-аға! Айт құтты болсын!

И я радуюсь, откликаюсь подобающими словами, а на душе почему-то грустно, грустно...

И что дальше?

Август 2014 г.



С друзьями по институту. Алма-Ата. 1957 г.



Отчий дом в ауле СКО. Я с моими сестрами. 1970 г.



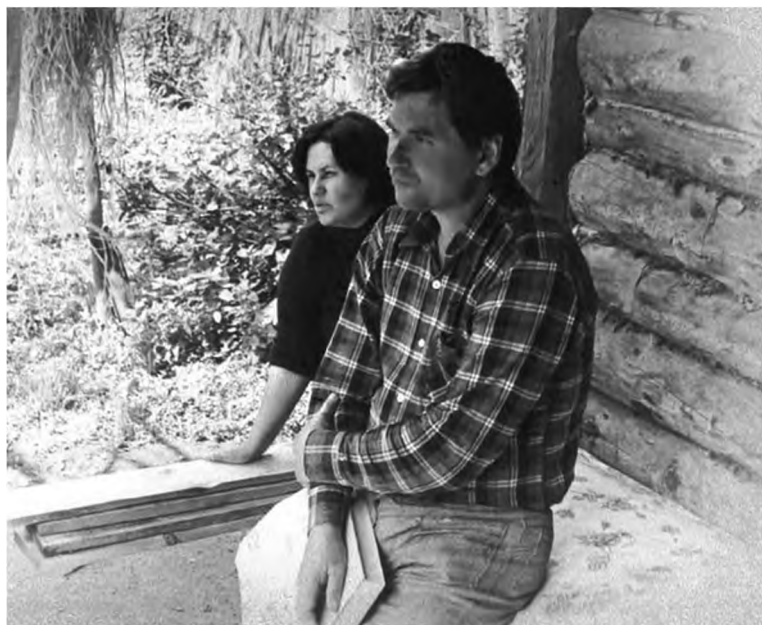
С братом Иоганнесом Бельгером. 1974 г.



Герольд Бельгер. 1974 г.



С женой Раисой Закировной. Алма-Ата. 1990 г.



С женой. Подмосковье. 1980 г.



Карл Бельгер. Ташкент. 1993 г.



С отцом в день его 90-летия. Ташкент. 1999 г.



*Незадолго до своей кончины аульчанка
Б. Кайыржанова
пришла ко мне со своими внуками. 1990-е гг.*



На Мангышлаке. 1992 г.

ЭССЕ



Итого 1957 г.

Матривка

РАЗРЕШЕНИЕ № 23

Бельму Герману Ками

Одному из чл. ил. Ленин. Ордена, с.ко

1. Пензенский

на 1957 г.

срок по с. 20, 1957 г.

По личным влад. са.а.

по возвращении к месту постоянного жительства

разрешение немедленно сдать в спецкомендатуру.

Уд.ч. РО МГБ

С.И. Давыдов

Матривка (С.И. Давыдов) 1957 г.

Умерла 30/10/1957 г. в стационаре.

ПОЗНАВАЯ СЕБЯ

(Сократ-Гете)

Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток.

А. С. Пушкин

Должно быть, возрастное. Ловлю себя на том, что все чаще перетряхиваю тощую торбу своей жизни, вываливая разом ее содержимое, и разбираю ее вместе с весьма дотошными мусульманскими ангелами – Мункиром и Нанкиром, сидящими на моих правом и левом плечах. Все тщательно перебираю, вызвав в памяти тени прошлого, все содеянное в немалой своей жизни. Получается, будто я познаю себя.

Кажется, таким был философский постулат Сократа: «Познай самого себя!»

Сократу то было к лицу: он был мудрец и гений. А оттого, что я примусь познавать себя, кому холодно или жарко? Но, может, оно имеет локальное значение? Ведь придумала же весьма серая матрона уроки самопознания в школах. Можно допустить, что какой-то смысл в таком самопознании все-таки есть. Чтобы хотя бы определить свои душевные качества, способности, самооценку, свою ментальность в своих и чужих глазах, соразмерить свою индивидуальность (если таковая есть) с обществом, в котором тебе суждено обитать. Вероятно, великим следует познавать себя, чтобы служить примером, образцом для человечества, чтобы выработать какой-то идеал, к чему простому смертному пристало стремиться. По принципу Абая: «Болмасаң да, ұксап бак!» (Примерно: «Постарайся подражать, хоть таким и не станешь».) Писатели, философы пишут свои творения, постигая себя, анализируя сферу бытия через

себя, через свою душу, выворачивая себя, все тайники души своей наизнанку. Не о том ли произведения Руссо, «Поэзия и правда» Гете, «Книга слов» Абая, «Иосиф и его братья» Т. Манна, «Игра в бисер» Г. Гессе (называю навскидку первые пришедшие в голову имена)?

Вообще-то инстинктивно и я познаю себя всю жизнь. Разве не о том свидетельствуют мои дневники, которые я усердно пишу со второго класса аульной школы, или мои писания в форме прозы, публицистики, эссеистики, критики, литературоведения? Выходит, и я настойчиво познаю себя, выявляю свое самое сокровенное, достойное и глупое, анализируя на чаше нравственных весов все содеянное, иногда испытывая удовлетворение и нередко стыд, отвращение, досаду. («И с отвращением читая жизнь свою».) Всякое накопилось на далекой дороге жизни, разное набралось в борьбе. Что-то охотно хотелось бы отбросить, выкинуть за ненадобностью, да невозможно, поскольку к прошлому возврата нет – так устроена мудрость жизни.

Что позволено Юпитеру, то не положено быку.

Что к лицу мудрецам Сократу или Конфуцию, то кажется смешным майлинскому Мыркымбаю.

Но я все больше склоняюсь к мысли, что и непутовому Мыркымбаю, как и глупому немецкому Гансу, как и везучему Ваньке-дурачку, совсем не помеха познавать себя, что в сущности они и осуществили. Может, именно это и ведет (или вело бы) человечество к нравственному прогрессу? Но вот если учесть, что это самое человечество с античных времен (насколько мне позволено судить) не особенно изменилось и в наши дни, то это, возможно, оттого, что подавляющее большинство его вовсе не занимается познанием себя, а живет исключительно – веками! – ради выживания, ради добывания хлеба насущного в поте лица. Оно заиклено не столько на самопознании, сколько на банальном продолжении рода и поддержании жизни (огня) в очаге под шаныраком.

Да, такой вариант я допускаю.

Иначе говоря, просто-напросто не всем (далеко не всем!) дано познавать себя. Просто недосуг

заниматься самокопанием, самоанализом. И то верно: чего познавать, если ровным счетом познавать нечего? Может, поэтому литература в наши дни явно теряет свое философское и общественное реноме?

Думаю, сократовская формула не всегда срабатывает. Она свойственна и действенна исключительно божьим избранныкам. Если они познают себя, несомненно, есть прок для простых пенде – грешных земных созданий.

Я, например, это сознаю, и все же стремлюсь познавать себя в слабой надежде, что эта моя жизнь, мои тщетные судороги тоже для кого-то имеют смысл. По крайней мере, читательские письма и многочисленные телефонные звонки-реплики намекают на это.

Если же в этом смысла нет, то, как говорил Абай, «Өз сезім өзімдікі», то есть «Мои слова исключительно принадлежат мне», и я их никому не навязываю.

Но что значит познать себя? Каков его механизм, по какому гамбургскому счету самопознание достигается? И где и какой его вожденный Грааль?

Нет, пожалуй, четкого ответа. Может, у немецкой философии (мне неподсильной!) он и есть, затерялся – затаился в тысячах томах, но у меня, аульного мамбета (по меткому определению А. Кекилбаева и Е. Турсунова), его, ответа, нет.

И сильно смущает меня то, что Иоганн Вольфганг Гете, с мнением которого не считаться никак нельзя, весьма сдержано относился к сократовскому философскому постулату «Познай самого себя!»

Николай Вильмонт (блистательный литературовед, эрудит-германист, гетевед – я его, похвалюсь, встречал в Доме творчества писателей в Переделкино вместе с его женой, классной переводчицей с немецкого Наталией Манн) в своей пространной вступительной статье к «*Dichtung und Wahrheit*» Гете эффектно касается этой темы и приводит гетевские поэтические строки, полные сарказма:

Познай себя! – Просил бы разъяснений,
Извольте: надо быть и вместе с тем не быть!
Да, эту формулу создал бесспорно гений:
Так коротко, а может с толку сбить.

Верно: с толку сбить может, как лапидарное гегелевское: «Все действительное разумно; все разумное действительно».

Что-то мудреное и лукавое заключено в этом «Надо быть и вместе с тем не быть».

Приходит на ум диалектическая загадка из казахского фольклора: «Есть одна дорога: далекая, но близкая. И есть вторая дорога: близкая, но далекая».

Так ведь устроена и жизнь: «Прекрасная, но полная страданий и лишений, полная горя и мук, но прекрасная и желанная».

Довольно расхожая, банальная истина.

Но метко. Можно спорить дни и ночи напролет, а ничего не доказать.

Цитирую Н. Н. Вильмонта:

«Как познать самого себя?» – вопрошает Гете и сам же дает ответ: «Только не путем наблюдений над собою, а отдаваясь делу. Попробуй исполнять свой долг, и сразу узнаешь себе цену».

«Предаваясь самопознанию, которое проповедуют попы и моралисты, мы не сдвинемся с мертвой точки, не добьемся ни реальных результатов, ни внутреннего самосовершенствования».

«Я утверждаю, что человек никогда не научится себя познавать, никогда не сможет смотреть на себя как на объект познания».

Так рассуждал Гете.

Задумаешься, не правда ли?

И хотелось бы поспорить с Гете, да аргументация слаба. Что ни говори, а самопознание полезно. Нет смысла отрицать и возможность самопознания. Да и, думается мне, каждый самобытный, самодостаточный человек в состоянии смотреть на себя как на объект самопознания.

Конечно, далеко не все, о чем пойдет впереди речь.

Оттого, полагаю, что нынешние наши депутаты, члены правительства, службисты президентской администрации в одночасье возьмутся за самопознание, какой общественный смысл? Много ли вообще проку?

Они постоянно мельтешат перед глазами публики,

сложной духовной организацией не отличаются, интеллектом не выделяются, помыслы их достаточно приземленные, амбиции, конечно, есть, да амуниция убога, мыслительная потенция ограничена, очевидными талантами за редким исключением не блещут, язык топорно-суконный, гражданское обличье размыто, деяния подневольные, чиновничьи, характеры скользкие, поступки конъюнктурные. Сколько ни анализируй душу, сколько ни копайся в душевном коржуне, мало что накопишь-извлечешь.

Значит, чтобы познать себя, надо еще кем-то быть. Из серой пендежки и Сократ ничего не выудит.

Получается, что Гете ближе к жизни, к реальности, к истине. Человек должен уметь, прежде всего, трезво оценить, что он совершил, что он сделал для общества, для народа, для человечества, если уж на то пошло. В этом смысле Абай в своих «Гаклиях» перекликается с Гете: прочтите внимательно все его сорок пять философских эссе. Вы обнаружите явную перекличку воззрений и идей.

Конечно, «Познай себя!» актуально на все и во все времена. Если при этом ты что-нибудь из себя представляешь.

Вот стою я на балконе, обзреваю доступную мне окрестность, думаю-размышляю о том о сем, вспоминаю прошлое, пытаюсь осмыслить настоящее, копаюсь в себе, познаю себя.

А кому это надо?

Внизу дворник Айупхан яростно метет двор, покрикивает на нарушителей парковки, скребет мусорный контейнер, занимается своим привычным делом, работает еще на двух местах, чтобы выучить детей.

Интересно, он тоже познает себя или уже познал?

На скамейку нашего двора устало опустились две миловидные полуголые девахи. Измученные, истрепанные, они только что выбрались из соседнего ночного клуба и бессильно прижались друг к дружке.

Любопытно, как у них обстоит дело с самопознанием? Или они тоже познали себя и окружающий их мир заодно?

Эх, растолковал бы мне все это мудрец Сократ...

Поневоле больше склоняешься к правоте Гете.

Вот с этой колокольни я и оцениваю литераторов и литературу. Особенно с нынешней моей возрастной высоты.

Я вообще-то имею базовое педагогическое образование. Дипломированный преподаватель русского языка и литературы. Методист по аспирантуре. Читателем всегда был усердным. Так вот, русская литература (имею в виду главным образом классическую) в познании самого себя и мира имела на меня наибольшее влияние. В нравственном моем воспитании и умственном развитии она, полагаю, сыграла главенствующую роль. Философская максима «Познай себя!» максимально (извините!) выражена именно в русской литературе. Распространяться по этому поводу нет смысла, ибо это постулат очевидный.

А учился я в казахской школе, всю жизнь вращаюсь в казахской среде, много читаю казахов, переводил с казахского языка на русский уйму книг, писал немало исследовательских работ по казахскому языку и статей-рецензий по казахской литературе.

В познании себя и мира, видимо, косвенно имела влияние и эта сторона моих читательских интересов. Однако скажу откровенно, философское кредо «Познай себя!» не самая сильная ее струя. Бросаются прежде всего в глаза ее описательность, ее экзотичность, выпренность, пафосный слог, велеречивость и многословие. Словесно себя казах никогда не ограничивал. Для казаха время и пространство – категория безмерная. И того и другого у щедрого творца вдосталь. Такая сложилась историческая ментальность. По пышнословию казахская литература, на мой взгляд, занимает одно из ведущих мест в мире. Я не говорю, что это изъян. Нет. Это просто одна из характерных ее черт. Она ярко живописует, лепит метафоры и сравнения, играет словами, будто вспенивает терпкий кумыс, восхищает образностью, изысканными украшениями-излишествами, дидактикой, нравучением и назидательностью. Она менее всего настраивает че-

ловека (читателя) на познание самого себя. Мысль – не главный ее конек. Она привлекает словесным узором, замысловатыми орнаментами. Старается привлечь внимание читателя (слушателя) плетением словес и завлекательными подробностями. Словом, «алыстан шауып, қысынын тауып».

Казахская проза для ума не очень калорийная пища. Пухлый «Жұмбақ жалау» Сабита Муканова я с упоением мог читать только в 6-м классе аульной школы. Сейчас подобное читать я не смогу даже в одиночной каталажке при трехразовом приличном питании. А ведь на таком уровне написаны штабеля казахской прозы. Я ее никак не отрицаю и не унижаю, а просто констатирую ее познавательный заряд.

Возможно, я ошибаюсь, но я склонен именно так ее воспринимать. Ум она обогащает меньше всего. Ее функция или козырная карта – описание безмерности и разумности божьего бытия. Именно так я воспринимаю изысканную прозу Аймаутова, Ауэзова, Т. Алимкулова, Кекилбаева, Магауина, Нурмаганбетова – шести ведущих, на мой взгляд, казахских прозаиков. Проза казахская интеллектуально весьма однообразно-ровная и географически плоская, как безмерная казахская степь, как плато Устюрт. Сопок, увалов, хребтов, гор встречаете немного, далеко за горизонтом. С годами меня все больше манит-привлекает-притягивает немецкая литература. Боже, сколько гигантов! Гете, Генрих и Томас Манны, Гауптман, Герман Гессе, Ремарк, Генрих Белль, Гюнтер Грасс... Не стану далее перечислять, слишком длинным получится список. Добавьте сюда блистательный ряд философов – Кант, Гегель, Фейербах, Шопенгауэр, Ницше, Шеллинг, Фихте... ойбой, разве всех упомянешь?! (Признаюсь, мои познания о них ограничиваются, главным образом, серией «ЖЗЛ»). Вот основные мощнейшие истоки самопознания. Вот кто руководствовался философским штандпунктом: «Познай себя!». Они, эти литераторы и философы, и себя познавали, выстраивая обстоятельные системы миропонимания, и других заставляли облагораживать душу высокими дерзновенными мыслями.

У меня ныне почти отпало желание читать «чисто» художественные, изящные беллетристические поделки (особенно авторессы). Ну и что из того, что писатель Тугеншеев или Такойтович, возомнивший себя истинным художником, красиво, высокопарно, велеречиво описывает восход и закат солнца, небо, облака, звезды, рябь озера, игру теней, шторм на море, буран в степи, утреннюю росу, секс в стоге сена и т. д. и т. п. — все это было, было, было и сотни раз, и тысячи раз. Можно, конечно, восхищаться: «Ах! Ах! Какая картина, какой образ, какие нюансы и детали!» Ну, вымучил автор-эстет еще один эпитет, вставил в лыко еще одно сравнение, поиграл-позабавил словесами-выкрутасами, озадачил туманным намеком, что-то недосказал, что-то неумеренно расписал, ну и что? Все это на любителя, на пресыщенного эстета, на гурмана, на сноба.

Для меня это все нечто пройденное, надуманное, вымученное, как бальмонтовские аллитерации и ассонансы, как фетовское «шепот, робкое дыхание, трели соловья», как хлебниковские «ребусы» и «кроссворды», как нарочито изломанные цветаевские синтаксические конструкции и т. д.

Философичность немецкой прозы, ее нацеленность на диалектику души, ее психологическая и словесная точность, четкость и ясность мысли меня прельщают все больше и больше. Она, как мне кажется, неизменно следует философской формуле Сократа.

Может, именно эта струя немецкой прозы меня и волнует, и обогащает мою душу и ум?

Литература знает великолепных художников слова, истинных ювелиров типа Бунина, Шолохова, Паустовского, Казакова. Я их охотно читаю, пробую каждое слово на зуб, восхищаюсь их живописанием, умением плести-вышивать узоры, выжать из слов за-таенную музыку, чары, колдовство. Все так. Но я не могу довольствоваться кондитерскими яствами, для ума необходима иная пища. У этих тонких художников совсем иное видение, иной штандпункт, мысль их не первична, несколько поверхностна, они не формиру-

ют и не формулируют логику бытия, а больше заняты колдовством слов.

Потому после них я должен читать непременно Герцена, Толстого, Солженицына и подлинную художественную публицистику Л. Леонова, Ч. Айтматова или Кендзабуро Оэ. Допускаю: сказывается мой эстетический изъясн. Ограниченность. Спорить не стану. Но я ведь свое видение и ощущение никому и не навязываю.

Вершиной художественной прозы я считаю «Войну и мир» А. Толстого, «Иосиф и его братья» Томаса Манна и «Путь Абая» Мухтара Ауэзова. В этих монументальных творениях нашли созвучие, гармонию мыслитель и художник. Таковы вершины трех близких мне литератур.

А мимовольно мне думается: если бы наши высоко взобравшиеся чиновники ежегодно прочитали бы эти 12 томов, они находились бы на совсем ином духовном уровне эстетического и нравственного развития и воспринимали бы мир совсем иначе, и в познании себя и общества заметно приближались бы к миссии служения народу.

Увы!..

И данным эссе я пытаюсь посильно привлечь внимание читателя к сократовскому «Познай себя!» и гетевскому скептицизму и сарказму по поводу «надо быть и вместе с тем не быть!»

Август 2012 г.

ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ И ДАЛЬНЕМУ

(Ф. Ницше и Т. Зульфикаров)

Случилось так, что я одновременно перечитывал Фридриха Ницше и Тимура Зульфикарова. И обнаружил между ними немало общего и созвучного.

Вопрос: а правомерна ли такая постановка?

Думаю, да.

Особенно в форме изложения, в лапидарности, в эмоциональной насыщенности, в философской концентрации познания бытия, в подтекстах, в стилистическом шарме, в музыкальности и поэтичности фразы, в колдовстве слога.

Да мало ли в чем? Почитайте – убедитесь. Попробуйте только вникнуть в суть.

И никому из них механически подражать невозможно, как бы просто и соблазнительно это ни показалось. Они самобытны, абсолютно уникальны. Их и на другие языки переводить, скорее всего, немыслимо. Переводчики Ницше на русский язык вынуждены толковать, разжевывать иные многозначные понятия и выражения. А я, читая русскоязычного Тимура, мысленно прикидываю, как бы передать его притчи, его вычурную, неподражаемую ориенталистскую интонацию по-немецки или по-казахски. Я испытываю магическую робость перед его стилем. На каждом слове попадаешь впросак или вообще в тупик.

Он афористичен и метафористичен.

«Молодость – быстротекущее время.

Старость – мимотекущее время.

Вечность – все текущее время, но вечности нет без смерти».

Или:

«Муж в любви – зверь, а жена в любви – мать...
Муж в любви – водопад, а жена в любви – заводь...»

Он поэтичен в каждой фразе, у него тяга к возвышенному, сказовому слогу.

«О, сладкая, вожделенная, необъятно сладимая халва,
бездна в ногах жен!
Как не стремиться туда мужу, если он вышел оттуда?..
Как не любить гнездо рождения своего?..
Как не лелеять кибитку, мазанку-люльку-зыбку детства
сладчайшего, первоначального, птенцового своего?»

Он мудр, философичен.

«Мудрость и власть на земле – враги!..
И так будет до скончания времен, до скончания веков...
Мудрость протекает в монастырях, а власть в кремлях...
Разве встречаются они... и на Кресте...»

В поисках истины он категоричен и беспощаден. Хочешь – спорь, не можешь – соглашайся.

«Все дороги на Руси – к Голгофе тайные пути.
Даже когда русский человек ночью, в поле, идет за водкой –
он бредет на Голгофу...»

(Тимуру, пожалуй, корректно так говорить: у него матушка – русская, а батюшка – таджик.)

Довольно, однако. Не могу же я цитировать всего Зульф리카-рова.

А за ним, за его спиной, ухмыляется в густые усы-щетки сумрачный дядюшка Фридрих, там, далеко, в глубине веков, ошарашивает отравленными скепсисом истинами-сентенциями.

Оба очень парадоксальны. С какими-то их утверждениями никак не хочется соглашаться. Ты ведь

в плену собственных жизненных впечатлений. Но и их спорные суждения эпатируют, ошарашивают, волнуют, будят мысль, заставляют ворочать камни дум и задумываться. Ты покорно бредешь, как на поводу, по их тропе вслед за Заратустрой, реформатором древнеиранской религии (VII век до н. э.), и бессмертным суфийским мудрецом-дервишем, за тысячелетия познавшим оба мира.

Вслушиваешься, вчитываешься, вчувствуешься в сентенции немецкого гения:

«Из всего написанного я люблю только то, что пишется собственной кровью. Пиши кровью: и ты узнаешь, что кровь есть дух».

«В горах кратчайший путь – с вершины на вершину: но для этого нужны длинные ноги. Притчи – те же вершины, а те, к кому обращены они, должны быть высокими и могучими».

«Враги ваши должны быть достойны ненависти, но не презрения. Вы должны гордиться вашими врагами: тогда успехи их будут вашими».

«Да будет любовь ваша к жизни любовью в высшей надежде, а этой надеждой станет пусть высшее из убеждений ваших!»

«Государством зовется самое холодное из всех чудовищ. Холодно лжет оно; и вот какая ложь выползает из уст его: «Я, государство, я – это народ».

«Если ты раб, то не можешь быть другом. Если тиран – не можешь иметь друзей».

То, что я сказал выше о Тимуре Зульфикарове, – о лапидарности, афористичности, поэтичности и философичности и пр. – в полной мере приложимо и к Ницше. Или – наоборот, что будет логичней и справедливей во времени и пространстве.

Синтаксис, правда, иной. Дыхание иное. Цветная гамма мировосприятия разная. Несколько монотонный, сдержанный, аскетический фон Запада и яркие, сочные, пестрые, буйные краски экзотического Востока. Но узоры, мысли, душевный настрой явно перекликаются. Словесные узоры в неизбывной тоске по истине бытия.

Фридрих Ницше:

«Разве призываю я вас любить ближнего? Скорее, я посоветую бежать от ближних и любить дальних!»

«О, как много тех, для кого высота – предмет вожделения! И тех, у кого вызывает она судороги честолюбия! Покажи, что ты не из этих сладострастников и честолюбцев!»

«Счастье мужчины зовется «Я хочу». Счастье женщины – «Он хочет».

«Многие умирают слишком поздно, а иные – слишком рано. Пока еще странным покажется учение: «Умри вовремя!» Умри вовремя: так учит Заратустра».

«Я – северный ветер для спелых плодов. Так, подобно плодам смоковницы, достаются вам поучения эти, друзья мои: пейте же сок их и вкушайте их сладкую мякоть! Осень вокруг и чистое ясное небо, и к вечеру клонится день».

Ницше, конечно, стоит немного в иной плоскости, он обитает в иных пределах, где-то там, далеко, недоступно, за горизонтом жизни- смерти. Тимур Касимович близок, почти рядом, современник-замандас, загадочный, манящий суфий, бытующий в веках; поэтически и философски воспринимающий божий мир.

Одиноким дервиш среди мудрецов.

Зачарованный их беседой, возвышенной духовной перекличкой, я бреду по каменистой тропе, по которой шли некогда незабвенные Заратустра и Ходжа Насреддин.

Под влиянием творчества Ницше оказались очень многие. Разве всех перечислишь? Философы-литераторы называют Л. Шестова, Б. Шоу, Т. Манна, Г. Гессе, А. Камю, Ж.-П. Сартра... Из казахов (я свидетель) еще студентом грезил Ницше эрудит Аскар Сулейменов. Он «болел» им долго, постоянно цитировал его, произносил на свой лад: «Нитче». На излете 50-х годов прошлого века припожаловал как-то из Москвы модный и активный критик Лев Аннинский (тогда он обладал пышной шевелюрой и был без бороды) и страшно удивился, что его коллеги, как он считал, из глухой провинции – Аскар Сулейменов и

Зейнолла Сериккалиев – досконально знают немецкого оригинала- мыслителя Фридриха Ницше.

И еще доподлинно знаю, что с «Так говорил Заратустра» не расставался казахстанский прозаик Иван Щеголихин.

Я пишу эти строки на основании прилежного перечитывания, в основном, двух кинг: «Так говорил Заратустра» Ницше и «Изумруды, рубины, алмазы мудрости в необъятном песке бытия» Тимура Зульфикарова.

О чем рассуждает Ницше? Вот названия некоторых главок-притчей: «О трех превращениях», «О кафедрах добродетели», «О мечтающих об ином мире», «О радостях и страстях», «О чтении и писании», «О войне и войнах», «О целомудрии», «О друге», «О любви к ближнему», «О ребенке и браке», «О свободной смерти» – таковы не все названия этюдов из первой части «Так говорил Заратустра». А всего частей в книге четыре. И таких философских миниатюр я насчитал 81.

А как называются главки этюдов и притчей у Зульфикарова? «Мудрость», «Власть», «Народы», «Русь», «Любовь», «Смерть», «Загробные странствия», «Бог», «Конец мира», «Тело», «Тайна смерти», «Вера», «Суфии», «Мириада человек», «Ветер», «Дева рая»... всего 83 этюда, притчи, афоризма, стихотворения и песни.

Эти две книги я читал медленно, долгими зимними вечерами, задумываясь, пробуя на вкус каждое слово, по одной притче, по одному абзацу, с любой страницы, наслаждаясь, восхищаясь. Я читал эти книги попеременно, как бы участвовал в виртуальной беседе, но не встречал в разговор мудрецов, только слушал, испытывая восторг. Один из собеседников – человек Запада до мозга костей, другой – Востока, пронизанный восточным мироощущением и мировидением. Я вслушивался в их речи и вспоминал «Западно-Восточный диван» Гете. Случалось, в эту беседу мудрецов дерзко вклинивался Олжас, размашисто утверждая: «Нет Востока, и Запада нет – два сына есть у отца!»

Ах, какая улада души – слушать мудрецов разных эпох за одним столом в ночной тиши! Я подолгу не мог заснуть, вставал, ходил по кабинету, высовывался на балкон, смотрел на редкие звезды на стылом небе и на одинокую, отрешенную Луну.

Мысленно я продолжаю бродить по следам Заратустры и Ходжи Насреддина.

А сейчас я остановлюсь, обыгрывая в уме немецкую сентенцию:

«Wenn's am besten schmeckt, soll man vanthoren», т. е. когда вкуснее всего, следует остановиться.

И все же не удержусь, воспроизведу напоследок магические строки Тимура из его притчи «Стрекоза» (в названной выше книге она стоит последней).

«Всю жизнь я дружу со стрекозами... и они ищут меня,

и льнут ко мне...

Трепет крыл их меня очаровывает, отуманивает, убажает, успокаивает... Как стихи Хафиза иль Саади...

Но паук остался голодным, обделенным...

О Боже!.. жаль и его...

Господь! Творец!.. Что творишь Ты?

Где истина в мирозданье твоём?..

Я – стрекоза Твоя...

Я – паук Твой...

Я – человек Твой...»

Чувствую: выразился коряво, топорно, неладно. Хотел сказать тоньше, проникновенней. Но лучше сейчас не могу. Нет той магии и колдовства, присущих Ницше и Зюльфикарову. Владеть бы стилистикой «Игры в бисер» Германа Гессе! Куда там! Воображение чахлое. Никак не выразишь того, что хотел, что смутно бродит в душе. Что взволновало, удивило, потрясло, поразило, взбудоражило, заставило почувствовать свои приземленность и ничтожество.

Что поделаешь? Есть недосыгаемые высоты Духа, есть не доступные смертному вершины, где обитают-парят, изрекают вечные истины гении – Избранники Земли.

6 февраля 2013 г.

ПАУК

(Хаким Омар)

“Паук” – так называется философский рассказ-эссе Хакима Омара. (Кто такой Хаким Омар? О том скажу позже.) Рассказ, о котором пойдет речь, написан почти тридцать лет назад. Меня он сразу зацепил, я в нем услышал отдаленные кафкианские мотивы.

Паук в тихих, затаенных уголках дома или юрты бесшумно плетет свою узорчатую паутину.

Мать рассказчика, скромная труженица, хранительница очага, преодолевающая старческие недуги и телесную слабость, ткет свой ковер «Битпес» («Неосуществимый» – «ее благословение, пожелание, наставление, ее свершение и ожидание, великая связь и преемственность поколений».)

А рассказчик, нещадно казнящий себя за свое затянувшееся безделье, упивающийся своими неудачами в жизни («Я смешон, я несчастлив, я непотерянный человек»), досадающий на свое ничтожество («Кто я? Никто», «Чего я добился в жизни? Ничего»), мудро и мастерски ткет свое эссе, в котором ничего вроде не происходит, но которое привлекает внимание читателя сокровенными и неизбывными думами-размышлениями о жизни, о кочевниках-предках, о казахах городских и аульных, о крутых мировых свершениях. Читаешь эссе с расстановкой, не торопясь, задумываясь едва ли не над каждой строчкой, вникаешь в философскую глубину. Вспоминаешь Абая: «Қиыннан қиыстырар ер данасы» – «Из чуда искры высекает гений».

Поневоле следишь и следуешь за ходом размышлений автора эссе.

Вот идет рассуждение о словах подлинных, полновесных и безответственных, легковесных, как надутый бурдюк. «К каждому слову, любила мать повторять, следует привязывать камень, выполняющий роль грузила, которое, удерживая на определенном уровне, предупреждало возможность внезапного всплытия слова-бурдюка. Нам часто не хватает сдержанности в характере, взвешенности в словах. Наступило то время, когда мы не управляем словами, слова не управляют нами».

Как это точно и верно замечено. Слова-пузыри, слова – надутые бурдюки, слова – сорная трава довлеют над нами, заполонили наши души, грязным потоком льются со страниц СМИ (господи, сколько же их развелось!), с голубого экрана, с эстрады, с высоких трибун, из уст словесных жонглеров. Набили оскомину, одурманили наши головы, превратили наше бытование в иллюзорный мир.

Вчитайтесь в нашу печать. Слов-пустышек в ней больше, чем – простите – вшей в тулупе аульного Жайлаубая в годы войны. Вслушайтесь в речи наших доморощенных депутатов, членов правительства, околопрезидентской администрации – это жесплошной мусор, фантом, воляпюк, симулякр, которые никаким агрегатом не вычистишь, и эта тотальная девальвация слов будет, пожалуй, похлеще инфляции худосочных тенгушек. Надо хоть иногда прислушиваться к советам Абая, хоть изредка вглядываться в словесный узор Востока, почитать хотя бы немного русских классиков, а не лялякать, как Бог на душу положил, сотрясая воздух, как трепло-пустоболт, надо же брать пример у тихого паука и чародейки-ткачихи, вышивающих плетущих свои ою-орнеки в отрешенной тишине.

Вот о чем подумалось мимовольно, читая рассказ-эссе Хакима Омара.

Рассказчик сетует на неустроенность своей судьбы. Он подмечает то, с чем мы, горожане, давно уже свыклись. «Семь лет торчу в этом городе, в плену его каменных стен. Этот холодный город. Эти суровые

горы... Они никогда не возвысят человека. Здесь живут в яме».

Эти ощущения мне были знакомы лет пятьдесят назад. (Сейчас я так не думаю. Наоборот.) Но поначалу я, приехавший сюда из степного раздолья Северного Казахстана, тоже угнетающе воспринимал и каменные стены, и суровые горы, которые по утрам назойливо хотелось отодвинуть, чтобы смотреть вдаль, за южный горизонт, и гигантскую яму-котел. Потом привык, более того, искренне полюбил этот город и гордился (горжусь) им. А вот на «яму» ссылался и мой отец. Он считал, что здесь дышать невозможно, тебя будто впихнули, мол, в мешок и сжали-сдавили со всех сторон. «Нет, здесь жить нельзя, – решил мой отец и перебрался из Северного Казахстана, где фельдшерствовал тридцать лет, в Ташкент. «Там равнины, там простор, там можно дышать».

Автор «Паука» считает: «А нужно строить дома на возвышенности. Лучше в степи. В ровной степи. Сильные народы всегда занимали равнинные земли».

И я вспоминаю равнины Кызылжара, Костаная, Павлодара, Семей, Мангышлака, России, западных стран. Наверное, прав этот потомок вольных кочевников – Хаким Омар. Он болезненно воспринимает «утрату традиционных ценностей, небрежное отношение к исторической памяти и, как следствие, – податливость любому легковесному влиянию, безоглядное механическое погружение в чужую культуру и среду, бездумное вовлечение себя во вселенское течение конформизма и космополитизма».

О, да... есть такой казахский грех? Конечно! Паук в углу дома тихо ткет свою узорчатую паутину и навевает подобные думы. И они находят отклик, отзвук в моей душе. А ведь эссе написано давно, еще в 1984 году. Сколько прошло лет? Сколько стряслось событий? А мотивы эти находят созвучие в уголке сердца.

Автор видит: «Мир стремительно меняется и предлагает другие формы и отношения. Более успешны те, кто смог вжиться в ритм практицизма».

Не спорю. Это очевидно. Конечно, более успешны, но более счастливы ли? Вот в чем вопрос. Почему многие чувствуют себя одинокими, обездоленными, неустроенными, невостребованными? Почему общество отсекает многих, как изгоев. «Безымянная масса не прощает искажения своей сути, в толпе никто никого не выше, не ниже, все усреднено, все унифицировано, внутреннее содержание выхолащено».

Отчего эти духовные катаклизмы? — задаю я, читатель, себе вопрос. Некая зараза постигла моих сограждан-земляков. Каким словом ее определить? Приходит на ум немецкое «Geldjager» — буквально: «гонщик за деньгами». Именно в последнее двадцатилетие (т. е. со времен так называемой независимости) все поголовно помешались на погоне за золотым тельцом. Деньги вытравили все. Акша, акша, акша. Весь мир свихнулся на money. Химерические материальные блага, низменная корысть, копеечная выгода околдовали человеческую сущность, дьявол наживы, подлый искуситель сбил человека с праведного пути в толпу. Хаким Омар пишет: «Человек незаметно превратился в пленника. Вещи, окружающие нас, сплели паутину, связав нас невидимыми нитями, и сделали заложниками собственного благополучия. Современный человек несвободен, он и не стремится разорвать оковы, он придавлен тяжестью окружающих предметов».

Ну, не так разве? Вчерашний раб нищеты превратился в раба изобилия. Поколения боролись за свободу, за независимость, за раскрепощенность, а добившись вожаемой свободы, тут же плюхнулись в болото потребления, вместо того, чтобы взмыть душой на крыльях созидания.

Не нонсенс ли? Не искушение ли Азазеля? Не верный ли путь к крушению, к самоистреблению, к тотальной гибели?

Хаким Омар трагически воспринимает лишение кочевника своей праматери — Степи.

«Степь – огромное пространство, здесь все устремлено вдаль, все движется, не стоит на месте». И он поет гимн бескрайней степи. Он задается вопросом: «Где теперь обитатели этих просторов, пестрые и шумные караваны кочевников?» Он вспоминает древнюю поговорку: «Қала болдың– мола болдың» (т. е. ты загнал себя в город, ты впал в могильный холод). Цивилизация обходится Степи и степнякам дорого.

Созерцая тихую работу неутомимого паука, рассказчик плетет свою неторопливую паутину-эссе. «Кочевник, глядя на паутину, постигал редкое для него явление – покой – и на мгновение успокаивал свое беспокойное сердце, а паук в решетчатых стенах юрты вдыхал воздух вечного движения».

Ткет-вышивает всю жизнь разные изделия неутомимая мастерица – мать рассказчика. Паук – по-казахски өрмекші. Это означает «плетущий орнамент». Казахский паук – совсем не то, что русский или немецкий. Казахская примета: если паук распускает свою паутину, то это к дороге.

И еще: «Пауки приносят счастье. Человек, берегущий их, будет долго жить. Не трогайте пауков». Таков завет Матери.

Глядя на паука, ткущего свои невесомые узоры в уголке потолка, рассказчик думает: «...Пока не поздно, нужно встать и идти своей дорогой. Пауки беспощадны к тем, кто перестал двигаться».

...Ткет паук свою паутину.

...Ткет Мать свои нескончаемые узоры на ковре «Битпес»...

...Ткет Хаким Омар свое раздумчивое эссе.

...И, читая его, посильно тку и я свой многолетний цикл «Плетенье чепухи».

Стал наводить справку: кто такой Хаким Омар?

Никто из моих знакомых ответить не смог. Видно, тихий, скромный трудяга, державшийся особняком и пишущий на русском языке свои рассказы и эссе.

А меня он разыскал на аллее возле памятника Чокану. Вручил свою книгу со странным названием

«Демб» («Что за Демб?» – «Прочитайте – узнаете». – «Неужто казахское слово?») Он загадочно усмехнулся.), давний сборник Акселеу, энциклопедию «Сакен Сейфуллин» и журнал «Тамыр». Дома полистал журнал и приятно удивился: Хакиму Омару отведено много места. Наткнулся на фразу доктора филологии Айгуль Исмаковой: «Слово в книге Х. Омара – это итог выстраданных чувств».

Думаю, верно определено. Я могу только это подтвердить.

Июнь 2012 г.

ПРИШЕЛЕЦ ИЗ СТРАНЫ СОЗАК

Эссе-диптих
И. Чаадаев, Гефтер, Аскар

Пожалуй, уже четверть века назад критик, философ, большой знаток культуры и литературы Аскар Сулейменов (я с ним тесно дружил с институтских и аспирантских времен до самой его безвременной – в 1992 году – кончины) очень напряженно рассуждал на тему: «Куда мы идем?».

Имелся в виду СССР. Кое-кто тогда уже предчувствовал-предугадывал его неизбежное крушение. Говорили: как и все империи, Советы рухнут.

Локально мысли Аскара были о России и Казахстане. Аскар был убежден: идем мы куда-то не туда. Не вперед и не назад, а в непонятную – скорее всего, гибельную – сторону.

Я внимательно прислушивался к монологам моего младшего друга, но о грядущем моя голова особенно не болела: оно казалась слишком далеким, а повседневные житейские проблемы чересчур конкретно хватали за горло.

Аскар был весь переполнен суждениями и цитатами из Герцена, Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева, Петрашевского, Ленина и многих-многих других выдающихся мыслителей. Особенно часто звучал в его устах Чаадаев. Набор цитат был целевой – критический, разоблачительный, едкий, горький, беспощадный, острый, болезненный.

Адресат – Россия.

Именно в те годы писатель Абдижамил Нурпеисов организовал издательство (напрочь забыл название,

но оно было связано с «КРАМДС Банком»), и Аскар предложил проект (его особенно поддержал Акселеу Сейдимбек, писатель, этнограф, историк) – издать острую, актуальную книгу типа «Россия глазами русских», в которой большое место отводилось – в первую очередь – Чаадаеву.

Вопрос стоял кардинально – Россия как пробел в понимании. О правомочности существования России. О ее роли и месте в истории человечества.

Аскар исходил из того, что СССР – держава, которая обречена на распад, на неминуемый развал. И это – он так считал – не трагедия, а вполне закономерный, диалектический итог.

Одним словом, – Судьба, от которой не уйдешь. И развал СССР в конечном итоге, скорее всего, – благо, ибо многие народы получают, наконец, вождеденную свободу и относительную независимость и обретут возможность реально доказать, кто на что горазд.

Абсурд, недоразумение предвидели, предсказали сами трезвые русские мыслители, которым никак нельзя отказать ни в здравомыслии, ни в благородстве, ни в недостатке патриотизма.

Чаадаев смотрел в самый корень. Глубже всех понимал исток проблемы. И наиболее ясно и четко выразился.

Аскар ссылался на известные «Философические письма» и на «Апологию сумасшедшего».

Увы, проект Аскара так и не осуществился, как и многие его идеи.

Да и Нурпеисов, как я понял, не особенно был заинтересован в издании такой книги: хлопот не оберешься. Время смутное, скользкое: хай поднимут – туши свет. Ведь в книге прозвучали бы – воленс-ноленс – какие-то антирусские мотивы. А это по всем параметрам некорректно.

Четыре года спустя после смерти Аскара эта тема прозвучала в интервью корреспондента «Литературной газеты» (17 января 1996 г.) с историком, философом, публицистом Михаилом Яковлевичем Гефтером. Посмертно.

Суть чаадаевского вопроса: куда мы движемся, какой идеей воодушевлены?

Гефтер рассуждает: «Действительно, сегодня мы имеем право говорить, что чаадаевский вопрос звучит как гамлетовский: быть России или не быть».

Отталкиваясь от этого постулата – быть или не быть – Михаил Гефтер уточняет: «Если быть России, то только в том случае, если она отыщет себя в человечестве, которое тоже не стоит на месте. Значит, возникает проблема какого-то догоняющего движения. И если быть в человечестве, как поступить по отношению к этому не останавливающемуся на месте и ждущему, когда к ней подойдет Россия – или кто иной, оказавшийся в этой же роли, – хотя Чаадаев никого, кроме России, в этой роли не видел.

Значит, возникает мысль, что вступить в человечество можно, только извлекая какие-то ресурсы непредусмотренного, непредугаданного самонахождения, самоутверждения».

Я нарочито прибегаю к этой длинной цитате, ибо вполне сознательно проецирую эту мысль на Казахстан, считая, что правомочно ставить так вопросы и в отношении нашей независимой страны.

В самом деле, как целесообразно смотреть на Казахстан: в человечестве, в глобальных масштабах или в сугубо национальном потоке развития, в ограниченных, локальных, замкнутых пределах измерения?

Вопрос не праздный. И продолжает стоять остро. И, судя по множеству печатных публикаций, до сих пор окончательно не решенный, дискуссионный. Имеются сторонники обоих направлений.

Вроде стратегия определена в многолетних президентских посланиях народу, в фундаментальных, полных соблазнах программах 2030 и 2050, в оптимистических, футурологических предвидениях недостатка нет, «планы-громадьё» ошеломляют. И все равно червь сомнения грызет в душе, смущает, волнует: куда идем? Так ли идем? Вперед или назад? Или вовсе свернули по бездо-рожью?

Словом, «Эх, птица-тройка, куда несешься ты?»

Вариант: «Ай, тулпар мой крылатый, куда помчался ты?»

Лидеру нации, полагаю, все ясно. А вот, чай, уверенность массы невелика. Светлые идеи, спущенные сверху, кажется, не овладели ею. И при этом большинство населения косится по старинке в сторону России, памятуя евтушенковские строки:

«Если будет Россия,
Значит, буду и я».

Гефтер ничего не имел против общечеловеческих ценностей. Простой люд, надеюсь, тоже. Гефтер видел несовмещение ритмов, образов жизни, способов жить. Народ, обретший независимость, тоже это видит или, точнее, смутно ощущает, чувствует.

Много оттенков у чаадаевского вопроса. Мы, возможно, еще не уяснили их для себя во всех параметрах. А Аскар, мудрец, уникам, наверное, это понимал.

Гранями этого вопроса был озабочен и Гефтер. «Как войти в человечество, зная, что войти нужно, находя для этого свой особый способ вхождения, способ, который не будет безразличен для всех других на этой земле? И не по той простой причине, что мы способны взорвать эту жизнь, уничтожить ее, а потому, что эта евразийская особенность, уникальность для остального мира и опасна, и перспективна».

Я с 1941 года казахстанец, хотя и родился в России.

В Казахстане я вырос, воспитывался, проникся казахским духом и, надеюсь, здесь в какой-то мере пригодился. Ничто казахское (а, стало быть, шире: казахстанское) мне не чуждо.

С колокольни нынешнего времени и положения страны все – прошедшее, настоящее, будущее – вроде ясно.

Ясно, да не совсем.

Все же вопрос, который в свое время Чаадаев ставил к России, полагаю, нынешний здравомыслящий казахстанский люд ставить вправе и к Казахстану.

Трескотни и словоблудия, пустого бахвальства и постыдного даракианства избыток, а четкого ответа на очевидные вопросы: откуда мы пришли и куда мы идем, туда или не туда, вперед или назад, или вообще Бог весть в какую сторону – нет как нет.

Все зыбко, все туманно

Да, свобода! Но от чего и с чем ее едят?

Да, независимость! Опять-таки от кого и от чего?

И главное: ради-для чего?

Для безудержного воровства, для беспредельной коррупции, для разбоя, утех, самодурства, для откровенного «белден басу» – куда хочу, туда и ворочу?

Да, государство! Но какое? Со своим лицом, своей поступью или нечто показушное, чтобы только пыль в глаза пускать, головы неразумным хазарам морочить и прокисшей лапши безмолвной челяди на уши вешать?

Ал, не деріңбар?! Что тут скажешь?

На одном внешнем подражании далеко не ускачешь. Строптивый неук сбросит неумелого седока в первом же овраге-сае.

И Россия, и Америка, и Запад – европейский курятник не всегда пример.

А кто пример-образец? Китай?

Не совсем уверен. Несоизмеримые понятия.

Михаил Гефтер говорит: «Дело в том, что Китаю не надо становиться Китаем; а России еще надо стать Россией».

Сказано это более 20 лет назад, но, приглядываясь к тому, что происходит ныне в России, не скажешь, что это суждение снято с повестки дня.

Вслед за Гефтером и я скажу, что Казахстану, несмотря на повседневную несмолкаемую барабанную дробь, еще предстоит стать Казахстаном. Не след самообманом утешать себя.

Тут могучей воли его многолетнего лидера, думаю, недостаточно, нужна добрая воля и созидательная мощь всех казахстанцев. Идея должна овладевать массой.

Этого пока не происходит. Вожденное единство еще очень далеко от идеала. Как говорится, один смотрит на вас, другой – на Арзамас. Один, накарабчив три

воза дерьма, нацелился за кордон, другой копошится в подворье заброшенного аула. Один прыгает от сытости, другой от холода.

Әзір бастары косылмайды. Разброд все еще велик.

Мудрый Аскар из Созака был человеком западной ориентации. Он глубоко знал историю, философию, литературу и искусство Запада и грезил, что Казахстан войдет в огромный цивилизованный мир, присоединится к общечеловеческим ценностям, сохранив свою природную суть и ментальность.

Эту же мысль несколько позже высказал и Михаил Гефтер, утверждая: «Мы сможем войти в мир, не теряя самих себя».

Что объединяет три личности, о которых идет в данном эссе речь? Неравнодушное отношение к своему отечеству, нестандартное мышление, здравый скептицизм, аналитический ум, прозорливость и ВЕРА.

Вера неистовая.

В «Апологии сумасшедшего» Петр Яковлевич открыто уповал на будущее России; Михаил Яковлевич верил в то, что постбольшевистская Россия обретет свое судьбоносное место в истории человечества; а Аскар Сулейменов (я его иногда в шутку называл Оскаром Соломоновым), остро видя все изъяны родного Казахстана в канун развала Империи, горячо ратуя за национальное и — одновременно — гражданское общество, свято верил в духовную мощь, в ментальность, в традиции и язык своего народа.

Думаю, что Казахстан окреп, встал на ноги, распрямил спину, устремил взгляд вдаль, но куда идти, еще не совсем точно осознал, находясь в образе барса между Медведем и Драконом.

О том, что Россия должна отыскать себя в человечестве, убежденно писал Чаадаев.

Там — полагаю я со своей колокольни — должен найти, обрести свое место и Казахстан.

Только без спешки, без суеты, без надрыва и бахвальства, без воинственного клича и шапкозакидательства.

Веско сказано одним мудрецом: «Ақырын жүріп анықбас!» — «Иди не спеша, но твердой поступью».

II. Вейдле и Аскар

На исходе 1991 года давний мой друг Аскар Сулейменов, литератор, эстет, философ, однокашник по институту и аспирантуре, по сотрудничеству в журнале «Жулдыз», неожиданно заявился ко мне, разделся, расположился, поставил на проигрыватель сонаты Бетховена и, по привычке, сразу же запалил сигарету.

В руках он держал журнал «Вопросы философии». Я смекнул, что пришел он неспроста, наверняка обнаружил интересную публикацию и намерен затеять важную беседу или спор. (В скобках замечу, что в 60–90-е годы прошлого века Аскар имел исключительное влияние на умы казахских интеллектуалов, ему внимали, его цитировали, называли Цицероном, им, вольнодумцем, восхищались, ему подражали, случалось, принимали за диссидента. Все запрещенное его привлекало, манило. Полемист был грациозный. Обладал своеобразными манерами. Кто-то назвал его «Гамлетом из Созака», кто-то эмигрантом. Ушел из жизни рано, еще в 1992 году, и нынешнее поколение – к огромной досаде – знает его лишь понаслышке. Личностью он был на редкость талантливой и уникальной.)

Меня он уважительно и деликатно называл «Геке» и был со мною всегда на «вы»: я был старше его на четыре года.

– О Вейдле вы что-нибудь знаете? – спросил как бы между прочим.

– Мало. Знаю: ученый, крупный литературовед, мыслитель. Из русских немцев. Советской власти оказался ненужным. Эмигрировал. Кажется в 20-х годах.

– Его суждения о Западе вам известны?

– Приблизительно. Был – знаю – ярый западник.

– Ия, солай... – Аскар выдержал паузу.

(Здесь я опять должен сделать пояснение. Сам Аскар был тоже убежденным западником. С придыханием говорил: «О! Запад есть Запад. Все идет оттуда!»)

Он еще в студенческую пору грезил Западом. Прекрасно знал европейскую литературу, музыку, живопись, искусно жонглировал сложнейшими

французскими, немецкими, английскими, древнегреческими именами, сбивал иных грамотеев с толку, находил Бог знает где раритеты, умело выявлял какие-то общие корни и созвучия. Мыслил остро и парадоксально. Любил эпатировать, ошеломлять собеседника. Вкусно произносил: Ницше, Шопенгауэр, Ларошфуко, Монтень, Делакруа, Пьер Огюстен Карон де Бомарше, Томас Манн, Герман Гессе, Генрих Белль. Памятью обладал лошадиной.

Я старший, охотно признавал его превосходство в интеллектуальных беседах. Мы оба окончили казахские школы: я на севере, он на юге. Но он оказался более начитанным и умел системно мыслить. Дукенбай Досжан называл его «түнгі адам» – «ночной человек». Дело в том, что Аскар с малолетства ночью не спал: до четырех-пяти утра читал, слушал музыку, пощелкивал на домбре, писал, мурлыкал разные мелодии, размышлял.

Мы, можно сказать, не спорили, а открыто обменивались мнениями. Чаще всего это касалось темы «Запад и Восток». Я-то больше тяготел к Востоку. Считал, что цивилизация идет оттуда. Мне чудилось (ныне еще более обостренно), что Запад исчерпал себя и созидательно, духовно иссяк, погрузился в сумерки, погряз во лжи и показухе, теряет лоск и шарм, паразитирует. Думал: Запад лжив, двуличен, нравственные стандарты размываются. Ему не хватает тепла, солнца, яркости. И восточные люди рано или поздно его проглотят, растворят старую Европу, изъезженную вдоль и поперек.

Так я почему-то был настроен. При этом не руководствовался какими-то серьезными научными выкладками или основательными аргументами, а скорее – так полагал по наитию, по неким смутным ощущениям.

(С тех пор прошло немало лет, в мире произошли крутые изменения, общественно-социальные катаклизмы непредсказуемы, я побывал в некоторых европейских странах, присмотрелся, принялся, ничего дурного о Западе не скажу, наоборот, восторгаюсь

его ухоженностью, опрятностью, меркантильной разумностью, а все же укрепился в своих ощущениях, и душа по-прежнему тянется к Востоку. Солнце, краски, страсти, буйство жизни идут оттуда. Закат Европы, видно, не досужая выдумка и сказано это не ради красного словца. Нынешние картины Германии, Франции, Дании, Голландии (имею в виду политические, социальные, общественные) меня и вовсе настораживают.

Не буду, однако, отклоняться и распространяться.

– Так вот, Геке, ваш сокровник Владимир Вейдле в статье «Россия и Запад» пишет: «Древняя Русь, уже в силу византийского воспоминания своего, была Европой...» Ну, что скажете?

– Что могу сказать, Древнюю Русь Европой никак не представляю. По-моему, соотносить Русь с Европой можно в какой-то степени только начиная с Петра Великого. Кстати, я сомневаюсь, что он был русский. Думаю, он замешан на инобытии. Уж больно нерусский менталитет. Допускаю, не обошлось без яростной восточной крови.

Аскар задумался. Затянулся дымом. Скривил свои тонкие губы. Откинулся на спинку кресла. Взъерошил гриву.

– Ну, это банально. Традиционно. Я не о Петре Первом. Вполне возможно, что он и не чисто русский. Очень уж не похож. «Курс русской истории» Ключевского читали? Намеков не узрел, а личностная характеристика любопытна. Вы, Геке, однако путаете Древнюю Русь с современной Европой. Совмещение разных пластов времени приводит к неминуемому искажению. И вообще не надо противопоставлять. Вейдле о том и говорит. Вот... «Ошибка заключается в противопоставлении друг другу Запада и России как чужого и своего, как двух величин, ничем органически одна с другой не связанных. Западники предпочитают чужое и хотят его поставить на место своего: славянофилы предпочитают свое и хотят очистить и отмежевать его от всего чужого. Для западника его любимый Запад – всего лишь носитель некоей безличной цивилизации,

которую можно и должно пересадить в полудикуую Россию...» Калай?

Аскар погасил сигарету, тут же щелчком выбил из пачки другую «белохвостую».

– Ничего против не скажу, – заметил я. – Вполне логично.

– Хм-м.. Дұрыс... Читаю дальше. «Воссоединиться с Западом значило для России найти свое место в Европе и тем самым найти себя...»

– Ну, и нашла? – перебил я Аскара.

– Ищет... Другого выхода нет.

– Но чванливая Европа никогда ее не примет. Европа – маленький, обустроенный курятник, а Россия – гигант, гулливер, махина, колосс. В миниатюрную европейскую квартиру-шкатулку не впустишь, как слона в посудную лавку. А потому Запад будет строить всякие козни, напасти, препоны. Он представляет Россию дремучим медведем-шатуном на тесных улочках Европы. Выступление Владимира Максимова в Останкине слышал?

– Нет... – насторожился Аскар.

– На днях передавали по ТВ. Так вот он, давно живущий на Западе, сказал буквально так: «На Западе у России друзей нет. Это еще Витте говорил. России на Западе места нет. Может стать частью Востока. Нет в Западе пути для России». Представляешь?

– Ал... Ну и что?

– А то, что к этому суждению надо прислушаться. Вот с группой наших гавриков я как-то выступал в Париже в Институте восточных языков, так для французов, по их словам, Россия – Восток.

– Ну, это они исходят чисто географически, – усмехнулся Аскар. – Тривиальное суждение. Западу приходится Россию терпеть, а России без Европы не обойтись, несмотря на ее чистоплюйство.

– Может, и так. Хотелось бы согласиться.

– И Вейдле о том же говорит. «Европа – многонациональное единство, не полное без России; Россия – европейская нация, не способная вне Европы достигнуть полноты национального бытия...

Утверждаясь в Европе, Россия утверждалась и в себе». Көрдiнiз бе, қалай кәсіледі? Вон как воспарил! Так оно и есть. Только «не утверждалась», а «продолжает утверждаться». Так будет правильнее.

– Ну, а как быть с Казахстаном?

– И Казахстану, обретшему независимость, надо цепляться за подол Европы. Но не обязательно через Россию. Хватит! Зачем нам посредник? Напрямую надо иметь дело с Европой. Тікелей! Учиться надо непосредственно. Сделать так, чтобы Европа не шарахалась от Казахстана. Қазақта адам баласы ғой. Зачем ему делдал-урус? Казахстан Европе нужен, как Россия. России мил не будешь. А с молодым джигитом-Казахстаном стареющая желтопузая баба-Европа может сойтись полюбовно. Почему бы нет? Разве ей неприятно пофлиртовать с лихим наездником-степняком? А!? Может, Европе Казахстан даже интересней? Тек жалған намыстыңкерегі жоқ! К чему ложное честолюбие, бахвальство? Надо раскрыть Европе широкие объятия. Что Россия нам дала и может дать – мы знаем. Всяко бывало. А благо от Европы беспредельно.

– Не смею с тобой спорить. Как говорится, дай Аллах.

– Ауминь, Геке! На многое открывает нам глаза статья вашего сокровника. Умница! Он перекликается с Чаадаевым, смотрит в самый корень. Вот еще мысль: «Трудом поколений от Петра до Пушкина вся Европа принадлежит России, вся Россия Европе, все, что было создано в России после Пушкина, принадлежит европейскому девятнадцатому веку».

– «Все» – явный перебор. Артықтау болар. Что же другим достается? Азия совсем не в счет, что ли? На евразийство глаза закрывать тоже не след.

– Енді... Европа все же в духовном плане доминирует. И о том речь.

Аскар сменил пластинку на проигрывателе. Погасил очередную сигарету. Кабинетик мой наполнился сизым дымом. Одновременно Аскар перелистал какие-то книги, которыми я обзавелся недавно. Вокруг него образовался привычный раскирдаш. Ему это так свойственно.

– Кофе или чай? – спрашиваю.
– Чашку кофе, если можно, покрепче. Без сливок.
– Коньяк или водка?
– Ой, «водкасы» құрысын! Чуть-чуть коньяку, если есть.

Аскар весь в черном, худой, густогривый, с недавних пор безбородый, смуглый, лобастый, горбоносый, глазастый, немного не такой, как большинство, удобно расположился в кресло, весь окутан дымом, пьет кофе, подливает в чашку чуть-чуть коньяку, слушает музыку, рассуждает – кайфует, блаженствует.

– Еще Вейдле пишет: «Запад уже не только дает нам свою культуру, но и принимает нашу от нас».

– «Нам», «нас» – имеется в виду Россия, – уточняю я.

– Элбетте. Разумеется. Но я подразумеваю «Казахстан». Так мне хочется. Культура идет оттуда, но придет время – үмітсіз шайтан – надеюсь – Запад примет и нашу. В нашем корджуне тоже кое-что найдется. Скажем, оттуда Бетховен, а от нас – Курмангазы и Таттимбет. Оттуда симфонии, отсюда – кюи. Оттуда Томас Манн, отсюда – Ауэзов. А, Геке?! Говорю для примера. Вот читаю Вейдле: «Русская культура вытекает из европейской и, соединившись с Западом, себя построив, возвращается в нее». Хотелось бы, чтобы эта сентенция относилась бы и к Казахстану. Қалай, Геке?

– Идеально. Но верится с трудом. Может, когда-нибудь в отдаленном будущем. А пока, полагаю, целесообразней ориентироваться на Восток. Это, думаю, ближе и реальней.

Аскар морщится. Мое предположение ему не по душе.

– Восток – давняя любовь. Она почти отмерла, иссохла. Помните абаевское: «Мой Восток обернулся Западом».

– Тебе, генетическому ходже, не пристало так думать. Ходжи на Западе не в почете. Дервиши – тоже.

– Е-е-е... Геке. Вы рассуждаете как казах. Абай не случайно обратил свой взор на запад. Своим «Гете и Абай» вы это сами доказали.

– Гете на склоне лет увлекся, однако, Востоком.
– Да, но это увлечение было только причудой. У него это быстро прошло. Сам в том признался.

Мы оба молчим. Аскар листает какую-то толстенную книгу. Я вспоминаю прославленных восточных поэтов, которых воспел в «Западно-Восточном диване» Гете.

– «Аппасионату» поставить? – спрашиваю. – Или Пятую симфонию?

– Нет. На сегодня хватит. У меня еще дела. Шаруам бар.

Кофе допит. Коньяк отставлен. Пепельница полна окурков. Дым слоится. Все пропахло табаком. Книги разбросаны по дивану, на столе, на подоконнике, на полу. Полный бедлам в аскаровском стиле.

Он заказывает по телефону такси, хотя – знаю – в кармане его ни копейки. Аккуратно, с шиком, водрузил черную шляпу на копну жестких волос. Кривоносый, тощий, немного сутулящийся инопланетянин.

– Ну, құп мейлі! Я пошел, Геке. Журнал оставлю. При случае заберу. Надо бы разобрать партию «Фишер-Спаский», но в следующий раз. А сейчас прихвачу «Ни дня без строчки».

– Так... не вернешь ведь!

– Верну. Не беспокойтесь. Напоследок еще одна цитата. «Европа нам мать, как и Россия, вторая мать наша; мы много взяли от нее, и опять возьмем и не захотим быть перед нею неблагодарными».

– Тоже Вейдле?

– Нет. Достоевский в «Дневнике писателя».

– Не думал. Он же неистово спорил с Тургеневым, обвиняя его в неумеренном западничестве.

– Представьте, а тут такая близость. Иногда и у русских логика хромает, как у казахов.

– Добавь: как и у немцев.

– У немцев менее заметно. Они педанты.

Похлопал Аскар себя по карманам, убеждаясь, что сигареты, зажигалка, расческа на месте, надвинул на лоб шляпу, небрежно сунул ноги в разношенные ботинки, поправил узкие штанины, одернул курточку

на рыбьем меху, обернул шею длиннющим шарфом и, сутулясь, исчез, как тень, за дверью.

– Керіскенше! До встречи! – буркнул. – Рае-женгей салют!

Через несколько месяцев его не стало. Скончался в больнице на глазах матери, навестившей его. Как отметил Абиш: «Будучи ходжой, не дожил даже до возраста Пророка»...

Ныне Запад нетот – все мельчает, тускнеет, все больше ухабов и рытвин во всем, во всем... Да и Восток круто изменился, теряя древние обаяния и чары... Похоже, Запад стал ближе, знакомей, привычней, а Восток вроде отдалился, зыбится в предрассветной сутемени.

Интересно, что бы сейчас сказал Аскар – пришелец из Созака, потомок ходжей?...

2014 г.

ПРОГУЛКИ С АБЕКЕ

«Ә беке» у казахов пруд пруди. В данном случае я говорю о покойном Абильмажине Жумабаеве. Надеюсь, его еще многие помнят. Небольшого роста, светлолицый, доброжелательный, неизменно деликатный, вежливый, абсолютно неконфликтный, глубокий знаток литературы, радетель казахского языка, рассудительный, спокойный, иногда по-детски наивный, блистательный переводчик русской и зарубежной прозы на родной язык.

Таким я его знал и воспринимал без малого пять десятилетий. Ну, конечно, я знал его как инструктора ЦК КПК, как многолетнего директора издательства «Жазушы», как руководителя «Книжной палаты», как сотрудника популярной газеты «Туркестан» и т. д.

От него всегда исходил добрый свет. Скромность, доступность, порядочность его поражали. Ни в чем нигде не выпячивал себя, держался в тени, не кичился своим интеллектом. При всей своей природной умеренности в принципиальных вопросах стойко отстаивал прогрессивные взгляды. Будучи из бедной кызылординской глубинки, он обладал аристократическим достоинством.

К концу жизни он обосновался по соседству со мной, в квартире на первом этаже, куда никогда не падало солнце (говорил: «қақап тұр»), и мы почти ежедневно встречались на аллее возле памятника Чокану и вели неторопливые беседы о литературе, об издательских делах, о современной журналистике, о книжных новинках, о литераторах, ушедших в мир иной, о политике, о положении Казахстана.

Он был старше меня, многое пережил, перевидел, перечувствовал, знал именитых казахов двух-трех

поколений, о всех предпочитал говорить хорошо, высоко, с восхищением, никого не осуждал и не перемывал всеу чьи-то косточки.

Что и говорить, милейший был человек. О таких говорят: муху не обидит.

Ходил бодро, быстро, легко, чертил большие и малые круги, наносил визиты вежливости памятникам Чокану, Джамбулу, Пушкину, Шевченко поблизости, пока его компаньоны отсиживались на скамейках. Часто сопровождал его любимый внук Жанибек, который с малолетства удивлял-умилял своими разнообразными познаниями и фантазиями.

Слушать Абеке было неизменно приятно, а беседовать трудно: он был почти глухой. Приходилось говорить на пределах голосовых связей, склонившись то к одному, то к другому уху.

– Оу, Гереке, осы орыс әдебиетінде қазір кімдер қалды? («Кто остался в современной русской литературе?»)

– Е-е... бар ғой... Әбеке... – отвечал я не очень уверенно. – Только мы ведь не всех знаем... Как обрели все свободу и независимость, так каждый и бытует в своем закутке.

– А, солай ма? Может, и так. Но, кроме Распутина, кого можешь назвать? Шукшин ушел, Белов ушел, Астафьев ушел... Можаев, Солженицын, Вампилов, Солоухин, Яшин, Абрамов... е-е-е... не всех упомяну... ушли. Из поэтов ушли Твардовский, Соколов, Окуджава, Вознесенский, Ахмадулина, Рубцов... кім қалды өзі? Ну, назови хоть кого-нибудь.

– Еще есть Бондарев, Евтушенко, Крупин, Битов... Маканин... м-м... Прилепин, Жуков, Шишкин... Акунин, Удальцова, Толстая...

Я запнулся, не мог сразу вспомнить, пожалуй, еще косой десяток. Действительно, список получился скудным, жидким.

– Е-е... Бондареву под девяносто. Евтушенко в Америке сидит. Акунинді адам оқи алмайды. Остальных и не знаю. Они только премии получают, буккеры-мукеры, а что пишут – құдай біледі. А о хатунах и не говорю. Это не литература, а коммерческий секс.

Молчим.

Вспоминаю критические заметы в русской печати. Мол, положение русской литературы в нынешнем обществе действительно плачевно. Да-а... шедевров за последние двадцать лет не появилось. Кто-то продолжает хорохориться, выдавать желаемое за действительность, но это только подчеркивает неприглядное положение литературы.

Да, подобные суждения мелькают все чаще на страницах русской периодики. Думаю, нечто схожее характерно и для других национальных литератур.

– Из российских немецких писателей, кроме тебя, кто-нибудь остался? – прервал молчание Абеке.

– Из членов Союза писателей Казахстана я остался один.

– Эне! Я ведь помню Нору Пфедфер, павлодарку Нелли Ваккер. Еще Эльзу Ульмер. Консультантом была. Е-е... из Акмолы был редактор немецкой газеты.

– Дебольский, – подсказываю я.

– Ия, ия... Бородатый крепыш. Приятный был человек. Участник войны. Почему-то у него было несколько фамилий. Может, разведчик был?... Еще один писатель-немец был из Шымкентской области...

– Реймген. Александр.

– Ия, ия... Я еще издавал его книгу. Кажется, ты переводил?

– Да.

– И что? Всех их теперь нет?

– Кто умер, кто уехал. Тыж-быж! Но литература российских немцев пока еще тлеет в Германии. И я иногда пишу рецензии и обзорные статьи. Жағдай швах! Но қыбыр-жыбыр есть.

– Қын болған екен. Грустно... Вообще толком ничего не знаем. Не ведаем, что творится в соседних странах – Киргизии, Узбекистане, Туркменистане. И с русскими былой связи нет. А как мы гордились братскими отношениями с Мустаем Каримом, Кайсыном Кулиевым, Расулом Гамзатовым, Давидом Кугультиновым, Чингизом Айтматовым, Михаилом Дудиным!

– Да, Абеке, была такая золотая пора. Литература, писатели были востребованы. Люди читали, восхищались.

Опять молчим, погруженные в воспоминания. Апырай, еще совсем недавно все это было: дни национальных литератур, творческие встречи, семинары, многоуровневые контакты, взаимные переводы, выездные секретариаты, тематические пленумы, юбилеи, фантастические тиражи, гонорары. И все вроде в тартарары провалилось. По инерции кое-что еще, случается, проводится, но смак явно не тот. Одни потуги. И впечатление такое, будто никто никому уже не нужен.

– А за рубежом то же самое? – спрашивает Абеке.

Он с некоторых пор отпустил бороду, усы, серебристые, аккуратные, обрел очень благообразный вид, наверное, так смотрелись в древности суфии, выучил несколько молитв, совершает намаз, соблюдает уразу, в речь вплетает архаичные слова и обороты.

– Кто знает. Вроде в порядке. Есть мощные латиноамериканские, японские, европейские литературы, много издательств, друг друга переводят. Много модных имен.

– Ты Памука читал?

– Какие-то отрывки. Но меня, если честно, они не впечатлили.

– А я прочел два его романа. И тоже остался в недоумении. Что за литература? И почему ему дали Нобеля?

– Захотели – дали. Скорее всего, по каким-то политическим мотивам. Нобеля, чую, дают отнюдь не за литературные достоинства.

– Солай шығар. Памук меня сильно разочаровал.

– А я Козльо читать не могу. Не дорос, что ли?.. А из казахских писателей кто, по-вашему, достоин Нобелевской премии?

Абеке помолчал, замедлил шаг, остановился, внимательно на меня посмотрел, как бы соображая, соглашусь ли я с ним.

– Возможно, Абеке, – ответил осторожно.

– Какой Абеке?

– Ну, Абдижамил Нурпеисов. «Кровь и пот», сам знаешь, крепко сработанная вещь. Могли бы и дать. Многожды издавалась на казахском и русском языках. Редактировал основательно раз десять. Создал канонический текст. Трилогия переводилась на разные языки. Высоко оценена критиками... Не так разве?

– Но я, Абеке, разве спорю? Но... ныне громоздкая трилогия смотрится, боюсь, как нечто архаическое. Да и тональности, стилистика не стыкуются со временем.

– Солай ма? А я слышал, русские, немцы, французы, шведы выдвинули Эбеке на Нобеля.

– Кто сказал?

– Сам Абеке. Говорит, надо бы обязательно перевести на английский. Вроде подыскивает спонсора.

– Найдет... А еще какие кандидатуры?

– Еще... еще... Может, Абиш... Магауин... Олжас... как полагаешь?

– Не возражаю. Абиш, однако, свой талант унизил, сидя во власти. Магауину, думаю, не хватает международного признания. Ну, а Олжасу Нобеля надо дать за его этимологические исследования, зажмутив один глаз. Вряд ли Шведская академия его поймет.

– Хм-м... Интересно... Дать не глядя?

– Да. Дать и все.

Абеке все чаще косится на часы. Знаю, ему надо еще завернуть в хлебный магазин, зайти в шахматный клуб за Жанибеком, по пути купить ему мороженое.

– Абеке, вижу: вы торопитесь. У вас цейтнот. А нам не мешало бы малость покалякать о делах-делишках казахской литературы.

– Отложим, Гереке, на завтра. И завтра ведь будет день. Солай емес па?

– Болсын... Согласен.

...Я не считаю себя знатоком казахской литературы, но я ей не чужак. Кое-что кумекаю. Как-никак окончил казахскую школу, говорю и пишу по-казахски, перевел с казахского на русский язык уйму прозы, всю сознательную жизнь варюсь в казахском литературном казане, тесно общаясь с большинством казахских

писателей двух-трех поколений. С Мухтаром Ауэзовым я ни разу за руку не здоровался, не сподобился, хотя и видел и слушал его, со всеми остальными корифеями и некорифеями, классиками и неклассиками был и поныне нахожусь в общении. Это я к тому, что имею право на суждения о ней, о казахэдебиеті, хоть и являюсь я атасы баска, т. е. иного рода- племени.

Так скажу, как на духу: о казахской литературе я весьма позитивного мнения, и в семье так называемых братских народов СССР и СНГ она занимает достойнейшее место. Перечислять здесь выдающихся казахских литераторов не стоит: они ведомы народу, их знаю и я.

Но...

Моя точка зрения такова: с обретением свободы и независимости, в чем ее вклад – не только существенный, а поистине неоценимый – абсолютно очевиден, литература стала вдруг менее востребованной, ее как бы отодвинули, отстранили от общественного бытия, значимость ее по всем параметрам упала, реноме поблекло, роль писателя в сознании народа и в представлении власти явно померкла, и писатели обрели бледный вид, лишились былой славы и гордости, рынок изгнал их из литературно-художественного процесса, из социально-политической надобности.

И все пошло косо-криво. Появились попрошайки, служанки, придворные акыны-одописцы, приспособленцы-жопеке, дельцы-юркачи, охотники за премиями, значками, титулами, медалями и орденами.

Дух свободы и гордости, чести и достоинства мимикрировал.

Именно так я ощущаю то, что ныне происходит в литературе. Не только в Казахстане – везде.

Хочу верить, что наступит новая волна, десятилетиями, столетиями накопленные инерция и традиции бесследно не исчезнут, никакое общество без литературы не обойдется, ибо именно она являет собой двигатель искусства.

Не стану спорить, если скажут, что поелико такое и случится, то это будет другая литература.

Да, другая и по содержанию, и по форме.

Я иногда пишу рецензии-отзывы на понравившиеся мне казахские произведения (и не только беллетристику), высказываю (большей частью умеренно) свои мнения-суждения, случается, не всегда глажу по шерсти, а реакция сказывается незамедлительно.

Скажем, называю на свой салтык шесть самых-самых прозаиков и столько же поэтов. Но уже на другой день обрушиваются на мою голову ушаты нареканий. «Эй, ты почему Паленшеева не назвал?! Запоматовал, что ли? А Тугеншеева почему не упомянул?! Он что, хуже тех, кого перечислил? Маскара!»

Или: «Эй! Ты почему не включил в свой список Туманбая, Жумекена, Сабырхана?! Чем они провинились перед тобой?! Стыд! Позор!»

Или: «А почему поэтесс обошел?! Почему не расширил свой список до священной семерки?! Попроси прощения!»

Или: «И вообще кто ты такой, чтобы казахских поэтов по таланту определять, по немецкому ранжиру выставять?! А?! Қарай гөр, білгір нашелся!»

И вот я задумался. Зачем, в самом деле, мне гусей дразнить? Зачем наступать на хвост дремлющей змеи? Одного назовешь – десятеро обидятся. В бутылку полезут. На дыбы встанут. Шерсть на загривке встопорщат.

Говорю: да, ладно. Не кипятитесь. Я ведь не Бог. И не прокурор. Выскажи свое мнение, объявляй свой список и утешься. Вольному воля! Я не указ! Назови, кто твоей душе мил – и вся недолга.

Старая истина: всем не угодишь. Тем паче казахам. Казах предпочитает, чтобы первым прискакал стригунок своего аула, а не призовой скакун соседа.

Вспомнил случай. Был такой критик, заместитель главного редактора журнала «Дружбы народов», обаятельный человек Леонид Тер-акопян. Он симпатизировал казахской литературе, приезжал в Алма-Ату. Встречался-подружился с писателями, намеревался написать серию статей о казахских романах.

Не тут-то было.

Едва успел Леонид Арамович вернуться в Москву, как его захлестнул поток зубодробительных, подметных писем. Дескать, не с теми встречался, не о тех собираешься писать, не тех намерен печатать. Пәленшеев – бяка, Тугеншеев – кака, казахстанская общественность твои намерения осуждает. Вы попали в ловушку интриганов. Одумайтесь!

Леонид Арамович одумался. Сбитый с толку столь гневными кляузами и доносами, всецело переключился на литовскую литературу. Там, оказалась, ментальность иная.

Помню я и грязную возню, когда Ильяса Есенберлина выдвинули на Ленинскую премию. Поднялся цунами ненависти и наветов.

А вот пример из личного опыта. После окончания аспирантуры (1963) тогдашний главный редактор процветающего литературного журнала «Жұлдыз» Абдижамил Нурпеисов взял меня на работу в качестве литсотрудника отдела казахской прозы. Меня сразу завалили забракованными, не пригодными для печати рукописями. Их надо было читать, отрецензировать, писать вежливые, деликатные отзывы.

Мне эта рутинная работа совсем не понравилась. Я настроился на научную, преподавательскую стезю. Читать чьи-то малограмотные беспомощные измышления было мне в тягость. А меня усердно пичкали явной халтурой.

На мои ответы-разборки вскоре поступили «домалақарыз» – «жалобы-колобки». Дескать, кто такой Бельгер? Что он потерял в казахском журнале? Кто его уполномочил судить-рядить наши произведения?

Меня это обескуражило.

Ответсекретаря журнала, умница, поэт Кадыр Мырзалиев дал мне разумный совет. Во-первых, ты всю эту бодягу от начала до конца не читай. Прочти три страницы с начала, три – с середины и три – с конца. И уже все ясно. Смело пиши ответ. А, во-вторых, письма свои подписывай не «Герольд Бельгер», а на казахский лад, скажем, «Керей Белгібаев».

Мне сразу стало легче. Я быстро управился с кипой никчемных опусов. И жалобы-колобки прекратились. «Бельгер», видно, кое-кого раздражал, а со своим «Белгібаевым» никто уже спорить не стал.

А в редакции и в Союзе писателей меня приняли хорошо, ласково, доброжелательно, как в родном ауле. «Старики» благословляли меня, подбадривали, молодые поддерживали. Напомню, в каком коллективе я тогда работал: Аскар Сулейменов (наши столы стояли впритык), Зейнолла Сериккалиев, Кадыр Мырзалиев, Сабырхан Асанов, Саги Жиенбаев, Сансызбай Саргаскаев, Амантай Байтанаев, Абдижамил Нурпеисов. А секретарем Союза писателей тогда был мудрый и благородный Габиден Мустафин.

С добрым сердцем и благодарностью всех вспоминаю.

...Все, что я здесь вкратце изложил, я подробно и красочно поведал на очередных прогулках моему собеседнику Абилямжину Жумабаеву.

То время и тех знакомых людей он и сам знал, но слушал внимательно, переспрашивал, уточнял, хмыкал, улыбался и в конце заметил:

– Ия, солай! Так все было. Знаю, помню. Всё и все стоят перед глазами. Славное было время. И люди были все как на подбор. Сайдың тасындай!

– Айтатыны жоқ, Әбеке! Они украшали, облагораживали нашу жизнь.

В наших беседах прозвучали многие имена. Конечно, всех 700 членов Союза писателей упомянуть не могли, однако с теплотой, душевно говорили о Тахави и Калтае, о Кадыре и Туманбае, об Аскаре и Зейнулле, о Темирхане и Иран-Гаипе, об Олжасе и Мурате, о Галыме и Серике, о Назикен и Аккуштап, о Камале и Шерхане, о Такене и Тынымбае, о Турсыне и Амангельды...

– А я еще всегда читаю Кабдеша. Ничего не пропускаю. Художник! И язык богат.

– Согласен.

– Люблю Абиша. Голова! Талант! Сейчас он избавился от всех государственных дел. Наверняка пишет какой-то шедевр.

– Боюсь, силы его покинули. Литература ведь – дама капризная. Ее надо любить, ласкать, лелеять каждый день. Она не переносит никаких измен.

– Акселеу был уникален. Его уход – загадка. Много знает и Кул-Мухаммед. Энциклопедист! Я удивляюсь его русскому языку. Где и как научился?! Ғажап!.. И Мағауин – глыба!

– Словом, Әдеке, казахскую литературу никто хоронить не собирается. Так? Если оглянуться, и поэтами казахи не оскудели, и в прозе есть крепкие перья, не будем вытирать рот сухой травой, а вот драматургия и критика нынче не блещут. Согласны?

– Ну да... Сам знаешь. Особенно хвалиться нечем. Отдельные потуги погоды не делают.

Абеке нахмурился, по привычке пощупал-подергал сивую бороденку. Он озабочен тем, что и переводчики, знатоки казахского речестроя поредели.

– Нынешние молодые хорошо знают русский язык, всеместно овладевают английским, кто-то напрямую переводит с немецкого, испанского, японского, а родным владеет поверхностно. Переводы не играют, живости в них нет. Обескровленные, шершавые тексты. Беда с языком! Ты заметил, я со своим внуком Жанибеком разговариваю только по-русски. Так получилось. Мать его, моя дочь, еще кое-что по- казахски понимает. а этот мой айналайынчик ни бум-бум. Горько...

Молчим.

Знаю эти проблемы во многих казахских семьях. И в семьях российских немцев. и в других. Одни евреи, кажется, не делают трагедии из того, что говорят и пишут на чужих языках. Поразительно: языки разные, а национальная суть одна.

Чертим за кругом круг, бродим, постукивая палками, по аллее вверх-вниз. Чокан в глубокой задумчивости уперся взглядом в импозантное здание бывшей Академии наук. Какие-то прохожие почтительно здороваются с нами, расспрашивают про амандық-саулық, просят вместе сфотографироваться. В стройных елях резвятся воробы, на все лады заливаются скворцы.

– Ал, сонда, Әбеке... – продолжаю я беседу. – Чего же, по-вашему, не хватает ныне казахской литературе?

– Енді... сам знаешь... – медленно отвечает Абеке.

– Даже не знаю, как сказать. Не хватает... е-е-е... профессионализма, наверное, восприятия Слова как священной службы... Но все это слова, слова... Может, дар улечутился? Может, вдохновение пропало? А, может, нужда в литературе отпала? Құдай біледі! Все вроде есть, а бывшего огня-жара нет. Может, старость сказывается? Жизнь как бы пресной стала...

На старость Абеке жалуется все чаще.

– Из сокурсников только двое нас осталось. А в ауле из прежних жителей ни одной живой души. Никто отца моего не помнит. И меня – тоже.

И еще то и дело говорит:

– Е-е-е... Гереке... уже восемьдесят пять мне стукнуло. Какой с меня спрос? Жизнь вся в прошлом.

– Ну, как же, Әбеке, восемьдесят пять?! Вы же 27-го года рождения.

– Не дейды?! Сколько же тогда мне?

– Ну, восемьдесят два... или восемьдесят третий...

– Не дейды?! А я думал, больше. Какая разница – два-три года туда-сюда?!

– Вам, Әбеке, нужно еще мемуары написать.

– Пробовал. Не идет. Значит, не надо. Кому нужен бред старика?

Рассказчик Абеке любопытный. Я люблю слушать его живые воспоминания о детстве в Кызылординском краю, о детских шалостях и забавах на берегу строптивой Сырдарьи, о лишениях войны, о том, как он подростком работал в ауле почтальоном и разносил «кара қағаз» – черные уведомления-известия с фронта, как поступил в университет, какие мытарства перенес в студенческие годы, какие интриги клубились вокруг на литературной службе. Он был ведь активным свидетелем целой эпохи. Рассказывал красочно, плел искусно узоры словес.

– Я вполне разделяю ваше, Абеке, мнение о явственных недостатках современной казахской литературы. Это общие признаки. А я хочу сказать о конкретике.

– Ну, и? – встрепенулся Абеке

– Помните литературные обзоры Белинского? Огромные картины, воссоздавшие состояние литературы по годам?

– Конечно, помню. И цикл статей о Пушкине. Целая книга.

– Вот-вот! Ныне литературные обзоры сошли с арены. Ранее их писали Мухамеджан Каратаев, Серик Кирабаев. Кто еще? Айкын Нурқатов, Сағат Ашимбаев. Ныне разве один Кулбек за эту традицию ратует...

– Ну да! Чтобы написать годовой обзор, сколько же нужно перелопатить и осмыслить разных произведений?! А тут еще взяли моду не платить ни копья.

– Это так! По молодости я писал такие обзоры по литературе российских немцев. Уйму времени угробил. Книг шесть-семь написал. Машақаты көп шаруа! И все, считайте, даром. Какие-то книги за свой счет издал. Ужас!

– Кому охота ныне такие обзоры писать!..

– То-то и оно!

– Очень уж хлопотное дело.

– Не только. Это очевидное свидетельство того, что нет определенного литературно-художественного процесса.

– Не дейды?!

– Да, я так считаю. Нет процесса. Есть частности. Разрозненные, спонтанные, случайные. Нет направления. Магистрального русла.

Есть множество ручейков, которые разливаются по бескрайней степи и пустыне. Нить, связующая таланты, судьбы, жизни, духоустройство, не просматривается. Порвана. Размыто что-то очень важное, объединяющее, одухотворяющее.

– Ну, и как мы нащупаем эту таинственную нить?

– Сам не знаю. Нужен какой-то сильный импульс. Качественный скачок.

– Апырай, қиын екен!.. Вечно усложняешь...

Абеке по-прежнему старался ходить бодро, но быстро уставал, жаловался на плохой сон, все чаще

присаживался на скамейку, задремывал, и мой сосед Карпык заботливо провожал его до дому.

На вопрос: «Әбеке, хал қалай?» отвечал: «Құдай деп!»

Потом прибежал к другой формуле ответа: «Е-е-е... шықпа, жаным, шықпа», в смысле: «Душа, держись-крепись» или: «Еле-еле душа в теле».

Позже загадочно изрекал: «Жықпа – жығылма». То есть: «Не вали – не падай». Половина фразы относилась к Творцу, вторая половина – к себе самому. Творца просил, себя бодрил.

Ушел он неожиданно, тихо и скромно.

Святой был человек наш Абеке!

Поредевшие его компаньоны по прогулкам возле памятника Чокану с благоговением вспоминают его.

Я рад, что знал его и был его многолетним собеседником.

26 мая 2014 г.

СКАЗ О СЕМИЖИЛЬНЫХ КАЗАХАХ

Далеко... далеко... За шестью перевалами, за семью холмами... Вспомнишь – не поверишь. Сидели мы, компаньоны по стариковским прогулкам, возле наших домов, на скамеечке в пышном садике, и вспоминали далекое аульное детство. Мы – выходцы из разных уголков необъятной Казахии, а впечатления схожие, будто росли в одном ауле. Разница разве что в природной обстановке, да, пожалуй, в еде. В остальном – общие мотивы, полное созвучие, эхо мелькнувшего бытия.

Прошло, между прочим, более семидесяти лет. Все изменилось. Другая жизнь, другие люди, другие песни и нравы.

Замечено казахами: за пятьдесят лет обновляется земля. Считаю: страна, народ, жизнь. То, что называют словом «Эль».

А тут более семи десятков лет.

...В казахский аул на правом берегу Есиля наша семья прибыла по державной воле – абсолютно точно – 17 октября 1941 года. С Волги. Из Республики немцев Поволжья. Была такая. Привезли сначала в товарняке, потом – на грузовике, затем – на волах, будто с другой планеты, ухоженной, облагороженной, с крепким бытом, с порядками-нравами, заповеданными германскими предками.

О том, как я воспринял казахский аул, какими глазами я его увидел, с какой гордостью и благодарностью я его всю жизнь вспоминаю, я многожды раз подробно и обстоятельно писал в своих произведениях.

Дополню те мои описания лишь отдельными бытовыми

детальями-штрихами, полагая, что нынешнее поколение обо всем том мало что знает.

Я был изнеженным, чистеньким, немного избалованным вниманием многочисленной немецкой родни мальчуганом. Модно подстриженным, бледным, тощим. И одет был по-городскому: отглаженная рубашка, курточка, штанишки с лямками, сандалии, носочки, кепочка, иногда – шик-матроска. У сверстников-аульчан, понятно, такого прикида и в помине не было. Они мотались день-деньской по аулу, по оврагам-саям, по колкам, по тугаю чумазыми, немытыми, босоногими, заляпанными айраном-шалапом, бритоголовыми, в латаных, нелепых штанах-дамбалах, подпоясанных волосяной бечевкой, сплошь в синяках и струпьях, обветренными, прокопченными степным солнцем. Я был пришелец, печальный, растерянный, робкий «немыс бала». А мои будущие аульные тамыры были шумными, крикливыми, вольными забияками, играли в асыки, гоняли войлочный мяч, устраивали на пустырях «казахша курес», барахтались в пыли, резвились на траве, купались в водоемах-запрудах, озоровали, совершали набеги на навесы, где на циновках сушились комочки кислого творого-курта или сладкого иримчика. Я им завидовал. Вот житуха! Зубы чистить по утрам не надо, ноги мыть перед сном не надо, одежду-обувку беречь не надо. И вообще ничего не надо. Ах, славно! Живи – не тужи. Я-то спал на черном сундуке, доставшемся в наследство от бабушки, на простынке, под суконным одеяльцем, на надувном матрасике, а они, наспех выпив чашку айрана, засыпали где попало, на кошке возле очага, их, уморенных сном, стаскивали дедушки и бабушки в уголок и накрывали громоздким овчинным тулупом.

Мне это казалось хорошо. А родители внушали: «Das ist schlecht... Unsinn...» – «Это плохо... худо... вздор!»

Звали моих тамыров тоже не так, как в немецких дорфах на Волге, – Аскер, Темеш, Мекеш, Сальтай, Салим, Көккөз, Галым, Акан, Бейсен, Ойрат...

Я тянулся к ним. Не понимал: почему же «шলেখт»,

когда так радостно, весело? И меня они запросто приняли в свой круг. Звали: «Гера... Кера... Кира... Сарыбала... немысбала». Каким-то образом общались: жестом, мимикой, набором сильно искаженных русских и – с моей стороны – десятком-два казахских слов.

Питался я скудно, хотя родители изворачивались как могли. Мама за несколько месяцев обменяла все свои наряды на харчи. Колхоз подкармливал переселенцев то торбой овса, ячменя, ржи, пшеницы, то выписывал с фермы котелок обрата.

Ну а чем кормились мои тамыры-казашата? Буквально чем Бог послал: лепешкой, испеченной в золе, айраном-простоквашей, жаренной на бараньем сале пшеницей, толченым просом, сушеным сыром и творогом, изредка тортой – осадком от топленого масла, коже- баландой; по сезону – диким луком, щавелем, черемухой, бояркой, земляникой, корнем болотной куги. Набивали всякой-всячиной вечно пустой курсак. И ничего: резвились, бегали, горланили песни, сквернословили, затевали драки, пасли ягнят, выгоняли на выпас коров, водили лошадей на водопой, чистили хлев, собирали кизяк, крутили ручные мельницы, тушили, как и чем могли, степной пал.

Дети войны, выносливые, непритязательные, терпеливые, находчивые. Сказано: голь на выдумки хитра. И еще: бедняк разок наелся – уже богат.

Я у своих аульчан исподволь учился искусству выживания.

У отца забот полон рот: заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, обслуживает семь казахских аулов. Мама – санитарка медпункта и домохозяйка, на руках моя сестренка-малолетка. И я в немалой степени предоставлен самому себе, хотя вечерами был вынужден держать строгий отчет о содеянном за день. Конечно, моя аульная вольница отцу не очень нравилась. Он хотел, чтобы я читал, рисовал, треникал на балалайке и мандолине, овладел цифровыми нотами, общался больше со стариками, помогал в хозяйстве маме. Он считал, что я должен, прямо-таки обязан во

всем и везде являть собой пример для подражания. И к тому же я должен стараться бегать быстрее всех, прыгать дальше и выше всех и бороться сноровистее всех.

Нет, не все получалось. Скорее, я попадал под влияние новой среды.

Сверстникам моим, отъявленным шалопахам, все сходило с рук. При всей очевидной антисанитарии никакие хвори их не касались. Ну разве что простуда, ушибы, занозы, кашель, чесотка, зуд, парша, вшивость. Но все это не в счет. Эка невидаль! Простудишься, сопливишь, кашляешь — попей горячего молока, завернись в старую шубу, укройся кошомкой, пропотей как следует, и вся недолга. Поранился — есть проверенные веками средства: посыпь рану березовой золой, приложи паленую кошму, замажь белой глиной, отсоси кровь, а лучше помочись на рану. Вот дезинфекция! Голова болит — обмотай туго платком или полотенцем, нахлобучи малахай-треух, попей чаю с мятой, отлежись за сундуком-ларем в закутке шошалы. Чесотка? Протирай густой болотной грязью, искупайся в запруде. Битюки одолели — разденся догола и прожарь над таганом-костром штаны-рубашку, чтоб аж треск по швам пошел. Коленки разбил до крови — обмотай лопухом. Живот болит — пользуйся полынным отваром. Глаза слезятся — черным самодельным мылом промой крепко. «Синий кашель» напал — попей растопленный жир ежа или сурка. Что-то невзначай вывихнул — иди к знахарю-костоправу, смажет нутряным конским или курдючным бараньим салом, погладит, слюной побрызгает, молитву нашепчет, поставит на место и закрепит туго ременной тесемкой.

Словом, на любую хворь есть надлежащее снадобье.

А со мной одна морока. Всякая зараза липнет-пристает: и простуда, и воспаление, и палочки Коха, и ушибы-царапины, и безгек-малярия, и клещи-кровососы, и чирьи, и всякие бяки.

И чем меня лечат? Зеленкой, йодом, аспирином,

кальцексом, ихтиолкой, спиртом, мазями, банками, горчичниками, пластырями, тотальной борьбой с вшами, клопами, клещами, блохами.

А эффект не тот. Не тот организм. Не та восприимчивость. Не казахского иммунитета. Нет природной закалки.

Аульная пацанва повально ходила в школу. Война. Все обнищали до предела. Одежки-обувки нет, учебников-тетрадей нет, карандаш редкость, чернила делают из сажи, писали на полях старых газет, книг, обрывках, зимой отчаянно мерзли, непроливайки грели за пазухой. Классы малокомплектные. Второй и четвертый классы учились вместе, параллельно, у одной учительницы, вчерашней выпускницы школы. Нас, «грамотеев», всего шесть человек. Младшему восемь лет, старшему четырнадцать.

А – посильно учились, старались.

Наш аул отличался от других тем, что у нас была прекрасная школа – единственная казахская средняя в районе. И еще – интернат для круглых сирот. И то, что эти «балашки», сироты и полусироты, голодные, оборванные, заброшенные, задавленные нуждой, учились и упорно выбивались в люди, было, бесспорно, подвигом. Одолели все лишения, выдюжили, дерзнули и сумели стать достойными гражданами общества.

Хвала стране, вселявшей в лихую годину надежду и веру!

Ну, а что скажу о взрослых? О, это великий сказ, описанный в многоязычных сагах!

То, что трудились все от мала до велика на износ, – банальная констатация. Я видел это своими глазами, мотаясь со своими тамырами по аулу, по колхозным станам, по ферме, по току-хирманам, по полям, на сенокосе, на уборке, на всех мероприятиях-сборищах, разъезжая с отцом по селам-аулам радиуса фельдшерско-акушерского пункта. Я посещал тои по радостным и горестным случаям, бывал на родинах-шильдеханах, на поминках-асах, на обрядах обрезания, имянаречения, айтах по окончанию уразы, слышал женский плач, детские проклятия, мольбы-обращения

стариков ко Всевышнему, видел страдания и неутешную скорбь. Я сердцем вник во все эти испытания, посильно тоже что-то делал – собирал колосья, вместе с отцом – лечебные травы, ягоды, сушил и сортировал их, жил семейными и аульными заботами, пока не обезножил и не встал на костыли из-за tbc костей.

Научился ничему не удивляться. Не сетовать понапрасно на судьбу, не злобствовать, не таить мелкую обиду. Завет отца: «Принимай людей такими, как они есть». Поражался терпению, покорности, порядочности, выносливости, стойкости, простодушию аульчан. И поныне диву даюсь: как можно было выдержать умопомрачительные лишения военных и первых послевоенных лет!

Вспоминаются изможденные, изнуренные, отлученные от любви и ласки женщины. Они нам, пацанам, казались старухами, а ведь им было – как я это теперь представляю под тридцать или немногим за тридцать. Почти все вдовы, с малыми детьми. Их бригадир, сидя на заезженной кляче, бесцеремонно будил чуть свет и, размахивая камчой- плеткой, скверно матерясь, гнал на работу – в поле, на стан, на ферму, и они, безропотные, голодные, невыспавшиеся, оставив спящих, некормленных детей, понуро брели туда, куда рукояткой камчи указывал бригадир-инвалид, рыча: «Давай, грязнуля! Давай, чумазя! Шевелись! Все для фронта!» Хорошо еще, если соседка-старуха подоит корову, вскипятит молоко, заквасит айран, присмотрит за детьми за долгий битый день, пока их матери в сумерках еле живыми возвращались до дому.

Иные не выдерживали, надрывались, угасали, находя вечный покой и пристанище на погосте за аулами.

По нашей улице, через два дома, скончалась заморенная казашка, которая зимой и летом ходила в одном замызганном донельзя платье из мешковины, в бесцветном, в заплатках, жакете, в заячьей шапке и стоптанных мужних кирзачах. Не женщина – тень, призрак, живой аруах.

Остались сиротами трое мальчишек: старшему,

Сайрану, было лет десять, братьям – восемь и семь лет. Через год после смерти матери развалилась халупа, тят-ляп сляпанная из дерна.

Мальчики за лето вырыли землянку-конуру, натащали из тугая тал, укрепили плетень, помазали глиной вперемешку с сеном и кизяком, с помощью сердобольных стариков наложили поперх матицу, соорудили подслеповатое окошко, скрипучую хилую дверь и стали в этой норе жить на подаяния аульчан.

Позже Сайран умудрился прилично окончить школу, продал свое детское богатство – мешочек асыков, лук с колчаном, перочинный ножик, какие-то учебники, собрал по рублю, по трояку с аульчан, продал буренку, братьев устроил в интернат и подался в Алма-Ату, поступил в КазПИ им. Абая на физико-математический факультет.

Но судьба не пощадила эту семью. На первом же курсе, на уборке хлопка в Пахта-Арале Сайран одним из первых заболел гепатитом и в тяжелом состоянии был отправлен назад.

Октябрьским днем рано утром, помню, он появился ко мне в общежитие и застыл у порога.

– Оу! – сказал я в шутку. – Почему вернулся?

Он всерьез ответил:

– Умирать...

– Не умирай, – продолжил я валять ваньку. – Посиди. Соображу завтра.

И тут только я заметил, что он какой-то никакой, весь желтый, и в глазах плескалась муть.

Я решил его срочно накормить. Зачилял на костылях в магазин за хлебом и сахаром. Когда вернулся, Сайран сидел за столом и тупо глядел в беспросветье. Я отправился к автомату за углом вызывать «скорую».

Еле дождались. Сайрана сразу забрали в больницу, где утром следующего дня он и скончался.

Меня вызвали в деканат, стали расспрашивать, как быть.

Хоронили Сайрана земляки, выпускники нашей

школы (их тогда в алма-атинских вузах училось аж – точно помню – 73 человека. Школа наша славилась). Обрел Сайран вечный покой в Алма-Атинской земле.

А что стало с его братьями – не знаю. Они были моложе меня и, возможно, еще живы. Ныне даже узнавать не у кого.

Подобных судеб несметное количество в казахских аулах военного и послевоенного лихолетья.

Сказ о семижилых казахх нескончаем. Тема вечная, неизбывная.

Дух такого народа неистребим.

Схожую судьбу извели с лихвой и российские немцы, изгои-изгнанники с родных мест, обреченные было на тотальный мор. Но и они выдюжили, даже подранки кое-как очухались, несмотря на все мытарства, на черные, подлые козни вершителей человеческого рока.

Но это уже другой сказ. И о том я уже немало написал. И, возможно, напишу еще.

Одиссея семижилых человек продолжается в веках. Наперекор большим и малым тиранам. Всевышний любит испытывать людей на прочность и верность, дабы они не забывали о нем. Может, в том и заключен мудрый смысл бытия...

Конечно, смешно и глупо, но иногда кажется, будто у нас национальная идея – Рахат Алиев (ныне не то Шораз, не то Қораз). Время от времени он что-то изрекает, даже якобы книги пишет, выкидывает какие-то номера и – словно популярный артист – мелькает на всех страницах зарубежных и отечественных СМИ.

Поневоле подумалось: он и есть главный герой страны. Хоть и осужден на сорок лет, хоть и объявлен международным преступником, хоть ему и инкриминируют убийства, хоть он и шастает, скрываясь, по разным странам-государствам, а все равно по-прежнему славится, как крупный государственный деятель, как посол страны, как старший зять

Президента, как муж (пусть бывший) певунии- елқызы, как отец любимых и успешных президентских внуков, как однозначная фигура национальной ментальности.

Я не злопыхательствую, а просто констатирую прискорбный факт, омрачающий лик независимой страны. Да и население воспринимает эту данность как нонсенс, как постыдное явление, как ужасную нелепость.

Ну как закрыть на все это глаза?!

Как быть? Что же делать? Все смущены. Фон нашей действительности сильно рахатизирован. Может, я ошибаюсь? Излишне драматизирую?

А ведь в разных ракурсах и ипостасях мелькает еще Храпунов. И его красотка-жена. И Аблязов. И Мусаев. Боже, всех героев и не упомнишь. Выпускники школ пишут вольные сочинения на тему «Герой нашего времени», и они, бедняги, ломают головы: «Кто же у нас герой?», а им внушают, что герой-то у нас только один. А этих, названных выше, куда девать? Им ведь молодое поколение тоже подражает...

2014 г.

«ПОД ПОКРОВОМ БОГОРОДИЦЫ»

Книга четвертая

Когда-то он был слободою,
Когда-то столицею был.
Мой Энгельс-Покровск, нас с тобою
Истории вальс закружил.

А. Балбеков. «Покровский вальс»

Эта книга оказией пришла ко мне совсем недавно из моего родного города Энгельса Саратовской области от давней знакомой – увлеченного историка-архивиста и обаятельной женщины Елизаветы Моисеевны Ериной.

Об авторе

Я встречался с ней еще в 80-х годах прошлого века в Москве и Алма-Ате, и поныне изредка обмениваемся дружескими приветами, письмами, книгами, документами. О ее книгах, посвященных истории слободы Покровской (Покровска, Энгельса), знатным людям того края, жизни и деятельности немцев Поволжья, о которых нынешнее поколение почти ничего не ведает, культуре и быте немецкого этноса, развеенного и рассеянного по разным странам-континентам, малой родине в событиях и лицах.

Словом, переоценить исследовательский труд Елизаветы Моисеевны невозможно. Она поистине подвижница в высоком значении этого слова.

Может, читателю ДАЦ необходима более конкретная справка? Пожалуйста.

В четвертой книге «Под покровом Богородицы» (Саратов, Приволжское издательство, 2013) об ее авторе

сказано: «Ерина Елизавета Моисеевна, заслуженный работник культуры России, член Союза журналистов России, почетный гражданин города Энгельса, начальник отдела использования и публикации Государственного исторического архива немцев Поволжья, председатель Энгельсского района Совета Саратовского регионального отделения ВООПИиК.

Блистательный очерк о Е. М. Ериной написал член Союза писателей России Александр Войнов. Воздав должное нескольким исследователям истории Покровской слободы, он подчеркивает: «Нет, такого труда, объемлющего и многогранного, по которому можно и нужно изучить малую родину по многим аспектам жизни и деятельности слободы и города на протяжении более чем двух с половиной столетий, ни у кого из них не было. И, значит, в приближающемся труде и неустанной работе по исследованию времен далеких, времен нынешних, да не убоимся высоких слов, и есть главный жизненный и творческий подвиг Е. М. Ериной...»

Подвиг – вот ключевое слово, характеризующее книгу – очерки-исследования славного автора, о котором веду здесь речь.

Кратко о книге

Книга приурочена к 265-летию города Энгельса. Объем книги 23 п. л. (363 страницы). В книге использованы документы и фотографии из личных фондов Государственного исторического музея.

И еще весьма важная помета: «По благословению епископа Покровского и Николаевского Пахомия».

По жанру – историко-краеведческие очерки-исследования.

Тираж книги – 500 экземпляров. На мой взгляд, для книги такой значимости явно маловато. Рад, что являюсь одним из обладателей.

Каково конкретное содержание книги? Я насчитал более 70 очерков, сгруппированных вокруг шести разделов:

1. «Откуда есть пошла...»
2. Звон колоколов
3. Великая Отечественная война в судьбе города
Энгельса
4. Космос: Гагарин!
5. Учреждения и организации
6. Достойны памяти потомков

Разумеется, невозможно в газетной рецензии говорить о всех очерках, украсивших книгу, но о некоторых скажу чуть подробнее.

Кратко об истории города

Покровская слобода основана в 1747 году.

Основали ее выходцы из Полтавской, Харьковской и Черниговской земель Малороссии. Везли соль с озера Эльтон на быках. Покровской слободой нарекли поселение по имени первой церкви, престол в которой был освящен во имя Покрова Божьей Матери.

После манифестов Екатерины Второй о приглашении иностранцев в Россию 1762–1763 гг. в слободу хлынули немцы и русские.

В 1836 году слобода была отнесена к Новоузенскому уезду Саратовской губернии. Слобода находилась в 7 километрах от Саратова через Волгу.

(Новоузенский уезд – нечто знакомое. У меня сохранились два документа моего дедушки – Фридриха Бельгера, 1861 г. р. Документы называются «Послужной лист» – начало службы – 1889 год и «Билет № 1» с пометкой «видом на жительство служить не может» о том, что «стражник-рядовой Фридрих Бельгер уволен в запас в 1890 году декабря 10 дня». Так в этих документах неоднократно упоминается Новоузенский уезд).

Летом 1922 года Покровск стал столицей Области немцев Поволжья, преобразованной в январе 1924 года в республику – АССРНП. В сентябре 1931 года Покровск был переименован в Энгельс.

Эти сведения можно найти в многочисленных энциклопедиях, справочниках, путеводителях, исследованиях. Я их выписал из книги Елизаветы Ериной.

Со своей колокольни добавлю, что в этом городе сподобился родиться и я, что подтверждают сохранившиеся родильная наклейка «Бельгер Анна Давыдовна разрешилась 28.X.1934 г в 8 часов 5 минут, мальчик, 3800», запись в отцовском дневнике «2-я Советская больница (родильня)» и «Свидетельство о рождении № 918» (выданное Энгельским городским загсом 31 октября 1934 г., место рождения – г. Энгельс РНП).

Событие, понятно, не ахти, но для меня лично – факт примечательный.

О депортации немцев Поволжья

Отдельная главка в книге Е. Ериной посвящена документам Государственного исторического архива немцев Поволжья о депортации по Указу от 28 августа 1941 года.

Эту главку я читал с особым интересом, ибо о том я много читал, слышал, писал в своих произведениях, а главное – дух того времени, события, вплоть до запахов и звуков той трагедии я живо сохранил в своей цепкой детской памяти до разных мелочей.

Словом, я свидетель той драматической акции, античеловеческой – говоря современным языком – санкции. Знаю, в какой спешке, суматохе, тотальной растерянности и ужасе это происходило. Помню и рев недоенных коров, и вой собак, и визг свиней, заколотых наспех, и плач женщин, и мародеров, хватавших оставленный скarb немцев, и притихших детей, и недоумение и скорбь в потухших глазах стариков, и гогот бесхозных гусей, и чад от котлов, в которых женщины жарили на дорогу пончики-креббели, и станцию Плес, куда на фурах, машинах свозили несчастный люд.

Помню все. Творилось нечто невообразимое. Выходцы из Гессенской земли, их далекие потомки называли эту неразбериху, этот хаос непонятным словом «gunda-karunda». Я этого слова в немецкой литературе не встречал, и поныне этимология этого

выражения мне непонятна, но в устах моих родителей это слово звучало, означая переполох, беспорядок, бестолковость, неразбериху, сумятицу.

Должно быть, диалектное выражение.

Конечно, потаенный смысл депортации тогда был мне непонятен, недоступен по причине малолетства, однако воздух времени, окрас тех событий, отчаяние, охватившее невинных людей, сохранились в памяти, в ощущениях, в сознании. Как-никак мне было уже почти семь годков, и я кое-что уже соображал.

Е. М. Ерина все это документально подтвердила. И я теперь, с высоты прожитых лет, могу только констатировать: да, так все это и было.

Е. Ерина пишет: «Не подвергались изучению и анализу описи архивных фондов, документы которых оканчивались 1940-м годом. О них мы лишь скажем, что причина отсутствия документальных материалов за 1941 год кроется в спешке, с которой проводилась депортация, когда не все руководители сумели оправиться от удара, не все смогли сориентироваться, не все своевременно оформили документы об увольнении и, главное, не все сдали документы в Центральный Государственный архив немецкой республики, как того требовал специальный приказ НКВД АССРНП «Об обеспечении сохранности документальных материалов учреждений, организаций и предприятий АССРНП».

И вот еще один важный факт: «Основная масса работников была уволена в период с 1-го по 6 сентября».

Мой отец, член ВКП(б) с 1939 г., в то время заведующий Гнаден-флюрским кантонздравом, был, по-видимому, в числе первых, подлежащих выселению. Вот запись из сохранившейся у меня его тетради: «11 сентября утром рано прибыли в Казахстан – на станцию Мамлютка. В пути были всего 5-6 дней...» Отцу пришлось две недели работать на поле в русском совхозе Сергеевка, и в аул – колхоз им. Ленина Октябрьского района Северо-Казахстанской области мы прибыли 17 октября 1941 г.

В книге Е. Ериной приводится любопытная статистика: «Число колхозов по 22 кантонам составляло 499, из них немецких – 345, число дворов – 70257, из них

немецких – 52208. Общее число населения в колхозах – 299268 человек, из них трудоспособных – 133467. На место депортированных решено было направить в эти колхозы 17250 человек, 5000 из них из Саратова, остальные – за счет перемещения кадров внутри кантонов... В какой-то степени этот кадровый голод был временно приостановлен прибытием эвакуированных с мест, занятых врагом...

7 сентября 1941 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «Об административном устройстве территории бывшей Республики немцев Поволжья». На основании его 15 кантонов были отнесены к Саратовской области, 7 – к Сталинградской. Так началось прямое уничтожение бывшей республики. Для этого потребовалось «убрать» из обихода и все немецкие названия.

...Так государство стремилось уничтожить память о Республике немцев Поволжья – АССРНП и ее безвинно пострадавших жителей, которые немало сделали для своей родины. И об этом говорят архивные документы» (стр. 161–163).

Штандпункт

45 (!) лет Елизавета Моисеевна творчески и вдохновенно, самозабвенно возглавляла Государственный исторический архив немцев Поволжья в г. Энгельсе.

В 2010 году она дала интервью, воспроизведенное в данной книге. Интервью исповедальное. В нем Елизавета Моисеевна четко обнародовала свой научный, исследовательский, гражданский взгляд на трагическую немецкую проблему.

Приведу из этого интервью «Что немцу здорово» несколько фраз:

«Республика немцев Поволжья в советские годы была запретной темой. До сих пор остается загадкой: как, вообще, меня, беспартийную, утвердили на должность директора?»

«Но только начинаю писать – наталкиваюсь на стену непонимания. Нельзя упоминать немецкие фонды, нельзя говорить, что здесь была немецкая республика. Где-то до 1985 года мне не позволяли произносить эти слова. Прекратилось это только с перестройкой».

«И я везде выступала аки зверь, доказывая, что немецкая республика была и что с ней поступили несправедливо».

«Выселили коренной народ. Но, во-первых, выселить можно было по-человечески. Дать возможность людям взять с собой все, что необходимо для обустройства новой жизни в Сибири, Казахстане. Почему нельзя было дать такую возможность? Кстати, там, где выселяли работники НКВД, отношение к репрессированному народу было ужасным. Там, где выселяли военные, было человеческое отношение. Во-вторых, почему после победы не вернуть народ назад? Как гражданин, как историк, как человек, который всю жизнь проработал в этом архиве, считаю, что это недальновидная политика нашего государства».

«Наши немцы – законопослушные, трудолюбивые, любящие Россию граждане. Они же прожили здесь честно со времен Екатерины II. Возвести на них такой поклеп (имеется в виду легенда о высаживании фашистского десанта в немецкую республику на Волге – Г. Б.) – это просто оскорбление народа».

«На самом деле фактически автономия не была ликвидирована никаким документом. Просто есть Указ о выселении немцев из Поволжья. А указа о ликвидации нет и не было».

«Первый этап реабилитации жертв политических репрессий начался при Н. С. Хрущеве. Февраль 1957 года принес реабилитацию народам, депортированным в 1944–1945 гг. В родные места было позволено вернуться чеченцам, ингушам, балкарцам, карачаевцам и калмыкам. Однако немцам Поволжья повезло меньше всех. Указа об их реабилитации так и не последовало. И в родные места они так и не вернулись» (стр. 164–168).

Филолог и эксперт Елизавета Ерина в своих исследованиях очень пунктуальна, дотошна, ссылается только на цифры, факты, документы, о чем свидетельствуют все (без исключения!) очерки, внесенные в рецензируемую книгу. Особенно меня поразила и восхитила глубокообоснованная и тщательно выверенная глава «Народное образование в немецкой республике. Педагогический институт и его роль в подготовке кадров» (стр. 172–186). Как бы мне хотелось, чтобы о том читали, знали все российские немцы, живущие в России, Казахстане, Германии, Канаде, США. Блистательный труд!

Памяти знатных немцев

Познавательный заряд этой книги огромен.

Внейвдохновенно повествуется об истории множества православных церквей, о церковно-приходских школах, о вкладе предприятий тыла города Энгельса в осуществление Победы над фашизмом, о единстве армии и народа в годы Великой Отечественной войны, о памятниках и памятных местах Покровской земли – писателях, поэтах, ученых, краеведах, архивистах, издателях, исследователях русской старины, о знатных личностях, оставивших неизгладимый след в истории своей малой родины.

По сути, четыре тома «Под покровом Богородицы» Е. М. Ериной представляют собой своеобразную энциклопедию истории земли Покровской. И в этом их высокий пафос.

Ну, а я, как, надеюсь, читатель знает, не равнодушен к истории, культуре, литературе российских немцев. Все, что касается моих сокровников, меня неизменно волнует. А потому я основательно, с карандашом прочитал очерки об ученом-лингвисте, преподавателе, методисте, писателе Августе Фридриховиче Лонзингере, о депутате первой Государственной думы, юристе и историке поволжских колонистов Якове Егоровиче Дитце, об истории жизни и деятельнос-

ти священника и ученого Готлиба Бератца, о семье Шнитке в городе Энгельсе (а именно о супругах Гарри Шнитке и Марии Фогель и их детях Альфреде Шнитке, всемирно известном композиторе, Викторе Шнитке, поэте и переводчике, Ирине – журналистке и редакторе (последних, кстати, я знал лично).

Об этих выдающихся персонах мне приходилось немало читать по разным источникам. Случалось, я и сам о них упоминал в своих опусах, писал о них.

Однако, к примеру, столь тщательную переработку жизни и многогранной деятельности Августа Лонзингера я встречаю впервые. В библиографическом очерке о нем я впервые узнал много подробностей – о его педагогической работе, о его диалектологической «анкете», о постоянных преследованиях властей, о том, что он был направлен в Кавказскую действующую армию, что находился под надзором полиции, являлся автором пяти учебников по немецкому языку и математике, что был в 1936 году признан виновным в проведении контрреволюционной деятельности и сослан на три года в Казахстан, работал на станции Мерке, что потом, после возвращения на Волгу, служил в издательстве на полставки старшего корректора, переводил учебники, а потом был выслан с семьей в Красноярский край, работал бухгалтером и умер в 1953 году, что позже был реабилитирован, о чем, однако, не могли органы оповестить опальную семью, затерявшуюся где-то в ссылке.

Поразительная биография, характерная для интеллигенции из числа российских немцев. Ерина называет Августа Лонзингера «великим педагогом и самобытным писателем».

Его роман «Nor net Lopper g'gewa», повести «Huben und druben», «Mister Horn», «Philipp Jab», рассказы, написанные на диалекте под псевдонимом А. Кольниер, многочисленные статьи, исследования, очерки были весьма популярны среди поволжских немцев в начале прошлого века. Отрывки из этих произведений печатаются и ныне в разных антологиях.

Столь же фактологически весомы и очерки о

депутате I Государственной думы, юристе, авторе объемного исследования «История поволжских немцев-колонистов» Якове Дитце, а также патере Готлибе Бератце, авторе уникального труда «Списки колонистам-немцам, водворившимся в Поволжье в 1765–1767 годах и некоторым протестантским колониям».

«Этот труд и хранится в архиве как особо ценный», – констатирует Е. М. Ерина.

Работа Г. Бератца «Немецкие колонии на нижней Волге в их становлении и первоначальном развитии» посвящена 150-летию пребывания в Поволжье колонистов.

Г. Бератц был арестован по подозрению в причастности к выступлению против советской власти и расстрелян по приговору ревтрибунала.

Ценными и редкими сведениями отмечен очерк о семье Шнитке с подробными генеалогическими экскурсами. Я, разумеется, кое-что знаю о братьях Альфреде и Викторе, но об их отце Гарри Шнитке обладал до этого очерка слишком скудными данными.

Елизавета Моисеевна умеет увлекательно рассказывать и во всем руководствуется строго проверенными документами.

Краткое резюме

О трудах Е. М. Ериной можно и нужно проводить читательские конференции и научные семинары. Велик – повторяю – ее вклад в родинолюбие и родиноведение (эти два незнакомых слова я встретил в данной книге).

Приведу в заключение еще одну цитату из предисловия писателя Александра Войнова: «Елизавета Моисеевна как раз из тех историков, которые видят образ жизни, образы живущих людей и уже ушедших от нас, иначе бы у нее за десять лет не родилось четыре книги «Под покровом Богородицы». Теперь, знаете, просто страшно представить, как это город Энгельс обходился бы без этих книг, ставших для покровчан-энгельситов настоящим историко-краеведческим бестселлером»

(стр. 6).

Читая эту книгу, я все время ловил себя на мысли: «А ведь и мои корни в какой-то степени там – в Покровске, в той земле, где некогда стояла колыбель Автономной республики немцев Поволжья и откуда вышли столь славные люди».

Напрашиваются стихи поэта А. Кобылянского из этой же книги:

«Земля Покровская, как ты богата,
Какая россыпь дел, имен и дат!
И в них все сразу – серебро и золото,
И в них алмазы яркие блестят».

10 июня 2014 г.

«ОУ! ЛИТЕРАТУРА ЧЬЯ БАБА?»

– *Слушай, ты чем занимаешься?*

– *Литературой.*

– *Оу! Литература чья баба?*

Из разговора с уральским казахом.

Ныне его совсем мало кто читает. Выросли поколения, которые его сочинения и в руки не берут. Собрания его сочинений – со всеми комментариями – мертвыми горами пылятся в библиотеках. Раньше в любой диссертации, даже в самом малахольном квази-научном труде по любой теме – от философии до теории и практики искусственного осеменения – в списке использованной литературы вслед за Марксом и Энгельсом непременно фигурировал он.

Я говорю о Владимире Ильиче Ленине.

Нас, ныне уже старшее поколение, заставляли его читать еще в школе, потом в институте, потом в аспирантуре, какие-то хлесткие его фразы – «Учиться, учиться и учиться», «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя», «Долой беспартийная литература», «политическая проститутка», «Иудушка Троцкий», что-то о кино и электрификации, о «социализме-учете», об учении Маркса etc. – мы затвердили наизусть и щеголяли ими налево-направо, к месту и не к месту.

Такое было поветрие, такая мода. Без Ленина в башке и на устах никуда.

И надо же! Ай, заман-ай! Ныне обходятся вполне без него. Один ортодокс мне внушил: «Придет время, и к нему вернуться!»

Не знаю. Сомневаюсь я, однако.

Я лично за свою сознательную жизнь читал его немало. Конспектировал. (И куда делись эти конспекты? Восторга не испытывал, но поражался убежденностью, интеллектом, логичностью, четкостью слога, напористостью, хваткой изложения, полемичным задором. Запомнились «Что делать?», «Материализм и эмпириокритицизм», статьи о Льве Толстом, о Герцене, изящное воспоминание «Как чуть не потухла «Искра» и многое другое.

Помимо всего прочего, он обладал своим стилем – энергичным, страстным, волевым, как сказали бы теперь, харизматическим. Во главе угла всего, что он писал, стоял политик, политический журналист, абсолютно убежденный в своей правоте, твердо знавший, что он хочет, и цели своей достигал дьявольским обаянием и мощью.

Ей-ей, немножко жаль, что он выпал из нашего времени. Я имею в виду не его идеи, не пафос, не мировосприятие, а действенность его стиля, умение навязать свою волю.

В этом смысле – согласитесь! – нынешние лидеры сильно хро- мают.

Хочу здесь сказать немного о его знаменитой работе, которая меня сначала насторожила, потом обескуражила, а уже в зрелом возрасте вызвала стойкое неприятие. Речь идет о статье Ленина «Партийная организация и партийная литература». Ее в нас усиленно вдалбливали еще со школьной скамьи, а потом долгие годы на разных уровнях, к месту – не к месту, ею, точно колотушкой, били-тюкали по темени. Случалось, даже во сне являлся грозный пролетарский вождь и безапелляционно картавил в уши: «Литературное дело не может быть индивидуальным делом, независимо от общего пролетарского дела. Долой литераторов беспартийных! Литературное дело должно стать колесиком и винтиком одного единого социал-демократического механизма».

Я рос в захолустном ауле на берегу Есиля, учился в казахской школе, мечтал стать литератором, сорил беспомощными стишками, вел дневник, куда записывал

скудные аульные новости. Писатели были для меня, тогда восемнадцатилетнего, избранной кастой, небожителями, вольными, свободными орлами, парящими над безбрежной степью. И вдруг «колесики и винтики единого механизма»! Вдруг – долой! Долой писателей беспартийных!

И это говорит Күн-Көсем – Вождь-Солнце?!

Апырай, что же это получается? Значит, наш данышпан, кеменгер Ленин считает нужным на писателей надеть хомут, пристегнуть их к тороке своей партии, скакать на них о-дву-конь?! То есть, нужен писатель-обслуга, писатель-жантык, покорный, послушный исполнитель партийной воли и цели, мальчишка на побегушках – «барып кел, шауып кел»?!

Ну и ну! Что-то во мне напряглось, ошетинилось, сопротивлялось, возмутилось. Мало того, что я, спецпереселенец, обязан ежемесячно «отмечаться», как неблагонадежный, в комендатуре, теперь, если хочу стать литератором, я обязан быть партийным, размахивать дубинкой партии, зависеть от партии мифических социал-демократов, сунув голову в еще одно ярмо? Выходит, меня совсем превращают в раба?!

Поделился своими сомнениями с учительницей русского языка и литературы, ссыльной преподавательницей Ленинградского пединститута им. Герцена, теперь чесеиркой (член семьи изменника родины) Марией Петровной Егоровой. Она не на шутку встревожилась, округлила глаза, тихо сказала: «Гера, вы плохо кончите».

Осмелился поговорить на эту тему с преподавателем казахской литературы, своимравным, вспыльчивым Жылгельды Мукановым. Тот вперил в меня жгучий орлиный взгляд, скривил тонкие губы: «Уй, волчонок! Не выдумывай! Ленин сказал – Ленин прав, Сталин сказал – Сталин прав! Болды!»

Обращаться со своими неуместными вопросами к отцу, фельдшеру и акушеру, было и вовсе бессмысленно. Отец неукоснительно держался партийной линии.

Позже я понял, что партийным людям кривые вопросы вообще не по душе.

А Ленин внушал, будто за горло хватал.

«Абсолютная свобода есть буржуазная или анархическая фраза... Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная зависимость от денежного мешка. Мы – социалисты, разоблачаем это лицемерие, срываем фальшивые вывески, не для того, чтобы получить внеклассовую литературу и искусство (это будет возможно лишь в социалистическом, внеклассовом обществе), а для того, чтобы лицемерно свободной, а на деле связанной с буржуазией литературе противопоставить действительно свободную, открыто связанную с пролетариатом литература-туру».

В эти ленинские слова я вдумывался десятилетиями. И чем больше вдумывался, особенно в зрелые годы, когда уже активно вступил в литературу, тем сильнее испытывал скользкое, не приемлемое для меня ощущение постулата пролетарского вождя. Лучше бы он о литературе не говорил. Он все подчинял своим идеям, своей политике, а зачем нужна литература, которая откровенно служит каким-то надуманным догмам, конъюнктурным партийным задачам? Литература ли это вообще?

Мои коллеги по аспирантуре, большие интеллектуалы Женя Костюхин (будущий доктор филологии, профессор) и Аскар Сулейменов (будущий критик, прозаик, драматург, эстет) только кривились, ухмылялись при упоминании этой программной ленинской статьи: «Бред!», «Кой оны!»

С годами эта статья вызвала у меня стойкое раздражение. Но и окончив институт (русско-казахское литературное отделение) и став преподавателем русской литературы, я в полном согласии со школьной программой учил несмышленных казахских учащихся этим сомнительным наставлениям. Ученики мои восприняли суть статьи еще более однобоко и прямолинейно, чем Ленин. «Долой беспартийных писателей!» означало для них: «Долой писателей, не являющихся членами Коммунистической партии!» То, что беспартийный писатель – будь он хоть семи пядей во

лбу – бред, ложь, буржуазия, анархическая дребедень! Аулак! Долой! Ату их!»

О свободе слова никто не заикался. До поры до времени такого сочетания-понятия и в помине не было.

Меннонит-историк Иван Иванович Фрезе при встрече в Ташкенте, демонстрируя свою богатую библиотеку преимущественно на немецком языке, сказал: «Да, Маркс, Энгельс, Ленин – великие люди. Они обладали системой мировоззрения. Но никак нельзя считать, что они знали истину в последней инстанции. Они видели мир со своей колокольни и своим учением толкали темный люд на кривую дорожку».

Ну, а о Ленине что говорить? Гуманизм и милосердие были ему абсолютно чужды. Он руководствовался исключительно революционной целенаправленностью. Он был фанатиком идеи. Так он был создан. Отсюда и «долой!» и прочие бесшабашные лозунги.

Я пишу обо всем этом не для того, чтобы оспаривать политические постулаты Владимира Ильича. Это было бы смешно – полемизировать с идеями, выраженными в пылу азарта и борьбы в статье более 100-летней давности. Мало ли кто что сказал в каких-то определенных целях, исходя из задач конкретного времени и ситуации. К тому же следует помнить, что когда Ленин писал этот своеобразный политико-литературный манифест, ему, оказывается, было всего-навсего 35 лет. Бала по нынешним меркам. А казахи говорят: бала, баланыңиі шала, то есть: детишки, у них дела – делишки. Ему ли судить о назначении литературы?!

Пишу я эти строки вот почему. Ленинский подход к литературе на многие десятилетия отравил сознание мыслящих людей, ввергая их по изначальной сути в полное отрицание свободы слова. Свободу слова он понимал и трактовал в сугубо узких, партийных, корпоративных, прикладных целях, яростно призывал «прогнать» (его выражение!) всех тех, кто не согласен с его идейной платформой, кто осмеливался думать иначе и возражать его социал-демократической доктрине.

Ай, знакомая удавка! С этим ленинским ошейником жили и творили (и ныне продолжают жить и творить!)

тьма-тьмушая литераторов. «Долой!» – доносился (и доносится!) грозный окрик из мавзолея.

Рассуждая логично, всякая власть норовила подчинить, подмять литературу, литератора, художника слова своей воле. Дошло до ветхозаветного клича: кто не с нами, тот против нас.

Вот где собака зарыта!

И эта дохлая собака смердит и поныне.

Литераторов заарканили – каждый в свое время – и социал-демократы, и социалисты, и большевики, и Сталин, и Хрущев, и Брежнев, и «Софья Власовна» на всех этапах, сознательно, исподволь превращая литературу, искусство, художников в «винтики» и «колесики» всесокрушающей зубодробительной диктатуры.

Отголоски этого догмата слышатся и теперь. Все современные партии-пустышки норовят пристегнуть литераторов к своей тороке, заставить их «тявкать» по своему усмотрению, действуя старым методом «кнута и пряника», раздаривая кому пышки, а кому шишки.

И бесконечно жаль, что доморощенные наши литераторы (имею здесь в виду казахстанских) клюют на эту отвратительную приманку и говорят то, что им позволяется, хорохорясь своей самобытностью и самостоятельностью, порою откровенно кормясь «с руки».

Мысленно переберите в памяти нынешних 700 членов Союза писателей Казахстана. Вспомните, какие угодливые перлы (их не однажды перечислил неистовый Мухтар Шаханов) выдали они (не все, но в подавляющем большинстве) за последнее двадцатилетие, вспомните, кто за что был облагодетельствован, отмечен, обласкан, какие щелкоперы становились лауреатами государственной премии, кто как состязался в лизоблюдстве, сколько завелось откровенных жарапазаншы-жопеке, унизивших литературу, талант и вдохновение, высокие традиции истинных сыновей «Алаша». Самое любопытное, что эти «жопеке» еще хотят, чтобы их хвалили, чествовали и даже любили-почитали. Ой, бишаринцы-сорлыбаюшки! Надо же иногда и на свою котешку смотреть!

Да-а... становится особенно ясна ленинская установка о партийной организации и партийной литературе.

Стрелы, пущенные некогда ленинской статьей, поражают в самое сердце свободу слова и поныне. Ленина давно нет, его почти не вспоминают и не цитируют, а дело его в иных сферах еще тлеет.

В том же 1905 году Валерий Брюсов опубликовал гневную статью «Свобода слова», яростно полемизируя с Лениным. Статья эта, оказывается, была очень популярна в свое время и переведена на многие языки мира. У нас ее всячески замалчивали, и я впервые узнал о ней двадцать три года назад: ее перепечатала «Литературная газета» в 1990 году (№ 34 от 22 августа 1990 г.). Я ее не раз прочитал с дрожью в сердце: поэт-энциклопедист В. Я. Брюсов четко выразил то, что смущало мою душу десятилетиями.

Брюсов писал: «Иначе говоря, членам социал-демократической партии дозволяется лишь критика частных случаев, отдельных сторон доктрины, но они не могут критически относиться к самым устоям доктрины. Тех, кто отваживается на это, надо «прогнать». В этом решении – фанатизм людей, не допускающих мысли, что их убеждения могут быть ложны. Отсюда один шаг до заявления халифа Омара: «Книги, содержащие то же, что Коран, лишние, содержащие иное – вредны».

Да, таков штандпункт и нынешних временщиков, узурпаторов власти всех мастей. И беда в том, что большинство нынешних рыцарей пера охотно – по доброй воле или вынужденно, в шкурных интересах идет послушной толпой под ярмо деспотизма, довольствуясь крохами с барского стола. А иные из них – смешно! – при этом еще о Нобелевской премии грезят-мечтают.

Такое поведение только внешне кажется безобидным. На самом деле, оно разжигает, губит литературу, превращает ее в расшитый қолжаулық (рушник), которым власть вытирает жирные – после обильного бесбармака – руки.

Писатели, вступающие в разные наши показушные

партии и участвующие своим талантом в оболванивании народа, достойны досады и сожаления. А может, — всеобщего презрения. Не случайно один из наших шишкарей-временщиков, дорвавшийся до власти, изрек: «Для меня писатели не авторитет». Конечно, писатель-обслуга не авторитет. Для него единственный авторитет — доллар.

Вот о чем мне хотелось посильно сказать, вспоминая работу Ленина «Партийная организация и партийная литература». Идея ее и поныне превращает литературу в фикцию, обрекая ее на роль пристебая-пристегая, разрушая одну из человеческих святынь — свободу слова.

Сентябрь 2013 г.

БЕДНАЯ-БЕДНАЯ, СЕРАЯ-СЕРАЯ МЫШКА

Параллели

...Давно это было, наверняка лет двадцать назад: время мелькает скоротечно. Смотрим мы с женой телевизор в зале, вдруг серая молния пронеслась вдоль стены из одного угла в другой. Я затаил дыхание: что за наваждение? Через мгновение – шашь! – и серый комочек стремительно прочертил обратный путь.

– Похоже, мышка, – заметила жена. – Резвится...

– Мышь!.. На четвертом этаже?! Откуда?

С осени мы запаслись кое-каким провиантом. В углу на длинном балконе хранили мешок картошки, два пакета муки и корзину луку с морковью. А на другом балконе – через кухню – держали в ящике сахар.

Неужели мышке все это приглянулось? Как она сподобилась из подвала подняться на четвертый этаж?

Блажь, наверное.

Однажды слышались писк и шорох даже днем в тиши кабинета. И я успел разглядеть, как вдоль плинтуса воровски прошмыгнула юркая мышка. Крохотная, ушастенькая, с длинным хвостиком, серая- серая...

Пискнув, где-то затаилась, замерла, схоронилась.

Я скрутил толстую газету и кинулся на балкон. Оглянулся. Прислушался. Почувствовал, что и мышка застыла где-то рядышком, выжидает, следит за мной, не шелохнется.

Мышка-норушка – милое существо только в сказках. А в хозяйстве – самый вредный грызун. Хитрый, коварный, обжорливый, пакостливый. С детства был

свидетелем, как отец методически боролся с мышами и на Едиле, и на Есиле. Двух котов держал, капканы ставил, в ловушки заманивал, к разной отраве прибегал, выслеживал у всех щелей. И еще я видел, как кошки, изловив мышку, подолгу забавлялись ей.

Долго и тщетно подстерегал я мышку, нахально поселившуюся на моих балконах. Временами, дразня, сноровисто прошмыгивала она вдоль плинтусов.

И однажды я ее все же подстерег. И ей некуда было деваться. Прижалась в самом уголке звена отопительного электрического аппарата и только глазками-пуговками – зырк-зырк! – следила за мной из своего укромного закуточка. От страха-ужаса мелко-мелко подрагивала всем тельцем. Я изловчился и точно ударил по ней увесистым газетным жгутом. Мышка рухнула к моим ногам. Я схватил ее за хвост и, размахнувшись, швырнул ее с балкона на асфальтные ступени под окном.

И поныне не знаю, уцелела ли мышка или погибла. Бедная-бедная, серая-серая мышка!.. Как она резвилась вдоль плинтусов!..

...Праздник переводческого искусства в Армении помнится мне во всех деталях и поныне, хотя и состоялось это торжественное событие в начале ноября 1982 года.

Понаехали в Ереван именитые переводчики со всех республик тогдашнего СССР, а кое-кто даже из Европы. Звучали высокие речи в актовом зале священного «Матенадарана», у могилы Месропа Маштоца, первого армянского переводчика, под безбрежным голубым небом Ошакана, у Мемориала армянских писмен, в Степанаване, у гостеприимных лорийцев, на заоблачном перевале, где А. С. Пушкин встретил гроб с телом погибшего друга и тезки – Грибоедова.

Это был праздник разных народов. Духа единения и сплочения. Высокой поэзии. Разноплеменной музыки. Пир волшебства, словесной магии.

Облагораживали праздник, обрамляя его щедрым застольем армянские и грузинские коллеги; вносили искреннюю духовную лепту прославленные рыцари

девятой музы из Москвы, Ленинграда, Азербайджана, Литвы, Латвии, Эстонии, Киргизии, Узбекистана, Белоруссии.

И я удостоился этой чести.

Но сказать хочу не о том.

Из «ЛГ» (№ 23 за 2014 г.) я узнал, что некогда очень популярному русскому поэту и прозаику Владимиру Алексеевичу Солоухину ныне исполнилось бы 90 лет. На том празднике переводческого искусства в Ереване был и он. Прибыл он на день позже, имел очень усталый, заспанный вид. Куда бы мы ни ездили, он сразу спал, дремал, был пассивен, временами что-то бубнил, по обыкновению сильно окая. Внешне он не был похож на расхожий облик писателя: большой, грузный, помятый, расхристанный увалень, небрежно одетый, лишенный всякого пафоса и имиджа. Он походил на мастерового, на мужика, которого происходящее вокруг никак не касалось.

Переводчик он был неутомимый и всеядный. Переводил по подстрочникам – поэзию и прозу – с трех десятков языков, не зная ни одного.

Я не сторонник такого перевода и таких переводчиков. И это качество в нем мне никак не нравилось.

Но прозаик был отменный, нежный, поэтический, влюбленный в русский речестрой. Мне были известны его «Владимирские проселки», «Капля росы», «Письма из русского музея», рассказы, очерки. Это был тонкий, истинно русский писатель-художник. По душе мне была и его общественно-гражданская позиция.

Пожалуй, В. А. Солоухин был единственным человеком, с которым я на том празднике в Ереване не вступал в контакты. Обо мне, понятно, он и представления не имел, а потому я был ему неинтересен. Я же о нем имел приличное представление, но его переводческое ремесло никак не разделял.

Но с какой стати я вдруг его вспомнил и почему, собственно, о нем пишу, – расскажу чуть ниже.

... Немного, пожалуй, должен сказать еще об одном крупном писателе.

Впрочем, крупным он считался давно, еще в 20–30-е годы прошлого столетия, а ныне его, думаю, прочно забыли.

Он прожил долгую жизнь. Написал уйму романов. Был членом АН СССР. Героем Социалистического Труда. Секретарем Правления СП СССР. Депутатом Верховного Совета СССР. И т. д.

В молодые годы я читал его «Первые радости», «Необыкновенное лето», «Костер».

Звали его Константин Александрович Федин.

Разумеется, я его в жизни не знал. Как говорят казахи, «қол алып амандасқан адамым емес» – «за руку никогда не здоровался». Да и был он старше моего отца на целых 17 лет.

Видел я его всего один раз на каком-то писательском пленуме в Москве. Впечатление: высокий, импозантный джентльмен, при галстук-костюме, с благородной осанкой, барственными жестами, собранный, ухоженный, державшийся особняком, благостный, густой баритон, размеренная речь, все взвешенно, все предусмотрено, ни к чему не придерешься. Произнес по бумажке несколько гладких, дежурных, вполне официозных слов и исчез.

Мне показалось, что публика в зале его не больно жаловала. Говорили: «мастодонт», «метрдотель», «комиссар собственной безопасности».

Он говорил лишь то, что дозволялось говорить.

Он писал лишь о том и так, как разрешалось властями.

В германофобии особенно отличалась четверка советских классиков: И. Эренбург, М. Шолохов, К. Симонов, К. Федин. Имелись в виду, понятно, германцы, немцы рейха, а никак не так называемые советские немцы. Но от их публичной ненависти больше всех доставалось именно российским немцам. В трактовке этой четверки «наши» немцы стали козлами отпущения. И гневные стихи и суждения читались ежедневно на плацу перед униженными морально и физически немцами-трудармейцами. «Убей немца!» – таков был их призыв. Эренбург иступленно утверждал: «Немцы – не

люди!» В СССР это длительное время воспринималось однозначно.

...В октябре 1962 года, после того, как я окончил аспирантуру при КазПИ им. Абая, в то время главный редактор республиканского литературно-художественного и общественно-политического журнала «Жұлдыз» Абди-Жамиль Нурпеисов взял меня в редакцию сотрудником отдела прозы. Я тогда начал подстрочно переводить на русский язык его трилогию «Кровь и пот».

В Союзе писателей Казахстана я тесно общался с большинством казахских (шире: казахстанских) литераторов. Тогдашний СПК был крохотным островком сравнительной свободы в океане тотальной лжи. Дух допустимой вольности царил в его кабинетах и – особенно – в холле. Мне, новичку, такая среда пришлась по нраву. И то время вспоминаю с удовольствием и благодарностью. Дух того времени отражен в моих дневниках.

Я имел приличное представление о казахской прозе и поэзии. Дружил с моими замандасами – Аскарсом Сулейменовым, Саином Муратбековым, Кадыром Мырзалиевым, Зейноллой Сериккалиевым, Абишем Кекилбаевым, Жумекеном Нажимеддиновым, Оразбеком Сарсенбаевым, Дукенбаем Досжановым – всех не перечислю.

Был обласкан аксакалами и карасакалами.

Беседы случались довольно вольными, а писали – я тому свидетель – все еще скованно, с оглядкой, осторожно, чтобы невзначай не погладить кого-либо против шерсти и не дразнить понапрасну гусей.

Один красочно описывал весеннюю лужу, восхищаясь словесной вязью, другой – буранную ночь в степи, третий – похождения байского отпрыска к жене рыбака-бедняка, четвертый – то, что дала казахам Октябрьская революция, пятый – про забавный случай на охоте, выясняя, кто же все-таки стрелял в волка, шестой – любовную сцену тракториста и доярки в стоге сена на колхозном стане, седьмой – о состязании

батыров, обжор и палуанов на асе-поминках, восьмой – о компании весеннего расплода овец...

Ойдойт! И все это я переводил-перекладывал на русский язык.

А о реальности, о жизни вокруг ни бе ни ме. Чего-то опасались, боялись, отчего-то робели, стеснялись. Указывали пальцем на потолок, тыкали в сторону соседского ЦК КПК, закатывали глаза: «Ойбай! Анау!» Писали не о том, что есть, а о том, что должно или могло бы быть. Казалось, все как бы попрятались по норушкам и чего-то выжидали. Иногда юрк-юрк, прыг-скок, бочком, шур-шур по закуткам- застрехам. И – молчок. А с трибуны вещали: «Эй! Почему в твоих стихах черные тучи бродят-кочуют? Наше небо разве не безоблачное?» «Почему в твоих рассказах рыбаки после работы тащатся домой, как тени, а не шагают бодро, с песней?!» «Почему твои герои так мало улыбаются? Какая их печаль гнетет?» «А куда подевались русские тамыры у твоего Мыркымбая?»

И все в таком же духе.

Помню, композитор-академик Ахмет Жубанов, автор «Соловьев столетий», которого я тогда переводил, рассказывая о судьбе своего талантливого клана, время от времени возмущенно восклицал: «Ай, Гера! Қашаңғы корқа береміз?!» – «До каких пор будем бояться-дрожать?!»

Что и говорить... дрожмя дрожать в литературе и бесплодно, и губительно.

... Так было.

И в «ЛП», о которой я упомянул выше, приводится случай: в «Карачарово» как-то встретились К. А. Федин и В. А. Солоухин. И последний вспоминает:

«...Константин Александрович сделал мне потрясающее признание.

– Владимир Алексеевич, вы видели, как выбегает мышка, когда выбежит из норки в углу комнаты? Она никогда не выбежит на середину комнаты, а все время – по плинтусу, по плинтусу.

– Ну?

– Вот и я тоже – жизнь прожил, и никогда ведь на середину комнаты не выбегал, все по плинтусу бегал...»

Какое признание, однако?!

А ведь так жили сотни, тысячи писателей. Никогда не выбегали на середину комнаты. Не ныряли в водоворот событий.

Все по плинтусам, по плинтусам.

И сейчас большинство литераторов так бытует. На середину жизни редко кто выйдет. Все больше по углам, по закуткам, по норушкам промышляют. И лишь изредка – шмыг-шмыг – по плинтусам.

Не знаю, внятно ли я поведал об этом, сплетая разрозненные факты бытия, в котором обитал и обитаю.

По крайней мере, я пытался о том сказать.

Если не получилось – моя вина. Может, тоже все жмусь к плинтусам, как бедная-бедная, серая-серая мышка...

12 июля 2014 г.

АУЛ

*Мой зеленый причал,
Мой островок тишины,
Мой аул.
А. Ежесова*

Э то короткое, гулкое казахское слово властно и мощно ворвалось впервые в мое сознание и неожиданно всколыхнуло душу синеоким сентябрьским днем 1941 года. Долго петлявшая между пшеничными полями, ковыльным простором и березовыми колками дорога вдруг взметнулась на бурый косогор и в низине, недалеко от приречного тугая, темной полоской уходившего за горизонт, как на ладони открылся истомленному взору невзрачное казахское селение с убогими, разбросанными там-сям плоскокрышими домишками и чахлыми ивовыми пристройками. Неподалеку задумчиво взирало на нас, пришельцев из далекого Едиля, стадо тощих, малорослых коров, чуть поодаль пощипывали траву овцы, пастушонок в немыслимых отрепьях, притенив ладошкой глаза, неподвижно уставился вдаль. Ровный, неутомимый степной ветерок донес неведомые доселе запахи. Редкие лохматые псы в репейниках равнодушно проносились мимо, лентяя даже облаять нас.

Тихо. Пустынно. Просторно. Безлюдно.

Незнакомый, неведомый мир. Огромный, непостижимый.

— Аул, — произнес возница, смуглый, скуластый, узкоглазый мужичонка в нелепой войлочной шапчонке на бритой голове.

— Казахишес дорф, — перевел отец.

— Аул, — эхом отозвалось в моей душе первое казахское слово.

Мне скоро исполнится семь лет. Буквы – и русские, и немецкие – мне уже знакомы. И считать умею до ста хоть по-русски, хоть по-немецки. И сначала, и с конца. Все вокруг мне интересно. Все впитываю жадно. Правда, мне непонятно, почему мы, дойче, так спешно покинули родной очаг на Волге, оставили обжитые, добротные дома, почему так долго ехали в тесных, смрадных товарных вагонах в сопровождении суровых красноармейцев, почему все, что ехали с нами, так встревожены, печальны, подавлены, отчего озабочены отец и мать. И почему мы, родные, разлучены: одних отправили в Сибирь, других – в Казахстан?

Это я пойму позже.

О том я буду думать и писать всю жизнь.

А пока в моих ушах звучит ёмкое, короткое слово – аул.

Какой же это «дорф»? Это совсем не дорф. Я хоть и родился в городе на Волге с громким именем Энгельс, но что такое дорф – село, знаю, ибо бывал и в отчем селе Мангайм, живал подолгу у бабушки Марии-Элизабет, у дядюшек Вильгельма и Фридриха, заезжал с сельскими музыкантами в соседний Зихельберг, перед войной мотался по центру кантона Гнаденфлюр. Дома там, на Волге, были сплошь деревянные, как на подбор, с палисадниками; подворья ухоженные, с бесчисленными пристройками, с обязательной летней кухней-бакхаузом. Улицы тянулись строгим рядом. Все опрятно, чисто. В каждом дорфе клуб, духовой оркестр, строгий, налаженный быт. А еще до приезда сюда, на берег Есиля, мы жили две недели, пока отец помогал колхозу косить сено, в русском селе Сергеевка. И там было все совсем по-другому. Поражали огороды и лес подсолнухов.

Здесь же – АУЛ.

И знакомство с ним, постижение его – впереди.

А до осмысления его дойду лишь многие годы спустя.

Мы, спецпереселенцы, очутились в первозданно казахской среде. Аул в разное время назывался по-разному: Кабай, Туяк, потом через дефис Кабай-Туяк,

потом с образованием колхоза еще как-то, потом имени Ораза Исаева, потом долгие годы имени Ленина, одно время – Теренсай, ныне – имени Ибраева. Менялось и название района – Октябрьский, Сергеевский, Шалакына.

А рядом с аулом Ленина расположились аулы Коктерек, Мектеп, Орнек, Жаргаин, Жана-жол, Жанаталап, Каратал, Алка-агаш, Аксу, Жанасу, Энбек. Отец заведовал фельдшерско-акушерским пунктом, и я вскоре познакомился со всеми этими аулами.

Несколько лет мы были единственной немецкой семьей в ауле. А русских было раз-два и обчелся. Но чужаками, пришельцами мы чувствовали себя лишь в первые недели. Казахи не чурались нас, а, наоборот, отнеслись дружелюбно, сочувственно. Как-то само собой наладились добрые человеческие контакты. Жили в ауле в общем-то скудно, бедно. Но у всех были коровы, кое-какой скот и живность, в ларях-сусеках, мешках-корджунах хранились небольшие запасы пшеницы, ячменя, проса, курта, иримчика. У нас же, спецпереселенцев, ничего не было. Отец, недавний санинструктор Рабоче-крестьянской Красной армии и заведующий кантонздравом на Волге, обладал офицерскими сапогами, брюками-галифе, шинелью и шапкой-буденовкой. Мать была одета по-городскому: беретка, жакетка, платья, туфельки. Я бегал в кепчонке, брючишках с лямками, обшарпанных ботиночках. Двухлетняя сестренка в бумазейных платьицах и штанишках. А уже осень. Уже задувают предзимние ветры. И ютимся мы в щелястой комнатке при медпункте. Дров нет. Печь дымит. Крыша протекает. Дома – шаром покати.

И что бы мы делали без внимания, заботы, сочувствия и помощи аульчан, казахов, о которых мы ничегошеньки и не знали?!

И вот уже одна соседка приносит кастрюльку молока, другая идет с миской айрана, третья угощает горстью-другой иримчика и курта, баскарма, председатель колхоза, расщедрился несколькими килограммами пшеницы и ячменя, кто-то завез мешочек неочищенного

проса, коктерекский уста-кузнец выточил из камня маленькую ручную мельницу... Словом, аул в беде нас не оставил. Да и мы сами не оплошали: ловили в Ишиме и старицах рыбу, собирали в лесу и тугае боярку, шиповник, черемуху, костянику, смородину, вишню, выкапывали в степи солодовый корень. Зимой отец, случилось, охотился на беляков и куропаток.

Я быстро сошелся со своими чернявыми, скуластыми сверстниками, носился с ними по аулу, начал осваивать казахский язык, сердобольные тетки-апашки в длинных платьях, плюшевых безрукавках, белых жаулыках то и дело угощали меня аульными яствами, старики гладили меня по голове, говорили: «айналайын», «немые бала», «першылдыңбаласы» (сын фельдшера), «біздің Кира» (искаженное «наш Гера»). Никто не называл меня ни единым обидным словом. Никто не подчеркивал мое чужеродство.

Я скоро всем своим умишком понял и мальчишеским сердцем почувствовал, что аул – МОЙ аул, моя опора, моя защита, мой дом, моя отрада, здесь я не пропаду, здесь обо мне позаботятся, в беде не оставят, я член этой общины, этого сообщества, аул в ответе передо мной, а я в ответе перед ним, и если я совершу что-нибудь постыдное, я опозорю не только своих родителей, а свой аул, мне будет стыдно смотреть в глаза дедушкам Абильмажину, Ергалию, Омару, Коспану, Жайлаубаю, Нуркану, Кали и Сейтходже и многим-многим другим.

А с годами я пойму, что всему хорошему и доброму в жизни я обязан, помимо родителей, моему аулу: там мои истоки, мои нравственные начала, мой стержень, моя основа, мой критерий, мои ориентиры, моя любовь, гордость и неизбывная печаль.

* * *

Любопытства ради заглянул в разные словари. Как они толкуют понятие «аул»? Пишут: селение. Поселок. Группа юрт кочевников. Или селение на Кавказе и в Средней Азии. И приводят примеры: «В большом ауле, под горою, близ саклей дымных и простых...»

(Лермонтов). «Белые и серые домики аула Веселого....» (Либединский). Интересно, что говорит древний, дотошный Даль? «Аул – почти у всех азиатских народов наших (татар, башкиров, киргизов, многих кавказцев; у калмыков хатон), деревня, селение, поселок; оседлое или кочевое сборище жилищ; собрание изб, хат, мазанок, землянок, сакль или шалашей, шатров, балаганов, юрт, кочевых кибиток».

Толковый словарь казахского языка (1974) уделит «аулу» четыре страницы убористого текста, пояснив, что это – по-старому – кочевое сборище кошомных юрт, поставленных в одно место, а по-новому – сборище домов, объединенных коллективным хозяйством. Далее словарь толкует слова «ауыл-аймак», «ауыл-ауыл», «ауылдас», «ауылнай» «ауыл-кала», «ауыл-село», «ауыл-үй», «ауылша», «ауыл-шылау» и другие разные производные от слова «ауыл», сопровождая их примерами из художественных текстов именитых казахских писателей разных времен.

И в принципе все верно. Возражать трудно.

И все же... аул не только сборище домов или юрт. Не только малое или большое селение. Это прежде всего люди, объединенные местом обитания, близкие по духу, ментальности, быту, нравам и укладу, живущие в постоянном и тесном общении, спаянные трудом и тягой, расположенностью друг к другу, единые или близкие нравственно, культурно, общественно, социально, имеющие единые или схожие цели, стремления, миропонимание и духоустройство. Аул – своеобразный мир. Со своей инфраструктурой. Экономической, социальной, психологической, этнокультурной. Это общность со сложной корневой системой. Случайное сборище из разных, как говорится, верховий и низовий, вольно или невольно оказавшихся вместе, – еще не аул. Это может быть поселком, селом, деревней, дорфом – чем угодно. Аул в первоначальном смысле другое. Это понятие более теплое, душевное, близкое, родное, сердечное. Аул – как родной очаг. Аул – как большая семья. Аул – родной кров на единой земле, под единым

небом. Аул – твоя совесть, любовь, забота, гордость, слезеный причал, отрада. Аул – начало Родины.

Так воспринимают аул казахи.

Так воспринимаю аул и я.

* * *

Разумеется, в своем историческом развитии казахский аул претерпел разительные перемены. Нельзя, невозможно сравнивать аулы, скажем, абаевских времен, начала прошлого века, довоенной или послевоенной поры, или нынешней эпохи. Значение слова «аул» необычайно расширилось, приобрело новые оттенки. Случается, мы по привычке звоним близким, спрашивая: «Такойтович в ауле?», имея в виду, в Алматы ли он или куда-либо выехал. И все понимают, о чем речь. «Я только что побыл в ауле», – сообщает знакомый, хотя «аул» его – крупный поселок городского типа. «В благополучии ли твой аул?» – спрашиваем по привычке, намекая не на конкретное поселение, а на всю округу или регион.

А что представлял собой аул в изначальном смысле в жизни кочевого народа? О том исчерпывающе поведал Мухтар Ауэзов в авторских примечаниях к русскому переводу «Пути Абая». Вот его пояснения:

«В кочевом быту казахов аул представлял группу юрт, объединенную по хозяйственному и семейному признаку. Аул имел свои постоянные урочища для кочевки: коктеу – весеннее, жайляу – летнее, кузеу – осеннее и кстау – зимнее, где были выстроены деревянные и глиняные постройки. Урочища эти закреплялись за данным аулом по соглашению между старейшинами родов и были постоянной причиной раздора между отдельными аулами и целыми родами.

Хозяином аула являлся зажиточный человек, глава семьи, бай или старейшина, и аул назывался по его имени. Его «Большая юрта» ставилась на краю аула, за ней по дуге располагались отау («молодые юрты») женатых сыновей, затем ближайших родственников, специальные «гостиные юрты» для приезжающих и

далее – юрты «соседей», обслуживающих аул. На этом краю аула устраивался котан – открытый загон для овец, жели – привязь для жеребят, ставились юрты для варки сыра и т. д.

Сыновья и ближайшая родня хозяина аула кочевали вместе с ним до тех пор, пока поголовье аульного стада не превосходило установленного количества, когда общий водопой, пастьба и уход за скотом становились уже неудобными (так, например, нельзя держать в отаре более тысячи овец). Тогда члены семьи выделялись из «Большого аула» отца со своим скотом, юртами и «соседями», образуя новый самостоятельный аул, кочующий и зимующий отдельно, но обычно по соседству.

Все хозяйственные работы в ауле несли «соседи» – бедная родня или батраки, получавшие натуральную плату в виде доли удоя, шерсти, обусловленного количества голов скота на убой, – табунщики, пастухи, чабаны, доильщики, повара, водовозы и т. п. Беднейшая часть «соседей» – жатаки – не уходили с аулом в сезонную кочевку, оставаясь на зимовке охранять постройки».

Я выписал столь длинное толкование старого казахского аула, живописно и исчерпывающе поданное классиком казахской литературы, так как подобное сжатое и объемное объяснение читатель не встретит ни в одном словаре, ни в какой энциклопедии.

Таких аулов, понятно, ныне нет. Они остались лишь в памяти древних старцев, а чаще всего известны по фольклору, этнографическим описаниям, кинокартинам на историческую тему, запечатлены в сотнях исторических романов, каковыми так богата казахская литература.

Конечно, в каждом таком ауле складывалась своя аура. Один аул выделялся своими певцами, домбристами, другой – акынами, сказителями, третий – борцами-балуанами, еще один – отменными обжорами, искусными наездниками, лихими барымтачами и т. д. Но в главном – в экономическом укладе, в традициях,

нравах, обычаях, людских взаимоотношениях – они были весьма похожи друг на друга.

В том краю, куда мы прибыли в 1941 году, тех старопатриархальных кочевых аулов и в помине не было. И убогие юрешки можно было увидеть разве что на полевом стане. Аул превратился в колхозы. И не было баев. Не было отау. Остались одни жатаки, бедные шаруа-колхозники, обитавшие в убогих приземистых домишках, покрытых дерном, но почти каждый дом имел летнее обиталище, конусообразное, на юрту похожее жилье, сплетенное из тала, называвшееся шошалай. В шошале главным образом и жили с ранней весны до глубокой осени. Шошала как бы заменяла юрту в оседлом ауле в условиях сурового северного климата.

Однако принцип организации аула сохранился. Только теперь в центре располагалась не «большая» шести-, восьми-, двенадцати- створчатая (-канатная) юрта с отау («юртой для молодых») по соседству, а аулсовет, школа, клуб или колхозная контора, а потом, как уж получалось, чаще всего взброс строили себе жилье – кто на что горазд – остальные. Однако большинство аульчан находилось в дальних или близких родственных отношениях, каждый о каждом знал все, вплоть до седьмого колена. (Говорили: «Э, Такойтович родился, когда у Тайшика корова пала», «А когда Есенжан пошел в школу, у Сейтходжи пожар был», «А у Анаса отец был поштабай, у него было сто овец», «А Жайлаубай – орыс, принявший мусульманство». И т. д.) Никаких секретов в ауле не было и быть не могло.

Годы спустя, после школы, после института, я побывал в разных аулах разных областей бескрайнего Казахстана. И неизменно поражался тому, что по этнографической, социально-экономической, психологической характеристике казахские аулы оказались очень схожими, близкими: один язык, одни обычаи, нравы, манеры, быт, традиции, человеческие отношения, поверья, запреты, благодарности и благословения. Единство казахского духа поражало. Поражает и поныне. Я понял: в основе казахской жизни, казахской

ментальности лежит аул. Все начинается там, в ауле. Аул един. Значит, и народ феноменально един. И то, что – особенно в последнее время – начинают то и дело казахов делить по родам, под родам, племенам, жузам, коленам, ветвям и т. д. – абсолютный нонсенс, глупость, вздор и чепуха. В сущности, до недавних времен казах – продукт и творение аула. Истинный казах в подавляющем большинстве аульный казах. Там он вырос, там его корни. И корни эти едины. А потому потуги иных отделяться, выделяться, пускать пыль в глаза, называться одних «мамбетами», других «асфальтными», делиться на «таза» (чистых), «шала» (неполноценных) и «ада» (отчужденных, перерожденных) просто-напросто смешны, опасная забава, которая может нанести единому по своим корням народу непоправимый урон. Необходимо всегда помнить о своих корнях, самобытных, истинных, первозданных, а они – пусть во втором, третьем поколении – уходят в аул, в единую нравственную почву, и этим следует всегда и всюду дорожить.

Я так понимаю.

* * *

Задумался: что больше всего воспето в казахской устной и письменной литературе? Степь? О да, о степи написан монблан произведений. И все же, похоже, больше всего воспет аул. Вдохновенно, взволнованно, искренне, любовно, проникновенно, задушевно, исповедально. Неведомый поэт посчитал нужным оповестить всю степь: «Мой аул у Кольменколя, возле чистого озера...» Другой вторил: «Мой аул ушел к летовке в пойме Сырымбет». Невеста, перебираясь в аул суженого, печалилась: «Что меня ожидает в ауле чужом?» Ну, а где обитает возлюбленная? «Твой аул за холмом, за пригорками...» Скорбная песня «Корлан» уточняет: «В далеком степном ауле...»

Действительно, темы для серьезных исследований: «Аул в казахском фольклоре», «Аул в казахском песенном искусстве», «Аул в казахской современной поэзии», «Аул в казахской исторической прозе»,

«Аул в казахской живописи». И т. д. Богатейший, интереснейший материал! Я вначале намеревался обильно оснастить свое эссе цитатами из современных русскоязычных казахских поэтов (большей частью городских) и полистал книжки – сборнички от Олжаса до Ардак Еженовой, но вскоре отказался от этого намерения, опасаясь, что эссе обернется трактатом не на одну сотню страниц. Ну а если я еще потревожу неподъемный пласт исторического казахского романа от Ауэзова до Кабдеша Жумадилова, то я свой скромный труд вообще не закончу.

«О мой аул...» – умиленно вздыхают поэты.

«О край родной, аул родимый...» – умиленно стонут песенники.

Незыблемую свою любовь, тягу к аулу, неизбывную тоску об ауле на все лады описывают прозаики.

Это стало наваждением. Неизменным мотивом казахской творческой интеллигенции. Об ауле писали, тосковали все, везде и всюду во всех жанрах как о далекой мечте, о желанном островке чистоты, тишины, благоденствия, отраде детства и юности, незамутненном роднике высокой нравственности, приюте отдохновения, вечно зеленом причале, источнике добра, света, уюта, очаге неистребимого народного духа. В рассказах, повестях, романах не одного казахского прозаика сквозило настойчивое противопоставление города и аула: город – порок, исчадие, суэта, фальшь, грохот, соблазн, искушение, средоточие расчета, подлости, коварства, неискренних людских отношений, продажности, распущенности, беспредела, суррогата; аул – чистота, настоящее, доподлинное, тишина и покой, корни, дух предков, высокие порывы, истина. В городе – мокрые сосиски, свиная колбаса, прокисший кефир, казенный хлеб, капуста, мучные котлеты, разбухшая лапша, разбавленное пиво. В ауле – исконные натуральные яства: курт, иримчик, цельное молоко, сметана, чай со сливками, баурсаки, казы, карта, жал-жая, шужук, жирный бесбармак, пенистый кумыс, куардак. Ой-хой, дуние! Сплошная идиллия, изобилие, благодать!..

Я не утрирую. Эти мотивы до назойливости повторялись десятилетиями из произведения в произведение (сам переводил таких не один десяток), превратились в клише, в прочную схему, на этом противопоставлении строились фабула, сюжет, жаждали интрига, конфликт. Критики внедряли в сознание читателя антитезу «корней и цветов». Корни в ауле, цветы, разумеется, в городе.

Инерция была великой и, казалось, неистребимой, непреодолимой. Идеал, смысл жизни мерещились в ауле.

Живя в городе, поэты, прозаики упорно писали об ауле, идеализировали аульную жизнь. Выезжая в короткие или длительные командировки в аулы, рвались в город, который продолжали видеть и изображать в дурном свете.

На это шаблонное представление впервые обратил внимание Олжас Сулейменов на каком-то пленуме Союза писателей Казахстана, едко высмеяв тех, кто, неизменно тоскуя по аулу, напрочь обосновался в городе, проложив верную тропу между Союзом писателей и ближайшим рестораном.

Действительно, времена менялись, и вздох воспетый казахский аул скудел, беднел, хирел, угасал на глазах его восторженных выходцев.

И я – один из свидетелей этого скорбного процесса.

* * *

Скромный, уютный, тихий, зеленый аул неподалеку от степной реки Есиль, окруженный березовыми перелесками, озерами-старицами, непахаными ковыльными полями, бугристыми холмами-жонами, становился мне с каждым годом все ближе, родней, и я уже горделиво говорил: «Мой аул». Я прирос к нему сердцем, я знал каждый дом, каждого жителя, каждый кустик по всей округе, каждую тропинку в овраге «Теренсай» и в зарослях приречного тугая, каждую каменную глыбу у брода «Тас-откель». Аул стал моим, и я стал своим в этом ауле. Все мои разрозненные

детские впечатления о Волге – о детской площадке в летной школе города Энгельса, о родительском селе Мангайме, о кантонном центре Гнаденфлуре, откуда нас в начале сентября военного лихолетья выслали по зловещему и клеветническому Указу от 28 августа 1941 года, поблекли, стерлись, отдаляясь все дальше в невозвратный и – порою чудилось – ирреальный мир, а казахский аул мерещился подлинным началом моей жизни, точкой ее отсчета, стартовой площадкой для большого – мнилось в мечтах – разбега.

Все радовало мою душу: и необъятный простор, и летние ливни с неистовыми грозами, когда казалось, вот-вот обрушится небо на землю, и свирепые зимние бураны, после которых диковинные сугробы заваливали домики по самые печные трубы, и жуткие морозы, когда от деревьев с сухим треском отламывались ветви, и дурманивший запах свежескошенного сена, и зыбкий слоистый туман, волочащийся по степи, и невесомая дымка над Ишимом в предзакатный час, и буйство льдин в половодье, и кизячный дымок, вьющийся над очагами-треногами перед закатом, и все жители аула, от мала до велика, все добрые «ата», сердобольные «аже» и «апа», надежные «ага», друзья-сверстники сироты-интернатовцы, школьники из всех ближних право- и левобережных аулов, и школа, единственная во всем районе казахская средняя школа с ее чуткими «мугалимами», и весь этот простой, неприхотливый быт с искренней заботой друг о друге и постоянным вниманием друг к другу, и... О, можно бесконечно говорить о достоинствах, милых приметах, особенностях родного аула и никогда эту тему не исчерпаешь, все равно все не выразишь, ибо это и не тема вовсе, а твоя жизнь, твоя любовь и радость, твоя память, все твое родное, близкое, сокровенное, неистребимое. Благодарность моя к ТОМУ аулу беспредельна, ТОТ аул и сформировал мою душу.

Летом 1955 года, окончив первый курс литфака КазПИ им. Абая, я на каникулы отправился в аул. Целый год я не был в ауле! И хотя отец регулярно писал мне письма, сообщал подробно все аульные новости,

присылал приветы от аксакалов, я с нетерпением ждал того счастливого мгновения, когда я вновь окажусь в родном ауле. Добирались тогда трудно. Чаще всего – после Петропавловска ~ на попутном раздрызганном грузовике. И едва проехав Явленку, я уже поднялся в кузове, держась за кабинку и с замиранием сердца, с дрожью нетерпения в каждой жилке жадно оглядывался вокруг, всей грудью вдыхая вольный степной ветер, настоящий на разнотравье, все вглядывался до рези в глазах в зыбкую даль, надеясь увидеть знакомый лесок, овраг, холм, поворот проселочной дороги и, наконец, после долгой тряски на ухабах и колдобинах грузовик вынырнул из низины, юркнул мимо колодца с журавлем, мимо старого погоста, вот мелькнули дома поэта Галыма Малдыбаева, учителя Ахметжана, старика-охотника Абильмажина, а вот и медпункт, вот и родительский дом.... Голова сладко кружится, сердце трепещет, в глазах все зыблется от слез. Грузовик, грозя развалиться, остановился на всем бегу у знакомого плетня, и я, ничего не соображая, слезаю с кузова, и вот уже бежит навстречу, радостно галдя, вездесущая малышня, а за нею – соседка Кульшара, дядя Есим, отцовский ровесник Беким, с посохом-палкой семенит Ергали-ата, еще какие-то апа и аже в платках, жаулыках, длинных до пят платьях и неизменных кебисах, радостно кричат: «Гера! Біздің Гера келді», т. е. «Наш Гера приехал!», и я уже попадаю в чьи-то объятия, что-то невпопад бормочу, отвечаю на вопросы, и сердце мое вот-вот разорвется от счастья и любви к моему аулу, к моим аульчанам.

«Здравствуй, аул мой... родной и любимый!...»

* * *

Все это было, было... Все это осталось в прошлом. И нет тому возврата. И нет уже того аула.

И тут начинаются печальные строки моего эссе.

Какие-то перемены в аулах северных областей Казахстана явно наметились с середины 50-х годов теперь уже прошлого века. Необузданная стихия под

названием «освоение целинных и залежных земель» схлынула на тихие, девственные казахские аулы, как горный мутный селевой поток. Боже! Что тут началось! Толпы неведомых башибузуков, словно несметные мамары полчища, обрушились на аул. Совершенно дикое, неуправляемое подобие людей неведомого племени, точно всепоглощающий вихрь, разнесло в пух и прах все, что сложилось, строилось десятилетиями, а то и веками. Многолетние запасы «Тройного одеколора» в селпо были иссушены в один день. На другой день исчезли залежи дешевой пудры. Ее пили, разбавив водой. Обезумели куры на подворьях. Пух и перья летели по аулу, будто была метель. Молодки и девки боялись выходить на улицу. Ночью пришельцы устраивали по аулу гонки на тракторах. Лихачи ездили в соседние аулы за водкой на комбайнах. Домашних гусей стреляли вместо диких. Рыбу в Ишиме глушили динамитом. Разведенных отцом карасей в котловане вычерпали бреднями за пару дней. Отца, заведующего фельдшерско-акушерским пунктом, буяны ловили на улице:

«Эй, недобитый фриц! Спирт давай, если жить хочешь!» Почтенных аксакалов аула называли не иначе как кривоногими бабаями. Тихий аул оглушили отборными матюками. Все вокруг было истоптано, искорежено, опоганено. К счастью, продлилась эта вакханалия недолго. Схлынула мутная волна. Но аул был уже не тот. Появились новоселы, которые строили дома, кошары, баню, разбивали огороды, распахали ковыльную степь до самого аула так, что скотину можно было пасти только в тугае вдоль реки да в овраге. Среди пришельцев встречались и нормальные трудяги, но им все было чуждо, земля была им чужая, чужаками остались и местные жители.

Аул менялся на глазах. Расшатались нравственные устои, традиции, огрубели нравы, все, что искони было табуировано, считалось отныне дозволенным. Подлинно казахское размывалось, терялось, уходило. Аул превращался в разношерстное село, в сборище

случайных людей. Бразды правления оказались у тех, кто чувствовал себя временщиком, знал, что через год-другой уедет, непременно уедет, а потому пусть все горит синим пламенем. Чужое – не свое.

О да, посевные площади увеличивались из года в год, росли урожаи, поднимались трудовые показатели, строились добротные дома, культурные объекты, жизнь стала динамичней, напористей, степь пробудилась от рокота моторов, прокладывались дороги, обновился мост в райцентр – все так. Но аул уходил за горизонт, таял, исчезал.

И все же, все же... фундамент, заложенный предками казахов, вся психофизическая структура казахского аула как воплощение народной нравственности, традиции, культуры, быта сохранились в той или иной мере до недавних дней.

И вот парадокс: окончательный крах аула произошел с приобретением Казахстана политической независимости. К досаде и великому сожалению, это так.

Заброшенный, ненужный, забытый, преданный всеми, униженный, ограбленный, обескровленный аул чах быстро и непоправимо. Безработная молодежь, почувствовав надвигающуюся катастрофу, подалась в город, устраивая как придется, как получится свою судьбу. За ней, продав все, потянулись старики. Заколачивались окна-двери, бросались дома, спасались кто как мог от бесперспективности, безнадежды, безработицы, пьянства, воровства, дикости и распушенности, грабежа, произвола, подавленности, заброшенности.

Власть все это видела, знала, но и она оказалась бессильна спасти аул, ибо ее душили другие безотлагательные повседневные проблемы. Надо было любой ценой отстаивать независимость. Надо было строить новое государство. Надо было перед цивилизованным миром держать марку, не ударять лицом в грязь, пускать цветные пузыри. Чем-то надо было жертвовать во имя великой цели. И жертвой пал аул. То, что в сущности искони представляло основу Казахии.

То, что питало, поддерживало, обогащало, кормило, облагораживало страну.

Жертвы оказались вообще неисчислимы. Они ошеломляющи. Но статистика крайне неохотно говорит о крушении аула. А это не просто экономика, не просто цифры. Это суть, феномен народа, издревле называющего себя казахами.

* * *

Чуткие поэты и писатели первыми заметили приближающуюся агонию аула. Начали бить в колокола тревоги. Однако государственные газеты и журналы предпочитали о том помалкивать. Эка невидаль – аул! Ничего. Не впервой. Выдюжит. Оправится. Такие грандиозные свершения вокруг творятся. А эти горлопаны только и знают, что вопить: аул, аул. Ну и что? Свободу же дали аульчанам! Что еще им надо? Веками боролись за свободу, вот, наконец, обрели ее, а у этих крикунов один аляулай: аул, аул. Постыдились бы хоть!

Обугасания аула, о его распаде, гибели пишут мне письма из северных и южных областей, рассказывают друзья, знакомые, земляки (мои земляки и североказахстанцы, где я вырос, и джамбульцы, где работал после института), многое я видел и сам в своих поездках (о незавидном положении аула поведали мне все акимы районов, когда я, баллотируясь в депутаты, объездил все районы Павлодарской области; о том же всюду шла речь и в Семипалатинске, где я бывал неоднократно в бытности его областным центром; то же видел и в некоторых регионах Южно-Казахстанской области). Свои впечатления я использовал в романе «Туюк су».

В начале 60-х годов прошлого века советская власть обрушила на аул очередной удар. Вообще, аул все время находился под градом социальных, экономических, идеологических, этнокультурных ударов. Над аулом проводили эксперименты все кому не лень. Большевистские преобразования следовали одно за другим. И с каждым волевым вмешательством самодурной власти аулу становилось все хуже. Лишь отдельные нововведения

(радиофикация, электрификация, медицинское обслуживание, «красные юрты», читальни, библиотеки, школы) обернулись во благо. «Реформатор» Н. Хрущев решил аулу продемонстрировать кузькину мать. Мало что заставил распахать вековые пастбища, навязал еще земледельцам сеять кукурузу, горох там, где они сроду не росли, лишил казахов скота. Стон и отчаяние прокатились тогда по всей степи. Коров, забредавших невзначай на чахлые кукурузные поля, загоняли бдительные охранники в общественный загон и держали впроголодь по несколько дней, штрафуя хозяев, заставляя их просить, умаливать аллаха ради отпустить родную скотинушку. Аульчане были в одночасье поставлены в униженное положение. Были объявлены строгие ограничения: на подворье следовало держать одну корову или одну кобылу, или трех овцематок, шесть-семь годовалых овечек. Что творилось тогда в аулах – пером не описать. Скот резали напропалую, а мясо сдавать было негде. Ревели недоенные коровы. Блеяли ошарашенные овцы. Отцы семейств толпились у аулсовета, уговаривая местную власть записать буренку на жену, овечек на детей, при этом на разные фамилии, чтобы придать хотя бы видимость законности своего не очень-то и внушительного состояния. Ой-хой, бывали же дурные времена! Без здравого смысла, без такта и деликатности, без оглядки на традиции, без учета реальности. Своеволие и разгул. А страдал народ, хирел аул. И вся эта вакханалия трактовалась аллилуйщиками-идеологами как еще одна яркая победа родной партии и правительства. Мотивы этой социально-политической бестолковщины и экономического головотяпства нашли тогда отражение в «Одиноким доме» С. Жунусова и «Черном старике» А. Сулейменова. Реформы Хрущева нанесли аулу сокрушительный урон, выбили аульный люд из колеи на долгие годы.

* * *

Но как же быть с аулом? Да, жизнь не стоит на месте. Урбанизация взяла высокий (стихийный) темп. Но хочешь – не хочешь, а почти половина всего населения страны

обитает на земле. Судьба большинства казахов все еще связана с аулом. Казах вообще верен и привержен родной земле, месту предков, месту, где капнула первая капля крови от пуповины. Казах продолжает жить в Приаралье, в пустыне, в заброшенных бесперспективных безводных, безтравных регионах и не спешит покидать отчий край. Казах презирает тех, кто ищет лишь сытое, доходное место, оставляет родную землю. Казах считает то недостойным для человека поступком, это доля бродячей собаки. И продолжает казах жить в невыносимых условиях и при этом еще благодарит Создателя за все его благодеяния.

Власть долго и упорно отмахивалась от аульных проблем. Старалась их не замечать. Вообще о том не думать. Лишила аула мало-мальских очагов цивилизации. Подорвала экономически. Растоптала физически. Расшатала нравственно. Унизила психологически. Даже в годы независимости не представляла, как с аулом быть. В досаде и раздражении смотрела на аул, как Ленин на буржуазию.

Наконец, когда уж все обрушилось в пучину безнадежья, власть спохватилась: апырай, дела в аулах, оказывается, и в самом деле жаман, ой, жаман, дальше некуда. Надо что-то срочно предпринять. Что будет, если вся эта голытьба ринется в города?! Надо поддерживать, вкладывать инвестиции. По пути Запада не пойдешь: не те размеры, не те горизонты, не та ментальность. Не та инфраструктура. Всех в город не переселишь. Огромное пространство страны необходимо как-то удержать, осваивать. Иначе хлынут такие орды келимсеков, что независимость зашатается и будущее народа, нации станет проблематичным, все величественные горизонты фантастической программы 2030 рухнут.

* * *

Не скажу, что проблемы аула сняты с повестки дня. И, бесспорно, если вложить серьезные (почти немыслимые) средства, что-то еще можно сделать. Ну, дома построить, дороги, культобъекты. Можно воздвигнуть агрогородки, фермы, фирмы, наладить крупные хозяйства, удержать

Фридрих Бельгер

БИЛЕТЪ № 1.

(ВИДОМЪ НА ЖИТЕЛЬСТВО СЛУЖИТЬ НЕ МОЖЕТЪ).

1. Предъявитель билета *срочно*

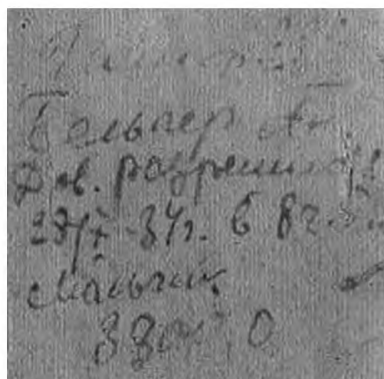
Авось Фридрихъ Бельгеръ
В-с-и-б-г-г-с-р-в

2. *Срочно* *Бельгеръ*
Полковникъ

3. Уволенъ въ запасъ 18 *99* *Генералъ*

срокомъ по *31 Декабря 1900*

Страницы из военного билета моего дедушки
Фридриха Бельгера. 1890 г.



Роддомовская бирка. Энгельс. 1934 г.

Свидетельство о рождении № 918.

Выдано в том, что **Бесовский Герольд Карлович** (фамилия) (отчество) родился (лась) в 1934 году 28 числа 28-го месяца, о чем в книге записей актов гражданского состояния **О РОЖДЕНИИ** за 1934 год месяца произведена соответствующая запись.

31 числа октября 1934 года

Родители	Отец	Фамилия	Имя	Отчество
мать	Бесовский	Карл	Анна	Фридриховна
Место рождения	Селемня	Энгельс	губ. обл. вол. район	Р. Ч. К.
Особые отметки				

Знающий: *А. Ш. Ш.* Делопроводитель: *...*

Свидетельство о моем рождении. 1934 г.



**Ленинский медпункт СКО, которым заведовал
мой отец.
Рисунок мой. 1953 г.**

РО МГБ Казахской ССР

17, июля 1954 г. Без гербовой печати МГБ не действует.

с. Марьевка РАЗРЕШЕНИЕ № 23

Спецпосеток: Бельгу Геронду Карееву (фамилия, имя и отчество)

пр. выезжающий в к-те чл. Ветина Овксанды (село, район, область)

с. 1. Пензенская обл. к

срок на проезд суток по 20, июля 1954 г.

по личным делам.

По возвращении к месту постоянного жительства
разрешение немедленно сдать в спецкомендатуру.

Знач. РО МГБ

ст. лейтенант В. Коломенский Волынец

Разрешение из спецкомендатуры. 1954 г.

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
БАС ПРОКУРАТУРАСЫ



ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

480099, Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 189,
тел. 54-15-00

480099, г. Алма-Ата, ул. Желтоқсан, 189,
тел. 54-15-00

14.12.93 № 13/4798-93

СПРАВКА
о реабилитации

На основании Закона Республики Казахстан "О реабилитации жертв
массовых политических репрессий" от 14 апреля 1993 года.

Бельгер Терентий Кариевич, 1934
года рождения, незаконно выселенный по национальным мотивам в
административном порядке в 1941 году, работал по моби-
лизации в трудовой армии с 1941 года по 1950 года, состоял на спецучёте в органах МВД без права трудоустройства с
1950 года по 20.01.1955 года. РЕАБИЛИТИРОВАН.

Начальник отдела реабилитации
репрессированных граждан
старший советник юстиции



Справка о реабилитации. 14 декабря 1993 г.

Прокуратура Республики Казахстан

Прокуратура Северо-Казахстанской области

"22" ноября 1995г. 13/1-1202

СПРАВКА О РЕАБИЛИТАЦИИ

Ф. И. О. Бельгер Терентий Кариевич,
1934/2 Р

уроженец (ка) бывшей АССР Немцев Поволжья
по национальным мотивам на основании Постановления СНК СССР от
12.09.1941г. был (а) выселен (а) в 1941 году, состоял (а) на
спецучёте с 1950 года по 20 января 1955 года
находился (лась) в трудовой армии.

Выселение признано незаконным, поэтому на основании ст. 3 Зако-
на Республики Казахстан от 14 апреля 1993 года "О реабилитации
жертв массовых политических репрессий" Бельгер Т.К.
РЕАБИЛИТИРОВАН (А).

старший прокурор отдела
юрист 1 класса



Л. С. Галицкая

Справка о реабилитации. 22 ноября 1995 г.

ЭСКИЗЫ



ИНЯ ОТРЪЗА.

ПОСЛУЖНОЙ

1. Въ службу пришелъ 1900
2. Изъ *Машиниста*
3. Испытания *Службы*
4. Начало службы 1901
5. Служилъ въ *России*
6. Условно-по *записи*
7. Мастерство *Владелец*
8. Въ командировку *был*
9. Медали и знаки отличия *не*
10. Штрафованъ *не* былъ.

При приказе въ Управление

Начальн. выданы ему классные книги:

13. Вѣдомости *на* *Варшавской*
14. Условно: *на* *Варшавской*
- а) *Варшавской* *Варшавской*
- б) *Варшавской* *Варшавской*
- в) *Варшавской* *Варшавской*
- г) *Варшавской* *Варшавской*

15. Выдана эта книга написана въ *Варшавской*

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЭСКИЗЫ

1

Теперь я этого, понятно, не помню, но по свидетельству сохранившейся бирки из роддома, родился я 28 октября 1934 года в 8:05 утра во 2-й Советской больнице г. Энгельса Саратовской области. Тот факт подтверждает и дневник отца, скончавшегося на 94-м году жизни в Ташкенте 1 ноября 2002 года.

Нарекли меня редким для немецких сел Поволжья именем. В селе Мангейм, где до войны обитали все мои родственники по отцовской и материнской линиям, недоумевали: «Что за имечко?!» И называли меня «Геролд» (с ударением на е), Херголд, Геральд, Гарольд. В Казахстане я стал просто Гера (старшие и ныне меня так зовут).

Мама потом объяснила: ее соседкой по палате в роддоме была поволжская еврейка. Она мечтала о сыне, которого твердо намеревалась назвать Герольдом. А родила дочь. И уговорила мою маму, если родится сын, назвать его этим полюбившимся ей именем.

Мать согласилась. Отец не возражал.

А я своим именем доволен.

2

Увы, о предках своих я знаю очень мало. По одной версии, предки мои, очутившиеся в 70-х годах XVIII столетия на Волге, – выходцы из старинного германского городка Белг. Бельгер – уроженец Белга.

Может... Может...

По другой версии, Бельгер означает выходец из Бельгии. Бельгиец, значит. Тоже возможно. По

приглашению кайзерин России Екатерины Великой, на левое и правое побережье Волги прибыл разномастный иностранный люд из германских княжеств, из Эльзы и Лотарингии, из Померании, Пруссии, Дании, Швеции, Италии, Бельгии, которых в России для удобства стали именовать всех подряд немцами (от слова «немой»).

В XVIII веке в селе Кинд на Волге были Бельгеры. Потом они оказались среди основателей села Мангейм.

Видно, Бельгеры относились к бедному сословию. Сплошь ничем не примечательные бауэры. Сужу по сохранившемуся «Послужному листу» моего дедушки Фридриха Генрихова Бельгера, из которого («Листа») явствует, что он стражник-рядовой, призван на службу в январе 1889 года, «мастерства не знает», «в кампании не был», «медали и отличия не имеет», «штрафован не был», «от роду лет 6 июля 1861 г.» и т. д.

Словом, не родовит. Черная кость.

Дедушка умер с голоду в 1921 году.

Годы жизни прадеда Генриха и отец мой не знал. А дальше в глубь времен и вовсе – тьма. Забвение.

3

Другой дедушка, по матери – Давид, сын Иоганна, Гертер (1888–1932) был музыкантом, капельмейстером. Играл на кларнете. Сохранилась фотография, где он запечатлен с сельскими оркестрантами. Судя по всему, человек был вольный, независимый, открытый. За дерзкий язык и поплатился. В 1932-м на чьей-то свадьбе что-то нелицеприятное сказал в адрес Советской власти и зарождавшихся колхозов. Донесли. Забрали. И больше ни слуха ни духа. Осталась от него исписанная тушью нотная тетрадь – вальсы, польки, марши, попури.

Оставил капельмейстер Давид Гертер жену и семерых детей. Я их всех знал – Анну (моя мать), теток Гульду, Маргариту, Альму, Ирму, онкеля-дядю Отто, онкеля Эммануэля. Из всех ныне жив лишь последний. И тот с 1941 года перекрестился в Василия.

Жили Гертеры более зажиточно, достойно, опрятно. Жилье их, помню, сияло чистотой, а тетушки мои держались горделиво.

Бабушку по матери Олинду Теодоровну запомнил круглолицей, черноглазой, доброй и ласковой. Она умерла в изгнании в Алтайском крае в 1964 году в возрасте 75 лет.

4

У дедушки по отцу было также семеро детей. Все они были рослые, статные, длинноногие, светлоглазые – дядя Генрих, Вильгельм, Фридрих, Христьян, отец Карл, тети Эмилия и Гермина. Все отцовские братья погибли в трудармии, сестры умерли в Павлодаре, отец покоится в Ташкенте. В сущности, после депортации 1941 года у всех трагическая судьба.

Их боль сконцентрировалась в моей душе.

5

Хорошо запомнил бабушку по отцу – Марию-Элизабет Вильгельмовну, урожденную Зельцер. Приезжая из Энгельса в Мангейм, я жилал в ее просторном, деревянном, как мне казалось, мрачноватом и холодном доме. Бабушка была суровой, истовой лютеранкой, поджарой, если не сказать, костлявой. Сухое аскетическое лицо ее было изборождено глубокими морщинами, говорила она только по-немецки (на гессенском диалекте). Я ее видел всегда в черном. Была очень бережливой, даже скупой. Меня, городского внука, она, должно быть, любила, но я ее побаивался и чурался. В доме дядюшки Вилли мне было уютнее.

Бабушка умерла перед самой войной. Я помню ее похороны. Гроб стоял во дворе и вокруг плакало все село. Отец фотографировал с крыши, и я больше всего боялся, что он сорвется вместе со своим штативом.

Я был потрясен, когда стоял у одинокого холмика.

Впервые, кажется, осознал тогда, что на свете бывает горе.

Странно, я не помню улыбки бабушки. И взгляд ее был колючий, строгий.

6

В 1931 году в числе первых комсомольцев-добровольцев села Мангейм отец пошел служить

в РККА – Рабоче-крестьянскую Красную армию. Служил он в летной школе города Энгельса. В 1933 году он женился на черноглазой, круглолицей смуглянке Анне Давыдовне Гертер. Когда я родился, отец был санинструктором 157-го стрелкового полка Приволжского военного округа и курсантом военных лекпомов Ленинградского военного округа. Рослый, легкий, поджарый, физически крепкий, общественно активный, отец жадно тянулся ко всему новому – увлекался спортом, музыкой, фотографией, разными ремеслами и очень гордился офицерской формой, которая ему очень шла.

Векания нового времени всецело захватили родителей. До войны они жили на высоком духовном подъеме.

Глубокое разочарование постигло отца в 1938 году, когда из РККА был уволен весь командирский состав немецкой национальности. После семилетней прилежной службы в армии отец не представлял себе, как ему дальше быть. Член ВКП(б), он знал, чувствовал, что надвигаются тревожные времена, и видел, как отношение к немцам менялось во власти. На Украине, в Крыму, на Кавказе спешно закрывались немецкие школы, издательства, редакции газет и журналов. Перемены в Автономной республике немцев Поволжья (АССРНП) тоже не вселяли надежды. Война с фашистами Германии становилась неизбежной, и немалая часть российских немцев уже тогда смутно представляла, как это всенародное горе отразится на их национальной судьбе.

Отец был оптимистом. Всю долгую жизнь руководствовался принципом: надо жить, работать и надеяться. Мама придерживалась иного житейского принципа: надеяться на хорошее, но настраиваться на худшее.

7

Ощущение того времени обрывочно живет и в моей душе. Каждый год родители привозили меня в родной Мангейм, и многочисленная родня (почти половина села) охотно возилась со мной, городским мальчишкой

с забавным немецким выговором, то и дело сбивающимся на русский язык. Воспоминания мои о немецких селах, конечно, детские, куцые, отрывочные, но теплые и добрые. Собственно, я бывал только Мангейме, Зихельберге, Солянке и Гнаденфлоре. Помню приветливые крестьянские лица, опрятные жилища, летние помещения-бакхаузы, молодежь на велосипедах, музыкантов в духовых и струнных оркестрах, шумную жизнь в клубах и избах-читальнях, шествия пионеров, маршевые ритмы антифашистских «Единого фронта» («Einheitsfront») и «Болотных солдат» («Moorsoldaten»), громоздкие немецкие фуры, на которых колхозники с песнями ездили на работу и возвращались с полей, чудо времени – патефоны, подворья, огороды, свадьбы почему-то под бодрящие звуки «Прощания славянки», детские игры, забавы, пахучие пончики-брецели, топленое молоко, домашний сыр-кезе... О, кое-что сохранилось в цепкой детской памяти, и та невозвратная жизнь, те радужные блики навсегда ушедшего бытия воспринимаются ныне мною живым отголоском Времени, чистого, одухотворенного, доброго, полного счастья и надежд. Допускаю, что это восприятие наивной детской души, для которой мир всегда прекрасен.

8

Скрипучее слово «криг» (война) я впервые услышал летним днем 1941 года, когда стоял в очереди за хлебом в магазинчике кантонного центра – Гнаденфлор. Хлеб тогда продавали на вес. К основной буханке добавляли крохотный довесок – 50–70 граммов. Съесть этот довесок по пути домой было детской радостью.

По озабоченным лицам родителей я догадался, что «криг» – это плохо. Карикатуры на фашистских главарей я постоянно видел в газете «Нахрихтен» («Вести»). Смутно понимал, что эти уроды – зло.

Потом на большой открытой площади-плацу кантонного центра состоялся многолюдный митинг. С трибуны на деревянных подмостках суровые дяди о чем-то гневно и зажигательно говорили. Выступил и

мой отец. О чем говорили – не понял. Рядом с трибуной стояла горстка молодых людей, которым все громко рукоплескали. Мне объяснили: они добровольно записались на фронт бить фашистов. Потом запели «Интернационал» – кто по-русски, кто по-немецки. Мелодия была мне знакома, слова – нет, кроме призывного «вставай!».

А потом обрушился черный указ. Он назывался «Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья».

Везде говорили о непонятном: о шпионах, о диверсантах, о военном положении, о карательных мерах, о выселении немцев.

Мне шел седьмой год. Я понял, что я немец и что вместе со всеми подвергаюсь выселению именно по этой причине.

За что? Куда? На сколько?

Бог весть.

9

Из дневника отца: «Нас отправили поездом рано утром 11 сентября 1941 года со станции Плес, а 17 сентября мы уже прибыли в Казахстан на станцию Мамлютка, т. е. в пути были всего 6 суток».

А мне чудилось: мы ехали на верхнем ярусе товарного вагона целую вечность. В щелястом раздрызганном вагоне разместили восемь немецких семей. Было тесно, неуютно, бестолково. Питались всухомятку. Подолгу стояли в безлюдном поле. Но из вагона не выпускали. Смотреть можно было только в крохотные зарешеченные окошки наверху. Хныкали дети. Молча плакали женщины. Вспоминали покинутые родные места. Мужчины собирались внизу, на пяточке у входа, беспрестанно курили самосад.

Никто ничего толком не знал.

Мне запомнились дикийинные, длинные, как наш путь, слова: э-ва- ку-а-ци-я, вы-се-ле-ни-е, спец-пе-ре-се-ле-нец.

Слово «депортация» я услышал многие годы спустя.

Хотя сама депортация врезалась в сердце, в душу, в сознание на всю жизнь, как самое страшное горе и вопиющая несправедливость.

10

Небольшой казахский аул на правом берегу обрамленного тугаями Ишима-Есиля сыграл исключительную роль в моем становлении и всей дальнейшей моей судьбе. Все самое светлое и доброе, чистое и искреннее, возвышенное и благородное моего детства, отрочества, юности связано с родным аулом.

О том я писал не раз.

Аул, Есиль, Каменный брод (Тас өткел), березовые колки, приречный тугай, ширь степей – в сущности мои истоки, дивные приметы моей малой родины.

Чудесные были люди.

Мил был аул.

Прекрасна казахская средняя школа.

Талантливы педагоги.

Названия аулов, которые обслуживал мой отец – заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, – Коктерек, Жана-жол, Жана- талап, Каратал, Алка-агаш, Мектеп, Орнек – звучат для меня и поныне как песня.

В казахскую школу я пошел в 1944 году сразу во второй класс. Я бегло читал по-русски, по-немецки, арифметику знал на уровне четвертого класса, а вот казахский язык давался трудно. Никак не мог приспособить немецкую гортань к специфическим казахским звукам – ә, і, ң, ғ, ү, ұ, ө, қ, һ. А вот в 4-5-м классах говорил уже не хуже своих казахских сверстников, а писал, кажется, грамотнее.

Школу окончил в 1953 году. Увы, без медали, хотя я вроде ее и заслуживал.

11

Старики в ауле прозвали меня Жел аяк (Ветер-ноги). Я был легкий, тощ, высоко, упруго подпрыгивал и, раскинув руки, будто парил в воздухе, успевал делать

два-три шага на лету. Я испытывал от бега- парения редкое удовольствие. Аульные псы не угонялись за мной.

Ергали-ата потом говорил: тіл тиді, т. е. сглазили меня.

Обезножил я на двенадцатом году. И сглаз тут ни при чем. Летом дважды упал на всем скаку с лошади, сильно ушиб ногу. Сидеть на лошади крепко и плотно, как казахи, я так и не сподобился. Потом на рыбалке остался под холодным проливным дождем. Схватил двустороннее воспаление легких. Потом целый год бил-колотил меня, выворачивал наизнанку «синий кашель» («көк жөтел») – коклюш. А обернулись все эти напасти туберкулезом тазобедренного сустава, который, впрочем, определили не сразу. Областной врач вынес приговор: «Процесс в лучшем случае можно только остановить. А бегать- прыгать, как прежде, уже никогда не будешь».

28 лет с редкими перерывами я передвигался на костылях. Перерывы случались тогда, когда я усиленно, стиснув зубы от боли, тренировался ходить в ортопедической обуви. Весной и осенью, как правило, случались обострения. Открывались свищи. Одолевали слабость и головокружения. Тело – особенно в ненастье – ломало и корежило. Потом ту же несчастную, деформированную ногу в гололедицу сломал. В общей сложности шесть или семь раз по три-пять месяцев лежал закованным в гипс. Ходил в тугоре. В сорок лет, когда окончательно слег, Абдижамил Нурпеисов отвез меня в Алма-Атинский тубинститут, уговорил начальство сделать мне операцию вне очереди. На подготовку, операцию, лечение, восстановление ушел почти год, но после резекции тазобедренного сустава я избавился от болей и начал как бы новую жизнь.

Боже, сколько сил и терпения ушло на преодоление физического недуга! Страшно представить!

Но преследовало меня долгие годы более страшное – нравственное, социальное горе.

В 16 лет меня поставили на учет спецкомендатуры, и я каждый месяц был обязан отмечаться у коменданта. Отмечались спецпереселенцы (немцы, чеченцы, ингуши, греки, поляки, финны и др.), административно высланные, ссыльные и прочий неблагонадежный контингент.

Знаю, некоторые к этой процедуре относились более-менее спокойно, как к неизбежному злу. Для меня же это было ужасно, несправедливо, кощунственно, унижительно, оскорбительно. Все мое существо бунтовало против такого насилия. За что? Почему? По какому праву? Я ведь комсомолец, отличник учебы, активист, сын члена ВКП(б), и вдруг ко мне такое недоверие, как к немцу-спецпереселенцу, как к чужаку.

Отец меня оберегал, порою сам за меня отмечался, старался угодить плюгавенькому коменданту, у матери потухал взгляд. Понуро опускали головы другие «неблагонадежные», а у меня сжималось сердце, противная слабость ударяла в ноги, возмущенная кровь стучала в висках, слезы обиды наворачивались на глаза.

Каждый приезд коменданта в аул доводил меня до иступления. Я ходил сам не свой.

Проходили годы, носмриться с этим обстоятельством я не мог.

А что сделаешь? Получалось, как в казахской поговорке: «Іш қазандай қайнайды, күресерге дәрмен жоқ», т. е. «Душа кипит, как кипящий котел, а чтоб бороться – силы нет».

Я мечтал об ИМО, о МГУ, об учебе, на худой конец, в Алма-Ате. Старший товарищ Николаус Вагнер ухмылялся: «Выкинь из головы. Немцу ходу нет! Какая Москва?! Какая Алма-Ата?! До Петропавловска и то не доберешься!» ...Увы, он был прав.

Паспорта нет. Разрешения райУМВД нет. Вызова из института нет.

С трудом добился временного удостоверения сроком на три месяца. А в удостоверении каинова печать: «Разрешается проживать лишь в пределах Октябрьского района».

Вот и строй радужные планы, несчастный немец-спецпереселенец...

С помощью отца и обкома партии добившись разрешения на трое суток, я добрался до Караганды, сдал документы в политехнический институт (факультет РУМ – разработка угольных месторождений), успешно сдал вступительные экзамены и тут же был отчислен с 53 другими спецпереселенцами. Некоторые фамилии на черной доске запомнил: Гитнер, Редекон, Майер, Майснер, Войцеховский, Василис... один чеченец... Ну, и я среди них...

Убитый, раздавленный, голодный, завшивленный, я вернулся в аул к разбитому корыту.

Нехорошие, крамольные мысли роились в голове:

Сталинская конституция – ложь.

Советская власть – ложь.

Советская литература – ложь.

А надо было как-то жить...

Директор школы Сейтен Саутбеков привлек меня на замену преподавательниц, уходивших в декретные отпуска. Тем самым вытащил меня из черной депрессии.

И я проработал более полугодом в школе учителем 2–4-х классов. Потом преподавателем химии, потом преподавателем русского языка в 5–6-м классах, потом – лаборантом.

Много, до одури, читал, конспектировал. И еще строчил бесконечные заявления – Председателю Верховного Совета СССР Ворошилову, Министру внутренних дел СССР Круглову, депутатам Казахской ССР, ректорам университета и институтов, в редакции газет.

Словом, заявления, прошения, жалобы стали тогда моим главным литературным жанром. Тема одна: почему я, советский немец, не имею права учиться в высшем учебном заведении?

А вообще-то я кропал стишки. На казахском языке. Примерно с 7-го класса. Это было наваждением. Даже

школьные сочинения на вольные темы я строчил в стихотворной форме. Уровень был такой:

Келді көктем. Келді көктем.
Қуанышпен көптен күткен.
Күн жылынып. Қарлар еріп.
Гүрілдеп, тулап, ақты өзен.

Порой разоблачал американский империализм.

Құтырынып қарақшылар,
АҚШ тағы өңшен сұмдар,
Жаймақ бізге улы торын.
Қорықпаймыз олардан біз.
Оларды біз жеңеміз!

Или подражая лесенке:

Егерде біреу
Сұраса менен:
«Қай ақынды
Сүйесің сен?»
Көп ойланбай,
Мақтан етіп,
«Маяковский!» –
Дер едім мен.

На первом же курсе института я отчетливо осознал, что мои вирши – вымученная глупость. И я сразу же кардинально излечился от этой юношеской хвори. Перестал мучить и себя и других. Как отрезало.

16

В 1954 году я подал документы на факультет русского языка и литературы КазПИ им. Абая. Успешно сдал вступительные экзамены и опять не был принят по тому же национальному мотиву. Но благодаря энергичному заступничеству второго секретаря ЦК комсомола Казахстана, моего земляка и выпускника нашей школы Анатолия Федоровича Шалова, и благосклонному

отношению директора института, Героя Советского Союза Малика Габдуллина (который опекал меня по-отцовски, по-братски и позже), после долгих хождений и мытарств я был все же принят в группу «Б» литфака КазПИ им. Абая.

О, счастливое время!

17

Студенческие годы – яркие воспоминания. Обо всем кратко не расскажешь.

Учился увлеченно, прилежно, жадно. Мне, аульному юнцу, все было внове. Пропадал в библиотеках. Ходил на защиты научных диссертаций. Прислушивался, присматривался пристально ко всему. Посещал музыкальный лекторий. С первого курса участвовал в научном студенческом обществе. Многие преподаватели были ко мне внимательны.

Одним из первых побеседовал со мной профессор-языковед, тюрколог Сарсен Аманжолов. Поговорив со мной по-казахски о казахских диалектах в уголке пустой аудитории, он сказал: «Мне важно, чтобы ты знал казахский и немецкий языки. Учись. После института возьму тебя к себе в аспирантуру».

Я был на седьмом небе. О тюркологии я тайно мечтал давно.

На втором курсе написал работу: «Русские предлоги «в», «на» и их эквиваленты в казахском языке». Она была опубликована и отмечена Грамотой Министерства высшего образования СССР.

На третьем курсе написал еще одну работу: «Структура вопросительного предложения в русском и казахском языках». И она была опубликована.

На четвертом курсе написал труд «Ночная песнь странника» Гете в переводах Лермонтова и Абая». И эту работу оценили на отлично.

Директор Института Малик Габдуллин, очень благоволивший ко мне и называвший меня в шутку «Керей Балгер», разрешил мне свободное посещение лекций и походатайствовал, чтобы мне выделили столик в аспирантском зале публичной библиотеки им. Пушкина. Там я и пропадал с утра до вечера, читая,

изучая, конспектируя горы литературы по языкознанию, философии, политике.

Думаю, такое самообразование дало мне больше, чем иные институтские лекции.

Я грезил об аспирантуре и тюркологии.

Профессор С. Аманжолов был все эти годы ко мне ласков и внимателен. Когда я уже был на последнем семестре, Сарсен Аманжолов скоропостижно скончался.

В это время у меня возникли какие-то недоразумения с Комитетом глубокого бурения. Из-за этого многие преподаватели отнеслись ко мне настороженно.

А самые осторожные и вовсе отшатнулись.

Все же институт я окончил с одной лишь четверкой по основам марксизма-ленинизма.

Об аспирантуре нечего было думать. И я отправился учитель-ствовать в захудалый районный центр – Байкадам Джамбульской области.

18

Началась суровая школа жизни. Незнакомый край. Бытовые неурядицы. Нехватки. Неопределенность. Женился на сокурснице. Через год родилась дочь. С нами еще жила сестренка и шурин. Было тяжело, неудобно, неустроено.

Но я был молод. Участвовал в художественной самодеятельности (под влиянием жены), в шахматных соревнованиях, педагогических чтениях и преподавал. В средней казахской школе – русский язык и литературу. В вечерней школе – немецкий язык. В русской восьмилетней школе иногда – казахский язык.

Так продолжалось два года и два месяца. В октябре 1960 года поступил в аспирантуру при КазПИ им. Абая по кафедре преподавания русского языка и литературы в казахских школах. Научным руководителем моим был профессор, академик Белорусской Академии наук Евгений Исаакович Ривлин. Дивный человек!

19

За два года учебы в аспирантуре я сдал все кандидатские экзамены и вымучил в основном

диссертацию. Называлась она «Система обучения русской разговорной речи в казахских школах».

Интерес представляли, пожалуй, лишь историческая и теоретическая части диссертации. Ну, и список использованной литературы, конечно. Остальное было мне самому тошно читать.

На третьем курсе аспирантуры меня привлек к художественному переводу Абдижамил Нурпеисов. К методике преподавания я окончательно охладел. Конечно, мой руководитель сильно на меня обиделся.

Аспирантуру я закончил, но без защиты диссертации. О том не жалею. Методика – все же не наука, а нечто прикладное, вторичное.

Сразу же после аспирантуры А. Нурпеисов (тогда главный редактор «Жулдыза») сходил в министерство и выхлопотал бумагу о переводе меня в его, Абеке, распоряжение.

20

Меня приняли литсотрудником отдела прозы казахского журнала. Было поначалу непривычно. Я чувствовал себя не в своей тарелке. Языкознание и методика остались побоку.

Зато сколько знакомств! Какая вольная стихия! Муканов, Мусрепов, Мустафин, Абу Сарсенбаев, Ахтанов, Шангитбаев, Кабдолов... О, все созвездие казахской литературы! И новая волна моих замандасов-сверстников – К. Мырза-Али, С. Жиенбаев, С. Асанов, С. Муратбеков, А. Кекилбаев, К. Искаков, А. Сулейменов, З. Сериккалиев, А. Тарази, Р. Токтаров, Ж. Нажимеденов, Е. Домбаев, Д. Досжанов, О. Сарсенбаев – плеяда молодых и дерзких талантов, самостоятельных, образованных, начитанных людей. Меня они тепло приняли в свой шумный круг.

Бурная атмосфера оттепельных 60-х годов теперь уже прошлого века увлекла, закружила, завертела и меня. Жизнь обретала вкус и смысл. Хотя и жилось тяжело: все еще ни кола, ни двора. Одни нехватки и долги.

Работалось в журнале весело. Творческую инициативу и энтузиазм, задор и амбиции молодых наш «старик» (так почтительно называли мы 40-летнего тогда шефа) не гасил, не подавлял, не сковывал. Журнал стал литературным кружком молодых. Однако уже в июне 1964 года всю нашу редакцию решением Президиума Союза писателей Казахстана по указанию ЦК КПК полностью разогнали. Должно быть, за излишнюю вольность и дерзость. Шефу вlepили «строгача» с занесением. Остальным дали по шапке.

Что делать? Я лишился даже ничтожной зарплаты. А гонорары маячили в тумане.

Отправились мы с Нурпеисовым на Аральское море доделать подстрочный перевод первых двух книг трилогии «Кровь и пот».

Романтика была. Но в кармане ни шиша. Нурпеисов рисовал радужные картины, и это было моим единственным утешением.

«Шиш» появился в скромной дозе несколько лет спустя, когда я уже прилично оброс долгами.

Но я твердо решил отныне не служить и ушел на вольные хлеба.

Вольные хлеба для литератора – все тот же каторжный труд.

Работал систематически, по плану. Сам себя загонял в строгий режим. Почти по Владимиру Солоухину:

«За работу берешься круто,
По-солдатски жесток режим,
Все расписано по минутам,
Час обедаем, час лежим.
В семь зарядка – и сразу в омут,
И за стол рабочий, «к станку»,
На прогулку выйти из дому
Раньше времени не могу».

Мой каторжный режим раздражал иногда Нурпеисова: «Брось! Ты же не машина. Живи попроще».

По натуре я человек умеренный. Знаю: умеренность

благодетельна. Знаю также, что умеренностью в творчестве ничего не добьешься. Творчество – акт на пределе физических и душевных сил.

22

Ровно тридцать лет был исключительно на творческой работе. Жил на отшибе, на Каблукова, в крохотной полуторке, без телефона, редко выезжая по делам в Союз писателей, в редакции и толмачил, толмачил, строчил, шкрябал по 12–14 часов в сутки. Часто навещали меня в те годы Нурпеисов, Ахтанов, Кабдолов, А. Сулейменов, Кекилбаев, Досжанов...

В 1976 году стараниями того же Нурпеисова получил трехкомнатную квартиру в центре, где живу и поныне. С того времени горизонт моей деятельности и общения заметно расширился.

Лет пять-шесть после ухода на волю я занимался главным образом переводами казахской прозы. Потом начал писать статьи, рассказы, рецензии, обзоры, составлял разные книги, делал доклады, увлекался так называемой общественной работой.

Из нужды вроде как выбрался. Дочь Ирина поступила на актерское отделение ГИТИСа. Жена, как всегда, увлеченно учительствовала. Родители из Северного Казахстана перебрались в Ташкент, обзавелись уютной усадьбой. У меня в родительском доме была своя комната, приличная библиотека. И я по два месяца в году жил и работал там, окруженный опекой, лаской, вниманием и заботой. И в литературной среде Казахстана ко мне относились по-доброму, участливо.

Что еще нужно человеку?

К литературе советских немцев я присматривался, приноравливался со второй половины 60-х годов, особенно с того момента, как в стране стали издаваться газеты «Нойес Лебен» (Москва) и «Фройндшафт» (Целиноград). Для моего поколения SDL (совет дойче литератур) была terra incognita. И не только литература, но и история, культура, национальная ментальность. С 1941-го по 1957-й все немецкое в Советском Союзе тотально замалчивалось, осуждалось, преследовалось,

извращалось, табуировалось. А душа постоянно ныла, болела, скорбела в неизбывной тоске. Мы, советские немцы, были насильно отлучены от своей национальной сути. Это было несправедливо, ужасно. Ленинская национальная политика, о которой твердили денно и нощно, оказалась ложью, фальшью, блефом. И хотя были сняты многие социальные ограничения, отменен злодейский Указ от 28 августа 1941 года, огульно осуждавший и унижавший народ, приведший в сущности к геноциду немецкого населения в СССР, разные ограничения, ущемления, препятствия, оговорки, преграды – явные и тайные – оставались. И это в той или иной форме сказывалось вплоть до 90-х годов, пока не начался массовый исход «на родину предков».

В 1971 году шеф-редактор республиканской газеты на немецком языке «Фройндшафт» Алексей Борисович Дебольский (тогда еще Шмелев) привлек меня к сотрудничеству в газете. С того времени я с головой ушел в «немецкий вопрос». Писал статьи. Выступал с докладами в Москве, Целинограде, Алма-Ате. Руководил Советом литературы немцев Казахстана в Союзе писателей республики. Вошел в разные комиссии. Переписывался почти со всеми немцами-литераторами, разбросанными от Красноярска до Душанбе. Писал длинные письма на имя Брежнева, Андропова, Горбачева. Литературные проблемы обрели со временем общественно-политический оттенок.

Я вошел в разные оргкомитеты, участвовал во всех съездах немцев СССР, России, Казахстана, вошел в контакт с огромным числом интересных людей, узнал поразительные судьбы, шатался по коридорам власти, вместе с единомышленниками рьяно ратовал за восстановление автономии немцев на Волге.

Боже, сколько было потрачено на это времени, сил, здоровья, упования! Сколько было разговоров и радужных планов!

Иногда казалось: цель близка, мы вот-вот вернем свою автономию на Волге, распущенную в 1941 году.

Тщетно. Напрасно. Alles vergebens!

Да и сами советские немцы не были едиными. Ора, шума, интриг, склоки было много, толку все меньше и меньше. Образовались разные течения, группы. Иные ратовали за автономию, а сами втихаря заполняли антраги, упаковывали чемоданы и часами толпились у германского посольства. Надежда улетучивалась.

7 мая 1991 года 12 человек из немецких активистов-автономистов во главе с академиком Борисом Викторовичем Раушенбахом были на приеме у Генерального секретаря КПСС М. С. Горбачева. Все остальные инстанции были исхожены.

Со стороны властей в беседе участвовали Нишанов, Муренин, Гусев, Яушева, Гиренко, Лобов, Щербаков и др. Беседа была очень откровенная. Иногда драматическая и продлилась с одним перерывом три часа. С болью, страстно и убедительно выступали мои коллеги Раушенбах, Вормсбехер, Бауэр, Гаар, Рауш, Мерц, Риттер, мне и еще двум делегатам было поручено подробно фиксировать все выступления, поскольку стенограмма не велась и на телекамеру встреча не снималась.

Горбачев отнесся к наболевшей проблеме положительно, с пониманием. Говорил о поэтапном восстановлении автономии, о сложностях, о невозможности решения вопроса с бухты-барахты, о необходимости работать комитету с республиками, о подготовке статуса комитета в двухнедельный срок, о тесном взаимодействии, определении, кого мы видим в центре, кого на местах.

Говорил Горбачев долго, с комсомольским задором. И все его слова были правильны. Однако чувствовалось, что вопрос незаметно куда-то заваливается.

Резок был наш глава – академик Раушенбах. Он вдруг сказал: «Хватит болтать! Дураков нема! Это не немецкий вопрос. Это, если хотите, русский вопрос. Немцы свой вопрос решили».

Это было сказано так веско и убедительно, что окружение Горбачева на миг растерялось.

На прощание мы сфотографировались. Горбачев был вежлив и деликатен, всем жал руку.

Мы вышли из ЦК КПСС с надеждой. Меня, однако, не отпускало ощущение, что наши проблемы, наши чаяния и боль власть предержащим до лампочки, а некоторые, как Гусев, Муренин, Лобов, – и вовсе ярые противники решения какого-либо «немецкого вопроса». Было обидно, что твоя судьба не в твоих руках, а в руках заскорузлых, германофобствующих партчинуш.

Итак, поэтапное восстановление автономии. Вопрос: сколько этапов предстоит еще пройти горемычным советским немцам, и еще сколько десятилетий они продлятся? Может, до мартышкиного заговения? Все отлично понимали: терпение народа кончилось.

Вскоре Горбачеву стало не до «немецкого вопроса». Кое-кто из немцев наивно рассчитывал на Ельцина.

О, да... этот русский мужик решителен. Скажет – сделает. Скорее, на рельсы ляжет... Нечто такое он и заявил, будучи в Алма-Ате. Коллега К. Эрлих даже записал его заявление на диктофон.

А через несколько месяцев, находясь в Саратовской области, явно разогретый, разгоряченный, на ходу, в окружении толпы, громогласно объявил: «Автономии не-е бу-у-де-ет!» и посулил немцам напоследок Капустин Яр для первоначального обустройства с помощью Германии.

Это было нагло, цинично, беспардонно. Это была точка в более чем двухвековой истории немцев в России.

Немцы с обидой, с гневом, с досадой, болью и презрением стали покидать Россию и бывшие советские республики по 190–200 тысяч человек в год.

Круг истории замкнулся.

24

Нас, автономистов, горячо поддерживали все репрессированные народы страны, наши братья по судьбе – чеченцы, ингуши, крымские татары, калмыки, корейцы, курды, карачаевцы, балкары, греки, месхетинские турки, хемшиды и прочие советские народы.

Убежденно ратовали за справедливость, за восстановление Автономии немцев в Поволжье и прославленные деятели культуры.

Моя знакомая Ида Бастрон издала в 1991 году в Москве на русском и немецком языках книжку «Тридцать три ответа на один вопрос». Тридцать три известных писателя СССР ответили на вопрос: «Как вы относитесь к восстановлению АССР советских немцев?».

Убежденно, со знанием дела, горячо, положительно, одобрительно ответили Ч. Айтматов, С. Баруздин, З. Богомолова, И. Драч, Р. Казакова, И. Калинин, С. Капутикян, В. Быков, А. Вознесенский, Н. Гилевич, А. Кекилбаев, К. Мумин, Д. Кугультинов, М. Курганцев, А. Наумов, В. Озеров, Б. Окуджава, А. Омарова, Л. Ошанин, О. Попцов, Т. Пулатов, Ю. Рытхэу, В. Савельев, С. Самсонов, В. Санги, В. Сергеев, К. Скворцов, В. Тельпугов, Г. Толмачев, В. Цыбин, Л. Щипахина.

Все нашли теплые, добрые, душевные слова в адрес советских немцев.

И я решил здесь всех упомянуть поименно, воздав тем самым спустя многие годы свою (нашу) глубокую признательность за их щедродушие и истинный гуманный акт.

Думаю, это красноречиво говорит о том, что идея восстановления законной государственности немцев в СССР была отнюдь не праздной затеей горстки народных заступников, ходатаев и донкихотов.

25

Мечта об автономии пошла прахом. Некоторое время часть немецкой интеллигенции уповала на Кенигсберг – Калининград. Многие из моих соплеменников ринулись туда. Но я лично думал: коли не восстанавливают автономию в прежних ее границах, на исконной земле, то о новом месте и помышлять нечего, ибо все остальные варианты нелегитимны, искусственны. Однако по инерции много сил и времени я тратил на немецкие дела. Вместе с К. Эрлихом руководил несколько лет немецким культурным центром в Алматы, с 1993-го по 2000 г. издавал русско-немецкий альманах «Феникс» (сначала в качестве замглавного редактора,

потом – главного редактора), входил в разные советы, комитеты, комиссии, писал статьи и исследования на немецкую тематику, где-то представлял. Друзья, приятели, единомышленники, добрые знакомые один за другим, а то и косяками начали эмигрировать в Германию. А поскольку я лично об эмиграции и не помышлял, бывшие соратники косились на меня, считая мои национальные потуги и упования безнадежными и бессмысленными.

С новой волной немецких активистов и «благотетелей» я не поладил. Их меркантильность, бездуховность и амбициозная возня были мне чужды.

«Дойчтум» в Казахстане меня отныне не привлекал. Остались лишь контакты с литераторами, живущими ныне в «Фатерланде». Я по-прежнему в курсе всех дел, происходящих в литературе российских немцев. Знаю проблемы моих соплеменников там, за бугром, и здесь, у нас. Мои коллеги присылают мне книги, альманахи, газеты. Будучи в Германии, познакомился с их житьем-бытьем. Оно, понятно, неоднозначное.

Германские власти много говорят об интеграции. А под интеграцией понимают банальную ассимиляцию. Вся моя натура противится этому. Если наши немцы, вытравив из себя все русское, казахское и т. д., станут обыкновенными германскими бюргерами, то, на мой взгляд, это абсолютно не благо. Интегрироваться – пожалуйста. Но отречься от всего, что столетиями, десятилетиями благообретено в России, Казахстане, Кыргызстане, Грузии и т. д., – это значит сознательно обеднять себя.

Есть казахская поговорка: «Старый урус мусульманином не станет». Верно сказано!

26

Особенно общественно активным я стал (чаще всего не по своей воле) после 1986 года. Неожиданно для самого себя я очутился вдруг в круговерти общественных обязанностей – членом многочисленных мыслимых и немыслимых советов, фондов, комитетов, комиссий, групп, правлений, редколлегий, президиумов,

движений. Однажды я подсчитал свои «членства». Насчитал 40!

Это был явный перебор. Жить с такой нагрузкой и в таком темпе становилось невыносимо. Все это шло в ущерб творчеству и здоровью.

Но время было бурное, переломное, интересное. Невозможно было чиклять на обочине бытия.

В декабре 1992 года мне была присуждена Президентская премия мира и духовного согласия. Диплом № 001 достался Мехлису Сулейменову, № 002 – Дмитрию Федоровичу Онегину, № 003 – мне. Формулировка гласила: «За глубокие публицистические произведения, формирующие уважение к культуре и историческим традициям наций и народностей Казахстана».

А через два года Президент страны вручил мне орден «Парасат». Я глазам не поверил: под номером 1! Поразительно: первый номер ордена «Парасат» в Казахстане достался мне, бывшему спецпереселенцу.

Отец, узнав об этом, прослезился. Действительно, наступали совершенно иные времена.

А справку о полной политической реабилитации я получил лишь в 1994 году, когда был депутатом Верховного Совета Казахстана XIII созыва.

Да, жизнь полна парадоксов.

27

Депутатом ВС Казахстана я стал по президентскому списку по Павлодарской области. В февральскую стужу 1994 года я объездил тринадцать районов Павлодарской области, выступал со своей программой перед избирателями. Жадно вглядывался в жизнь, встречался со множеством людей, обрел ощущение реального бытия. Ко мне относились всюду учтиво и благожелательно.

Это был новый этап в моей жизни. Очень важный опыт. Я окунулся в новую среду. Как никогда приблизился к структуре власти, получив возможность понаблюдать за поведением так называемых слуг и благодетелей народа. Много увидел, осознал, осмыслил, понял.

Понял и то, что для меня все это чуждо. Обязанности

исполнял исправно, однако чувствовал, что мне это не с руки. Я тосковал по воле свободного литератора. Суэта в прекрасном здании Верховного Совета в Алматы вызывала неприятие, отвращение, И, когда год спустя Президент страны распустил парламент, объявив его нелегитимным, я, честно говоря, обрадовался, испытав огромное облегчение. Не по мне все это!

Я вернулся в родной аул литературы. Некоторые из моих коллег с головой окунулись в политику, во власть, в карьеру. Я же в том смысла не видел.

У каждого своя стезя, свое назначение, своя прихоть.

28

Другая неизбывная моя боль — казахский язык, казахская культура, казахская ментальность. Всем казахским я проникся с детства, казахское вошло в мою плоть и кровь. Тут безразличным, равнодушным, безмятежным я быть не могу. Случается, что я даже забываю, что не казах. Случается, что иные мне об этом напоминают.

Зная трагическую судьбу российских немцев, так сказать, изнутри, чувствуя ее каждой клеткой, я невольно сравниваю, сопоставляю ее с судьбой казахов. И нахожу много общего, схожего, в том числе и то, что настораживает. Ну, например, мне порою чудится, что те казахи, которых я знал в военные и послевоенные годы, были добрее, искреннее, щедрее, более открытыми. Вообще, в казахах много достоинств и человеческих качеств, которых не знают, не замечают не только другие, но и сами казахи. Эти достоинства запечатлены в казахском языке, истории, нравственности, культуре, быте, фольклоре, песнях и кюях. И за столетия бурной, драматической кочевой, мирной и ратной жизни казахами накоплен столь колоссальный и прочный запас национальной ментальности, что, кажется мне, им уготована долгая и удачливая, самодостаточная судьба на этой прекрасной грешной земле.

Иншалла! Да будет так!

С другой стороны, я вижу спад былой пассионарности

казахов. В чем это выражается? В безалаберном отношении к родному языку, в расслоении народа по разным признакам, в недостаточном почтении ко всему, что заповедано предками, в высокомерии к так называемому мамбетизму, в неумном подражательстве чужому, низменному, поверхностному, случайному в желании и стремлении быть такими, как все, не хуже других. Между тем я постоянно говорю и пишу: не стоит казахам стремиться быть американцами, англичанами, французами, даже русскими, важнее – оставаться казахом, сберечь в себе казаха. Вытравишь из себя казаха – другим не станешь, а себя навсегда потеряешь. Лишишься родного языка, истории, культуры, ментальности. Станешь никем. И для себя, и для потомков, и для мировой цивилизации.

Я в этом убежден. Но мое убеждение – увы! – убеждает далеко не всех.

И это меня печалит.

В моей душе казахская струна звучит высоко и чисто. Без этой струны я себя полноценным человеком (по-абаевски «толык адам») не чувствую. Во всех перипетиях моей жизни казахи были неизменно моей надежной опорой. Защитой, моими заступниками и благодетелями.

Всю жизнь я живу и работаю на стыке трех культур, выявляю их общие корни. Стараюсь быть связующим звеном, однако поддержку, внимание, сочувствие нахожу прежде всего среди казахов.

Знаю, кое-кому это не нравится, но это так. И я этим горжусь.

29

18 мая 1994 года на 84-м году жизни скончалась в Ташкенте моя мама – Анна Давыдовна Бельгер. Скорбная весть меня ошеломила...

Я тогда был депутатом Верховного Совета РК. Абиш Кекилбаев, председатель Верховного Совета республики, позвонил акиму Шымкентской области, тот встретил меня с Раей, и на трех машинах лично доставил нас в Ташкент. Там он, во всем разобравшись,

приставил ко мне двух районных акимов, которые с блеском организовали похороны и поминки, разделив и облегчив наше семейное горе.

Убежден: дух Матери остался доволен. На такую честь, на такое внимание мама, конечно, не рассчитывала, хотя того была достойна.

К чужому горю казахи чутки и сострадательны. И это незабываемо.

Осенью того же года мне исполнилось шестьдесят лет. Чествовали меня в русском драматическом театре им. Лермонтова. Были именитые, знатные люди, представители многих общественных организаций, земляки, литераторы, депутаты. Было зачитано письмо Президента страны. Произносились высокие речи. Были отец из Ташкента, дочь из Москвы.

А до того юбилей мой отметили в области, в родном ауле, в школе, в отчем доме. Я был сердечно обласкан земляками.

Не было только мамы...

Потом, через год, я обнаружил в ее платяном шкафу большую, аккуратно сложенную и перевязанную стопку моих книг, статей с пометками мамы. Она была моим главным читателем. Гордилась мною. А я ее всегда чтил и чту свято.

30

Пошли невезения. Осенью 1996 случился со мной инфаркт. Выстоял. Очухался. Даже побыл после этого в Германии, Венгрии, Голландии. До того – во Франции, Дании. Продолжал усиленно работать, хотя общественную прыть сбавил.

В 1999 году новая напасть: сразил меня инсульт. Выкарабкивался долго и мучительно. Обострились все остальные мои болячки.

Испуганный, подавленный, подбитый, я брел, как-то опираясь на трость, возле памятника Чокану – излюбленного места моих прогулок. Встретилась пожилая казашка. Она была в курсе моих дел. Сказала на прощание: «Саспа. Қазактың аруағы сені алып шығады» («Не волнуйся. Дух казахов тебя спасет»).

И я воспрял.

И еще подумал: «Буду усердно работать, каждый день, – спасусь. Главное – не валять дурака, не точить лясы».

И я работал целеустремленно, написал два романа, издал несколько книжек, подготовил пять-шесть рукописей, опубликовал сотню статей, рецензий, заметок, кое-что перевел, часто выступал по радио и телевидению, давал интервью. Именно в эти годы я стал лауреатом премии Казахского ПЕН-клуба и независимой премии «Тарлан» в номинации «За вклад». И, борясь, не всегда успешно, с хворостями, теперь постоянно внушаю себе: «Будешь работать – будешь жить».

А жизнь, как известно, полна соблазнов и желаний.

31

1 ноября 2002 года скончался от инсульта мой отец – Карл Фридрихович Бельгер. Шел ему 94-й год. Последние три года мы не виделись, но каждую неделю беседовали по телефону. Он был склонен к юмору и говорил: «Хочешь – не хочешь, а до ста дожить надо». Не дотянул. Болел всего 8 дней. До конца жизни здраво рассуждал, хорошо видел и слышал, сохранял интерес ко всему, что происходило на свете и вокруг ташкентской усадьбы.

Человек был редкий, цельный, общественный. Много добрых дел совершил за жизнь, живя и трудясь 32 года в Республике немцев Поволжья, 30 лет в Казахстане и 31 год в Узбекистане.

И везде вспоминают его только по-хорошему.

О том сказано в моей книге – «Карл Бельгер – мой отец» (2003).

Нам, детям и внукам, удалось исполнить его волю: похоронили отца на ташкентском кладбище Домбрабад рядом с матерью и моей сестрой Розой.

32

Жили мы большим дружным кланом. Во дворе отцовской усадьбы в Ташкенте собирались порой по

17-18 человек. Родители обожали многолюдье.

Увы, та жизнь ушла безвозвратно...

Сестра Альмассыном, племянницей, зятем проживает ныне в Германии, а двоюродных, троюродных братьев и сестер, племянников и разной родни наберется в Германии не один десяток.

Дочь, внук, зять в Москве. Сестра Эльма, племянница, ее дети и муж — в Ташкенте. Есть близкие в России. Здесь, в Алматы, мы с женой.

Так получилось.

И с годами печаль все ощутимей.

Вспоминаются строки мудреца башкирца:

«Пепел лег на волосы мои,

И в слезах моих все больше соли...»

33

Стремительно приближаюсь к 70-летию. О каких еще желаниях и стремлениях может идти речь?

Еще в школьные годы я вечно носился с распорядками дня, с планами, с режимами. Старался времени зря не тратить. Это приучило меня к порядку.

Своему режиму, своим планам я и поныне следую неукоснительно.

Так вот, по плану, разработанному лет десять назад, я должен был до семидесятилетнего рубежа написать еще восемь или девять книг и сотню-другую статей.

Видно, судьба благоволит к тем, кто считается со временем и ценит его.

Пока удается идти по плану, по строгому графику. Все задуманные тогда книги (романы, сборники рассказов и повестей, публицистики, эссеистики, критических, монографических статей) написаны; часть издана; часть лежит в типографиях и редакциях; часть в виде рукописей в столе.

Теперь считаю целесообразным издать небольшим тиражом свою **БИОБИБЛИОГРАФИЮ**, своеобразный отчет перед собой и близкими людьми. Ну, и что ты сделал за свою жизнь? Был ли толк в твоих планах и графиках?

Биобиблиография должна ответить на этот важный

для меня вопрос. И я надеюсь, что, полистав ее, гипотетический читатель скажет: да, небо зря не коптил, лясы не точил, немало бумаги извел, оправдал свою бренную жизнь.

Для меня это утешение.

34

Не помню, во втором или третьем классе мы, горстка аульных шалопаев, затеяли спор на тему: кто кем станет. Один мечтал стать бригадиром, другой – баскармой, третий – милиционером. Я сказал: буду писателем.

Дружки мои переглянулись, цокнули языками. О таком в ауле ни- кто никогда и не помышлял.

А писатель, я это смутно чувствовал, должен писать.

И я со второго класса вел дневники. Пишу и теперь. Все тетради сохранились. Изрядная кipa!

Конечно, в дневниках этих много чепухи, вздора, глупостей. То, что никому не интересно. Наверняка и мне самому.

И все же, думается мне, если сделать строгий, разумный отбор, то из этих дневников можно извлечь реальную картину той общественной и социальной жизни, в которой я обитал. Страницы дневника запечатлели не только мою личную жизнь, но и черты ушедшей эпохи, судьбы людей, которые играли в той жизни немалую роль. А это для кого-то, наверное, интересно? Или любопытно?

Будет время и здоровье, намерен заняться этим. Выудить из груды всякой всячины более достойное, любопытное, значимое. Подготовить рукопись под названием «Тень дней минувших». В ней будет условно четыре раздела: «Годы семидесятые», «Годы восьмидесятые», «Годы девяностые», «Начало XXI века».

А может, это никому не нужно?

Однако вспоминаются слова Абая:

«Желаешь быть в числе умных людей, спрашивай раз в день, раз в неделю или хотя бы раз в месяц: как ты живешь? Сделал ли ты что-нибудь полезное для своего образования, для земной или потусторонней жизни. Не придется ли тебе потом испытать горечь сожаления? Или

ты сам не заметил, не помнишь, как и чем жил» («Слово пятнадцатое»).

Вот, полагаю, дневник мой и должен ответить на этот вопрос: КАК и ЧЕМ жил я, КАК и ЧЕМ жили люди, окружавшие меня в мое время.

35

Завершаю свои автобиографические эскизы. Все остальное при желании читатель найдет в моих литературных опусах.

А «эскизы» – конспект моей жизни. И должны они предварять мою биобиблиографию. Для этой цели они и написаны.

Осталось мне еще добавить, что, в отличие от своих казахских друзей и коллег, имею одну жену, одну дочь и одного внука.

Успешно старею и борюсь с разными хворостями.

Апрель 2004 г.

P.S.:

36

Все эти эскизы были написаны пять лет назад, И конечно, возникает потребность их малость дополнить. Ведь все эти годы, по-казахски выражаясь, я не на луну смотрел.

Уточнения произошли в моей родословной. Предположения, которыми я руководствовался все эти годы, оказались неверными.

Теперь выяснилось, что на земле Заксен-Анхальт предки Бельгеров тянутся до XV–XVI веков. Один из них, Андреас Бельгер (1727 года рождения), вместе с женой Марией (1731) и четырьмя детьми подался в 1767 году в Руссланд на постоянное место жительства. Далее цепочка выстраивается таким образом: Христьян Бельгер (1756), жена Анна-Мария Райтц (1750) → Генрих Бельгер (1789), жена Катарина Кунигунде (1792) → Иоганн Генрих Бельгер (1822), у него было семеро детей, → Фридрих Бельгер (1861–1921, мой дедушка по отцовской линии, семеро детей; у меня сохранились кое-какие его бумаги) → Карл Бельгер (1909–2002, мой отец,

четверо детей) → Герольд Бельгер (1934, т. е. я, автор этой книжки) → Ирина Бельгер (1959, моя дочь, теперь Ковалева) → Всеволод Ковалев (1988, мой внук, москвич) → Юлиана Ковалева (2005, моя правнучка). Разумеется, это лишь фрагмент моей родословной. Когда-то я расписывал родословную шести поколений по отцовской и материнской линиям. Потомков было тогда около двухсот. Ныне они заметно разветвились, перемешались со многими народами и определить, кто откуда, уже не в моей компетенции. К тому же многочисленные потомки пращура Андреаса Бельгера ныне обитают в разных странах-государствах. И вряд ли кто-нибудь из них проявляет интерес к своему родословному древу. Может, мой племянник Артур Бельгер (1984), проживающий ныне в Германии, обнаружит любопытство к своему роду-племени?

37

Последние пять лет ознаменовались для меня серьезными болезнями и усердной работой. Издал за эти годы 20 книг, еще две-три книги составил, подготовил к изданию еще 6 рукописей, а количество публикаций в периодике перевалило за 1600. Словом, рад, что не сидел сложа руки, а смог ошестиниться, мобилизовать свои хилые силы. Количественной стороной содеянного могу быть доволен, а о качестве судить не мне.

38

Внук мой, Севушка, постарался и одарил меня прелестным созданием – правнучкой. Правда, я ее знаю лишь по фотографиям, которыми щедро снабжает меня с женой наша дочь. Значит, случаются и в моей жизни тихие радости. А нынешний, 2009 год, для моей семьи сплошь юбилейный: отцу моему, Карлу Бельгеру исполнилось бы 100 лет, мне стукнет 75, сестре Эльме – 70, дочери Ирине – 50, с женой супружествуем – 50. Для семьи знаменательные события.

Тень одиночества все плотнее и шире. Ушли все мои дядя и тетушки по отцовской и материнской линиям; из двоюродных братьев и сестер моих здравствуют немногие; ослабили родственные связи с племянниками, их детьми и внуками, живущими в России, Германии. Большинство из них я не видел, и о моем существовании они, скорей всего, и не помнят. Ушли за эти годы и многие мои друзья, товарищи, коллеги, тамыры, собеседники. Все чаще звучат в моем дневнике скорбные прощальные слова.

Мечтать никому не возбраняется. Но то, о чем я скажу ниже, и не мечта вовсе, не грезы, а иллюзия чистой воды.

Ныне мои друзья-коллеги сплошь и рядом увлеклись изданием своих многотомников. Начал мой друг Абиш Кекильбаев. Издал к своему 60-летию двенадцать томов своих сочинений на казахском языке. Я сразу публично сказал: лиха беда – начало. Прецедент есть. Теперь грядет поток многотомья. И действительно обрушилась лавина: Кадыр, Дукенбай, Туманбай, Мухтар М., Фариза, Кабдеш, Софы, Олжас, Шерхан, Иран-Гаип, Алдамжаров, Дулат, Беискулов и т. д. 5 – 6; 10 – 12; 15 – 20 томов. Ойдойт! Кто больше!

Шальная мысль ударила и в мою трезвую немецкую башку. А что? Чем я хуже? Чай, не зря усердно шкрябал пером. А тут еще Немецкий дом в Алматы подлил масла в огонь, как бы спровоцировал тщеславие. Дескать, в честь Года Казахстана в Германии и Года Германии в Казахстане издадим десяток томов доморощенного Бельгера. Даешь проспект! И я, прекрасно сознавая разумом, что это иллюзия, чушь на постном масле, проявил минутную слабость духа, клюнул на дохлого живца и прикинул хоть бы для себя развернутую диспозицию.

Получилось:

Том первый: предисловие В. Бадикова. 47 рассказов и этюдов.

Том второй: предисловие Н. Рунде. 7 повестей.

Том третий: предисловие Е. Зейферт. Роман «Дом скитальца».

Том четвертый: предисловие В. Владимирова. Романы «Туюк су» и «Разлад».

Том пятый: предисловие Р. Сейсенбаева. Роман «Зов».

Том шестой: предисловие Ж. Ескуатовой. «Плетенье чепухи» («Вольные строки»).

Том седьмой: предисловие М. Сыдыкназарова «Гете и Абай». Эссеистика, публицистика, литпортреты.

Том восьмой: предисловие Н. Сагандыковой. «Ода переводу». Переводоведческие труды.

Том девятый: предисловие С. Ананьевой. «Помни свое имя». «В поисках своего ритма». Исследования по литературе российских немцев.

Том десятый: «Долг и выбор». Литературно-критические статьи и очерки.

Том одиннадцатый: «Тень дней минувших», книга I.

Том двенадцатый: «Тень дней минувших», книга II.

Том тринадцатый: «Постфактум». Рецензии.

Том четырнадцатый: Интервью разных лет.

Казахские и немецкие тексты, составляющие наверняка два тома, в собр. соч. не войдут. Каждый том по объему составил бы 30–34 п. л.

Каково?

Обалдеть!

Но на трезвую голову одолели сомнения: а кому это нужно? Кому охота дома держать 14 томов Бельгера? В наше-то время?! Эка невидаль!

Более реально смотрелись бы двух-, трехтомники. Скажем, трехтомник прозы. Или: двухтомник эссеистики. Или: двухтомник исследований по культуре и литературе российских немцев.

Но... «Ай, иегінқышымасың», – говорят казахи. «Держи карман шире», – усмехается русский. Е-е, ладно! Иллюзия и есть иллюзия. О чем тут говорить?

Жизнь по-прежнему прекрасна. И она продолжается. В этом весь ее смысл и надежда. И я продолжаю

посильно шкрябать пером. Значит, живу. И благодарю судьбу.

1 июня 2009 г.

P. S.:

42

За счастье жизни следует благодарить судьбу. И роптать на прошедшие годы глупо. Я и не ропщу. Во многом, кажется, я себя реализовал. Но сказать, что я полностью реализовался, никак не могу. На что досаую? На депортацию, на раннюю ссылку, на социальную несправедливость, на национальные ущемления, которые слишком подло обрушились на мою хрупкую душу.

И еще на то, что самые чуткие годы я вынужденно провел малозначительно в ауле, где – как мне теперь чудится – заложенные во мне кое-какие способности, умственные и эмоциональные наклонности не получили подпитки в условиях убогой жизни в ауле. То есть, я мало читал и читал не то (чаще всего и читать-то нечего было), я не слышал хорошей музыки, образцовой русской и немецкой речи, я не получал необходимого интеллектуального развития. Образно говоря, гонял балду, был представлен самому себе, жил-поживал-выживал, как придется, упустил свой «лицей», которого в военные и послевоенные годы и в помине не было.

И состояние моей несвободы затянулось на долгие годы.

Я это чувствую обостренно на старости лет, и поныне не выдавив из себя по капле раба.

И слишком много сил, здоровья, труда потратил на элементарный насущный хлеб, с превеликим напряжением вырвавшись из кабальных долгов лишь в 37-летнем возрасте.

Когда я об этом вспоминаю, у меня камнем опадает сердце.

Только какой теперь смысл о том думать и вспоминать?

43

Я довольно сдержанно отношусь к разного рода астрологическим выкладкам и мистическим

предсказаниям. Должно быть, влияние отца, который на корню отрицал всякие химеры.

И вот на днях я наткнулся среди своих бумаг на четыре странички «амбарной» книги, плотно напечатанные на машинке. И вспомнил: это распечатка своеобразного досье на меня, представленное в 80-х годах прошлого века в Ташкенте кинорежиссером-документалистом Галиной Огурной. Ныне она живет и здравствует в Москве, где – по сведениям из печати – успешно снимает документальные фильмы. А тогда, в 80-е годы, она работала в Ташкентской киностудии и сняла фильм о моих родителях, их соседях, близких и знакомых под названием «Байсунский тупик» по моему сценарию.

Лишь узнав о моем дне, месяце и годе рождения, Галина Алексеевна (уж не знаю, по каким данным) написала обо мне следующее.

Выписываю лишь отдельные детали.

Она вычислила, что я человек с числом дня рождения I (не пойму, что это значит). А такой человек достигает новых высот только прямым и прогрессивным путем. Здесь следует избегать эгоизма и корыстолюбия, своеволия и своенравия, соблюдать осторожность, соразмерять свои интересы с интересами других людей, чтобы они не пришли в конфликтное состояние, иначе можно растерять друзей и приобрести врагов. Сильное число дня рождения I обещает многое, оно предполагает высокое развитие, если следовать его советам.

Далее идут более конкретные сведения:

1934 – год Собаки. Мужской год. Куратор – Юпитер. Стихия – дерево. Ориентация – Восток. Время года – весна. Растение – пшеница. Болезнь – селезенка. Вкус – кислый. Цвет – синий. Талисман – дракон. Магическое число – 8.

Имеет ли это конкретное ко мне отношение?

Далее. Год Собаки: Люди, родившиеся в этот год, обладают лучшими человеческими чертами. Верны, честны, внушают доверие, потому что они умеют хранить тайны, но они несколько эгоистичны, невероятно упрямы и эксцентричны. К богатству не стремятся, но деньги у них всегда водятся. Они могут

быть эмоциональными, но холодными к малознакомым. Смотрят на многое критически и славятся острым языком. Однако эти люди стоят за справедливость, знают, за что борются. Начав, они доводят до конца, и победа обычно достается им. Из них выходят хорошие руководители, революционеры. Из 160 декабристов около 110 человек были рождены в год Собаки.

Конечно, далее не все, но что-то, кажется, мне свойственно.

Знак Зодиака – Скорпион.

Второй знак тригона Воды.

Дневной дом Марса.

6-й градус Скорпиона (28.10) – необыкновенное терпение и трудолюбие.

Последние два качества однозначно мне присущи.

Час рождения. До 9 утра – Дракон. (На роддомовской бирке зафиксировано, что я родился в 8:20 утра.)

Дата рождения – 28.10. Воскресенье. День Солнца. День чело- века.

Рожден в 21-й лунный день (III фаза). Ребенка, родившегося в этот день, будет отличать трудолюбие и работоспособность. Месяц рождения – октябрь – месяц Крысы – терпение и одержи- мость.

Люди, рожденные в день Солнца, у многих народов считались счастливыми, потому что они уже изначально словно бы получили заряд солнечного света. Предполагалось также, что дети, появившиеся на свет в воскресенье, будут долгожителями, поскольку у них будто бы есть невидимая помощь со стороны, особенно во время болезни. Многие их печали сказываются кратковременными, а радости, напротив, долгими.

Из людей, рожденных в день Солнца, отбирались врачи, а также люди творчества или люди, которые могли сами выбрать себе дорогу, так как им представилась свобода выбора.

Таковы некоторые выписки из гороскопа, который для меня составила многие годы назад кинорежиссер Галина Огурная. Сейчас, на исходе восьмого десятка лет, у меня кое-что из него вызывает любопытство.

Свершилось. Состоялось. Удалось. Сподобился-таки.

О чем речь? Об издании моего десяти томника избранных произведений. Еще три-четыре года тому назад я о том и не мечтал, не гадал.

Какой там! Знаю: Иван Павлович Щеголихин к своим 80 годам ограничился одним объемистым томом избранной прозы («Больше не дают», – пожаловался он мне). Морис Давидович Симашко издал, кажется, четырехтомник своих произведений (мелким шрифтом, на плохой бумаге, малым тиражом). Владиславу Васильевичу Владимирову уделили по соцзаказу пять томов. Ну, не везение ли? Не радость ли? Наиболее существенное из наскрябанного мною за долгие годы удалось свести под одну крышу.

По-казахски говоря, шукир, тауба! Повезло!

Десять томов сочинений означает ведь то, что не зря копил небо, не балду гонял, не напрасно мучил себя и бумагу. А если учесть, что перевел-перетолмачил с казахского и немецкого томов, полагаю, двадцать-двадцать пять, да еще книг двадцать составил, да разных статей, рецензий накропал более двух тысяч, то, выходит, без ложной скромности, потрудился вполне прилично.

Так что же вошло в мой десяти томник?

Если коротко: шесть томов прозы, один том эссеистики, один том работ по переводоведению, один том критики, один том публицистики.

Что же не вошло?

- три тома исследований по литературе российских немцев;
- три тома публицистики разных лет;
- два тома дневников;
- два тома интервью, данные для казахской, русской и германской печати;
- том критических работ, статей-рецензий, литературных портретов, очерков;
- два тома заметок и наблюдений из цикла «Плетенье чепухи» (9–28 и тетради);

– кое-что еще из неопубликованных рассказов.

К настоящему времени (6 июня 2014 г.) издал на русском, казахском, немецком языках 70 книг. Надо бы издать еще книг пять-семь, которые, можно сказать, «на мази».

Тогда мог бы сказать: все задуманное осуществилось. Или вспомнить слова Фауста: «Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!»

Или повторить слова гетевского ночного странника: «Подожди немного, отдохнешь и ты!»

А пока радуюсь тому, что сподобился издать десять томов избранных произведений.

45

А вообще-то, если честно, я приемный сын Казахстана. Чем утешаюсь и тихо горжусь. Для России я оказался пасынком, хотя мои предки верно служили ей 160 лет. Меня попросту отторгли, вышвырнули, предали. Кого винить? Не народ же. Подлецы – власть, политика, идеология. И все же обидно и больно, что защиты с той стороны я так и не увидел.

А Казахия меня приютила и обласкала. И это, как я теперь понимаю, мое счастье.

46

Так оно заведено искони. Но истину эту каждый открывает и постигает в одиночку.

А истина в том, что жизнь соткана из чередующихся темных и светлых полос. Ну, как день и ночь, лето и зима, мрак и свет, зной и стужа, радость и горе, любовь и ненависть.

Иногда полосы эти затягиваются во времени и пространстве, идут длинным сплошным потоком, радуют-счастливят или, наоборот, ввергают в уныние, тоску, отчаяние.

Но непременно чередуются. Сменяют друг друга. Иногда с регулярной последовательностью. Иногда с задержками, с перебоями, испытывая человека на прочность и терпение.

Логика тут нет. Но справедливость – недоступная,

недостигаемая, необъяснимая – существует. За все всегда, непременно, неотступно, неотвязчиво воздастся.

За свою немалую жизнь в том убедился. И на собственном опыте. И на жизни других.

Понял я вот что: наступила темная полоса – не отчаивайся, не опускай руки, не горюй, не жалуйся, не кляни судьбу, не ропщи, не сетуй. Будь мужествен и терпелив. Пройдет. Рано или поздно – все равно.

Пришла светлая полоса – головы не теряй, не пляши, зря не ликуй, ни на что особенно не уповай, знай: за любую радость нужно платить. И она коротка. Улетучится, пройдет. Настанет расплата. Иногда горькая. До невыносимости. Радуйся сдержанно, скромно, но соблазнов не строй, не жди.

Понял я это, понял...

И у меня случаются скудные радости, но пакостей обрушивается больше.

Видно, так положено.

И что я предпринимаю, когда идет темная полоса?

Работаю!

В два-три раза больше обычного. Объявляю тотальную мобилизацию духовных и физических сил.

Другого выхода нет. А за характер и стойкость последует награда.

Верь!

Помню интервью одного прославленного автогонщика. «В чем залог вашего успеха?» – спросили у него. Он ответил: «На трассе встречается немало крутых поворотов. Случаются аварии. Гонщики в таких случаях поневоле сбавляют скорость. Я же всегда давлю на газ. За счет этого и выигрываю».

Этим правилом руководствуюсь и я. Когда все вокруг «швах», все не ладится, кругом неразбериха и застой, царит сплошное невезение, отчаяние сдавливает грудь, я нажимаю на газ, тружусь еще с большим рвением, подстегиваю себя, свою волю, свое самолюбие, свой намыс, взываю к чести, к духу предков-аруахов.

Помогает. Мрак рассеивается. Черная полоса светлеет.

Конечно, до поры до времени.

Главное: будь начеку. Не теряй бдительности. Судьба обожает играть с человеком.

Уверовал я и в то, что моя малость кому-то или чему-то нужна. Что я для чего-то создан. Иначе по логике жизни я должен был давно обитать в иных пределах. Поводов и причин для этого было доста-точно.

Я вырос в атеистической семье, сложился как человек в атеистическое время.

Знаю: человек должен быть праведным – честным, совестливым и порядочным.

Это и есть твоя вера, твоя религия.

С некоторых пор я ощущаю себя исполнителем воли Абсолюта. Внушил себе, что мною благосклонно руководит некий Абсолют. Я с ним в ладу. И он со мной. Он точно указывает мне, когда, что и как делать. И я охотно подчиняюсь его воле и делаю именно так, как он мне велит.

Полагаю, это разумно и достохвально во всех параметрах.

15 июня 2014 г.

КАЗАХСКИЙ РАЦИОН

На склоне лет учат меня врачи уму-разуму.

– Вы что, едите казахский сары май?

– Да, просоленное сливочное масло в карыне.

– Ужас! Нельзя! Это же сплошной холестерин. И яйца едите?

– Да, куриные. По одному утром уже лет пятьдесят.

– Ойбай, нельзя! Одно яйцо в неделю! А мясо?

– Предпочитаю конину. Особенно казы-карта, жал-жая...

– Ужас! Это же смерть! Посадите печень, забьете сосуды, надорвете сердце.

– Но я не слышал, чтобы казах умер от казы-карта, жал-жая и прочих деликатесов.

– Ой, сплошь и рядом! Вы, наверное, и чай пьете?

– Да, густой, крутой, запашистый. Со сливками. С медом.

– Кошмар! Прямой путь к диабету. Курт тоже употребляет?

– Тоже!

– Нельзя! Это же голимая соль, кислятина. Разъедает стенки желудка. Небось и баурсаки любите?

– Обожаю! Со сметаной. С топленым маслом.

– Жуть! Это же гибель! Вес. Ожирение. Одышка. Еще что?

– Баранью печень с курдючным салом. Құйрык-бауыр называется. Пальчики оближешь!

– Маскара! Как вы только живете?

– Как казахи научили. Полагаю, в еде они кое-что соображают.

– Глупость! Оттого и живут мало.

– Разве?!.. А что, по-вашему, следует есть?

– Ну, положим, соевые сосиски, постную телятину, обезжиренную простоквашу, маргарин, гречку, капусту... е-е... салат, кок-чай, кебек- нан, овсяную кашу...

– Ладно, доктор, ешьте это сами, а мне по душе все больше казахская традиционная пища. Абай учил: «Аш қарын жұбана ма майлы ас жемей...»

– Е, нет, Гереке, бросьте. Меняйте ассортимент. Иначе худо будет.

– Ладно. Лет до восьмидесяти продержусь на казахском рационе, а там перейду на овсяную кашу...

ФИШЕР – «БИШЕР БАЛА»

Документальный фильм о легендарном Роберте Фишере «Бобби Фишер против всего мира» не выходит из моей головы. Значительная часть моей жизни, можно сказать, прошла под знаком этого уникала. Меня он всегда поражал, удивлял, интересовал, восхищал. Десятилетиями я разыгрывал его партии, пытался вникнуть в их суть, логику и красоту. Меня будоражили все интриги с ним и вокруг него.

А сколько разной литературы я о нем читал! В том числе и откровенно клеветнической, уничижительной, разоблачительной, чернотушной! Что он не такой, как все, наверняка гений, было ясно. Со временем это признали и его враги, соперники.

В шахматах я болел только за него. И для меня он всегда был больше, чем великий шахматист.

Но я сейчас не о том.

Врезался в душу один кадр. Лопоухий, угловатый, худой подросток с легкой отметиной на переносице стоит на сцене и отвечает на вопросы почтенного интервьюера. Он говорит: «Я из Бруклина, и мне пятнадцать лет». Фраза звучит чуть-чуть комично. И интервьюер с легкой насмешкой повторяет: «Он из Бруклина, и ему пятнадцать лет».

Зал смеется. Подросток растерянно-смущенно смотрит в зал и тоже улыбается.

Нескладный, большеносый, бледный подросток, между прочим, чемпион США по шахматам. Гроссмейстер. Но он скован, зажат, напряжен, будто ждет какую-то каверзу исподтишка, и всем своим видом выражает острое сочувствие.

Прошу прощения за невольное сравнение, но он напомнил меня, пятнадцатилетнего, из захолустья

на берегу Есиля. Я был такой же тощий, бледный, болезненный, передвигался на костылях, и комплекс неполноценности тяготил меня. Все меня пугало, причиняло боль и страдание. Я чувствовал себя постоянно виноватым. Перед родителями. Перед сверстниками. И я был тогда примерно так же одет, большенос и угловат. И еще – постылые костыли-подпорки, одна нога короче, вечно в гипсе, в туторе, в перевязке, напрочь лишенный детства, мальчишеских забав и радостей.

И, в отличие от Бобби, никаких талантов.

Правда, я был чемпионом школы по шахматам, и то потому, что во всей округе редко кто умел двигать фигурами по доске.

В фильме о Фишере все запомнилось. И дерзкий юноша, и раздраемый противоречиями молодой человек, и великий путаник-безумец, и бородатый старик, помешанный на юдофобстве и глобальных страхах, а особенно – пятнадцатилетний подросток, бледный, смущенный, неуклюжий, трогательный, милый. Он не в ладу с собой, с семьей, со всем миром. Он трагически одинок, как всякий гений. Он будущий легендарный чемпион мира. Нестандартная, недостижимая личность.

Фильм взбудоражил мою душу, и я уже несколько дней хожу под его впечатлением.

ОСКАР УАЙЛЬД СЧИТАЛ...

Оскар Уайльд считал, что книги надо разделить на три категории – книги, которые стоит однажды прочесть; книги, которые читаешь и перечитываешь; и третья, самая обширная категория – которые читать вовсе не следует.

Очень верно!

Но чтобы прийти к такому выводу, нужен опыт, т. е. необходимо «проглотить» горы книг. Я прочел порядочное количество книг, которые вовсе не следовало читать. Ныне я их распахиваю, т. е. раздариваю налево-направо: знакомым, библиотекам, архивам, музеям, университетам. Но есть десятка три-четыре книг, которые я постоянно перечитываю. Этими книгами надо было ограничиться с самого начала. Особенно много бесполезных книг я читал на казахском языке. Видно, много времени потратил зря. Ныне никто этих книг и в руки не берет...

Вот толковая мысль литературоведа Игоря Бэлзы: «Вообще-то, истребление интеллигенции, это истребление нации. Это понимали завоеватели всех времен».

Вспоминаю судьбы интеллигенции казахов и российских немцев. Слой этот был очень тонкий. Его истребили особенно усердно. Как это отразилось на нации, мы знаем, чувствуем, ощущаем.

Верно и это: «И без интеллигенции, конечно, нация мертва, в лучшем случае находится в стагнации, но, как правило, деградирует».

О деградации российских немцев и говорить не хочу. Это очевидно. Это трагедия. Этой деградации – я свидетель – подвержены и казахи. Очень досадно и больно.

И еще замечает Игорь Бэлза: «Другое дело, что интеллигенция ведет себя не всегда достойно» (см. ж. «Другие берега, № 6, 1995, стр. 107).

О да, о каком достоинстве идет речь, когда в так называемом зиялы қауым на каждом шагу – попрошайки, подхалимы, юркачи, шкурники, интриганы, приспособленцы, лизоблюды, жопеке?

Они, понятно, не с неба свалились, их породил лживый торгашеский заман, эпоха временщиков. Понадобятся десятилетия и воля тысячи азаматов, дабы преодолеть эту заразу.

НУ И ЧТО ИЗ ЭТОГО?

Толстой Шекспира не жаловал: разбирал его трагедии по косточкам и критиковал их в хвост и в гриву. И к Гете был сдержан. Горького считал «ни то ни се». Чехову советовал пьес не писать.

Пушкин упорно замалчивал Тютчева, будто не замечал его.

Мережковский, написавший мощный труд «Толстой и Достоевский», первого ставил ниже второго. Толстого аттестовал «тайновидцем плоти», а Достоевского – «тайновидцем духа».

Константин Леонтьев говорил об «уродливых романах» Достоевского.

Пруст отрицал Сент-Бева. Сент-Бев – Бодлера.

Аскар Сулейменов, помню, в аспирантские годы грезил ими.

Тот же Сент-Бев ставил Жорж Санд выше Бальзака.

Солженицын был весьма холоден к Горькому и Шолохову.

Нурпеисов обожает Шолохова.

Б. Тлегенов в свой черед на корню отрицал Нурпеисова, дескать, «не мой писатель».

М. Магауин объявил Нурпеисова писателем ниже среднего.

Г. Кабышев почему-то злобно, по чужим наветам, не читая, разоблачает Солженицына, нагнетая всякие небылицы.

Кто-то охаивает Досжанова, кто-то Досанова.

Кто-то Мырқымбая всерьез считает классиком.

Я, между прочим, тоже кое-кого недолбляю.

Возникает вопрос: «Ну и что? Что из этого?»

И еще Толстой сказал, что критики – это глупые, которые пишут об умных.

Ал, не дейсін? Надо свое мнение иметь, желательно недилетантское, а не размахивать дубинкой почем зря.

АЙ, ПРАВ БЫЛ МУДРЕЦ!..

Сам порой удивляюсь, но некогда восседал в парламенте, перебирал уйму бумаг, вчитывался в разные законы, положения, регламенты, был вечно занят, в сплошном цейтноте, загружен какими-то неотложными — и как воображалось — весьма значительными делами, заседал в бесконечных комиссиях, комитетах, рабочих группах, разумеется, во власти не состоял, как говорится, рылом не вышел, но оказывался вблизи, совсем, считай, рядом, имел возможность изо дня в день наблюдать за представителями высшей иерархии, делал записи для себя и незаметно пришел к устойчивому представлению, что большинство из власть предержащих весьма заурядные серые люди, которые просто играют некую заданную роль, делают вид, что они нужны, что-то из себя представляют, а практически их влияние на жизнь, на действительность, на общество ближе к нулю. Большинство из них, повторяю, абсолютно пустые создания, манекены или будничные люди.

Я никого не унижаю, не оскорбляю, не эпатирую, а просто констатирую всем известный факт.

Уберите из так называемой власти 80 процентов чиновников, и ровным счетом ничего не изменится. Они живут только для себя, их думы исключительно о преумножении собственного капитала, и в высоких креслах они восседают, как на навозной куче, ибо ни к чему другому они просто-напросто не дееспособны.

Увы, это горько, но в сущности это так.

«Все те бесчисленные дела, которые мы делаем для себя, не нужны для нас».

Это не я говорю, это Лев Толстой в своей статье «В чем моя вера?».

Схожую мысль выразил однажды в приватной беседе многообразно даровитый писатель Алексей Борисович Дебольский (он же Стражевский, Гуммельс и Шмелев): «Мы ведь только делаем вид, что мы нужны. На самом деле грош нам цена».

Ай, прав был мудрец!

Я перебираю мысленно господ-мыркымбаев, сидящих высоко, что-то время от времени изрекающих, хапающих и втихаря богатеющих, но они, прости господи, никакие не деятели, не поборники, не радители, и пользы от них как от козла молока.

VITA ACTIVA

Явообще-то сторонник *vita activa*, то есть деятельной жизни, хотя с годами все более тяготею к созерцанию и абстракции. По опыту жизни меня настораживает то, что к деятельной жизни, как правило, особенно стремятся откровенные глупцы или агрессивные ничтожества, т. е. те, которые испытывают неодолимую жажду наломать побольше дров. Их девиз: «Лес рубят – щепки летят». Достигнув своей неумейной деятельностью вершины власти, они усердно ломают людские судьбы, самодурничают, упоенно стравливают народы. Это та самая активная деятельность, которая сеет смуту, раздор, ненависть и войны. Поэтому на определенном этапе жизни я предпочитаю тихого и мудрого созерцателя. От него, думаю, все же вреда меньше.

Активный дурак – большое горе. В основе его – невежество. Мудрец, созерцатель размышляет, медитирует. Деятельный глупец заваривает кашу, которую мудрено расхлебывать. Самая большая опасность исходит от честолюбивого, своенравного, самовлюбленного пошляка.

Все же преимущество в том, чтобы познать себя, а не учить других. Или точнее: учить следует других, глубоко познав себя. Как, например, это делал Абай.

СУЕТА СУЕТ

Я часто думаю, почему именно в годы независимости в Казахстане так расплодились жулики-воры. Нашел ответ: есть возможность безнаказанно воровать. Лишить возможности воровать может только сильная и честная власть. Но беда в том, что власть сама вороватая.

Глубоко несчастные люди сидят во власти: имярек нахапал-наскреб миллион, а ему хочется два. Другой имеет много миллионов, но до миллиарда не хватает чуть-чуть. И ему уже сон не в сон, и жизнь в тягость. И совсем не до смеха. Свет клином сошелся на вожделенном миллиарде.

Ах, как бы дотянуть до него! Звучит ведь: мил-ли-ар-дер! Сразу сравниешься с избранными.

Сиди себе на мешках с миллиардом и не тужи. Никаких забот. Әкеңніңбасы!

Казахи мудро заметили: кедей байға, бай құдайға жетем дейді. Ай, суета сует!..

СТАРОСТЬ

Есть у моего любимого Германа Гессе эссе «Старость». Оно написано писателем в том возрасте, в котором я пребываю нынче (79 лет). Эссе написано мудрым человеком, славно потрудившимся и многое пережившим. С Германом Гессе я могу себя сопоставить только годами и обретенными недугами, ощущением груза лет.

Цитирую: «Старость – это ступень нашей жизни, имеющая, как все другие ее ступени, собственное лицо, собственную атмосферу и температуру, собственные радости и горести».

И еще цитата: «Короче говоря, чтобы в старости исполнить свое назначение и справиться со своей задачей, надо быть согласным со старостью и со всем, что она приносит с собой, надо сказать ей «да». Без этого «да», без готовности отдаться тому, чего требует от нас природа, мы теряем – стары или молоды – ценность и смысл своих дней и обманываем жизнь».

О да... я полностью с этим согласен. А куда, собственно, де-нешься?

И я чувствую ныне свою старость, изнуренность. Но больше телом, плотью, чем духом.

Наверное, это знакомо большинству моих сверстников.

В письме Томасу Манну Гессе пишет:

«Таков важнейший внешний повод для моего скверного состояния. К этому прибавляется физическая слабость: трудно жить, когда годами не бывает буквально и дня без боли, причем, боли не в коленях, в пальцах ног или спине (с подагрой, ревматизмом и т. п. я всегда без особого ропота справлялся), а в глазах и в голове» (от 25 октября 1946 г.).

Я ныне – тьфу-тьфу! – пока немного шкрябаю пером, читаю, глотаю изрядно лекарства, придерживаюсь строгого режима, поскрипываю, одним словом, на экран не лезу, стараюсь никому глаза не мозолить и благодарю судьбу за каждый осмысленно прожитый день.

С кем главным образом общаюсь? С Гете, с Томасом Манном, с Германом Гессе, с Львом Толстым, с мудрецами-философами. Они меня утешают, ублажают. Убедился в мудрости казахских «тәубе, тәубе» и «шүкір, шүкір».

СОПАЛАТНИК КУЗНЕЦОВ

Познакомился я с этим старцем – по фамилии Кузнецов – лет, дай Бог памяти, 13–15 назад. Когда меня с очередными сердечными делами «скорая» доставила в больницу (в просторечии «совминовскую»), я встретил его – из-за отсутствия мест в палате – в каком-то служебном помещении, и он мне сразу сообщил, что сегодня ему исполнилось 94 года. Помню, я тогда сильно удивился.

Дня через два подселили его ко мне в палату, и я узнал, что он теплотехник и зовут его Виктор Григорьевич.

Мне он понравился: сухопарый шебутной старичок, неуклюжий, суетливый, немного назойливый, добрый, речистый. Шаркал из угла в угол, что-то все перебирал в котомке, что-то бормотал и обо всем, что говорил, тут же забывал.

Я с трудом переношу больничное соседство, но этот старец меня не раздражал. Его приглашали в процедурную на укол, а он шел в столовую на обед, забыв, что только что позавтракал. Туалет навещал каждые полчаса, не помня, зачем сюда зашел. Все хватал, все ронял, палату свою никак не запоминал. Случалось, вваливался в соседнюю женскую палату и удивлялся, что вроде на его койке разлеглась какая-то баба. Осознав свою ошибку, смеялся над собой.

Говорил беспрестанно, часто сам с собой. Имя мое было ему непосильно. Называл то Георгием, то Героем, то Ромуальдом, то Рейнгардом.

Жена его скончалась три месяца назад. Ей было без 50 дней 85 лет. Вот эти «без 50 дней» старик постоянно твердил с сожалением. С тем, что жена прожила всего 85 лет, старик видно, смирился, а то, что не дотянула она до 85 лет пятьдесят дней, ему покоя не давало. «Все равно жалко», – вздыхал он. Пенсию

она получала 2857 тенге. У самого пенсия 8500. Теперь живет с дочерью. Ее пенсия 3000. Этими данными он поделился со мной сразу же. Я рассказал ему, сколько получают госслужащие и депутаты. Старик задумался: «А Назарбаев говорит об единстве. Какое может быть единство, когда такая разница в доходах? За что такую пенсию получает секретарь? За какие заслуги? Надо отменить льготы».

Через паузу он говорил: «Вы все только ругаете царскую Россию. А там много хорошего было. Какой самогон? Царская Россия за это карала. У нас в Костроме самогона не было».

Другая его неизменная тема: «У нас подхалимы и фанатики в большой дозе. Мертвецов, и тех грабят. Все воруют».

Он был на похоронах Маяковского. Видел его в гробу. На рабфаке учился с Иваном Шуховым. «Несерьезный. Неряшливый был». А у Маяковского жена была Брик. Лия ее звали.

В шутку я спросил: «Крепостное право не помните?»

Нет, крепостного права не помнил. Но золотой пятак, выпущенный в 1861 году, еще видел. И праздник по случаю 300-летия Дома Романовых помнил хорошо.

Вдруг заговорил о Храпунове, бургомистре Алматы.

— Он старается.

— Что?

— Ста-ра-ет-ся, — почти кричу.

— А — я ... из Тараза...

— Да нет... Ста-ра-ет-ся... — надрываюсь.

— Из Саратова?... Из Кустаная?..

Рассказывает: «Я видел Павлова — маленький такой старичишка. Говорил: не пей, не кури, доживешь до девяноста девяти. А сам прожил только восемьдесят девять. Видел я его в Ленинграде...»

«Что-то мухи ко мне липнут. Неужели уже разлагаюсь? Пойду в субботу домой, в ванне помоюсь. А то даже грибами пахну...»

Сидит, о чем-то думает, бессвязно лопочет в пространство:

- Коль теперь отдыхает. 16 лет страной правил.
- А Назарбаев хитрый... И ловкий...
- Что-то сегодня совсем раскис. Что поделаешь?

Возраст. Надо доживать...

- Где я мог простудиться? У бабушки на печке...

– В 37-м язык за зубами держал, и ничего. А брат болтун был, попался, начальник тюрьмы списал его на мертвеца... Он потом по ложным документам в Узбекистане прятался. В 28–32-х годах много студентов забирали. До 29-го года ничего жизнь была. Много стукачей. Сталина живым не видел, а мертвого видел... Он в Кремле лежал, в мавзолее рядом с Лениным... Нет, спортом никогда не занимался, а работой занимался...

За окном дождь лил, лил и перешел в снег. «Снег выпал», – говорю старику. Он тотчас отзывается:

– «Зима! Крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь...» А дальше не помню. Плохая память.

Я подсказываю:

- «Его лошадка, снег почуя...»

– Да, да! Вот вы помните... – и продолжает, – «Плетется рысью как-нибудь...» Сына он назвал Сашкой, был генералом...

- Кто?

– Да Пушкина сын, Сашка... Работал в Казгоре. За время, пока я на пенсии, выросло целое поколение. Что я не люблю по радио, так это буги-вуги. Другое дело, когда передают Шаляпина, Лемешева. Самородки! А буги-вуги не терплю...

Многое наговорил-порассказал 94-летний старец Кузнецов за дни нашей лежки в больнице. Теперь жалею, что не записывал все его монологи. Да-а... должно быть, он давно помер.

ФИЛОСОФ ПОМЕРАНЦ

Мои сведения о философе Померанце довольно скудны. Знаю: его довольно долго держали в тени, в ежовых рукавицах. И скончался он в глубокой старости, около ста лет.

И вот три или четыре вечера подряд по каналу «Культура» передавали беседу Померанца и его супруги, автора «Философских этюдов» Зинаиды Муркиной. Любопытно, сложно, порой мудрено рассуждали они на камеру о бездне в романах Достоевского, о божьем свете, о нравственных терзаниях героев русского художника-мыслителя, об их страданиях, метаниях, страстях и откровениях. Престарелый философ (ему во время записи было 95 лет) рассуждал монотонно, напряженно, глухим, суховатым голосом, читал отрывки из своей книги, перебирал исписанные листки, временами его дополняла, комментировала, разъясняла умная, раскованная, очень убедительная жена, и слушать все это было не всегда понятно, но интересно.

Немного позабавило меня их глубокое рассуждение о том, что, мол, надо обнажать не тело, не плоть, а душу, сердце, ибо только в этом предназначение человека и смысл познания.

Я подумал: это верно, но когда и как. К чему, скажем, двадцатилетней ядреной девахе обнажать свою душу и сердце? Душа еще не созрела, да и сердце, скорее, пустое. Она лучше обнажит свое тело – лицо, грудь, ноги, попу в пределах возможного. Ей важно себя именно так демонстрировать, что бы ей любовались, восхищались, чтобы ее вожелдели. А старухе своего дряхлого, бесформенного, вялого тела обнажить вовсе ни к чему, вот она и обнажает свою душу и сердце, если у ней, разумеется, они есть и если в них есть что показывать. Так что тезис Григория Померанца и его мудрой спутницы жены явно сомнителен.

Вспоминалась по этому поводу реплика одного казаха-острослова. Глядя в магазине «Океан» на

плавающих в бассейне рыб, он спросил у продавца: «А рыба свежая?» – «Но вы же видите, она живая!» – воскликнула продавщица. Казах ухмыльнулся: «У меня жена тоже живая, но никто не скажет, что она свежая...»

А ночью мне приснился шуплый философ-одуванчик Померанц. Мы вдвоем рассматривали, листали какие-то давние фолианты. Философ знал все эти тексты, пространно, витиевато рассуждал о них, а я только хлопал ушами, сгорал от стыда, ибо ничего не знал, не читал и чувствовал себя ужасно неловко и удрученно. Лишь проснувшись, избавился от тяжкого наваждения.

Читая Шаханова

(«Жас алаш», 12 сентября 2013 г.)

Женятся Манкурты –
Манкурт родится.
От мусора мусор
Плодится.
О дуние бренный мир!
Миру – мир.
За пиром – пир.
Где ты, где ты, ұлт сана?
Куда ни глянь, сплошь далбаса.
Уай! Жаса! Пляши, ойна!
Все равно грядет хана...

«Лучше поздно, чем никогда»

Какая лапидарная и энергичная формула!
Выражение это существует, кажется, во всех языках.
Крепкий аналог придумали казахи: «Ештен кеш жақсы». Гениально!

А ведь кому-то принадлежит эта мудрость. Кто-то изрек ее впервые.

И кто?

Оказывается, античный Тит Ливий. Так уверяет книжица «Мудрость тысячелетий» (Санкт-Петербург: изд-во «Сова», 2007).

А может, это сказал кто-то еще и до Тита Ливия?

КАК ОБЪЕДИНИТЬ ЛЮДЕЙ

Порою меня охватывает глубокая неприязнь к себе оттого, что все чаще подвергаюсь старческому ворчанию. Многое, что я вижу, что слышу, с чем сталкиваюсь повседневно в нашем обществе, мне откровенно не по душе. Вот и часто ворчу. И сам себе не мил. Да что там не мил – противен.

Ну, в самом деле, на кой ляд мне сдалась власть мародеров? Господа, дорвавшиеся до власти, так устроены. Их охватил древний инстинкт: если враг грабит твой аул, грабь вместе, хватай все, что плохо лежит. Хватай, точно волк, как можно больше, впрок, а там видно будет, куда кривая выведет. Может, повезет, может, удастся избежать расплаты-кары. Лишь бы сегодня было хорошо.

Аллах с ними! Я ведь им не судья.

Стойко недоволен я также нашей так называемой интеллигенцией – зиялы қауым. Увы, не интеллигенты они вовсе, а образованцы (по Солженицыну), конформисты, шкурники, попрошайки, матерые стукачи.

Ну и какой смысл их честить, корить, разоблачать? Так сложилось. Горбатого только могила исправит. Какой же смысл мне ворчать? И, в конце концов, кто я такой, чтобы всех судить-рядить? Да еще собратьев-коллег иного рода-племени.

Ну и зачем мне вообще обо всем этом писать? Зачем дразнить гусей? Ведь, по большому счету, наверняка и я такой же пенде, обитатель бишаринского уютя, продавленного дивана, всего-навсего пенсионер аль-Дивани. Так с какой стати ты много берешь на себя и скулишь в тени, в закутке? Может, разумно помалкивать?

Да Толстой не велит. И совесть скребет. Душа корчится. Взыскует: «Не могу молчать!»

Вот убийственная формула, выведенная Альбером Камю о современном человеке: «Он блудил и читал газеты».

А ведь это вполне приложимо к облику современного азамата. Правда, газеты он ныне не особенно читает – некогда, надо было делать и блудить в широком смысле, т. е. воровать, хапать, выкручиваться, угождать, приспособливаться, заботиться о собственной шкуре.

Как от этой заразы следует излечиться?

У меня нет рецепта.

Тот рецепт, который предлагает Альбер Камю в своей философской повести «Чума», слишком радикален и страшен. Вот этот рецепт:

«Единственный способ объединить людей – это послать на них чуму».

Вот такое чистилище!

Поневоле воскликнешь: «Астафиралла!»

Помилуй, Аллах: я до такого – при всем моем скептицизме – пока не додумался.

Пәлесінен аулак!

Чистилище от скверны таким образом – прерогатива исключительно одного Абсолюта.

ГАНС МАГНУС ЭНЦЕНСБЕРГЕР

Не знаю, жив ли ныне Ганс Магнус Энценсбергер. Если жив, то ему должно быть 84 года, ибо хорошо запомнил, что он на пять лет старше меня. Он был рупором легендарной писательской организации в Германии – «Группы 47». Я в свое время с большим интересом и трепетом читал его в немецких изданиях и – реже – в русском переводе. В 60–70-е годы прошлого века он часто приезжал в СССР и даже в какой-то мере говорил по-русски (наравне с английским, французским, испанским, шведским, итальянским, датским). Вообще-то, чем он только не занимался! Горизонт его интересов и увлечений был необычайно широк: поэзия, проза, публицистика, очеркистика, эссеистика, критика, философия, политика, издание книг, редакторство и даже математика. Очень свободный, мыслящий, дерзкий, эпатажный был человек. Ни на кого не похож. В СССР его не больно жаловали: числился диссидентом, не вписывался в принятые каноны, вечно плыл против течения.

Из казахских писателей его читали только Аскар Сулейменов и Ануар Алимжанов (он, кажется, даже встречался с ним где-то на литературных тусовках).

Гансу Магнусу хотелось даже подражать («болмасанда ұксап бак») – именно его внутренней свободе, раскованности, вольности. Меня привлекала даже его стилистика. Но подражать Энценсбергеру в условиях СССР (а тем паче Казахстана) было абсолютно безнадежно.

Выражался он резко и неожиданно.

«Занятие политикой есть прощание с жизнью, поцелуй смерти».

«Мое честолюбие связано с моей работой. Дело

писателя – сидеть дома за столом и писать. Потому его и называют писателем».

«Человек, у которого мало денег, но кто интересуется культурой, является культурным человеком».

«Высокая культура всегда остается в обществе уделом меньшинства».

«Политик и проповедник утратили авторитет».

Эти сентенции я выудил из интервью Ганса Магнуса Энценсбергера с корреспондентом «Литературной газеты» в 1993 году. Тогда он был в зените славы. Стихи его, помнится, печатались в «Иностранной литературе». У меня среди бумаг сохранилось его интервью с В. Запеваловым.

Жаль: я не могу назвать ни одного казахского писателя, который был бы хоть немного похож на него. Другая аура, иные нравы. Из русских, полагаю, ему интеллектуально близок Андрей Битов.

ВОТ ВЕДЬ В ЧЕМ ДЕЛО

Люблю читать интервью именитых писателей и ученых. Ощущение такое, будто сам непосредственно беседуешь с яркими личностями, очищаешь душу, облагораживаешь сердце. Есть писатели, которые вообще, принципиально не дают интервью, предпочитая самим излагать свои сокровенные мысли. Есть писатели, которые дают интервью очень редко и неохотно. Тем они особенно интересны. Я лично за свою жизнь давал сотни интервью, о чем ныне нередко жалею. Бывали глупые вопросы, на которые отвечал по-попугайски. Или мямлил нечто несущественное. Много зряшного наговорено.

Нравится мне в этом смысле установка американского писателя Джона Апдайка (автора романов «Кентавр», «Ферма», «Давай поженимся», «Кролик, беги») Его в 60–80-е годы прошлого века обильно печатали в СССР (в «Иностранной литературе» в частности). В 1964 году он приезжал в Москву, ознакомился со многими известными в ту пору писателями. Когда корреспондент «Литературной газеты» просил его неоднократно об интервью, он, наконец, откликнулся: «Можете ли вы мне сказать, почему я должен давать интервью и сколько моего времени для этого потребуется?»

Очень резонно.

Именно так надо ставить вопрос.

Надо бы взять на вооружение.

Вот его мысль, которая меня всколыхнула:

«Люди, мне кажется, испытывают духовный голод. И не на шутку испуганы. Чем? Перспективой встречи с вечностью, неумолимой и осознаваемой с того момента, как человек вступает в жизнь. Ты просыпаешься утром,

надеваешь на лицо улыбку, но постоянно осознаешь бренность бытия».

Джон Апдайк это сказал в 65-летнем возрасте (он 1932 года рождения). Смотрите «ЛГ» от 15 января 1997 г. И то, что он тогда сказал, мне нынче особенно близко. Действительно, пишешь, говоришь, контактируешь с людьми, всячески бодрисься, а сам постоянно осознаешь бренность всего сущего. Писателю это должно быть особенно свойственно.

Вот еще одно его суждение.

«Для автора, художника важно право говорить то, что думаешь. И не бояться, что кто-то посадит тебя за это в тюрьму».

Мысль расхожая и правомерная во все времена. Однако у нас, в Казахстане, думаю, писатели редко говорят то, что думают, а озвучивают, словесно оформляют то, что надобно властьюпредержащим.

«Вот ведь в чем дело», – говорил в таких случаях покойный Морис Симашко.

А еще говорит Джон Апдайк:

«Нормальным же является положение, когда ты пишешь для многочисленной элиты, которая располагает свободным временем для чтения и понимания предмета».

В Казахстане мы сейчас к этому пришли. Писатели вынуждены довольствоваться 1000 – 2000 тиражами. На большее редко кто может рассчитывать.

«Реальная картинка будущего может быть очень мрачной», – предрекает американский писатель.

Мне добавить к этой сентенции нечего.

Я часто пишу рецензии, обзоры книг (мой кумир по этой части Герман Гессе). И мне приятно, что этим занимался и Джон Апдайк. По этому поводу он выразился так: «Людам нравятся обзоры книг – это избавляет от необходимости их читать».

С любовью говорил Апдайк о русской литературе. В интервью он упоминает Льва Толстого, Достоевского, Пушкина, Тургенева, Чехова, Набокова. Из современников – Евтушенко, Вознесенского, Аксенова.

Вообще американцы создали великую литературу. Жаль, что мои казахстанские коллеги ее крайне мало знают.

ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ

О том, что в многонациональном Казахстане давно установились весьма толерантные, даже дружеские, братские человеческие отношения между народами, я не однажды писал и говорил с гордостью и восхищением.

Однако каким образом это случилось?

Откуда такой феномен? Или – как одно время говорили – лаборатория?

Кто заложил основу такого братства?

Ответ – если смотреть в корень – неожидан и парадоксален: С-т-а-л-и-н!

Да, да, тот самый. Хоть смейся, хоть плачь.

Усатый, подозрительный великий вождь, видевший во всех тайных врагов, врагов народа, никому не доверявший, сославший тьму-темь «неблагонадежных» народов в неохватный Казахстан, сам того не желая, помимо своей воли, заложил основы истинного интернационализма.

Смутно я это чувствовал всегда, с малых лет, как только был депортирован с берегов Волги на берег Есиля. Но не мог эту очевидную мысль сформулировать четко и ясно, пока не укрепил меня в моей догадке российский немецкий писатель, живущий с 1997 года в Германии, – Игорь Шёнфельд в своем остром, беспощадном в своей правдивости романе «Дороги Августа».

Вот этот пассаж:

«Август вообще становился постепенно русским человеком – не в смысле национальности, а в смысле ощущения причастности к единой беде: много их было в Казахстане, несчастных депортированных немцев Поволжья, но и русских со всей страны было тут не меньше. И не только русских, но и корейцев, греков, венгров, финнов, итальянцев, румын: воистину

огромен и многонационален был народ, объявленный Иосифом Сталиным своим врагом... при котором бесправные немцы, корейцы, греки, чеченцы, венгры, финны, итальянцы и румыны стали братьями одной, единой беды. Да, это было то самое братство, в котором чеченец без всяких плакатов и призывов стал братом и немцу, и крымскому татарину, и белорусскому поляку».

Так получилось: собрал-согнал великий вождь оболганных, униженных и оскорбленных в одну кучу и сотворил интернациональный дух, костяк братских народов на бескрайних просторах Казахстана. А ведь он совсем не то хотел. Жизнь внесла существенные коррективы.

ПОДРАНКИ

По себе знаю: очень непросто жить с пущербным сознанием репрессированного, депортированного. Память прошлого преследует всю жизнь. Память становится садистом, палачом, истязателем. И в отчаянии кажется, что легче жить без прошлого, без памяти.

Волком выть хочется. Память парализует порой волю, все твоё существо. Чтобы изжить её, нужно несколько поколений. Память эта зарождается генетически, ещё в утробе матери. Писатель Игорь Шёнфельд в романе «Дороги Августа» пишет о своём герое: «Он научился жить без мыслей. Или только с минимальными мыслями. Потому что мысли будили отчаяние. А жить с отчаянием в сердце было тяжело до невозможности. Но жить было нужно: ради будущего».

А ведь так жили-выживали все мои соплеменники – моё поколение и старшее. Народ (российские немцы) был обречен на гибель, на голодомор, на методическое истребление.

Все стали подранками. И живут, стиснув зубы. Некоторые (редкое исключение) кажутся вполне благополучными. Как я, например. Вроде жаловаться грешно. Кому какое дело до моих душевных терзаний?

А во сне и поныне езжу под конвоем в ссылку в товарном щелястом вагоне (восемь семей, по сорок человек), не смея даже плакать и обиваю пороги комендатуры, неприкаянно брожу – голодный и холодный – спецпереселенцем, неблагонадежным, изгоем с тавром шпиона и диверсанта, как аттестовал нас великий вожь всех времен и народов...

Е, ШҮКІР, ШҮКІР...

Сидят старики на скамеечке, греются на хилом осеннем солнце, травят тары-бары.

– А поговаривают, уходит...

– Когда?

– То ли зимой, то ли весной...

– С какой стати?

– Болен, что ли... Да и надоело все. Неинтересно все.

– Ну, да. Цели достигнуты. Кругом благодать.

– Қой! Что-то не похоже.

– Э, пусть сидит. Все как-то приноровились, приспособились. Примерно знают сколько и как воровать.

– А уйдет – баланс нарушится. Кто-то зарвется, заведется и начнут друг друга за глотку хватать.

– Ия, ия... Пусть сидит.

– Пусть... Сколько захочет...

– Не то хуже будет.

– Солайы солай! Но когда-то ведь уйдет?

– Но сначала мы уйдем, а он еще подумает.

– Э, мейлі! Нам-то какое дело?

– Нас никто и спрашивать не будет.

– Лишь бы пенсию платил вовремя.

– Шай-пай есть – и ладно.

– Шүкір, шүкір!

– Тәуба, тәуба!..

СТАЛИН И ПУШКИН

(по А. Кадырову)

В кабинет вождя входит генерал Власик.

– Иосиф Виссарионович, к вам просится Александр Сергеевич Пушкин.

Сталин: Кто такой?

Власик: Писатель, поэт.

Сталин: А что он написал?

Власик: Ну, «Онегин», «Руслан и Людмила», «Памятник».

Сталин: А на грузинскую тему что-нибудь написал?

Власик: Да, «Путешествие в Эрзерум».

Сталин: Ладно. Пускай заходит.

Входит Пушкин. Снимает цилиндр. Почтительно кланяется.

Сталин: О, товарищ Пушкин?! Рад, рад! Вы написали дивную штуку об Эрзеруме. Мы все вас хорошо знаем. Гордимся вами. Слушаю вас.

Пушкин: Благодарю вас, Иосиф Виссарионович! Мне очень приятно слышать ваши слова. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой...

Сталин (подхватывая). Да, да! И назовет меня всяк сущий в ней язык... Я слушаю вас, товарищ Пушкин.

Пушкин: Простите милостиво. Но у меня три просьбы...

Сталин: Говорите. Я весь внимание. Для гения русской литературы мы сделаем все.

Пушкин: Первое. Я стою на пьедестале с непокрытой головой. Дождь, понимаете, снег, ветер... Зябко. Опять-таки вороны, воробьи, голуби...

Сталин: Понятно. Нехорошо... Этот вопрос, товарищ Пушкин, мы решим безотлагательно.

(Поднимает трубку.)

Горсовет? Почему это у вас поэт Пушкин в холод и жару стоит на памятнике с непокрытой головой? Непорядок! Дайте ему квартиру на улице Горького. Все! Слушаю вас, товарищ Пушкин.

Пушкин: Второе. Я замечаю: многие мои книги мало печатают.

(Сталин поднимает трубку.)

Сталин: Госпечать? Чем вы там занимаетесь? Страна Пушкина не знает. Издайте его для трудящихся миллионным тиражом! Да!.. Я слушаю вас, товарищ Пушкин.

Пушкин: Третья просьба. Меня хочет убить некий Дантес. Преследует меня на каждом шагу. Женке проходу не дает.

(Сталин, чуть помедлив, поднимает телефонную трубку.)

Сталин: Лаврентий! Ты Пушкина знаешь?

Берия: Знаю. Но еще больше его жену – Натали.

Сталин: Читал?

Берия: Читал.

Сталин: А что там читал?

Берия: «Путешествие в Эрзерум».

Сталин: Так вот товарища Пушкина хочет убить некто Дантес. Прими меры. Незамедлительно!

Берия: Будет сделано, товарищ Сталин.

Сталин: Слушаю вас, товарищ Пушкин.

Пушкин: Я тронут вашим вниманием, Иосиф Виссарионович. Вы решили все мои проблемы.

(Пушкин кланяется и уходит.)

Сталин озабоченно поднимает трубку.)

Сталин: Товарищ Дантес?.. Пушкин только что вышел от меня... Удачи!..

КАЗАХСКИЕ ЗАПРЕТЫ

В них выражена философия, мировоззрение, мировосприятие степняка. Я вырос в этой ауре и следую ее мудростям, ее общечеловеческим ценностям. Вот некоторые нравственные постулаты в моем переводе.

Не наступай на дастархан, на пищу.

Не смейся над физическими недостатками людей, над убогими и ущербными.

Не пинай скотину, посуду, еду.

Не мочись и не плюй в воду, не мути, не взбалтывай ее.

Не рви траву и волосы свои.

Не бегай вокруг жилища.

Не распирай и не обнимай косяк двери.

Не наступай и не садись на порог.

Не бей скотину и кров свой.

Не скачи, не беги мимо погоста.

Не указывай пальцем на кладбище, нужду свою у могил не справляй.

Не лей черпаком пищу в собачью плошку.

Ночью не подметай жилище и ногти не стриги.

Дорогу старших не переступай, речь их не перебивай.

Руками бока не подпирай, о землю не опирайся, подбородок не стискивай.

Лицо ладонями не скрывай.

Колени не обнимай.

Понарошку не плачь.

Людей и звезд не считай.

Метлу стоямя не ставь.

Руки не сплетай.

Ножом, ружьем на человека не указывай.

Пустую люльку не качай.
На Коран, на хлеб не ступай.
Близкому человеку нож не дари.
На соль, на золу не наступай.
С огнем не играй, через огонь не шагни, на огонь не
плюй.
Хлеб на пол не бросай, на хлеб ничего не клади.
В неурочный час не спи, не плачь, не выражай
соболезнования.
Шапку задом наперед не надевай.
В дом, запыхавшись, не забегай.
Дома не свисти.
Веревку, ремень на шею себе не закидывай.
На луну рукой не указывай.
Не плюй в колодец, в посуду, в небо.
В воду в ведре рот не погружай.
Раньше старших в речь не встревай.
Прежде старших к еде не тянись.
Прежде старших не садись, не ложись.
Старшим не перечь.
Не ходи туда, куда не позвали.
Не вваливайся в дом без разрешения.
Прилюдно не рыгай, не чешись, не ковыряйся в носу,
в ушах.
Землю плетью не хлещи, прутом не бей, в злобе не
топай.
Детей не пугай.
Не оседлай лошадь задом наперед.
Не раскачивай лодку.
Не лги, не сквернословь.
Не хвались, не кичись.
К женщине силу не применяй.
Скотину не ругай.
Пищу не оскверняй.
Над божьей тварью не глумись.
Не ахай, не вздыхай.
Лбом о землю не бейся.
Не ложись лицом вниз.
Дурных привычек не показывай.
Не обрастай волосней, не отращивай ногтей.

На чужую постель не садись.
На пятки не садись, не отворачивай лица.
Левой рукой не ешь.
Брюки под голову не клади.
Руки за спину не закладывай.
Ночью золу не вытаскивай.
Завтраком не пренебрегай.
Не помаргивай зря.
Не скрещивай руки на груди.
Не забирайся ногами на стул.
В лицо ребенка не дуй.
Ногти не обкусывай.

**(См. газету «Алматы айнасы» за 21 и 27
ноября 2013 г.)**

БАБУШКА

С некоторых пор я с опаской раскрываю газеты и включаю телевизор: боюсь услышать черные хабары про безвозвратные командировки моих друзей и знакомых.

Мое поколение ныне бредет по краю обрыва.

Время, когда о смерти ничего не знаешь, не ведаешь, осталось далеко позади.

Первая смерть, которую я видел и которая оставила в моей душе тягостный след, была кончина моей бабушки.

Звали ее Элизабет-Мария, в девичестве Зельцер, в просторечии Лизбет, и случилось это горе зимой 1941 года в селе Мангейм Гнаденфлюрского кантона в Поволжье.

Мне шел тогда седьмой год, а бабушке – семидесятый, и внуков у нее было – мне не сосчитать. И в этой ораве я был единственный «городской», и мне было сподручнее общаться по-русски, нежели на гессенском наречии. Моих родичей, помню, это забавляло.

Бабушку я побаивался, в ее просторном деревянном доме с заброшенным подворьем было неуютно, пахло нежитью. Да и сама она – суровая, сухопарая, длиннолицая, долговязая, в длинной, до пят, просторной застиранной юбке, бесцветной мятой кофте, черном платке, из-под которого свисали по краям седые космы, тонкогубая, морщинистая, носатая, с глухим ворчливым голосом – к себе не располагала.

Представить ее молодой я не мог. Знал: от моего дедушки Фридриха Бельгера, умершего в голодомор 1921 года, крестьянина-батрака, она родила пятерых сыновей и двух дочерей. По всему умученному изнуренному облику моей бабушки можно было

безошибочно догадаться, что ее семья никогда не ела досыта. Нищета сопровождала ее и при русском кайзере, и при советской власти.

Правда, это я осознал-уразумел значительно позже.

Бабушка умирала долго. Рак пожирал ее медленно. Смертный огонь сжигал-испепелял ее изнутри, ей носили лед из погребов, и она жадно глотала эти сырые, хрупкие льдинки.

Хоронили ее всем селом. Сохранилась фотография: в просторном дворе возле гроба стоят скорбящие. Я в валенках, шубке, шапке, обвязанный шарфом, в рукавичках стою рядом с мамой, одетой по-городскому. Мы тогда жили в Энгельсе, в летной школе, где санинструктором служил отец, а в Мангейм наведывались часто.

Упокоили бабушку на местном убогом кладбище, Я тогда никак не мог понять, как такое происходит: жила-была бабушка, которая, кажется, по-своему меня любила, и вдруг от нее в степи за селом остался едва заметный бугорок.

Потом и его не стало.

И Мангейм исчез с лица земли.

И Республика немцев Поволжья державной волей в одночасье сгинула.

Далее последовали Указ о выселении «десятков тысяч диверсантов и шпионов», депортация в телячьих вагонах, ссылка, трудармия, комендатура, всяческие ограничения, сознательное истребление «неблагонадежного контингента», законопослушного, трудолюбивого народа, который имел несчастье родиться в России немцем и называться руссландойче.

Ну, все это ныне известно в деталях. Три миллиона руссландойче, переселившихся в Германию, все это знают и помнят, как и те, что остались в России и Казахстане.

Бабушку ее лютеранский Бог от всего этого спас.

Может, она предчувствовала все беды, которые вскорости гибельно обрушились на тех, к кому и она принадлежала?

Вряд ли...

Ведь зимой 1941 года никто о том не помышлял. И намека на то не было.

Гром разразился на исходе августа. И разом все оборвалось, все рухнуло, все улетучилось.

И немецкие ухоженные села, и образцовая республика, и надежды-чаяния, и человеческие души и судьбы.

Народ перемололи, измолотили, затравили, истребили.

Но не о том я веду здесь речь. О том я писал и говорил не однажды.

Я о моей бабушке, которая ценой жизни, своей смертью, обрела избавление от всех предстоявших невероятных, невысказанных, неисчислимых утрат и мук.

Господи, сколько лет с тех пор миновало. Ныне я уже старше своей бабушки. И вспоминающих то время совсем, видно, мало осталось.

7 января 2014 г.

МАМА

Мама ушла от нас в мае 1994 года в Ташкенте, не дожив несколько месяцев до моего 60-летия.

Отмаялась...

Сам я ныне приближаюсь к восьмидесяти годам. А о маме думаю с любовью и благодарностью постоянно.

В спальне висит ее портрет. Она глядит из небытия спокойно и сосредоточенно. Каждое утро, заправляя постель, я всматриваюсь в родные черты, мысленно обнимаю за крепкие плечи и по-сыновьи кланяюсь ей.

«Мама, я здесь!»

Никто меня так не любил, как она. И знаю: аруах ее незримый поддерживает меня и поныне. Она главная моя опора на земле.

В первые годы ссылки в Казахстане она была моей единственной собеседницей. Отец мотался по аулам, обслуживал страждущих. Тамырами я еще не обзавелся. Сестренка была еще безъязыкой. Мама, щуплая, невысокого роста, темноглазая дочь-смуглянка сельского капельмейстера, кларнетиста Давида Гертера, старшая в семье, с ранних лет сполна испытала все тяготы судьбы поволжской немки. Все прошло на ее глазах: бесконечные житейские хлопоты, непосильный труд, нескончаемые заботы, нянька в пасторском доме, советизация страны, коллективизация, голодомор в начале 30-х годов прошлого века, замужество, жизнь в летной школе в Энгельсе, депортация, ссылка, социальные ограничения, новая среда обитания в Казахстане и Узбекистане, быт со скудными радостями, арест отца в 1932 году, смерти братьев, сестер, матери, родных мужа – всего и не перечислить.

И я, ее первенец, многое из того помню. Помню и исповедальные рассказы мамы. Ее песни, сказки,

воспоминания о земляках-мангеймовцах. О нравах и обычаях немцев-колонистов, выходцев из германских земель.

Девочек в немецких колониях (немцы-переселенцы в России жили колониями, отсюда – колонисты) приучали к систематическому труду и разумному порядку с малых лет. И немки (мальчики, впрочем, тоже) умели по хозяйству многое. И маму я помню в вечных хлопотах и занятиях. И умела она все. Попытаюсь сейчас кое-что перечислить. Она умела содержать дом в образцовом порядке, экономить, готовить всевозможные блюда, т. е. варить, печь, жарить, парить, тушить, солить, месить тесто, квасить капусту, доить корову, сбивать масло, варить сыр, штопать, прясть, вышивать, кроить, шить, латать, теребить шерсть, вязать, обихаживать скот, кормить и ощипывать птиц, убирать в медпункте, оказывать первую медицинскую помощь, огородничать, поливать грядки, пилить, рубить дрова, топить печки, стирать, гладить, мазать, штукатурить, белить, наводить во всем блеск, находить время для чтения, несмотря на скудное образование, на писание диктантов, хотя и говорила по-русски с неистребимым немецким акцентом, аккомпанировать себе на гитаре (особенно в молодые годы), общаться с соседями... О, разве все упомнишь?! Вставала в шесть утра и ложилась в двенадцать, час ночи. Любую хворь-простуду переносила на ногах. Даже в трескучие сибирские морозы обходилась без варежек-рукавиц. И всегда руководствовалась строгим распорядком дня. И при всем этом воспитывала четверых детей. И из племянников всегда живали-подкармливались в семье двое-трое.

Ныне – насколько я могу судить – редко кто из женщин работает в таком режиме, в напряге, с таким осознанным рвением.

Много хлопот у мамы было и со мной. Я рос болезненным, с 12 лет передвигался на костылях, жил с болями, и в домашних делах помощником был никудышным. Помогал только отцу в ведении медицинских отчетов. Мои хвори, конечно, маму тяготили.

Но ко мне она неизменно проявляла терпение, нежность и заботу. Чему я и теперь поражаюсь. И я всегда старался отвечать ей взаимной любовью и деликатностью. Наверное, иногда мне это не удавалось...

И дети, и внуки сполна изведали ее доброту и ласку. Я тому свидетель.

О маме я не однажды писал в своих рассказах и повестях.

А роман «Зов» посвятил ее светлой памяти.

После похорон я заглянул в ее старый шифоньер и обнаружил в нижнем его углу кипу газет и стопку книжек с моими опусами. Красным карандашом была обведена моя фамилия. Мама оказалась моим первым библиографом. Было видно, что все она читала, хотя, полагаю, многое было ей непонятно. Ее пугали мои резкие колючие статьи социально-политического характера. Она желала, чтобы у меня была спокойная размеренная жизнь.

Я гордился мамой. Она гордилась мною. И любовь наша была взаимной.

Прах ее покоится на ташкентском кладбище «Домбрабад» рядом с могилами отца и моей сестры Розы. Три мраморных памятника стоят рядышком – половина нашей семьи. Последний раз я побывал здесь в день похорон отца – в ноябре 2002 года. Увы, до Ташкента мне, наверное, уже не добраться. Да и на отцовской усадьбе ныне обитают чужие люди...

БЛОКАДНИК

В эти дни (январь, февраль 2014 г.) в печати много пишут и вспоминают о 70-лети прорыва ленинградской блокады. Мне запомнились пронизанные болью и достоинством интервью с Даниилом Граниным, его выступление в Берлине, в Бундестаге; помню свидетельства Михаила Дудина, Андрея Битова, Роберта Лейнонена и многих других, видел документальные и художественные фильмы, не раз слушал знаменитую симфонию Шостаковича...

Но об этом апофеозе человеческого духа и стойкости я узнал позже.

Ну, а тогда, в годы войны, я, депортированный в глухой казахский аул малолеток, о ленинградской трагедии ничего не ведал. И «Ленинградцы дети мои!» Джамбула услышал впервые, кажется, где-то в пятом-шестом классе. Помню оригинал:

«Ленинградтық өренім,
Мақтанышым сен едің...»

В русском переводе этих строк больше пафоса, энергии, торжественности.

Не о том, однако, речь.

Суровые и лапидарные сводки Совинформбюро в чтении легендарного Левитана передавались из районного центра Марьевки по телефону лишь изредка, и слушали их в ауле, кажется, всего два-три человека, дежурившие в аулсовете. В том числе и мой отец. О прорыве ленинградской блокады в окрестных захудалых аулах Северного Казахстана никто ничего толком не знал.

А мне запомнился лишь один блокадник, непонятно

каким образом очутившийся в нашем краю. Ни примерного возраста его, ни национальности я определить не смог.

Был он предельно истощен, изнурен (сейчас я бы сказал: дистрофик крайней степени, но тогда я этого слова не знал), с провалившимися, потухшими глазами, с оттопыренными ушами, точно приклеенными к облезшему черепу, с несуразно большим носом, с тоненькими, как плети, руками, ужасно костлявый, трухлявый, высохший, сплюснутый.

Он производил впечатление заблудившегося скелета, древней мумии, лишенный всякого смысла и ориентира. «Тірі аруак» – определил я его для себя по-казахски.

Он и не говорил почти. Еле размыкал синюшные губы и глухо ронял какие-то словечки, которые и разбирать-то было мудрено. Казалось, он и от еды отвык. Долго жевал беззубым ртом хлеб, шамкал, всхлипывал, сопел, судорожно вел кадыком, стонал, неумело расколупывал яйцо, ронял ложку, еле удерживал в трясущихся руках обшарпанную кружку с ячменным кофе.

Я пугался его. Мама возилась у печки, изредка косилась на гостя, тихо бормотала: «Либер Хайланд! Майн Гот!» Отец из крохотного пузырька налил ему ложечку рыбьего жира и поспешно удалился в медпункт.

Гость попросился переночевать у нас одну ночь. Шел он, как я понял, в сторону Петропавловска – то ли в Дом инвалидов, то ли в какой-то лазарет. Было лето, тепло, но до Петропавловска надо было преодолеть 200 километров.

Отец обещал ему подводу до колхоза Мектеп, а дальше – как получится, как повезет. Мир не без добрых людей.

При медпункте были две комнатухи. В одной обосновались родители с сестренкой. В другой ночевал я с доходягой-пришельцем.

Ночь оказалась для меня бессонной. Почему-то вчера мне померещилось, что незнакомец меня непременно задушит или съест. Откуда такая фантазия – Бог весть. Приблизилось, и все.

А гость вздыхал, мучительно зевал, кряхтел,

стонал, сморкался, бредил, кого-то звал. Ворочался на скрипучей железной койке. Часто вставал, шатаясь и держась за стенку, выходил во двор, потом подолгу сидел на краешке койки, что-то бессвязно бормотал, вскрикивал, чмокал, жевал губами, чесался, пил воду. Я все слышал, но старался не шелохнуться. Мне чудилось, что гость хочет что-то сказать, но то ли забыл что, то ли не было сил.

Спал он, что называется, птичьим сном. Поднялся, едва забрезжил свет. Сел, скрючился у порога, привалился к косяку и забылся ненадолго, то и дело вздрагивая, как заморенная аулсоветская кляча.

Таких людей в нашем ауле не было.

Он не был похож ни на кого.

Утром мама завернула ему в узелок ломоть каравая, пяток круто сваренных яиц, несколько картофелин, бутылку молока. Пришелец прослезился, задрожал лиловыми губами. Прижал узелок к груди, глухо пролепетал:

– Спа-си-бо!..

Он пришел к нам, как тень. И ушел, как тень. Тихо, незаметно, будто растворился в тумане над Еси́лем.

Когда говорят о ленинградской блокаде, я живо представляю этого предельно истощенного, полуживого человека-скелета, в лихолетье мимовольно оказавшегося в нашем ауле.

И мне не нужно читать о тех страшных днях. Я вспоминаю того пилигрима и с содроганием понимаю, чувствую, ощущаю всю мерзость, грязь и горе войны.

Разное приходилось видеть, но пережить блокаду – Бог миловал.

КАДЫР

На рассвете (14 февраля 2014 года) вспомнился мне вдруг Қадыр (Мырза-Али). Когда осенью 1963 года Абдижамил Нурпеисов привел меня в журнал «Жұлдыз». Қадыр, если не ошибаюсь, работал в журнале ответсекретарем. Тогда мы и познакомились. Кажется, примерно в те годы вышла его книжка «Ой орманы».

Мне он сразу понравился и как человек, и как поэт. Острый на язык, склонный к юмору, к игре, созвучию слов, насмешливый, доброжелательный, с ним было приятно беседовать, зубоскалить. Поражали его работоспособность, аккуратность, рациональность, умение ценить время. По этим качествам он был больше немец, чем я. Благодаря строгой организованности, он успевал многое. Собрание его сочинений наверняка тянет томов на двадцать-двадцать пять. Пожалуй, и переводы его составят примерно столько же.

Мы не были друзьями. Но встречались часто, бывали вместе в командировках, беседовали, к концу его жизни большей частью по телефону. Я даже переводил детские его рассказы. За какой-то книгой он приходил ко мне домой.

Словом, он был мне приятен. И, думаю, мы были душевно расположены друг к другу.

Я был старше его на два месяца. «Ты две рубашки раньше меня износил», – шутил он. В его телефоне были две-три девятки. «О, проживешь до 90 лет!» – «С одним условием, – парировал он. – Вместе с тобой!»

Ушел он раньше времени. И я грущу, вспоминая его.

А ушли за последние годы много выдающихся казахских поэтов: Жүмекен, Өтежан, Қадыр, Тұманбай, Мұқағали, Қайрат, Кеңшілік, Сәкен, Фариза... всех сразу не упомяну. Всех я знал, со всеми сталкивался, общался, они были мои замандасы.

Мир их праху!

ЭДМУНД МАТЕР

Мой давний знакомец, автор нескольких прозаических и поэтических книг Эдмунд Матер, уже лет двадцать проживающий в Германии, позвонил мне на днях:

– Хочу доложить и, возможно, обрадовать Вас...

Голос бодрый, торжественный. В чем дело?

Десяток лет назад он задумал грандиозный труд – собрать все доступные сведения о выдающихся российских немцах, оставивших заметный след в литературе, журналистике, науке, педагогике, искусстве, политике, медицине, спорте, словом, во всех сферах человеческой деятельности.

Идею я горячо поддерживал, но весьма сомневался, что ее может осуществлять один человек, даже такой упрямый и въедливый, дотошный, как бывший сибирский немец Эдмунд Матер. Для того дела нужен по крайней мере отдел Академии наук.

Знаю, что говорю: имею представление как автор библиографического справочника «Российские немецкие писатели», изданного в Алма-Аты и дважды в Германии.

К тому же всегда стремился показать, что российские немцы не только отменные механизаторы и знатные свинарки-дойarki, как это охотно и настойчиво внедряли-вбивали в голову братских народов наши власть предержащие господа.

Вот за эту – казалось бы, непосильную – задачу и принялся российский немец Эдмунд Матер.

В 2009 году он издал в Германии (изд-во «Lichtzeichen») четырехтомный «Das Autorenlexikon der Russlanddeutschen», каждый том в объеме 600 и более страниц. В этот четырехтомник вошли любопытные

сведения о трех тысячах (!) авторов, что само по себе подчеркнуло роль немецкого элемента в российской культуре.

Об этих томах я написал четыре пространные статьи (под общим названием «Уникальное издание»), опубликованные в нескольких номерах газеты «Дойче Алльгемайне Цайтунг» и вошедшие попозже в мою книгу «Координаты».

На эти массивные тома отклики шли потоками со всех концов света. Читатели дополняли, уточняли, требовали переиздать их. И вскоре автор доверительно сообщил мне, что скорее всего доведет свой труд до шести томов.

И вот еще несколько лет спустя он мне сообщает, что определил- расположил свой многолетний объемный труд в Интернете в восьми (!) томах, каждый по 500 страниц, в которые вошли подробные сведения – биографические и библиографические – о 10 (!) тысячах именитых российских немцев. И теперь к этим сведениям проявляют живой интерес в Азии, Европе, Америке и даже Австралии, где ныне обитают разбросанные по всем странам-государствам потомки российских немцев, в изломанной судьбе которых повинна в первой степени пресловутая сталинская национальная политика.

Так уж повелось: хоть и запоздало, но справедливость восторжествует. Своим титаническим трудом Эдмунд Матер это доказал. Он соорудил-воздвиг своеобразный памятник своему многострадальному народу, память о котором – несмотря на все козни и преграды, усилия и каверзы гнусной политики и идеологии – не заросла травой забвения.

Честь и хвала ему за содеянное!

Я пишу об этом, чтобы поделиться своей радостью с моим читателем по поводу столь знаменательного факта. А в связи с этим намерен, кстати, напомнить об одной своей сокровенной мысли.

Вот уже 73 года я проживаю в многонациональной стране Казахии. В ней издавна обитают разные народности (цифры называются разные, но ясно,

что более ста), но друг о друге знаем мало. И совсем незначительно — на мой взгляд — ведаем о самих казахах. Зачастую наши познания поверхностны и приблизительны. И я давно думаю о том, что позарез нужна такая монументальная книга типа «Тысяча казахов, которых должны знать все». Такая познавательная и увлекательная книга была бы полезной всем, в том числе и самим казахам. Замечаю, что сами казахи своих выдающихся сокровников знают слабо, а кое-кто и вовсе никакого представления не имеет. А это уже — ни в какие ворота. Для граждан независимой страны, имеющей амбициозные цели, это никуда не годится.

Вот что я, взволнованный доброй вестью от германского собрата, посчитал нужным сказать.

А Эдмунду Матеру еще раз говорю: виват!

ВОСТОКОВЕДЫ

Мое внимание исстари привлекают востоковеды. Я тоже со школьных лет испытываю неустойчивую тягу к Востоку. Эта тайна манит неизбежно, как покрывало Иизды (есть такое крылатое выражение).

Востоком особенно пристально занимались немцы. При этом не только в германских университетах, но и в С.-Петербургском, Московском, Казанском и др. Немцами-востоковедами создано много капитальных трудов, да и о них, авторах, существует огромная литература – справочники, библиографии, словари, энциклопедии, объемные исследования, биографии, воспоминания.

Кое-что и мне известно. И судьбы этих людей потрясают.

В книге «Немецкие ученые – профессора Казанского университета» (Казань, 2004, тираж 2000, стр. 180) приводятся материалы к биографиям 34 ученых-немцев, преподававших в Казанском университете в первой половине XIX века: М. Ф. Бартельс, М. Г. Гермин, Х. Д. Френ, Э. А. Эверсман, И. А. Литтров и др.

Я обратил внимание на двух ученых-языковедов – Иосиф Федорович Готвальд и Франц Иванович Эрдман.

И. Ф. Готвальд (1813–1897) был профессором арабского и персидского языков. Одно время преподавал и английский язык. Первые труды по древним рукописям написал на латыни. Был глубоким знатоком мусульманской юриспруденции. Описывал арабские рукописи. Уже в пожилом возрасте он выпустил в свет «сборник мудрых изречений ходжи Ахмеда Ясави», за первым последовали второе, третье и четвертое дополненные издания. Издал Готвальд и «Опыт арабско-русского словаря» (1861). В Казанском

университете он прослужил 46 лет. Свою огромную библиотеку он передал в дар Императорскому Казанскому университету. Дочь его после смерти отца передала университету 10 громадных ящиков книг. Разобрал и описал содержимое этих ящиков по заданию ректора известный ориенталист Н. Катанов, о чем он доложил Совету университета на заседании 13 февраля 1899 года (См.: Н. Катанов. Биография И. Ф. Готвальда. Казань, 1900)

Профессором восточной словесности служил в Казанском университете Франц (Федор) Иванович Эрдман (1793–1863). Он нес должность декана словесного отделения. Ориенталист, профессор арабского и персидского языков, писатель, путешественник, специалист по древней истории, заведовал нумизматическим кабинетом и кабинетом редкостей. Описал университетское собрание азиатских монет. Написал значительное число статей на русском, немецком, французском и латинском языках по вопросам лингвистическим, историко-литературным, историческим, нумизматическим и др.

(См.: Русский биографический словарь, т. 24, СПб. 1912)

Почему я об этом пишу? Потому что таких специалистов в моем окружении не было. Да и в Алматинских институтах и университетах личностей такого масштаба не встречал. На мой взгляд, в области образования деградируем обвально.

СТРАННАЯ ШТУКА – СВОБОДА

Я постоянно думаю о том, что дало так называемую независимость основному населению Казахстана. Можно ли это конкретно определить? Так сказать, внятно оконтурить? Моего ума явно не хватает. Для тех, кто вскарабкался – по Абаю – змеей наверх или взмыл орлом, пробившись к государственной кормушке, все определено ясно: они добились личной независимости, чтобы безнаказанно и беспредельно воровать, сколько душе угодно и ублажать свои шкурные интересы.

Ну, а низы, массы, простой люд? Им-то что светит? Что означает для них независимость? От кого и от чего они независимы?

Чудится мне: как были бишара-сорлыбаюшки, так и остались.

И, вообще, что такое свобода? И в какой мере она необходима рядовому человеку?

То, о чем глаголят наши доморощенные философы и разного рода писаки-жопеке, меня не удовлетворяет и не убеждает.

Приходится советоваться с Иоганном фон Гете. А он что говорит по этому поводу?

Цитирую:

«Странная эта штука со свободой, – ее не трудно достигнуть тому, кто знает себя и умеет себя ограничивать. А на что, спрашивается, нам избыток свободы, которую мы не можем использовать?..

Человеку хватает той свободы, которая позволяет ему вести нормальную жизнь и заниматься своим ремеслом, а это доступно каждому. Не надо еще забывать, что все мы свободны лишь на известных условиях, нами соблюдаемых» (См.: Иоганн Петер Эккерман. Разговоры

с Гете в последние годы его жизни. М: Художественная литература, 1986. Стр. 204.)

О свободе Гете рассуждает довольно престранно в контексте жизни и творчества Шиллера (свобода физическая и идеальная), свободы дворянина, владетельного князя, купца, категорического, императивного и т. д. Не могу все это цитировать, отсылаю любопытного читателя к этим рассуждениям.

Они, несомненно, импонируют.

То, что рабу свобода не нужна, как говорится, и ежу понятно. А большинство людей – в какой бы стране они ни бытовали и к какому роду-племени ни принадлежали – они по существу своему, по идентичности, по социальному положению, по мировосприятию, по природе своей от рабов – духовных и физических – недалеко ушли.

Свобода для них весьма относительное и умозрительное понятие. И ничего зазорного, обидного в том нет. Свобода им нужна лишь в той мере, чтобы ублажать свои элементарные житейские потребности – просто жить, растить потомков, трудиться, дабы выживать, иметь возможность осуществлять свои скромные и тихие надобности.

Видимо, так.

И, полагаю, именно это имел в виду великий веймарец.

Мнимой свободой морочат головы бедным людям прожженные, циничные политики и наивно лживые проповедники.

Без такой свободы можно прожить.

И без той независимости, которую внушают власть предержащие простым массам, – тоже.

Вообще, не стоит прельщаться тем, чего нет и в сущности не может быть.

«СТИХОТВОРСТВУЮЩИЕ ЮНЦЫ»

Признаю: обилие поэтической продукции в казахской литературе меня нередко настораживает. Казахские газеты отводят регулярно целые полосы стишков, которые как по содержанию, так и по форме чаще всего ни уму ни сердцу. Самое тревожное, что все эти рифмачи (и рифмачки) гордо заявляют себя акынами. Это беда! Гете называл таких «стихотворствующими юнцами». Беда не в том, что они стихотворят, а в том, что они изделия свои в обязательном порядке печатают. Печатают и на что-то рассчитывают.

Гете к подробным поделкам был строг. «Кстати сказать, – внушал он Эккерману, – того, кто не рассчитывает на миллион читателей, лучше бы и вовсе не читать».

В казахстанских условиях гетевская максима – все же явный перехлест. Кто из нынешних наших поэтов в состоянии рассчитывать на миллион читателей? Олжас? Шаханов? Или недавно ушедшие Кадыр, Туманбай, Фариза? Кто еще?

Негусто.

И какие поэты пользуются благосклонностью публики?

Опять-таки часто не те.

Опять прислушаемся к Гете:

«Здесь дело отнюдь не в том, подлинно ли велик поэт, ибо благосклонностью публики пользуется скорее тот, чья личность не слишком возвышается над общим уровнем».

АЙГУЛЬ

Давно намереваюсь сказать несколько слов об уникальной личности Айгуль Кемелбаевой. Подозреваю, что русскоязычный читатель знает ее явно недостаточно. Между тем в казахской литературе она успешно работает уже давно.

Училась Айгуль на факультете журналистики КазНУ имени аль-Фараби, окончила отделение прозы Московского литературного института имени М. Горького, является автором нескольких сборников – романа, повестей, рассказов, очерков, статей, эссе, лауреатом ряда литературных премий, пишет также инсценировки, сценарии, переводит с русского на казахский, а иногда – наоборот.

Я знаком с ней, слежу за ее творчеством многие годы, охотно беседую с ней на литературные темы.

В чем заключается ее уникальность, или – проще говоря – коэффициент полезного действия? В том, что она всесторонне образованна, поразительно много читает и знает не только казахскую, русскую, но и мировую литературу, обладает тонким эстетическим вкусом, великолепной, цепкой памятью и умеет искусно сплести разные – иногда диковинные – факты и явления, сопрягать их, выявлять их глубинную суть и созвучия. У Абая это называется «қиыннан қиыстырар ер данасы»

Это редкий дар. И, на мой взгляд, этот дар Айгуль особенно выразительно проявился в жанре эссе.

Эссеистка она прирожденная, божьей милостью. Для этого жанра у нее есть все: прочный философский стержень, четкая система взглядов, прекрасный слог, богатый лексический арсенал, глубокие литературные познания, чуткая зрячая душа, открытое доброе сердце, умение искренне радоваться любой творческой удаче,

вольно, раскованно говорить о том, о чем молчать уже нелзя, невозможно, немыслимо.

В жанре эссе среди казахских литераторов я давно замечаю путаницу и разброд. Нередко приходится читать под видом эссе аурядные статьи, банальные воспоминания (подразумевая под эссе – естелік), плоские сентенции, случайные зарисовки и Бог знает что. Все неопределенное, зыбкое, беззубое и безличное, а часто претенциозное – все у нас эссе – будь то рассказ, очерк, сценарий, роман.

Кто у нас пишет эссе? Пожалуй, Дидар Амантай. Может, Ауэзхан Кодар, Умит Тажикенова, Нургали Ораз.

И, несомненно, профессионально, по складу дарования – Айгуль Кемелбаева.

Этой точки зрения я придерживался и раньше. Теперь же, прочитав ее блистательное эссе «Отамаль» («ҚӘ» от 21 марта 2014 г.), я окончательно убедился в своей правоте.

Что значит «Отамаль»? О чем, собственно, речь? О том поведая чуть ниже. А пока остановлюсь на творческом штандпункте автора. Она полагает, что истинного писателя читатель никогда не забудет. Произведения настоящих художников продолжают жить. Если и случаются некие паузы или даже забвения, то ненадолго, на определенный срок. Потом спрос, интерес к их творениям вновь возрождается, и они снова и снова играют свою историко-эстетическую роль. Эссеистка называет имена: Герман Мельвилл, Амброз Бирс, Эдгар Аллан По, Говард Филиппс Лавкрафт. Их одно время как бы напрочь забыли. Ныне они снова вернулись в ряд классиков, то есть сполна вернули коэффициент полезного действия.

Я разделяю это мнение. Настоящее не блекнет. Не канет в Лету.

Это вселяет надежду, ибо справедливо. И судьбу подлинного произведения никто не провидит.

Массовый читатель склонен увлекаться лишь временным, конъюнктурным, сиюминутным. Только элитный, умный и достойный читатель в состоянии

разглядеть, осмыслить истинную ценность того или иного содания.

И после этого замечания Айгуль переходит к объекту своего рассуждения – полузабытому рассказу «Отамалы» рано, еще в 1974 году, скончавшегося прозаика Тобыка Жармагамбетова.

Он мой ровесник, и я его помню. Как и другого моего ровесника Ахана Нурманова (роман «Гибель Кулана»). Они вращались в кругу наших друзей-шестидесятников, однако в отличие от нас, многих, они уже тогда функционировали как вполне сложившиеся художники, авторы четырех-пяти книг.

Айгуль Кемелбаева обстоятельно анализирует трагический рассказ (точнее, пожалуй, новеллу). Тобыка, в котором в метафорической форме была подана, раскрыта и всесторонне осмыслена драматическая судьба казахов.

«Отамалы» – так называется отрезок времени на стыке зимы и весны; это пора ненастья, буранов, гибельных метелей, снегов, дождей и свирепых ветров, когда зима яростно сопротивляется приходу долгожданной, милостивой, спасительной весны. Пора джута, массовой гибели овец, жутких испытаний, вселенской беды

«Отамалы» – развернутая метафора, охватывающая судьбу казахов на трагическом переломе.

Айгуль где-то раскопала русское словечко «падера» (ссылаясь на Чаплыгина), якобы соответствующее казахскому «отамалы».

Слово «падера» мне как-то не встречалось. На всякий случай обратился к Далю. Вот его толкование:

«Падера, падора – нвг. пск. арх. прм. сиб. буря с вихрем, дождем, со снегом, зимнее ненастье, дряпня, мокредь, метель, вьюга, при сильном ветре; зимняя непогодь, снег и ветер». И далее Даль по обыкновению приводит разные примеры и выражения.

Вот что такое «отамалы». Подозреваю, что значение этого древнего слова и редко кому из казахов известно.

А чабана тысячной байской отары, оставшейся

по воле самодура- хозяина в бурной степи, героя рассказа тоже зовут Отамалы.

Вот как все сплетено в эссе Айгуль.

Эссе орнаментировано, прошито яркими цитатами из рассказа Тобыка Жармагамбетова. И эти цитаты напоминают страницы «Старика и моря» Э. Хемингуэя, «Пути Абая» М. Ауэзова, «Аборигена» Дукенбая, поэм и сказов ряда казахских поэтов, «Буря» Т. Ахтанова, фильм «Шал» Ермака Турсунова. И еще Айгуль вплетает в канву своего повествования казахский, русский, скандинавский фольклор, Машхура Жусупа, Гете, Гоголя, историка Л. Гумилева, известных лингвистов, раскрывая этимологию слова «Отамалы», предлагая свою фонетическую версию, прибегая к сравнительному литературоведению, языкознанию, истории, философии, религии.

Словом, это перо свободного полета. Это – рассуждения, пропущенные через сердце. Это – поэтические пласты мировосприятия. Это грани культуры. Это пир Духа. Это творение вдохновенного художника слова.

Это эссе в подлинном, первоначальном его значении.

Это Айгуль Кемелбаева.

МЫ ВСЕ УХОДИМ ПОНЕМНОГУ

Вспоминаю своих коллег-писателей, которые в последние годы тихо и часто неожиданно ушли в мир иной.

Уходит мое поколение...

И писатели уходят по-разному. Кто-то на исходе жизни не прикасается к бумаге десятки лет. Исписался. Устал. Разочаровался. Лишился стимула. Иссяк. Кто-то шкрябает пером до последнего дня. Торопится. Что-то не доказал. Долг велит. Да и дар, кажется, не весь заглох, вышел. Перо еще не лишилось огня и силы. Кто-то продолжает мурыжить свою дохлую рукопись, накладывая заплаты, стремясь оживить ее разными языковыми финтифлюшками. Есть и такие, что все еще надеются на что-то: на медальку-орден, на какую-нибудь премию, на переиздание написанного сорок лет назад, на запоздалое признание. Кто-то суетится просто по инерции, все еще строит некие козни-интриги.

Всех я знаю. И никого не осуждаю. Ибо помню: и писатель – пендешка.

Однако считаю: если ты писатель по призванию, то творить будешь до последней минуты.

Пример: шикарный прозаик и поэт Валентин Петрович Катаев.

Александр Рекемчук вспоминает, как однажды он предложил ему войти в какой-то секретариат, на что Катаев, отчужденно посмотрев, ответил: «Послушайте, Рекемчук... Мне осталось пятнадцать минут. И все эти пятнадцать минут я буду писать!»

Случай этот приводится в романе-цитате (такой жанр!) Сергея Мнацаканяна «Великий Валюн, или скорбная жизнь Валентина Петровича Катаева».

Юрий Крохин, рецензент этой книги, комментирует: «Представьте, ЧТО он сказал? Старый писатель недвусмысленно обозначил, что времени ему отведено мало, и ни на что другое, кроме как писательство, он его тратить не намерен. Он уже знал, что жизнь на излете...» («Литературная Алма-Ата», 2014, №. 11, стр. 75)

Неистово трудился в литературе до рокового часа Кадыр Мырза-Али. Писал стихи, поэмы, исследования, мемуары, пьесы, прозу, афоризмы, много переводил. Еще при жизни издал 17 томов произведений. «Вместе с переводом?» – спросил я как-то. – «Ну, что вы?! – удивился он. – Вместе с переводами зашкалит за сорок томов!» Был он очень плодотворным. Я его знал десятки лет. Немало общался. восхищался его юмором, острословием. Многие года он тяжело болел. Все чаще писал лежа на спине, преодолевая боль. Обладал культурой труда. Ценил время. Педант был – немцу не чета. Говорил мне: «Ты больше казах, а я больше немец». Ради творчества отказывался от многого. «Ах, Гера, если бы ты знал, от каких приглашений-застольий я отказывался! Жил затворником. Писал, писал. К телефону не подходил. Друзей избегал. Читал, книги собирал, рукописи копил, постоянно писал».

Так и ушел, не осуществив всего, что хотел, планировал.

Убежден: жизнь и творчество моего казахского коллеги и почти ровесника (он был моложе меня на два месяца и в шутку говорил: «Ты на две рубашки износил раньше») – прекрасный образец для всех, кто дружен с пером и бумагой.

Надо помнить катаевское: «Мне осталось пятнадцать минут. И все эти пятнадцать минут я буду писать!»

В чьих-то воспоминаниях я читал: умирающий Лев Толстой водил правой рукой слева направо, будто писал даже в бессознании.

Таков истинный писатель, а не хоббиист. Кто не видит, и верблюда не заметит

З вонит мне знакомый доцент политэкономии, во многом сведущий человек, Сергей Иванович, и советует

написать статью о депортированных поволжских немцах. Дескать, сейчас толком никто ничего не знает, надо бы эту трагическую историю поведать людям, вы это, мол, сможете, вам это с руки.

И я сказал: «Милый Сергей Иванович! О том написано тысячи статей, книг, пьес: я сам написал об этом четыре романа, десяток повестей, уйму рассказов и статей, которые на разных языках перепечатаны не один раз и в большинстве вошли в мой десяти томник».

Какая тут статья, если люди не читают и отмахиваются от всего, что было?!

Ведь ныне никто ничего знать не желает. И тотальным невежеством окутано большинство населения.

Как говорят казахи: кто не хочет видеть, и верблюда не заметит.

И тут мне попалась на глаза заметка собственного корреспондента «Правды», опубликованная 22 июня 1988 года. Вот что сказано в той заметке: «30 процентов австрийцев вообще не читает художественной литературы. 18 процентов отводит чтению от часа до трех в неделю. 16 процентов пенсионеров уделяет чтению более восьми часов в неделю. 51 процент австрийцев вообще не покупает никаких книг. Такие цифры приводит венская газета «Курир», ссылаясь на результаты исследования, проведенного центральным статистическим ведомством страны».

Подчеркиваю: заметка почти тридцатилетней давности.

Ныне мы это видим и у нас, в Казахстане. Полагаю, что показатели еще хуже.

Вот личный опыт: в литературе я бытую более полувека. Опубликовал 70 книг, более 2 тысяч статей на русском, казахском, немецком языках, перевел с казахского и немецкого языков более 200 произведений, регулярно печатаюсь в коллективных сборниках, налево-направо даю интервью, часто мелькаю на ТВ, на страницах всевозможных газет, слыл активным общественником, словом, я полагал, что по крайней мере в Казахстане меня знают.

Черта с два!

Сокурсница, работавшая в Балхаше многие годы директором школы, при встрече меня спрашивает: «Гера, а ты где работаешь, чем занимаешься?»

Я остолбенел, не зная, что сказать.

И подумалось: «Вот откинешь завтра копыта, дашь дуба, и соотечественники с недоумением спросят: «Кто он такой, этот Бельгер? Писатель? Не дейді? Впервые слышу».

Положим, на пороге 80-летия меня это не особенно волнует. Ведь это касается и других. Весьма заслуженных личностей.

Выходит, нам только кажется, что мы кому-то нужны.

Никто никому не нужен! И каждый умирает в одиночку.

Умер Ефим, ну и хрен с ним...

«ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ ОБЛОНСКИХ...»

Еще в школе, где-то в пятом-шестом классе, меня неожиданно осенило: все именитые русские – не совсем чистые по национальному происхождению. Уж больно не по-русски звучали разные Беллингаузены, Крузенштерны, Беринги, Барклай де Толли, Бодуэн де Куртене и сотни им подобных. Способствовал этому открытию сам Иосиф Сталин, учинивший тотальную разборку с безродными космополитами. Меня, помнится, это обескуражило и испугало.

Апырай, что же это получается? И сам Пушкин не совсем русский, и Лермонтов, и Карамзин, и Достоевский, и Кюхельбекер и Дельвиг – само собой. Как же так?! Ведь всюду пишут и говорят, что русские – великие. Так в чем же величие?

Спросить было не у кого. В ауле жил один русский, да и тот ссыльный.

«Все смешалось в доме Облонских».

Я сообразил, что русские давно перемешались с другими народами, они постоянно обновляли свой дух. Может, отсюда и происходит загадочная русская душа? Русская стойкость и выносливость? Умение падать и вставать? Возродиться из пепла и праха? Может, отсюда и русское самобытное искусство? Русские всех принимали, всех перемалывали-перепаживали в гигантской мясорубке.

Примеров – тьма. Чем дальше в лес, тем больше дров.

А тут стали теребить-тормозить, разоблачать-выворачивать наизнанку, таинственных космополитов крыли-ругали в хвост и в гриву. Никто безродных и

в глаза не видел. В аулах всех и стар и млад знали до седьмого колена. Космополитов никто не припоминал. Самым образованным в нашем ауле считался старый учитель-татарин Ихия Аханов. И я однажды подслушал, как мой отец, на партсобрании рьяно разоблачавший космополитов, тихо спросил у Ихия-ата: «А кто такие космополиты?» Ата приложил искривленный палец к лиловым губам, закатил глаза и также шепотом ответил: «Ойбу, не спрашивай, Карл! Эти негодяи – враги Сталина».

В школе нам стали толковать, что все открытия по физике, химии, географии, астрономии и всем другим наукам принадлежали исключительно русским.

Я же уже тогда кое-что знал, что это совсем не так.

«Помалкивай, – сказал строго отец. – Не умничай. А то мигом припишут тебя к космополитам. А мне придется отвечать!»

С тех пор я собираю сведения о национальном происхождении славных русских.

Со временем выяснилось, что я не один проявляю к этому вопросу интерес.

Ограничусь здесь лишь одной цитатой из статьи Александра Ципко «Не будем валять дурака!», опубликованной в «Литературной газете» (№ 50, 14 января 2011 г.):

«Адмирал Нахимов был по крови еврей, Багратион – грузин, Барклай де Толли – немец, у Деникина вообще мать была полькой, у Лавра Корнилова – казашкой, а Врангель вообще был по крови датчанин, даже Кутузов был немецких кровей.

Еще меньше перспектив доказать свою русскую принадлежность будет у потомка Петра Великого, Александра Пушкина, и у полуполяка-полуукраинца Гоголя, и у поляка по матери Николая Некрасова, и у еврея Фета, и у Федора Достоевского, имеющего литовско-белорусские корни, и у Тургеневых, потомков татарских мурз. Судьба русских мыслителей в России для биологически чистых русских вообще печальна. Карамзин был татарин, у Николая Бердяева бабушка была француженкой, Сергей Булгаков тоже был

потомком татарских мурз, и Семен Франк, и Лев Шестов, и Михаил Гершензон были этническими евреями, как Левитан и Рубинштейн. Идеолог русского сознательного патриотизма Петр Струве был этническим немцем, Иван Ильин – немцем по матери и т. д.»

Я лично мог бы многое добавить по этой части. Точнее: очень многое.

Несколько личных впечатлений.

В 1988 году мы, группа общественников разных национальностей, – историки, философы, писатели, журналисты, юристы, архитекторы – человек двенадцать по линии Общества дружбы отправились в Париж читать лекции о национальных отношениях в Казахстане в Институт восточных языков. Все мы подготовили выступления на 12–15 минут. Собрались французские интеллектуалы. Раскованные, мобильные, симпатичные люди. Наши банальные, откровенно советизированные, нудные лекции их совсем не интересовали. «О-ля-ля! – сказали они. – Достаточно трех-пяти минут. Лучше побеседуем за бутылкой вина». Я мигом перестроился и очень кратко поведал о себе, о казахах и российских немцах. Наши «открытия» ограничивались примерами о межнациональных отношениях и браках. Мы наивно полагали удивить французов. А они живо начали вспоминать: оказалось, у всех наших слушателей смешанная кровь – немецкая, еврейская, испанская, итальянская, арабская, польская, английская, русская, даже африканская и цыганская. Выяснилось, что все они по происхождению фантастически перемешаны. А мы намеревались их поразить по этой части.

Вечером в гостинице мы с писателем Шерханом Муртазой обменялись мнением об этнической чистоте казахов. Выяснили, что и казахи изрядно перемешаны с монголами, джунгарами, калмыками, киргизами, узбеками, туркменами, таджиками, татарами, русскими, немцами, корейцами – всех и не перечислишь.

А ныне казашки и вовсе разбрелись по всему свету. Мужья у них русские, немцы, арабы, турки, голландцы,

африканцы, американцы, англичане, китайцы. Ойдойт! Спрос на казашек велик.

Несколько лет назад посетила нас ученица моей жены, миниатюрная, милая казашка. Пришла с мужем-норвежцем и маленькой дочерью – беленькой, черноволосой и черноглазой. С мужем, настоящим викингем, бывшая ученица жены общалась по-английски и по-норвежски. С моей женой – по-русски. Викинг со мной говорил по-немецки, так как в школе он изучал немецкий как второй иностранный язык. Казашским казашка не владела и с родной матерью (она тоже зашла к концу застолья) говорила главным образом по-русски, а со мною мать вполне прилично общалась по-казахски.

Нередко встречаюсь я с этнологом-казахом родом из Шымкента. Живет он в Париже, и жена его француженка. У него двое детей.

Подобных примеров уйма.

Так что ничему ныне я не удивляюсь.

Жизнь внесла в брачную сферу серьезные коррективы, на которые закрывать глаза не след.

«У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН...»

- У** меня зазвонил телефон... Кто говорит?
- Господин Бергер?... Извините, Бергель?
 - Вообще-то Бельгер.
 - Да, да... Гербель... Я журналистка Анель. Шеф просит, чтобы я взяла у вас интервью.
 - О чем?
 - Ну, о казахском языке... о литературе... о... Вы не подскажете, как вас зовут по имени-отчеству?
 - Нет, не подскажу.
- И бросил трубку.
- Снова звонок.
- Георгий Пельзер?... Ай, ғафу өтінем. Бель... бель...
 - Бельгер. Но не Георгий.
 - А как?
 - Герольд.
 - Е-е... Герольдтың орысшасы – Георгий емес пе?
- Кладу трубку.
- Звонок.
- Гердхард Карпович?
 - Не совсем. Отца звали Карлом, а не Карпом.
 - Извините, мне предложили о вас написать диссертацию. Как бы с вами встретиться?
 - Не стоит, айналайын.
- Кладу трубку.
- Дзень-динь-динь.
- Писатель... е-е-е... а...а...а... Бергегер?
 - Бельгер.
 - Извините, Гегель Карпович?
 - Нет, до Гегеля еще не дорос.
 - Вам из «Телекома» звонят. Вы интернетом пользуетесь?
 - Нет.

- Почему??!!!
 Кладу трубку.
 Звонок.
- Ассалаумагалейкум, аксакал. «Каспи-банк» вас тревожит. Так, вы Григорий Бельгерович?
- Нет.
- Как нет?! У нас акция. Мы хотели бы вас поздравить.
- Не надо, дорогой. Вы ошиблись.
- Кладу трубку.
 Звонок.
- Оу, амансыз ба, Қареке!
- Аман сау. Но казахи меня называют Гереке, Геке, Гер-аға, даже Гер-ата.
- Но вы же Гарольд? Значит, правильно Қареке.
- Ладно, о чем речь?
- Читаю вашу «Чепуху» постоянно. Ой, тамаша! Тіліп түсесіз! Классно! Написали бы вы, Қареке, еще о нашем запущенном дворе. Да и бродячих собак что-то много в городе развелось. Қареке, Қареке, Қареке...
- Звонок.
- Карл? Я ваш земляк. Из «Жана-талапа» звоню.
- Очень приятно. Но Карл – мой отец.
- Как?! Ты же першылом в аулах работал.
- Фельдшером работал не я, а мой отец.
- Ә?! Солай ма? А я думал, ты Карл... Е-е-е... а Карл живой?
- Звонок.
- Геражан?! Из Өскемена звоню. Подскажи телефон поэта Қадеке.
- Так... поэт Қадеке умер.
- Қашан?!
 – Да уж года два-три назад.
 – Не дейді?! Как же так!
- Звонок.
- Эй, Геракл-дос, живой-здоровый?
- Спасибо. Только я не Геракл, а Герольд.
- Герой? Герот? Геройд? Хергольд? Ты же у нас был Гера.
- Был.

– А Гера – это ведь Геракл. Не так ли? Где ты сейчас работаешь? Бала-шага йес?

Нет, уже не смешно. Дурно. Давление взвыгло. Сердце стучит. Боже! Как только меня не называют!

Вспомнил Корнея Чуковского.

«У меня зазвонил телефон...

– Кто звонит? – Слон!

– Откуда? – От верблюда»

Неужели одни верблюды мне звонят?

Дзинь-динь-динь. О, алла! Кто еще?

– Гера! Опять земляк из «Жана-талапа». Вспомнил: Карыл – действительно твой отец. И тебя, Гера, вспомнил. Говорят, ты бизателем заделался. Книжки пишешь. Прислал бы мне пару-тройку. Почитал бы, про что ты пишешь. А то скучно. Я ведь пенсионер...

Ух! Ох!

О, господи! Опять звонок.

– Ал-лёу!.. Ал-лёу! Герд Білгір ме?

– Иә... Но Герд в ваших устах звучит почти как Қырт. Но я таким себя не считаю.

– Э, жарайды! Герд, если ты «Білгір», то скажи: как по-русски называется трава «итсигек»?

Ух! Ох! Вот еще напасть!

МОЙ КАРАВАН

Отец всегда радовался своему очередному дню рождения. Ему было приятно, чтобы и другие радовались и поздравляли.

Для меня ныне даже приближение этой даты рождения доставляет неловкость и смущение. Чему радоваться-то? И с какой стати кто-то должен тебя поздравлять? Молодцы казахи, которые никогда не придавали этому никакого значения. Старшее поколение говорило: «В год, когда у Тайшика корову волки задрали»; «когда у Бекима дом сгорел»; «зимой, когда в буран Хадиша замерзла»; «когда Каляу лисий малахай потерял».

В детстве, может, и был некий резон радоваться. А когда бредешь по тропе восьмидесятилетия — стыд, срам и ужас.



*Вручение Н. А. Назарбаевым премии «За мир и духовное согласие».
Рядом с президентом Герольд Бельгер, Дмитрий Снегин, Мехлис
Сулейменов. Алматы. 1992 г.434*



*Депутаты ВС КазССР Токтар Аубакиров, Герольд Бельгер, Серикжсан
Юсупов. Международная парламентская ассамблея. Дания. 1994 г.*



*Герольд Бельгер и Морис Симашко
В Центральном государственном музее Казахстана. Алматы. 1997 г.*



*Посол Германии в Казахстане г-н Райнер Шлагетер
вручает Герольду Бельгеру орден «За заслуги перед Германией».
3 марта 2010 г.*



На прогулке. Алматы. 2001 г.



На прогулке. Мои собеседницы. Алматы. 2006 г.



Герольд Бельгер

Утемурастовы. Алматы. 2010 г.

ЭТЮДЫ



КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
БАС ПРОКУРАТУРАСЫ



ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

100000, Алматы қаласы, Жарықтөлеу көшесі, 170,
төлеу 54-15-00

100000, г. Астана-Астана, 74 Жолтөлеу, 180,
төлеу 54-15-00

4.12.93 м. 13/4.01-93

СПРАВКА
о реабилитации
массовых политических репрессий
от 14 апреля 1993 года.
Бектас Кариев, 1934
года рождения, незаконно высланный по национальным мотивам в
административном порядке в 1941 году, работал по мобилизации в трудовой армии с 1941 года по 20.01.1955 года.
Начальник отдела реабилитации граждан
старший советник юстиции



Содержание
Рассказы

Бредущие по краю
Дом. призраки
Луцкис и Лир
Вх. Бошан, Бошан
Рассказы об отце
Валк, Чапа и другие
Сухари
В путь журавлей
Земляника степная

СОЗВУЧИЕ

*(«Ночная песнь странника» Гете
в переводах Лермонтова и Абая)*

Очерк-эссе

Издrevле сладостный союз
Поэтов меж собой связует:
Они жрецы единых муз;
Единый пламень их волнует.

А. С. Пушкин

Созвучие... Оно во всем. В природе. В музыке. В поэзии. В возвышенных порывах и в благородных страстях. В людских сердцах. В человеческой речи.

Существует созвучие духа. Созвучие таланта. Единство разно- язычия.

И об этом речь...

...Откуда-то из степей медленно и неотвратимо надвигаются, постепенно густея, вечерние сумерки. Там, внизу, по-над Ишимом, над непроходимым тугаем навис плотный мрак. Аул погружается в ночь. Вместе с нею приходит и тишина, глухая, вязкая. Но вот уже все умолкло, тишина становится все звонче и звонче, и уже не плывут, а застыли тени, и слышно, как у брода Тасоткель трется о прибрежную гальку и что-то ласковое нашептывает берегу вода.

С опушки березового колка, со стороны крайнего дома неторопливо поплыла протяжная песня.

Қараңғы түнде тау қа-а-алғы-ы-ып...

Голос певца нарастает, ширится, наливается тугой мощью, постепенно, как бы по ступенькам, набирает высоту.

Темной но-о-о-очь-ю го-о-о-ры, дремля...

В каждом слове, в каждом звуке песни – медленная, величавая поступь ночи.

Наверное, и тогда, во времена Абая, великого казахского акына, над аулом в урочище Акшоки вот так же «медлительно и плавно, как тихий ветер Сары-Арки», летела эта спокойно-степенная песня. И люди, отдыхая после изнурительно долгого летнего дня в своих юртах, слушали это творение своего мудрого, знаменитого земляка, совершенно не догадываясь, что слова этой песни пришли в степь из другого, неведомого им мира.

И в самом деле, не чудо разве, что «Ночная песнь странника» Иоганна Вольфганга Гете пленила своим изяществом М. Ю. Лермонтова, и тот, как скажет потом В. Г. Белинский, «грациозно» переложил ее на русский язык? И не чудо ли то, что спустя еще полвека сын необъятных и загадочных киргиз-кайсацких степей Абай Кунанбаев воссоздаст ее не менее грациозно на своем, казахском, языке?

Странствуя по малым и большим странам, «Ночная песнь странника» долетела однажды «до аула в урочище Акшоки, оттуда до джайляу Тобыкты, до кереев верховий, до уаков низовий, до племен Каракесек и Куандык, до найманов, населяющих долины Аягуз, горы Тарбагатая и Алтая» (М. Ауэзов. «Путь Абая»).

* * *

Старая истина: величие великого, как и красоту прекрасного, как и все, в конечном счете можно понять; осознать, почувствовать, объяснить только через сравнение.

«... лишь соприкосновение одного языка с другим на почве сравнений, – как одна и та же мысль в разных языках по-разному выражена, – естественным образом останавливает нас на средствах выражений и делает человека внимательным к тонким нюансам мысли и чувства»¹, – говорил академик Л. В. Шерба.

Конечно же, любопытно проследить, прибегая к

сопоставительному лингвистическому анализу, как одна и та же поэтическая мысль трансформируется в переложении на разные языки, особенно если оригинал и его переложения (переводы) принадлежат выдающимся художникам слова. Знаменитая миниатюра Гете, переведенная Лермонтовым и Абаям, является богатным материалом для подобного лингвистического опыта, суть которого, несомненно, выходит за рамки чисто научной сферы.

«Ночная песнь странника» («Wanderer's Nachtlied»), написанная Гете в ночь с 6 на 7 сентября 1780 года карандашом на дощатой стене лепного домика на вершине горного увала Кикельхан близ Ильменау, вот уже два столетия на устах многих поколений разных народов и племен. Есть в этом крохотном стихотворении необъяснимое очарование, колдовская притягательная сила, волновавшая и волнующая читателей, художников, композиторов, ученых-исследователей, литературных комментаторов. Есть что-то возвышенное и гордое в том, что эти бессмертные строки вдохновили Лермонтова и Абая на создание перевода-переложения на своем родном языке, что привело к появлению новых шедевров, ознаменовавших собой как бы духовную переключку поэтического гения трех народов.

Über allen Gipfeln
Ist Ruh;
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch.
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.

Приведу подстрочный перевод, прекрасно сознавая, что он, как всегда, уничтожает всю прелесть стихотворения:

Над всеми вершинами
(Есть) покой.
В каждой верхушке (макушке дерева)
Чувствуешь ты
Едва дуновение.

Птички молчат в лесу.
Подожди только, скоро
Отдохнешь ты тоже.

Желательно, чтобы гипотетический читатель не скользил бы взглядом по – возможно – непонятному тексту оригинала, а прочел бы его чуть внимательней, вникая в ритмический рисунок и рифмовку.

От лирической миниатюры веет удивительным покоем, блаженством, всеобщей умиротворенностью. Очевидно, что она написана на одном дыхании, вылилась сразу в счастливый миг вдохновения. Ясно также, что «Ночная песнь странника» являла собой новый этап в творческой эволюции Гете. «Прежний бунтарь стремится теперь к гармонии и покою, что особенно впечатляюще выразилось в прекрасной «Wanderer's Nachtlied», – пишет большой знаток и исследователь творчества Гете А. А. Аникст и далее, подробно останавливаясь на содержании миниатюры, добавляет: «Если основная мысль стихотворения ясна с самого начала, то вдумчивое прочтение его, основанное на знании взглядов поэта, его мировоззрения и духовных исканий, показывает, как много вкладывал Гете в скупые строки своих стихов и какое внимание требуется от читателя, чтобы освоить глубину смысла, скрытого в иных простых, на первый взгляд, поэтических строках. Заметим также, что мысль поэта облечена в такую форму, которая возбуждает в читателе определенное настроение. Ритм стихотворения, его мелодический строй навевают то ощущение покоя и гармонии, каким проникнут описанный в стихотворении пейзаж. Собственно, он даже не описан, но каждое слово вызывает перед мысленным взором читателя целую картину. Такова магическая сила поэзии Гете, сочетающей мысль, чувство, зрительные впечатления и музыкальность звучания» 2.

Покой и гармония... Синтез мысли, чувства и музыки.

В самом деле, даже не знающий немецкого языка может уловить плавность, звучность, изящество фонетической инструментовки стихотворения. Вслушайтесь в эти зыбкие, мягкие «среднеевропей-

ские» «L»: allen, Gipfeln, Wipfeln, Vogelein, Walde, balde, в этот глухой, протяжный, как бы усугубляющий мрак ночи звук «U»: Ruh, du, nur, ruhest, таинственно ласковый «U»: uber, spurest; произнесите слово Nauch с мягким придыханием, как и произносится «Н» в начале слова, оно прозвучит, как шепот, как шорох, как едва уловимое дуновение и вместе с «sch» («schweigen») и «ch» в конце слов – Nauch, auch как бы подчеркивает разлившуюся над миром ночную тишь.

Что это? Картина природы, одним мазком набросанная рукой гения? Или изящная миниатюра, навеянная конкретным созерцанием, личным переживанием? Или внешне столь простые, доступные, непритязательные строчки исполнены глубокого абстрактно-философского смысла?

Существует множество толкований этого шедевра.

Люди, хорошо изучившие жизнь и творчество гениального веймарца, настойчиво ищут в «Ночной песне странника» затаенный, подспудный контекст. Примечательна трактовка, предложенная М. С. Шагинян: «Гете писал «Ночную песнь странника»... думая, может быть, об умершей шесть лет назад сестре Корнелии. Охваченный картиной засыпающей природы, он вдруг почувствовал, что ему не избежать надвигающейся ночи небытия. Но для того, кто представлял себе жизнь как непрерывный подвиг труда, смерть показалась отдыхом, свойственным и необходимым человеку, как и природе, – своего рода «выдохом» после жадных «вдохов» жизни» 3.

Трудно утверждать, что именно такими ощущениями было навеяно маленькое стихотворение Гете, но предположить – можно. Впрочем, сам Гете с некоторой насмешкой относился к тем, кто всюду разыскивает и всюду вкладывает глубокие мысли и идеи. В беседе с Эккерманом он говорил: «Вообще, не в моих привычках стремиться к воплощению в поэзии абстрактного понятия. Я всегда воспринимал чувственные, сладостные, пестрые, многообразные впечатления жизни, и мое живое воображение жадно впитывало их. Как поэту мне оставалось только художественно

формировать и завершать таковые, стараясь живостью воссоздания добиться того, чтобы они и на других оказывали такое же действие» 4.

Конечно, художественное произведение не набор каких-то символов и красиво выраженных абстрактных идей и формул, и как поэт Гете стремился прежде всего передать в живом слове свои созерцания и впечатления. Однако он был слишком велик, глубок и сложен для того, чтобы его созерцания и впечатления были однозначными. В «Ночной песне странника» дивно произведена картина ночи, и автор сумел заразить читателя ее умиротворенностью и величавостью, все это так, но, думается, в подтексте этой миниатюры ощущается нечто большее, философски прочувствованное и опозитизированное, проникновенное и затаенное, что придает ей особое очарование. Ведь притягательная ее сила не только в лаконическом запечатлении природы, уходящей ко сну. И ведь недаром сам Гете слишком хорошо помнил то свое путешествие в тридцать один год по зеленым холмам Тюрингии, помнил до мельчайших подробностей ту ночь на вершине Кикельхан, когда он на стене охотничьей избушки, под картиной, изображающей тюрингский пейзаж, начертал эти стихи и, должно быть, совсем не случайно, пятьдесят один год спустя, незадолго до смерти, вновь повторив тот путь в сопровождении своих внуков, детей единственного сына Августа, незадолго до этого скончавшегося в Италии, престарелый поэт задумчиво шепчет со слезами на глазах две последние проникновенные строчки из «Ночной песни странника». Известный германист, крупный гетевед Н. Н. Вильмонт пишет: «Гете прочитал ее про себя, и слезы потекли по его старческим щекам. «Да! Отдохнешь и ты», – произнес он растроганным голосом. Потом с минуту помолчал, посмотрел в окно на темнеющий лес и сказал спутнику (Эккерману): «А теперь поедem» 5.

А как подробно, с каким жаром и любовью описывает он это свое последнее путешествие по столь памятным местам в письмах друзьям – Цельтеру (4 сентября 1831

г.), графу Гейнгарду (7 сентября 1831 г.), Луизе Адели Шопенгауэр (19 сентября 1831 г.)! Очевидно, «Ночная песнь странника» родилась в пору высокого духовного напряжения, в весьма важный, переломный момент духовных исканий автора.

Гете – поразительно сложная натура, вместившая в себе множество разноречивых и противоборствующих желаний и страстей. Внешняя, вполне благополучная и презентабельная жизнь и внутренняя обуреваемая неукротимыми порывами духа, неодолимой жаждой деятельности, часто, слишком часто не совпадали. Гений, постоянно стремившийся к гармонии в жизни и в душе, достигал ее лишь в редкие мгновения.

Вспомним жизнь Гете в пору создания миниатюры, о которой идет речь в данном очерке.

Гете в эти годы еще молод, но уже всемирно известный автор «Вертера». Поэт. Кумир. И еще он придворный маленького герцогства; он познает силу власти, занимая пост военного министра и министра общественных работ. Он жаждет великих дел и, уверенный в своих силах, многое берет на себя. Он окружен славой и любовью.

Но это лишь внешняя, видимая сторона его жизни. На самом деле он уже успел познать многоликие беды из ларца Пандоры: и горечь неразделенной любви, и чувство утраты, и разочарование в мечтах и людях, и душевную подавленность, и смутную тревогу, как бы предвосхищающую будущую титаническую борьбу в бесчисленных деяниях и навевающую глубокую усталость. Мотив этот уже однажды отчетливо прозвучал в небольшом стихотворении, которое также называется «Ночной песнью странника», но написано четырьмя годами раньше. Вот оно:

Ты, что в горной вышине
Горе ведаешь земное
(И страдающим вдвойне
Облегченье шлешь двойное!)
Я устал от смены вечной,
То восторг, то боль в груди,
Мир сердечный,
О, сойди ко мне, сойди!

Связь между двумя одноименными стихотворениями Гете видна, так сказать, невооруженным глазом. Она выражается и в схожей конструкции, и – главное – в тональности, в настрое, в страстной мольбе: «Мир сердечный, о, сойди ко мне, сойди!» и в грустном самовнушении, утешении: «Подожди немного, отдохнешь и ты». Разве трудно заметить перекличку в строчках «Я устал от смены вечной» и «отдохнешь и ты?»»

Вспомним: первая «Ночная песнь странника» написана двадцатисемилетним Гете. Прошло четыре года. Тайный советник Гете прощается с молодостью. Он успел остыть к былым своим любовным увлечениям. Они причинили ему много боли. Происходит отчуждение от друзей. Гете все чаще замыкается в себе. Чувствует одиночество. Признается: «Иногда у меня просто подкашиваются ноги под невыносимой тяжестью креста, который я вынужден нести почти один...» Все чаще мечтает он о возвышенном покое. Любовь к женщинам не принесла желанной гармонии. Моментами в нем возникает предчувствие смерти. Комплекс Вертера тяготит его. Сохранились скульптурные портреты Гете работы ваятеля Клауэра, относящиеся к этому времени. У тридцатилетнего поэта усталое, грустное, изборожденное морщинами лицо. Уголки губ скорбно опущены. Во всем облике – явные следы душевных мук и страданий.

Таков биографический и нравственный фон, способствовавший и предшествовавший созданию гениальной миниатюры – второй «Ночной песни странника». Может, именно тогда и здесь, в горах, открылся Гете – возможно, и не совсем еще ясно – «конечный вывод мудрости земной», о котором он потом скажет в основном труде всей своей жизни – «Фаусте». Может, здесь и в ту ночь пришла ему в голову мысль о смысле жизни, о том высшем назначении Человека, когда он может воскликнуть: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» Может, он предчувствовал, какой ему предстоит проделать титанический труд, совершить поистине подвиг труда, что, проделав это, сам себя

утешил. «Подожди немного, отдохнешь и ты...»

Может... может... Одно очевидно: «Ночная песнь странника» не была случайным эпизодом в долгой жизни Гете.

* * *

Широко известные слова о переводчике-сопернике в стихах явственно отразились в переводах этой миниатюры, выполненных Лермонтовым и Абаем. Это даже и не перевод в обычном понимании, а соревнование на равных между большими поэтами, переложение, точнее, духовное созвучие.

Созвучие талантов. Единство разноречия.

Всем с детства памятные лермонтовские строки:

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

«Какое тихое, успокоительное чувство ночи после знойного дня веет в этой маленькой пьесе Гете, так грациозно переданной нашим поэтом», – восхищался Белинский.

Здесь, пожалуй, будет уместно сделать небольшое отступление и привести ради-для любопытства еще три перевода гетевской миниатюры, которые могут послужить реальным поводом для сравнительного лингвистического толкования.

Перевод В. Брюсова:

На всех вершинах
Покой,
В листве, в долинах
Ни одной
Не дрогнет черты;
Птицы спят в молчании бора.
Подожди только: скоро
Уснешь и ты.

Перевод И. Анненского:

Над высью горной
Тишь.
В листве, уж черной,
Не ощутишь
Ни дуновенья.
В чаще затих полет.
О, подожди! Мгновенье –
Тишь и тебя... возьмет.

Перевод Ю. Александрова:

На высях горных
Покой.
Чуть слышен листьев шорох
В глуши лесной.
Ни пенья в ней, ни суеты...
И сам под этой сенью
К отдохновенью
Все ближе ты.

Думаю, первый невольный вывод из сравнительного чтения: а все-таки поэтический оригинал и его переводы находятся в довольно сложном взаимоотношении, не правда ли?... Вспоминается реплика Льва Толстого: «Конечно, перевод – не более как изнанка ковра», перифраз сервантесского Дон Кихота: «...это все равно что фламандский ковер с изнанки».

Доверим, однако, сравнение этих переводов любознательному читателю и остановимся более обстоятельно на лермонтовском переложении.

Итак, идеальной точности, буквального совпадения, как видно, нет. Это заметно даже без подробного лингвистического анализа. Лермонтов взял у Гете «только» тему, идею, суть миниатюры и выразил все это по-своему, транспонируя дух гетевского стихотворения на свой, лермонтовский, ключ.

Здесь уж коли речь зашла о теме гетевской миниатюры, нелишне, вероятно, напомнить читателю, что существует мнение, будто тема «Ночной песни странника» поставлена еще древним греческим поэтом Алкманом (VII век до новой эры). Я. Голосовкер, составитель и комментатор сборника «Лирика Древней

Эллады» (М.– Л.: Academia, 1935), подчеркивает эволюцию темы: Алкман – Гете – Лермонтов и приводит в примечаниях к сборнику (стр. 186) мелос Алкмана в переводе Вересаева:

Спят вершины высокие гор и бездн провалы,
Спят утесы и ущелья,
Змеи, сколько их черная всех земля ни кормит,
Густые рои пчел, звери гор высоких
И чудища в багровой глубине морской.
Сладко спит и племя
Быстролетающих птиц.

Не говорит ли это все о том же – о родственной близости поэтических муз?

Впрочем, не будем отклоняться от основной темы нашего очерка.

Так, близость поставленной темы у Гете и Лермонтова более очевидна, конкретна и убедительна, чем у Алкмана и Гете, хотя в лексическом отношении разница между гетевским оригиналом и переводом Лермонтова довольно существенна. Лермонтов ввел не только, например, отдельные определения к отдельным словам, но и совершенно «новые» слова, образы, обороты, вовсе отсутствующие в оригинале. Он перевел не слова, а стиль, интонацию, музыку стихотворения. «Горные вершины» звучат как исконно русское оригинальное стихотворение, а не как переводное, чужеродное. Возможно, потому Лермонтов и не перевел его названия «Wanderer's Nachtlied», а просто назвал «Из Гете». Под таким названием стихотворение и появилось впервые в 1840 году в № 7 «Отечественных записок».

В смысле абсолютной точности совпадают только седьмой и восьмой стих («Warte nur, balde ruhest du auch» – «Подожди немного, отдохнешь и ты»), более или менее близки первый и второй стихи. Что касается третьего, четвертого, пятого и шестого стихов, то у Гете они звучат по-другому.

В первых двух строчках Гете подчеркивает исключительную тишину («Над всеми вершинами покой, тишина»). У Лермонтова она воссоздается в

пятой и шестой строках. Для этого он вводит новые детали:

Не пылит дорога,
Не дрожат листья...

Говоря о всеобщей тишине, Гете дальше детализирует: «Птички молчат в лесу». Но, несмотря на всеобщий покой, у Гете все же «в каждой верхушке чувствуешь ты еле слышное дуновение». У Лермонтова же абсолютная тишина: вершины спят, дорога не пылит, листья не дрожат. Если бы стихотворение не называлось «Ночной песнью», то изображенное в стихотворении можно было бы отнести, например, и к раннему утру. Лермонтов конкретен. Конкретность вообще свойственна природе русского языка. Переложение Лермонтова нельзя назвать «Утро», «Летнее утро», «Раннее утро» или еще как-нибудь в этом роде. Он изобразил ночь, именно – ночь, исключительно – ночь. Тишина у него ночная, а не вообще тишина, и вершины спят «во тьме ночной». У Гете просто вершины, всякие, вообще вершины, у Лермонтова они «горные», что опять-таки конкретней. Лермонтов расширяет картину ночи, как бы раздвигая ее горизонты, вводит тихие долины (сугубо русский образ), подчеркивает пейзаж ночи деталями «свежая мгла», «ночная тьма».

Навеянное в определенной степени абстрактно философским мировосприятием стихотворение Гете у Лермонтова заметно конкретизировано, оживлено наглядными деталями, цветовой окраской, и потому картина ночи в «Горных вершинах» стала как бы более осязуемой, осязаемой, зримой.

* * *

Муза Пушкина и Лермонтова была особенно близка и понятна Абаю. «Пушкин и Лермонтов... Оба они прошли свой жизненный путь вдаль от степей, где жили его деды, и кончили жизнь в неведомых даях, чуждые и не известные казахам. Но за эту зиму оба стали так близки Абаю... Явились из другого мира, изъяснились на другом языке, – а отнеслись к нему приветливо,

как родные. Двойники его в огорчениях и грусти, они, разгадав его душу, как бы говорили ему: «И ты своими мыслями подобен нам!»

Эти строки – из эпопеи Мухтара Ауэзова «Путь Абая». В словах этих тот же всеобъемлющий мотив. Мотив созвучия. Созвучия духа. Единство разноречия.

В 90-е годы прошлого века Абай увлеченно переводит Лермонтова. «Исповедь», «Еврейская мелодия», «Не верь себе», «Выхожу один я на дорогу», «Кинжал», «Утес», «Дума», «И скучно, и грустно», «Молитва», «Дары Терека» и другие произведения великого русского поэта переведены Абаем блестяще, с подлинным поэтическим жаром, с проникновением в содержание и форму. Дух и своеобразие лермонтовской музыки были чутко уловлены зрелым Абаем.

В те годы перевел он и «Горные вершины»...

Вот так звучит абаевский перевод:

Қараңғы түнде тау қалғып
Ұйқыға кетер балбырап.
Даланы жым-жырт дел-сал ғып,
Түн басады салбырап.
Шаң шығармас жол дағы,
Сыбырламас жапырақ.
Тыншығарсың сен дағы
Сабыр кылсаң азырақ.

Как тонко, проникновенно поняли друг друга великие поэты!

Перевод Абая удивительно близок лермонтовскому тексту. А разница любопытна.

Для русского читателя я приведу обратный подстрочный перевод:

Темной ночью горы, дремля,
Уходят в сон, разнежившись (разомлев)
Степь тихую разморив (обессиливая),
Накрывает ночь, нависая.
Не пылит и дорога,
Не шелестят (не шепчутся) листья.
Отдохнешь и ты,
Если проявишь немного спокойствия.

С детских лет помню, как и всякий казах, наизусть эти стихи. Написав их так, как они пелись в том ауле, где я вырос, я заглянул на всякий случай в один из последних сборников Абая и удивился: вместо «сыбдырламас жапырак» стоит «сілкіне алмас жапырак», то есть вместо «Не шелестят листья» – «Не вздрагивают листья». Принципиальной разницы в том нет, и потому я оставил строку так, как знаю ее с детства. Увы, текстологически Абай изучен далеко не образцово, и канонического издания его до сих пор нет.

Итак, об абаевском переводе. У Лермонтова уже ночь, глубокая ночь, у Абая же ночь только наступает: горы, дремля, только-только погружаются в сон; над степью, нависая, опускается ночь. В первом четверостишии у Лермонтова только один глагол («вершины спят»), у Абая, кроме глаголов «уходят» («кетер»), «наступает» («түн басады»), есть еще деепричастия «разнежившись», «разомлев» («балбырап»), дремля («калғып»), да и «дел-сал қып» тоже глагольная форма. Таким обилием глаголов и глагольных форм Абай показал наступление, движение ночи. Плавность, широкая, величавая поступь ночи, покой и тишина, простор чувствуются в стихотворении Абая. Мы не только видим ночь, картину ночи, как у Гете и Лермонтова, мы видим и чувствуем, как наступает эта ночь. Застывшая, статическая картина ночи в стихотворении Гете, заметно раздвинутая, оживленная, конкретизированная в переложении Лермонтова, стала в переводе Абая значительно динамичней.

В приведенной выше цитате из Белинского говорится о «тихом, успокоительном чувстве ночи после знойного дня». Ни из стихотворения Гете, ни из переложения Лермонтова нельзя сделать категорического вывода, что ночь, нарисованная ими, – это ночь после знойного дня. Абай был знаком со статьей Белинского «Стихотворения М. Лермонтова» и, видимо, перевод «Горных вершин» был сделан уже после ее прочтения. Введенные Абаем новые слова: «разомлев», «дремля», «разморенно- обессиленно» – дают ощущение ночи именно после знойного дня.

Можно еще отметить, что лермонтовские «долины» Абай заменил «степью». И заменил, конечно, сознательно. Долина по-казахски аңғар, алап, алқап. Если же Абай вместо «даланы» написал бы «аңғарды», «алапты» или «алқапты», в ритме, размере стиха ничего бы не изменилось: все эти слова в исходной форме двухсложны и созвучны. Другой поэт наверняка так бы и сделал, стараясь быть точнее, ближе к тексту. Могу здесь – опять-таки интереса ради – привести для владеющих казахским языком перевод «Горных вершин», выполненный Музафаром Алимбаевым:

Мақпалдай қара түндерде
Маужырап таулар мүлгиді.
Тым-тырыс, бей-жай қыр-белде
Қоңыржай мұнар сырғиды.
Бұрқ өтпес шаң да жолдағы,
Желпінбес жасыл шалғын да.
Аялдай тұрсаң болғаны,
Тыныстар күніналдында.

Аккуратный, старательный, поэтический перевод, имеющий право на существование. Разумеется, при переводе М. Алимбаев также руководствовался не оригиналом, а переложением Лермонтова.

Абай же по-своему осмыслил лермонтовский образ. Описывая ночь по Лермонтову, он видел, чувствовал поэзию «казахской» ночи, ночи казахской степи.

В переводе Абая «Горные вершины» прекрасно звучали по- казахски, сохранив нити духовной близости с гетевским оригиналом.

* * *

Поразительная духовная связь великих поэтов существует реально и проявляется всюду. Я это как-то неожиданно и остро почувствовал однажды, прохаживаясь по тихим, задумчивым залам Государственного музея литературы имени Алишера Навои в Ташкенте. Затаив дыхание, разглядывал я древние книги и рукописи. Их было много, больших и малых, изящных и громоздких, потемневших от времени,

от пыли веков, но сохранивших краски, искусство, неповторимое мастерство и терпение известных и неизвестных художников, оформителей, каллиграфов. Сколько труда, любви и вкуса вкладывали переписчики бесценных рукописей, поэтических сборников-диванов! Причудливый восточный орнамент, выполненный на коже холодным тиснением. Изящные рисунки, густо расположенные вокруг четырех-шести строк на одной странице, покрытой золотым крапом. Тонкие, переплетающиеся линии, ажурная вязь, с величайшей добросовестностью выведенные жидким червонным золотом. Изумительные по красоте, нетленные, невыцветающие заставки... Как красиво, одухотворенно! Можно понять Гете, который в пору увлечения поэзией Востока старательно и влюбленно копировал таинственную, как магические знаки, восточную вязь. Как бы погружаясь в старину, попадая в древний Восток – многокрасочный, бурный, и яростный, созерцательный и мудрый, пестрый и шумный, я с благоговением шептал сладкозвучные имена: Навои, Хафиз, Саади, Фирдоуси, Низами, Джами, Физули. И вспомнил: ведь когда-то юный Абай, вернувшись из Семипалатинского медресе, нашептывал, точно исцеляющую молитву, эти имена на ухо любимой бабушке Зере. И я обрадовался, увидев в одном из залов в ряду великих поэтов Востока и Абая.

А ведь когда-то, еще раньше, великий Гете, впервые соприкоснувшись с семью прославленными «царями поэтов», с такой же дрожью в сердце произносил – должно быть, на свой, немецкий, лад, с ударением на первом слоге, – эти дивные имена. Почитайте или хотя бы полистайте его «Западно-Восточный диван», и вы убедитесь в этом. Привлеку внимание читателей к тому, что в числе семи «царей поэтов» Гете называет Фирдоуси, Энвери, Руми, Хафиза, Джами, Низами, Саади. В известном юношеском стихотворении-пожелании Абая также упоминается семеро поэтов – Физули, Шамси, Сайхали, Навои, Саади, Фирдоуси, Хафиз.

Да-а... Восток с его поэзией, философией, колоритным, экзотическим бытом, яркой чувственностью в восприятии мира всегда притягивал Запад. И лучшие умы Запада неизменно стремились к сближению культур, к наведению мостов. И одним из этих гениев был Иоганн Вольфганг Гете. Это он, плененный поэзией Востока, восклицал об одинаковой божественности Востока и Запада:

Богом создан был Восток,

Запад также создал Бог!

А много десятилетий спустя эту же идею со свойственными ему страстностью и решительностью выскажет наш современник Олжас Сулейменов:

Нет Востока,

И Запада нет,

Нет у неба конца.

Нет Востока,

И Запада нет –

Два сына есть у отца.

Нет Востока,

И Запада нет,

Есть

Восход и закат,

Есть большое слово –

ЗЕМЛЯ.

Неразрывна связь времен, и большие поэты всегда созвучны и родственны духом, ибо их объединяет и роднит Поэзия – поистине божественная тайна, божественное чудо.

* * *

Абай не только перевел «Ночную песнь странника» на казахский язык, но сочинил к ней музыку, тягучую, широко-распевную, величавую, и вряд ли можно найти казаха, который не знал бы мудрой, степенно-мелодичной песни «Темной ночью горы, дремля...»

В 1958 году в Джамбульской области, в Байкадаме, где тогда учительствовал, я как-то рассказал обо всем педагогу Э. И. Шуллеру, и тот вдруг своим низким

басом затянул: «Über allen Gipfeln...» Мне до сих пор неизвестно, кому принадлежит музыка, написанная на слова Гете. Может, композитору Цельтеру, другу поэта? Меня поразило то, что начало музыки к немецким словам удивительно созвучно абаевской мелодии. Та же тональность, та же медленная, глухая, постепенно нарастающая распевность. Откуда такое созвучие? Как возникла эта начальная непостижимая схожесть? Может, и тут сказалась таинственная родственность муз?

Не знаю.

(Здесь в скобках замечу, что многие годы спустя большой библиофил и тонкий знаток немецкой культуры Ойген Хильдебрандт представил мне сведения о немецких композиторах, написавших музыку на слова «Ночной песни странника», с подлинной немецкой аккуратностью и дотошностью указав все источники, откуда он приводил эти данные. Вот эти композиторы: Фридрих Кулау, М. Гауптманн, Вильгельм Рудник, доктор Е. Р. Кюне. Но я где-то читал, что Цельтер также написал мелодию на эти стихи...)

Одно бесспорно – нечто магически общечеловеческое в этой распевной мелодии Абая. Не потому ли ее так охотно поют казахи, оказываясь в кругу своих друзей-европейцев? Не потому ли они тоже улавливают в абаевской песне нечто близкое, родственное? Вот Абдижамил Нурпеисов вспоминает: «Было это в Париже накануне рождественских праздников. После какого-то молодежного концерта повели меня в дом художавобородатого композитора. Народу собралось немало, и после легкого угощения мы начали петь и пели охотно и долго, пели в одиночку и все вместе. Обстановка была удивительно теплая, дружеская, настроение – приподнятое, и меня, по природе замкнутого, охватила вдруг приятная легкость, и я тоже подпевал, подтягивал, как мог, потом, отважившись, спел песню Абая «Темной ночью горы дремлют», сложенную на стихи Гете и переведенные им же, Абаем, на казахский язык. «Неужели это сочинил казах? – удивился кто-то из гостей. – А мелодия вроде европейская...» Я улыбнулся,

вспомнив поразительный, поистине уникальный случай, выпавший на долю известного гетевского стихотворения...»

Созвучие... Оно во всем. В природе. В музыке. В поэзии. В возвышенных порывах и в благородных страстях. В людских сердцах. В человеческой речи.

Сказано поэтом:

Есть сила благодатная
В созвучье слов живых.

(Лермонтов)

Существует созвучие духа. Созвучие таланта. Единство разно- язычия.

И об этом речь...

Вот, скажем, Гете и Абай. Внимательного, со зрячей душой читателя не может не волновать определенная близость этих двух великанов человеческого духа. И даже в разной тональности их мировосприятия и миропонимания невольно мерещится некое родство, некое созвучие, достойные серьезного изучения и разговора. Вчитывайтесь в поэзию Гете и Абая, читайте вдумчиво максимы великого германца и гаклии великого степняка – сколько созвучия, сколько перекличек мыслей и чувств, сколько взаимопонимания и душевной близости! Эта родственная близость двух гениев очевидно прослеживается и в настойчивых поисках гармонической целостности через искусство; через Слово, способное успокоить, утишить душевную смуту, и в недовольстве убогой действительностью, ничтожеством среды – германской или казахской, и в желании преодолеть это убожество путем эстетического, культурного, просветительского воспитания, в ощущении значимости своей личности, своей роли, в горьком сознании своего одиночества. Поэты отлично знали себе цену. Гете пишет в дневнике: «Но, к сожалению, я чувствую свои тридцать лет и свое мировое значение!» Дальнейшая жизнь и деяния его доказали, что он имел право на такое признание, Абай

роняет в одном стихотворении: «Не проста, джигиты, суть моя». И он, как мы знаем, не преувеличивал, говоря о своей сути, о своей тайне, о своей загадочности.

Они, Гете и Абай, были выразителями своей эпохи. Они олицетворяют дух Времени. И этим, думается, объясняется их родство.

Велики притягательность и обаяние песни «Темной ночью горы, дремля...» Ее поют и поныне повсеместно, и в одиночку, и хором, на пиру, в часы отдыха, на сцене художественной самодеятельности и оперного театра, и неизменно волнует, завораживает она разноязыких потомков, удивляет, сближает людей – детей разных народов. Иногда самым неожиданным образом.

В 1970 году в Алма-Ате гостили литераторы из ГДР, и в один из ясных солнечных дней казахские друзья и коллеги повезли их в горы, и там в густой прохладной тени тянь-шаньских елей, у подножия холма со звонкой горной речкой известная казахская поэтесса Турсынхан Абдрахманова неожиданно для всех во весь свой сильный и красивый голос запела «Қараңғы түнде тау қалғып...» Гостья из ГДР, писательница Рут Крафт, вначале подумала, что Турсынхан поет свои стихи, но узнав, что она пела, пришла в восторг. «Как? Гете?! Здесь, в Казахстане, в горах Алатау!!» – воскликнула она, и ей в этот миг почудилось в глазах певицы отражение зеленых и пышных холмов Тюрингии. И еще поразительным ей казалось, что гетевские стихи, переведенные и положенные на музыку Абаем, так естественно и привычно, словно у себя дома, звучат в горах близ казахстанской столицы. Об этом – о своих впечатлениях и чувствах – Рут Крафт написала позже лирический очерк, озаглавленный «Друзья у Алатау» и опубликованный в «Нойе дойче литератур» (1970, № 8).

Подобных фактов немало. Они, эти факты, а также собственные какие-то наблюдения и переживания, навеянные миниатюрой Гете и ее переводами на русский и казахский языки, дали мне повод написать

небольшой рассказ, в котором вымышленный мною герой, капитан Ержанов, в первый послевоенный год по воле моей фантазии совершает прогулку на Кикельхан, чтобы осуществить юношескую мечту – поклониться гетевским местам. Я живо представил, как молодой филолог-казах, за четыре года войны счастливо сохранивший восторженную восприимчивость и пылкость натуры, после прогулки, приятно взволнованный, стоит в одиночестве на зеленом увале и неожиданно для самого себя, низко и тягуче, поет:

Темной ночью горы, дремля,

Уходят в сон, разнежившись...

«Он пел восторженно, радуясь тому, что жив, молод и полон сил. Над застывшими лесами Тюрингии и холмами близ Ильменау, помнившими Гете, поплыли – аллах свидетель, наверняка впервые – слова и музыка Абая, и это было прекрасно и возвышенно. Казалось, упоительная ночь казахской степи на широких крыльях опустилась вдруг на склоны немецкой горы, и все вокруг жадно и благоговейно внимало гортанным звукам неведомого языка народа из безбрежных просторов Моргенланда – Утренней страны. В эту ночь, легко преодолев непостижимое пространство, прилетела смуглолицая муза Абая на свидание с духом Гете, и Ержанов чувствовал себя невольным и единственным свидетелем этого события.

Песня гетевского странника, вобрав в себе ковыльно-полынный аромат раздольных степей, облачившись в величаво протяжные звуки, пришла сюда, на холмы Ильменау, чтобы отдать полный достоинства салем, который Восток посылал Западу.

Плыла-парила над Тюрингией песня Абая на его родном языке. И Ержанов испытывал сейчас необъяснимую гордость за Абая, за его слова, за свой народ, за эту задушевную песню, которую, как ему казалось, он пел впервые в своей жизни так широко и проникновенно.

Салем тебе, Гете! Салем тебе, великий поэт, от нашего великого Абая...»

Но тогда, когда я писал этот рассказ, придумав

капитана Ержанова, я и не догадывался о том, что мне вовсе не надо было выдумывать героя, что жизнь, как давно замечено, богаче вымысла художника, и что реальный прототип моего Ержанова находился в буквальном смысле под боком, на расстоянии одной троллейбусной остановки, и я с ним годами встречаюсь едва ли не ежедневно, и зовут его Калмухан Исабаев – мой старший товарищ и коллега по перу.

И тут я должен поведать о том, как окрестности Ильменау, прочно связанные с памятью великого веймарца, творчество Гете и – особенно – его «Ночная песнь странника» причудливо и счастливо сплелись с судьбой казахского писателя Калмухана Исабаева.

Случилось так, что в 1949–55 годах молодой советский офицер Калмухан Исабаев нес службу по охране мира на территории ГДР. Он стал другом строителей нового немецкого государства, другом тех, кого потом в бывшей ГДР называли «активистами первого часа». А Ильменау с его удивительной историей особенно и издавна волновал и привлекал его. Здесь К. Исабаев глубже познал жизнь, обрел много друзей и как бы душою прикоснулся к живой реальности, одухотворенной гением бессмертного Гете. Калмухан нередко ходил по окрестностям тихого, уютного городка, поднимался на вершины Габельбах и Кикельхан, подолгу любовался историческим охотничьим домиком и зарисовал его.

Позже Калмухан вспоминал: «Когда я поднялся на второй этаж охотничьего дома Гете, передо мной простиралась вечерняя Тюрингия, и я не удержался – спел песню Абая, в которой он в одном из уголков земли обессмертил строки Гете».

Возможно, именно тот благодатный край, воспетый еще Гете, и бережливая память народа о Поэте разбудили в молодом офицере-казахе писательский дар. Как бы там ни было, многие сюжеты, характеры и идеи его будущих произведений рождены опытом войны и впечатлениями от пребывания в Ильменау.

Демобилизовавшись и приехав в Алма-Ату, Калмухан Исабаев с головой окунулся в житейские заботы, учился, работал, писал свои рассказы и повести,

но неизменно вспоминались ему полюбившиеся далекие места в небольшом округе Зуль, вспоминались ему верные друзья, а чаще всего – тропа по зеленым холмам к знакомому охотничьему домику, та самая тропа, по которой некогда хаживал Гете и в молодости, и в преклонном возрасте. И еще с волнением вспоминалось, как, взобравшись на вершину холма, молодой офицер с тоскою представил далекий родной край – красочный Баянаул – и помимо воли запел тогда во весь голос напев Абая «Темной ночью горы, дремля...» Тогда-то и зародилась мечта вновь приехать туда, где прошли памятные годы, и увековечить когда-нибудь на Габельбахе волнующие строки Абая.

Мечта эта осуществилась через двадцать пять лет – в июле 1979 года.

Получив приглашение Союза писателей ГДР, К. Исабаев сразу решил, что поедет прежде всего в Зульский округ, в Ильменау, поднимется непременно на вершину Габельбаха и повезет с собой в дар местному музею Гете мраморную плиту, на которой выбит текст «Ночной песни странника» в переводе Абая, а также магнитофонную запись песни в исполнении известного певца Магавьи Кошкинбаева с его собственным аккомпанементом на домбре.

Встреча с немецкими друзьями после двадцатипятилетней разлуки глубоко взволновала казахского писателя. Все ему в том краю было знакомо и одновременно ново. А подлинным апогеем его нового свидания с окрестностями Ильменау был торжественный митинг, организованный 22 июля 1979 года в его честь в зале заседания гетевского музея в Габельбахе. В присутствии партийного руководства округа и района, известных ученых, деятелей и представителей общественности после горячих приветствий, речей и концерта в музее была установлена мемориальная доска с абаевским текстом «Ночной песни странника». Сверху текста на фоне силуэта был выбита надпись: «Гете. Вандрерс Нахтлид. 1780. – Лермонтов. Горные вершины. 1840. – Абай, Түнгі тау. 1892». Собравшиеся с большим вниманием и интересом выслушали

распевную мелодию Абая, улавливая в проникновенном бархатном баритоне певца созвучный гетевскому ночному страннику душевный настрой.

Отныне 60–70 тысяч человек – такова средняя посещаемость музея Гете в Габельбахе в год – покидают древнюю обитель великого поэта под раздумчивый напев Абая – «Темной ночью горы, дремля...»

Тогда же было замечено, что это первый случай, когда гетевское творение, переведенное на другой язык, вернулось к своему месту рождения. А первым секретарем Ильменауского районного комитета СЕПГ товарищем Хайнцем Кохом был дан банкет в честь Абая. Банкет в том же зале знаменитого ресторана, в котором 26 августа 1831 года Гете, специально приехав из Веймара, отметил свой последний день рождения.

Счастливым и помолодевшим вернулся тогда из Германии Калмухан Исабаев. Торжественный акт по поводу установления казахским прозаиком мемориальной доски в музее Гете получил широкое освещение в печати тогдашних ГДР и СССР. Живо рассказал об этой своей поездке и о том памятном событии и сам автор, А сколько писем, восторженных откликов было получено писателем от граждан ГДР после того знаменательного акта на Габельбахе!

Менее чем через год, в мае 1980 года, по случаю 35-летия освобождения немецкого народа от гитлеровского фашизма Калмухан Исабаев был вновь приглашен в ГДР. И опять он был почетным гостем Зульского округа, и вновь он посетил тот благословенный край земли – «зеленое сердце Тюрингии». И на этот раз писатель отправился в музей Гете не с пустыми руками: привез выполненный им самим портрет Абая Кунанбаева с нотной записью его напева «Темной ночью горы, дремля...» и домбру с надписью на русском и немецком языках под небьющимся стеклом: «Первый в Азии переводчик Гете – поэт и композитор Абай на таком музыкальном инструменте сочинил музыку к «Ночной песне странника». 6 мая 1980 года этот дар был вручен писателем окружному отделению Культурбунда, о чем на следующий день сообщила газета «Фрейес Ворт».

Знаменательный этот случай натолкнул земляков Абая на мысль установить памятник бессмертной песне. И вот летом 1983 года «исключительно по требованию населения», как отмечала местная печать, такой памятник был установлен в центре Абаевского района Семипалатинской области Казахской ССР – в городе Карауле. На барельефе – портреты великих поэтов – Гете, Лермонтова, Абая и полный текст «Вандрерс Нахтлид» на немецком, русском, казахском языках. Место это названо «Аллеей поэтов».

На торжества по случаю 40-летия Дня освобождения руководство Зульского округа вновь пригласило Калмухана Исабаева в ГДР. На этот раз он подарил Веймарскому гетевскому музею собственноручно изготовленный оригинальный планшет «Казахские переводчики Гете». Планшет богат информацией: портрет Абая работы Калмухана, фотокопия из рукописи Мурсеита, нотная запись «Ночной песни странника», фотокопия постановления Исполкома городского Совета народных депутатов г. Семипалатинска о переименовании улицы Гражданской в улицу имени Иоганна Вольфганга Гете, фотография обложки «Избранной лирики» Гете на казахском языке, фотографии барельефа в г. Карауле, фотокопия страницы из «Фауста» в казахском издании, портреты основных переводчиков Гете на казахский язык – К. Бекхожина, К. Шангитбаева, С. Иманасова, М. Курманова, А. Егеубаева с перечислением названий переведенных стихов Гете на немецком и казахском языках.

Благодаря энтузиазму и стараниям неутомимого К. Исабаева улицам в городах Семипалатинске, Целинограде и Абае присвоено имя Гете.

Стоило это Калмухану, понятно, немало хлопот, но энтузиазм местного населения был трогателен и исключителен. В г. Абае, например, этому событию был посвящен многолюдный митинг. И я испытываю гордость за мой Казахстан, где великому немцу уделено столько внимания. И огорчен тем (вместе с Калмуханом), что подобный благородный, человекодостойный порыв все не находит ответного шага с германской стороны.

Нам кажется вполне уместным и целесообразным присвоение одной из улиц какого-нибудь городка Тюрингии имени великого казаха – Абая. Или, скажем, совместного, «парного» наименования – Гете-Абай-штрассе. Увы, наши старания пока еще не увенчались успехом.

Рассказанное мною выше – одна лишь деталь из обширной истории культурных связей народов, маленький, но примечательный факт, нашедший добрый отзвук в сердцах людей. Факт, характеризующий созвучие духа. Единство разноречия.

...Плывет над ночным аулом дивный напев Абая. Словно откуда-то с вышины спокойно и ровно льется голос певца.

Подожди немного,

Отдохнешь и ты...

Счастливой оказалась судьба гетевского странника. Его ночную песню слышали во всех странах, на всех континентах. Она прозвучала на многих языках. И всем стала доступной и понятной. Услышали и подхватили ее и великие поэты Лермонтов и Абай, бережно, с любовью донесли каждый до своего народа. И теперь, через века и расстояния, плывет она над степью, над долинами и увалами гор, славя мир и тишину, обещая всем странникам на земле желанный покой.

1970, 1986 гг.

ИСПОЛИНЫ ДУХА

(Гете – Пушкин – Абай)

В дни душевного разброда, суемудрия и уныния для нас, пребывающих из-за вселенского разлада в растерянности и шоке, едва ли не единственной отрадой, утешением и верой, надежными вешками в пустыне захлестывающей нас тотальной бездуховности остаются титаны человеческого Духа – Гете, Пушкин, Абай.

По воле Судьбы-насмешницы разбрелись мы, неразумные божьи создания, по независимым, как возомнилось, нишам-квартиркам, кукуем, кудахчем, верещим каждый на свой салтык в национальных закутках, и уже затхлостью и застоєм отдает в нашем суверенно- изолированном раю, и только вольный Дух этих великих мужей, как вольный степной ветер, вдохновляет и воодушевляет иногда наши черствеющие души.

Уходят целые пласты времен, сменяются поколения, на карте мира появляются новые границы, исчезают государства, рушатся империи, но неподвластные бесконечным общественным, социальным и политическим катаклизмам, гордо и победно манят человечество земные избранники Гете, Пушкин, Абай, как неистребимо-желанные Свобода, Любовь, Жизнь.

И в этом залог нашего спасения.

Исознавая это – все равно, разумом или инстинктивно, – благодарное человечество всеместно отмечает славные даты их рождения – двухсотпятидесятилетие, двухсотлетие, стопятидесятилетие. Это означает, что шесть-восемь-десять поколений живут на земле, внимая животворящей и мудрой гетевской, пушкинской, абаевской поэзии, и звук их речей услаждает слух и

облагораживает сердца и души их далеких потомков от колыбели до рокового часа, и поныне поддерживая в нас пламя любви и добра – нетленный источник вечного и прекрасного в жизни.

Каждый из них – целый мир, который человечество тшится открыть, познать и освоить. И мир каждого из них самодостаточен. И каждый из них это прекрасно знал, сознавал и без ложной скромности о том посчитал нужным оповещать мир. И вслед за Горацием, древнеримским поэтом, еще до новой эры обратившимся к Мельпомене, одной из девяти муз, с гордыми словами «Exegi Monumentum» – «Я памятник воздвиг», один из них, Иоганн Вольфганг фон Гете, написал «Vermachtnis» («Завет»), утверждая:

«Кто жил, в ничто не обратится!

Повсюду вечность шевелится,

Причастный бытию блажен!

Оно извечно...»,

то есть, видя высший смысл бытия в слиянии с мировой душой, с вечностью; а второй, Александр Пушкин, не сомневался в том, что к его нерукотворному памятнику не зарастет народная тропа, что весь он не умрет, а будет «славен, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит»; третий же, Кунанбая сын Абай, призывал потомка постигнуть его суть – «Жүрегімнің түбіне терең бойла...» – «В глубины сердца моего проникни глубоко».

И что поразительно, каждый из них, будучи национальным гением, носителем и выразителем национального языка, духа, идеи и менталитета, смог вырваться из сугубо национальных тенет и воспарить над сферой всечеловеческих идеалов и ценностей. И именно в этом заключается, на мой взгляд, феномен этих поистине избранников Земли.

Я думаю, «колоссально великому немцу» (Фридрих Энгельс) Гете было в этом смысле, может быть, проще и легче: на мощь его универсального таланта работали несколько поколений немцев и вся европейская культура, эпохи Классицизма, Просвещения и Ренессанса, которые и «вывели» его на орбиту мировой

цивилизации, толкнули его в объятия «Weltliteratur». Труднее было, вероятно, степняку Абаю, физически ограниченному пространством Чингисских гор, но за ним, Абаем, стояли гены неординарных славных предков, могучий, живописный материнский язык и своеобразная культура номадов, яркий, страстный, чувственный и всегда загадочный Восток, которые в конце концов позволили таланту-самородку, человеку-загадке, вырваться из патриархальных пут и выйти на звездную тропу мирового Духа. Но достичь этих наднациональных высот труднее и сложнее всего было, пожалуй, Александру Пушкину, человеку причудливо смешанных кровей, глубоко русскому по отцовской родословной, полуэфиопу, полунемцу по материнской линии, французу по изначальному воспитанию, но тем не менее вопреки, а может, благодаря этому всеохватно сумевшему выразить уникальное явление, называемое загадочным русским духом.

Меня лично это всегда поражает, как и то, что так называемый русский дух в идеале, в высоком, чистом смысле отнюдь не сугубо, не узконациональное, а нечто всеобъемлющее, всечеловеческое. Не этим ли объясняется властная тяга к великодушной и благотворящей ауре подлинно русской культуры, и не в этом ли заключается неотразимая колдовская магия пушкинского гения? И, вообще, не это ли именно свойство названных мною титанов делает их близкими и родными всем сущим языкам планеты?

Теперь, когда человечество, перенасыщенное и отравленное злом, зависло, как чудится, над гибельной пропастью, его великие сыны – Гете, Пушкин, Абай – всей своей жизнеутверждающей сутью, гуманистической доминантой, устремленностью к вечности ограничивают, обуздывают Зло в наших душах, и эта их сущность и является тем самым основополагающим «этическим императивом», о чем писал философ Иммануил Кант.

Хочется верить, что у этих горных вершин спасительного Духа и Культуры – Гете, Пушкина, Абая – нет или, точнее, не может, не должно быть врагов, и

на огромном пространстве земного шара эти светлые имена, наряду с другими конгениальными светочами цивилизации, и являются теми рассеивающими мрак мощными притягательными лучами, которые еще в состоянии объединять растерявшиеся народы.

Впрочем, один враг у Гете, Пушкина, Абая есть и всегда будет: это невежество и национальное самодовольство, спесь, чванство, что почти одно и то же.

Гете-Пушкин-Абай – вечная категория, бессмертная сущность человека.

Как Свобода. Как Любовь. Как Жизнь.

* * *

Казахское слово «тек» – из разряда высоких понятий. Означает оно «происхождение», «родовитость», «родовые корни», «нравственные истоки», «благородство». «Тексіз адам» – «человек без тека», «без достойных корней» имеет в казахском языке презрительный, уничижительный оттенок – все равно что «Иван, не помнящий родства».

Пушкин не желал быть безродным. Он упорно доискивался до своих корней, гордился своим древним дворянским происхождением, над чем, случалось, близкие друзья подсмеивались и подтрунивали.

Но Пушкин понимал: гении на бесплодном такыре не рождаются. Понимал это и тайный советник, министр фон Гете, сын имперского советника города Франкфурта Иоганна Каспара Гете, внук Иоганна Вольфганга Текстора, шультгейса (главного юриста) Франкфурта и тем самым главы города-республики, официально считавшегося наместником императора. Уместно напомнить, что предком Гете в десятом колене был замечательный художник XVI века Лукас Кранах Старший (1472–1553), а в каком-то колене, как недавно выяснилось, стыкуются предки Гете и Гегеля, о чем они сами и не ведали.

Вот на каких генах взращен Гете!

О происхождении своем знал и помнил, естественно,

и Абай – сын, внук, правнук, потомок сплошь предводителей народа, батыров и влиятельных биев.

Пушкин гордился не только древними русскими корнями, но и тем, что его прадед по матери был арап Петра Великого Абрам (Ибрагим) Ганнибал – сын абиссинского князя («салтана»). Однако о прабабушке – Христине Регине, дочери бравого капитана фон Шеберга, – в своей неоконченной повести поведать не успел. Известно, что генерал Абрам Ганнибал и Христина Регина прожили в браке 45 лет и умерли в один год – в 1781 году. Одного из их сыновей звали Януарий Иосиф, или просто Осип, – человек ветреный, беззаботный, буйного нрава. Его дочь – Надежда Осиповна – мать великого русского поэта.

Никто не скажет, в какой мере это диковинное сочетание разнородных генов отразилось на становление редчайшего явления по имени Пушкин, но сбрасывать со счетов этот факт биографии, думаю, не стоит. И, разумеется, для меня, этнически поволжского немца, лично Пушкин дорог не потому, что одна из его прабабушек была немкой, однако и пройти мимо этого – может, незначительного – факта не могу, ибо меня всегда занимал и занимает феномен национального, инонационального, интернационального и наднационального в творческом преломлении и проявлении. Из ничего ничего не бывает. Не бывает и ничего случайного. Во всем присутствует своя строгая закономерность. И тайна гения объясняется не только востребованностью обстоятельств и всевластного времени, не только воспитанием и средой, но и причудливым сплетением генов, взрывом родовой или многогородовой энергии в одной конкретной личности.

Есть, полагаю, какая-то закономерность и внутренняя духовная связь в том, что на склоне лет обремененный мировой славой Гете вдруг воспылал любовью и страстью к поэзии Востока, в результате чего родился уникальный и во многом загадочный «Западно-Восточный диван», а зрелый Абай испытал вдруг властную тягу к Западу, заявив, что отныне Восток для него обернулся Западом, ну а Пушкин, как истинный

евразиец, одинаково интересовался духовной субстанцией обоих материков, прибегая в своем творчестве как к западным, так и восточным мотивам.

В том, что Гете, Пушкин, Абай стали исполинами Духа, взломав национальную скорлупу и достигнув всечеловеческой значимости, явственно доказывая родство поэтических душ, сыграл очевидную роль их «ТЕК» – родовые корни, благородство, нравственные истоки. Иван, не помнящий родства, и гений – поистине понятия несовместные.

* * *

Велик литературоведческий соблазн максимально сблизить германского и русского поэтических гениев, выставляя духовной предтечей первого и выявляя степень его творческого влияния на второго.

Такие попытки были.

Но надо признать: это как раз то, что немцы называют – «an den Haaren herbeziehen» – насильно притягивать за волосы.

Гете это не нужно. Пушкин в том не нуждается.

Томас Манн назвал Пушкина – Гете Востока. Мы иногда говорим: Абай – казахский Пушкин.

Всякое сравнение хромает. Метафоры придумываются для облегчения нашего ограниченного восприятия.

Ясно, что Пушкин не Гете, а Абай – не Пушкин. Я уже сказал, что каждый из них автономен и самодостаточен. Другое дело, что в высоких сферах Духа – они собратья.

Да, Пушкин имел представление о Гете и говорил о нем в статьях и письмах своих всегда уважительно. Не однажды делал ссылки на «Фауста», «Гецца фон Берлихингена», «Вертера». Говорил: «великий Гете», «наш германский патриарх». Говорил: «...предпочитаю Гете и Шекспира». Писал: «Фауст есть величайшее создание поэтического духа». Создал «Сцены из Фауста», по-своему транспонируя легенду.

Но о прямом влиянии Гете на Пушкина говорить некорректно. Академик В. М. Жирмунский утверждает,

что немецкая поэтическая стихия была чужда Пушкину. В отличие, скажем, от Лермонтова он и немецким языком владел слабо. И вообще, можно сказать, не ориентировался на немецкую литературу. Особенно в молодые годы он тяготел духовно к французскому Просвещению и к бунтарскому Байрону. Знатоки-пушкинисты приводят строки из черновых набросков «Евгения Онегина»: «Он знал немецкую словесность по книжкам госпожи де Сталь» – и усматривают в них автобиографическую самооценку.

Имя Пушкина было Гете известно. О нем «веймарскому олимпийцу» рассказывали наверняка и В. А. Жуковский, и В. К. Кюхельбекер, может, и еще кое-кто из русских путешественников. В пушкинское время Гете был очень популярен в России, и его много и многие переводили на русский язык.

Знал Гете и о «Сценах из Фауста» Пушкина, и существует легенда, что взволнованный и благодарный Гете передал – то ли через Жуковского, то ли через другого русского посетителя – свое перо в дар русскому поэтическому собрату. В иных воспоминаниях упоминается красивый футляр с пером с надписью «Подарок Гете». Уверяют, что видели в кабинете Пушкина. Может, это и не легенда вовсе. Если факт, то красивый и символический.

А вот еще один любопытный факт, характеризующий многогранность интересов Гете. Известно, что в России предполагалось открыть «Азиатскую академию», и с этим проектом в 1811 году товарищ министра народного просвещения России С. С. Уваров обратился и к Гете. И тот заинтересовался этим проектом. А в 1826 году Гете был избран в почетные члены Российской Академии наук.

Не о влиянии Гете на Пушкина следует говорить, а о созвучии духа, поэтическом родстве, сходстве мироощущения двух гениев двух народов.

Это корректно и плодотворно.

* * *

В эпосе «Путь Абая» Мухтара Ауэзова читаем: «Пушкин и Лермонтов... Оба они прошли свой

жизненный путь вдали от степей, где жили его деды, и кончили жизнь в неведомых дальях, чуждые и неизвестные казахам. Но за эту зиму оба стали так близки Абаю... Явились из другого мира, изъяснились на другом языке, а отнеслись к нему приветливо, как родные. Двойники его в огорчениях и грусти, они, разгадав его душу, как бы говорили ему: «И ты своими мыслями подобен нам!»

В зрелом возрасте Абай почувствовал неизбывную тягу к творчеству Пушкина. Можно себе представить, как внимательно, вдумчиво он вчитывался в роман «Евгений Онегин», с одной стороны, изучая по нему русское общество, русскую жизнь, язык, душу, культуру народа, который его, степняка, властно манил, с другой, тщательно выбирая из «энциклопедии русской жизни» такие фрагменты и мотивы, которые в переложении на казахский язык были бы доступны, понятны и действенны в эстетическом, воспитательном смысле для казахской среды конца XIX века. Преследуя эти цели, Абай весьма творчески своеобразно – то точно, то вольно, то следуя оригиналу, то позволяя себе некоторые отклонения, оправданные восприятием степняка, – перевел, переложил, воспроизвел, воссоздал семь отрывков из «Евгения Онегина», из которых такие, как «Письмо Татьяны Онегину» («Амал жоқ, – қайттым білдірмей...») и «Песня Татьяны» («Тәңірі қосқан жар едің, сен...»), положенные к тому же Абаем на музыку, стали шедевром казахского поэтического искусства и мгновенно распространились по всей степи, как кровно близкое, национальное творение.

Широко популярна среди казахского народа уже более ста лет и «Ночная песнь странника» («Wanderer's Nachtlied») Гете, которую Абай блистательно перевел через Лермонтова («Горные вершины») и положил на музыку. Этот напев – «Қараңғы түнде тау қалғып...» – также стал уникальным явлением в культурной жизни казахов. Об этом мною написан очерк-эссе «Созвучие. Үндестік. Gleichklang», изданный отдельной красочной книжкой.

Параллели поэтических мотивов Гете и Абая, их духовное созвучие, переключка через века и

расстояния тем и мыслей в их творчестве, великое животворительное братство великих личностей стали объектом посильных исследований в моих книгах «Гете и Абай», «Земные избранники».

Все, что только способствует взаимопониманию, сближению, объединению людей и народов, властно влекло к себе и Гете, и Пушкина, и Абая, и именно в этом заключается их непреходящая значимость, и именно эта твердыня их бессмертного духа восхищает и манит уже столько веков человечество.

Любимая мысль Томаса Манна: «Любые творческие силы должны служить высокой цели гуманизма, поискам истинной человечности жизни, достойной Человека».

В служении этой цели Гете, Пушкин, Абай величественно созвучны.

* * *

Неостановим, стремителен бег Времени. Гете прозорливо увидел:

«Запад, Норд и Юг в крушеньи,
Троны, царства в разрушении»

и убеждал:

«В ничто прошедшее не канет,
Грядущее досрочно манит,
И вечностью заполнен миг».

Пушкин неколебимо верил:

«Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит...»

Абай уверял: «Мир – океан, время – веяние ветра, ранние волны – старшие братья, поздние волны – младшие братья. Поколения сменяются чредой...»

Да, поколения сменяются чредой. Но остаются Гете, Пушкин, Абай как вечные духовные наставники и нравственные ориентиры человечества в взбаламученном, бушующем океане бытия.

Апрель 1999 г.

ЧАРЫ ВОСТОКА

Мотивы Востока робко и сладостно коснулись струн моей немецкой души еще в школьные времена. Арабские и персидские (на языке фарси) слова в той или иной форме, чаще всего искаженной, редкой жемчужиной вклинивавшиеся в обыденный казахский речестрой, ублажали мой слух, звучали льющейся невесть откуда музыкой, томили, будоражили, волновали. Это были какие-то осколки, знаки, фрагменты таинственного, сказочного мира, манящего и недоступного, окутанного хмарью зыбкого времени.

Откуда этот смутный зов? Отчего сердце поволжского мальчишки-немца неизъяснимой усладой, точно трепет, пронзали звуки чужеземной, неведомой речи? Может, Абай невзначай взбудоражил дремотную душу, заронив в нее незнакомые имена и слова?

Фзули, Шәмси, Сайхали,
Науаи, Сағди, Фирдоуси.
Хожа Хафиз – бу һэммаси
Мэдэт бер шағири Фэрияд...

Непонятное манило, томило, ласкало слух, арабские и персидские слова и фразы в поэзии и прозаических гаклиях Абая звучали возвышенно, вдохновенно, будто не в человеческих устах, словно исходили от неземных пери или гурий. Слышалось в них нечто колдовское, чарующее. Особенным шиком казалось, подсев к какой-нибудь старшекласснице, сроду не слышавшей комплиментов, прочитав с придыханием, явно смущая ее, строчку-другую из раннего Абая:

Иузи – раушан, көзі – гәуһар,
Лағилдек бет үші әхмәр,

Тамағы қардан һәм биһтар

Қашыңқудрәт коли шигә.

Вроде бы и по-казахски, однако не совсем: непонятные слова как бы зачаровывают, будто молитва муллы, искушают, как азазель-искуситель. Смутной тяге ко всему восточному способствовал и мой учитель казахской словесности – Жылгельды Муканов, эстет, златоуст, артист, умевший в торжественных случаях, точно маг-волшебник, искусно плести слова, придавая им особенный лоск, блеск и шарм, неотразимый лад и склад. Делал он это без напряжения, изысканно: как бы снимал коросту с расхожих казахских слов, придавал им первоначальное – иноязычное – звучание и вкус. Он произносил мягко, ласково: энсаф (ынсап), эхтият (ықтият), элтифат (ілтипат), сұхән (ұсқыш), зәһр (зәр), заруар (зәру), мәшәккәт (машақат), мәмләкәт (мемлекет), мәһрбан (мейірбан), файда, фани жалған, хақиқат, хамал, бәчехар, бәрдеуат, гадауат – боже, всех этих очаровательных слов-словечек я теперь и не упомяну, но музыка, мелодичный звон сохранились приятным отголоском в душе.

Казалось, Жылгельды-мугалим снимал с обыденных казахских слов заскорузлый чапан, тяжелый тымак, непомерные сапоги в кошомных чулках и обряжал в легкие, яркие восточные одежды. «Тысячу и одну ночь» читали в послевоенном ауле повально. Упругий сюжет, обаятельный динамизм, дикий кружева слов, отточенные назидания, своеобразная поэтика, чудотворный строй речи, сказочная вязь очаровывали и юношей, и старцев.

Я грезил Востоком! Я блуждал по караванным тропам древних стран. Ходил по тесным глухим улочкам Багдада. Вслушивался в заунывный голос муэдзина. Я упоенно произносил где-то вычитанные слова-названия: «Кабус-наме», «Гулистан», «Тути-наме», «Синдбад- наме». Я еще не знал, кто и что относится к арабской или персидской литературе. Я воспринимал все это как нечто единое, родственное и, несомненно, очень близкое ко всему казахскому, в котором я уже кое-что понимал.

Студентом первого курса я впервые прочел «Кабус-наме». Через год-два проштудировал впервые «Западно-Восточный диван» Гете. Потом по разным поводам обращусь к нему неоднократно. Восприму, впитаю в себя Восток через ощущения великого веймарца. Уже первое стихотворение этого дивного дивана – «Гиджра» – вновь всколыхнуло мою душу.

Север, Запад, Юг в развале,
Пали троны, царства пали.
На Восток отправься дальный,
Воздух пить патриархальный.
В край вина, любви и песни,
К новой жизни там воскресни.

То был трудный этап в моей жизни. Я был в растерянности. Душа в развале. Дискомфорт преследовал меня отчаянно. «К новой жизни там воскресни» чудилось спасением.

Там, наставленный пророком,
Возвратись душой к истокам,
В мир, где ясным, мудрым слогом
Смертный вел беседу с Богом,
Обретал без мук, без боли
Свет небес в земном глаголе.

Я, кажется, уже понимал тогда Гете, его мятущуюся душу, его всеохватное, страстное увлечение «светом небес в земном глаголе».

В мир, где предкам уваженье,
Где чужое – в небреженье,
Где просторно вере правой,
Тесно мудрости лукавой.
И где слово вечно ново,
Ибо устным было слово.

И мне чудилось, что только там, на Востоке, «слово вечно ново», что именно там «просторно вере правой». И стали моими кумирами («пiр») Гете и Абай — два духовных собрата, чей поэтический и нравственный дух оказался соприроден и созвучен. И дивно слились во мне Запад и Восток. В их, – Гете и Абая – лице, я, этнический (российский и казахстанский) немец, обрел устойчивость и гармонию в этом вечно бурлящем мире.

Все эти мысли-раздумья пришли в мою голову не сейчас. Не в данный миг, когда я пишу эти строки. А сложились в течение шести лет, как я не расстаюсь с шикарно изданной, богато иллюстрированной, с любовью составленной «Энциклопедией персидско-таджикской прозы» в объеме около 70 печатных листов. От самого издания, дизайна, формата, оформления, буйно ярких вклеек веет восточной роскошью и пышностью.

Содержание двух книг в шести томах составляет средневековая персидская проза: «Кабус-наме», «Синдбад-наме». «Сказки» – народный роман о благородном юноше Хатеме, «Гулистан», «Бахаристан», «Тути-наме». (Здесь я должен внести уточнение: собственно, первая книга называется «Персидская проза» и вышла в 2006 году; через год эта же книга вышла вторично с единственным добавлением стихотворения «Гиджра» Гете; а в 2007 году увидела свет и вторая книга.)

Издатель – ИП «ДАР» – Ахмет Дюсенбаев, вице-президент Фонда Ильяс Есенберлина, известный психофизиолог, автор уникального труда «Анатомия души» («ДАР», 2005), человек увлеченный, целеустремленный.

Словесные узоры поэзии Омара Хайяма, Хафиза, Саади и многих других чародеев Востока известны и любимы издавна в разных переводах. Их цитирует не одно поколение разноязычных читателей во всем мире. И казахской литературе знакомы их блестящие переводы. (Правда, переводов непосредственно с персидского, все же, маловато – большинство опирается на русский посредник).

А вот о средневековой персидской прозе долгое время имели представление лишь специалисты-востоковеды и редкие любители изящной словесности.

Шесть броских и одновременно благородно-внушительных томов, с таким тщанием изданных А. Дюсенбаевым с комментариями, со вступительными статьями, с пояснением восточных реалий, с редчайшими иллюстрациями из сокровищ Посольства

Исламской Республики Иран в Республике Казахстан, радуют душу самого привередливого, изысканного поклонника культуры Востока.

Чем привлекает современного читателя средневековая персидская проза? Если быть максимально кратким, тем, что:

- реальность той далекой, увлекательной, своеобразной жизни сочетается с вдохновенным, затейливым вымыслом, погружающим нынешнего прагматичного и несколько очерстневшего сердцем читателя в мир, «где ясным, мудрым слогом смертный вел беседу с Богом»;

- цветистая, ароматная, диковинно-фантастическая, ярко-образная проза то и дело пересыпана мудрой и чувственной поэзией Востока, что придает ей особый шарм и элегантность;

- магия увлекательнейшего повествования о превращениях, путешествиях, о женском коварстве, о влюбленных, о духах-дивах, о скупых и жадных, о тупых и мудрых околдовывает, зачаровывает вас чистотой и первозданностью, незамутненностью чувств, восторгом мироощущения;

- слух ласкает чистота речений, высокий слог, омытый мудростью, чувственностью, жизнелюбием, неизбывной радостью пестрого бытия;

- сама форма изложения – «обрамления», «рамочная повесть», полуфантастические странствия, очаровательные назидания, волнительная дидактика, неназойливые советы, отшлифованная опытом многих поколений и аурой своеобразной ментальности орнаментальная стилистика, плетение словесных кружев – все эти притягательные «элементы», как томящая музыка, как сладостное пение и соблазнительные танцы небесных гурий, волнуют, будоражат, поражают, умиляют самого черствого современного читателя;

- неоценимое значение имеют эти творения восточного духа в воспитании художественного вкуса читателя. Ощущение такое, будто ты испил глоток воды из священного родника Зам-зам.

В суете повседневных забот, в изнурительной борьбе со всевозможными кризисами, душевными сомнениями, дискомфортом и стрессами нет лучшего средства для спасения живой души, чем, отключаясь от всех треволнений, в тиши, наедине с собой, с наслаждением читать средневековую мудрую персидскую прозу, всецело окунаясь в диковинный, спасительный мир Востока, где сосредоточился многовековый опыт и чувственность человечества, где счастливо сосуществуют диковинный быт и изощренная фантазия.

У меня такое ощущение, что время и пространство воспринимаются Востоком и Западом по-разному. Запад все более привязан к «теперешнему», данному, конкретному, строго ограниченному времени и пространству; на Востоке время и пространство тяготеют все более к категории вечности. Персидская проза тысячелетней давности очаровательно современна.

Она понятна и жизнеутверждающа во все века. И тут приходит в голову мысль Льва Толстого: «Я не понимаю и не люблю, когда придают какое-то особенное значение «теперешнему времени». Я живу в вечности, и поэтому рассматривать все я должен с точки зрения вечности. И в этом сущность всякого дела, всякого искусства. Поэт только потому поэт, что он пишет в вечности». Видно, это ощущение вечности восточного мировосприятия и прельщало в свое время Гете.

Конечно, у каждого прилежного читателя есть книги, к которым он обращается вновь и вновь. Такие книги есть и у меня. Порой душа как бы иссыхает, оскудевает, сплин охватывает все твоё существо, и белый свет, случается, становится не мил. Мучительная пора для творческого человека. Белый лист бумаги манит и отвращает, перо не бежит, не скрипит, буксует, сердце глухо, и в голове будто сквознячок гуляет, мысли вспорхнули и улетели, как стая птиц. И тогда меня, например, спасают, как бы аккумулируют, настраивают на действие:

– Бунин (с его девяти томником не расstaюсь десятилетиями);

– Гете и Абай в оригинале, перед аруахами которых

постоянно испытываешь стыд и неизбывную вину за свое невежество и бездарность;

– огромный том-альбом «Томас Манн», содержащий 1,5 тысячи фотографий и текстовых иллюстраций из произведений немецкого классика – подарок германского посла в Казахстане господина Бракло к моему 60-летию;

– персидская проза в шести томах.

Они-то и поддерживают мой дух, спасая от уныния. Вновь возвращают к жизни, дают энергию и стимул. Давно я осознал: самое страшное в мире – духовная опустошенность, нищета духовной культуры. Очевидная эта истина ныне не в чести.

Ныне сплошь помешались на долларах, на неумной жадности, на кризисах и разных неурядицах. Надеюсь, пройдет, как и все на свете. Ибо человек должен (вынужден, обречен) понять, что украшение жизни, бытия, Вселенной – он. Только он, один он.

Омар Хайям это прекрасно понимал почти тысячу лет тому назад:

Сомненья нет, что цель творенья – это мы,

Что разума источник зренья – это мы.

И если мирозданье наше – перстень,

То лучшее в том украшенье – это мы.

*Газета “Казахстанская правда”,
№ 57-58 от 15 февраля 2013 г.*

Содержание

Ермек Турсунов. Свой среди чужих.....	4
---------------------------------------	---

РАССКАЗЫ.....	24
----------------------	-----------

Абильмажин.....	25
Июль пятьдесят третьего.....	42
Земляника степная.....	60
И пробил горький час прощания.....	71
Пепелище.....	94

РАССКАЗЫ ОБ ОТЦЕ.....	113
------------------------------	------------

Маленький король.....	113
Все для фронта!	118
Метель-канитель	112
«Отныне вот твоё занятие»	126
Зарядка	129
Выборы	131
Отец копнул сено.....	137
Ночь в степи	142
Котлован	149
«Эй, недобитый фриц, дай спирт!»	152
Колодец	156
Оркестр	160
«Ты Вову поздравил?»	164
Сколько же в Ташкенте Бельгеров?	166

Прадом	168
Сухари	172
«В путь журавлей провожаю один я...»	178
Мой земляк из Каракаса	193
Рыжий Рысбек из аула Кастек.....	199
По краю обрыва.....	221
Дом-призрак	235
Лукуллов пир (из цикла «О, казахи мои!...»)	243
Ах, Бошаян, Бошаян!.....	250
Ораза айт.....	276

ЭССЕ.....300

Познавая себя (Сократ-Гете)	301
Любовь к ближнему и дальнему (Ф. Ницше и Т. Зюльфикаров)	310
Паук (Хаким Омар)	316
Пришелец из страны Созак	322
Прогулки с Абеке	336
Сказ о семижилых казахах.....	349
«Под покровом Богородицы». Книга четвертая	358
«Оу! Литература чья баба?»	369
Бедная-бедная, серая-серая мышка.....	377
Аул	384

ЭСКИЗЫ.....410

Автобиографические эскизы.....	411
Казахский рацион	450
Фишер – «Бишер бала»	452

Оскар Уайльд считал.....	454
Ну и что из этого?	456
Ай, прав был мудрец!.....	457
Vita activa	459
Суэта сует	460
Старость	661
Сопалатник Кузнецов.....	463
Философ Померан.....	466
Читая Шаханова	467
«Лучше поздно, чем никогда».....	467
Как объединить людей.....	468
Ганс Магнус Энценбергер.....	470
Вот ведь в чем дело	472
Так получилось	474
Подранки	476
Е, шүкір, шүкір.....	477
Сталин и Пушкин (по А. Кадырову)	478
Казахские запреты	480
Бабушка	483
Мама	486
Блокадник	489
Кадыр	492
Эдмунд Матер	493
Востоковеды	496
Странная штука – свобода	498
«Стихотворствующие юнцы»	500
Айгуль	501
Мы все уходим понемногу	505
«Все смешалось в доме Облонских...»	509

«У меня зазвонил телефон...»	513
Мой караван	516

ЭТЮДЫ.....521

Созвучие («Ночная песнь странника» Гете в переводах Лермонтова и Абая)	522
Исполины духа (Гете – Пушкин – Абай)	548
Чары Востока	557

Герольд Бельгер

ИЗБРАННОЕ

Автор предисловия и составитель

Ермек ТУРСУНОВ

Корректор

Надежда СЕРГЕЕВА

Дизайнер

Анастасия ТАУКЕЛОВА

Консультант по допечатной подготовке

Андрей ХЛУДЕЕВ

Координатор проекта

Канат ТОРЕБАЙ

В книге использованы документы и фотографии
из семейного архива Г. Бельгера

Редактор **Алсейит ОСПАН**
Корректор **Каппиза БЕКЕНКЫЗЫ**
Дизайнер **Дана КАЙЫРШАЕВА**
Тех. редактор **Нуркен СУЙЕУБЕКУЛЫ**

ISBN 978-601-03-0478-9



ИБ № 14

Подписано в печать 21.06.2017.
Формат 84х108 $\frac{1}{16}$. Гарнитура “Times New Roman”.
Объем 30,0 у.п.л. Тираж 5000 экз.
Заказ № 24

Типография Издательской корпорации “КазАқпарат”

